НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
СРАВНИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУР И ЯЗЫКОВ ЗАПАДА И ВОСТОКА
ПРИ ЛЕНИНГРАДСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

ЯЗЫК и ЛИТЕРАТУРА

Том I

Выпуски 1—2

Издание Института

ЛЕНИНГРАД
1926

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
СРАВНИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУР И ЯЗЫКОВ ЗАПАДА И ВОСТОКА
ПРИ ЛЕНИНГРАДСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

ЯЗЫК и ЛИТЕРАТУРА

Том I

Выпуски 1—2

ЛЕНИНГРАД
1926

Напечатано по постановлению Коллегии Научно-Исследовательского Института сравнительного изучения литератур и языков Запада и Востока при Ленинградском Государственном Университете.

Ученый Секретарь *Н. Яковлев.*

Сентябрь 1926 г.

Ленинградский Гублит № 16728. — 27 печ. л. — Тираж 775.

Государственная Академическая Типография. В. О., 9 линия 12.

СОДЕРЖАНИЕ.

Отдел I

Несколько замечаний о словарном заимствовании.

I.

§ 1. Цель моей небольшой заметки — показать, что словарное заимствование есть сложное лексическое явление, в частности, что оно, как обмен словами между разнородными в языковом отношении группами населения, далеко не всегда является результатом обмена предметами и понятиями («вещами»).

В значительной степени словарное заимствование есть проявление, в условиях междуязыковых сношений, на инородном языковом материале, лексических отношений и тенденций, существующих в данном заимствующем языке, проявляющихся также на собственном материале этого языка и определяющихся общественностью населения, говорящего на этом языке. Тема эта большая и трудная, особенно в связи с малой разработанностью лексикологии, и я ни в какой мере не предполагаю сколько нибудь подробно разработать ее на этих нескольких страницах. В дальнейшем, исходя из некоторых имеющихся в литературе лексикологических наблюдений, я иллюстрирую свою мысль примерами из области балтийско-финских заимствований в русских говорах Архангельской и б. Олонецкой губ.

Не следует также думать, что я собираюсь исчерпать вопрос в его общей постановке, поскольку уже иллюстративный материал является частным и не характерным для других, может быть весьма отличных от данного, случаев междуязыковых взаимодействий. Однако, мне кажется, что те немногие выводы,

которыми я заканчиваю заметку, если и не являются, конечно, решающими вопрос ответами, то во всяком случае представляются более или менее обоснованными конкретным материалом исходными пунктами для детального исследования.

II.

§ 2. Русское население Архангельской и б. Олонецкой губерний заимствовало от местного балтийско-финского населения некоторые названия животных (ср. Kalima «Die ostseefinnischen Lehnwörter im russischen», Helsingfors 1915, стр. 256). Эта группа заимствований в только что указанной работе Kalima разделена на следующие подгруппы: домашние животные, птицы и «другие животные»; к этому нужно еще прибавить три названия для оленя (к подгруппе «домашние животные»; у Kalima в группе «Renntierzucht», o. c. 256 стр.) и названия рыб (особая группа у Kalima, стр. 255). Попробуем разобраться в материале этих заимствований, в частности в их ratio, привлекая в дальнейшем и другие категории заимствований из того же труда Kalima в тех же территориальных пределах.

§ 3. Прежде всего выделяется одна категория заимствований, иллюстрацией которой может служить группа «рыбы»: являясь на новые места, русские колонисты нашего края знакомились, в порядке осуществления рыбного промысла, с новыми видами рыб и, не имея в своем распоряжении особых для них названий, «заимствовали» эти названия у местного финского населения, с которым вступали в связь по линии рыбного промысла, учась у него и новым формам этой хозяйственной деятельности (ср. Kalima, o. c. 259 стр.); в связи с этим стоит, конечно, и заимствование ряда названий для рыболовных снастей и их частей (Kalima, o. c. 254—5 стр.).

Эта категория является сравнительно простой с теоретической точки зрения: мы имеем здесь заимствование названия, вызванное заимствованием самой «вещи», исследование здесь должно

идти по формуле «Wörter und Sachen», причем его сложность зависит от того, насколько в руках исследователя имеется соответствующий культурно-исторический материал и насколько сложно его раздобывание и истолкование.

По этой именно линии возможно обследование и некоторых других категорий заимствований, например «Landwirtschaft», «Verkehrsmittel», «Pflanzen», «Tracht und Kleidung» (Kalima, o. c. 254—8 стр.).

Однако, данным типом заимствования вопрос о словарном заимствовании ни в коем случае не исчерпывается, хотя обыкновенно имеют ввиду именно этот тип.

III.

§ 4. В подгруппе птицы ratio некоторых заимствований может быть понято также в связи с сказанным в предыдущем параграфе. Сравните, например, арх. алейка—особый вид утки, причем крестьяне пользуются способностью алейки часто нестись: развешивают на длинных шестах по деревьям ящики или корзины, в которых недогадливые птицы устраивают гнезда, и в продолжении лета выбирают оттуда яйца (Подвысоцкий, «Словарь обл. арх. наречия», Спб. 1885. s. v.); арх. гагка — «водящаяся на прибрежных островах, скалах и лудах Белого моря и Северного океана, которую промышляют для добывания ее ценного пуха» (Подвысоцкий, s. v.); арх. пунашка, пунох» «прилетающая весной и употребляемая в пищу маленькая птичка из породы подорожников» (Подвысоцкий, s. v.); арх. кукша «лесная хищная птица, пожирающая попавших в силки рябчиков, куропаток и тетеревей» (Подвысоцкий, s. v.). Не так просто, однако, обстоит дело с некоторыми другими названиями птиц, например с названиями гунгач «филин», куга «сова», тикач «дятел» и др., а также с названиями подгрупы «другие животные»: ёлак «летучая мышь», линка «бабочка», мутикашки «головастики лягушки», пармак «овод, слепень», тигачи «комары», товкач «древесный червь», чунжи «дождевые черви»,

шижлик «ящерица»; сюда же можно отнести и ряд случаев из других категорий, напр. пикушной «маленький, невзрачный» вингать «визжать», лембой «черт» и многие другие, к которым я еще вернусь ниже. Здесь, конечно, едва ли можно говорить о заимствовании слова, как результате заимствования вещи (понятия); эти заимствования мы можем понять или как замену своего слова чужим, или как возникновение наряду с своим словом другого — синонимичного (или синонимообразного). Отсюда ясно, что рассмотрение второго типа заимствований должно быть производимо в связи с вопросом о замене слов в языке и о возникновении «синонимов». К сожалению эти вопросы мало исследованы, хотя кое какие данные в литературе имеются.

§ 5. Для выяснения интересующего нас вопроса несомненно полезными являются некоторые наблюдения французских лингвистов школы Жильерона. A. Dauzat (в обзорной работе «La geographie linguistique» 125 стр.) указывает, на основании материала лингвистической географии, что человек в своем языке, как и в мышлении различает то, что ему интересно с утилитарной точки зрения. До остального ему дела нет. В связи с этим обнаруживается неоднородность номинативной системы (системы названий — терминов) данного языка. Возвращаясь далее к этому вопросу (о. с. 140—1 стр.) Dauzat говорит следующее: «les termes d'une utilisation fréquente souvent employés dans les relations entre localités et contrées diverses, conservent une stabilité plus grande que les vocables rares, qui reviennent à intervalles éloignés dans la conversation et qui sont par suite, plus sujets à se deformer et à se specialiser dans chaque pays, voire dans chaque village. Ainsi les noms de plantes et d'animaux, specialement d'insects qui ne sont ni utiles ni nuisibles, ni très communs, tel que le scarabée, la blatte, le ver luisant etc., présenteront le maximum des variations dans une région donnée. Une difference remarquable s'offre à cet égard, pour les animaux domestiques, entre les animaux de trait ou de boucherie et les mâles reproducteurs: tandis que le beuf, le veau,

le mouton, la vache, l'oie, le porc, le cheval, l'âne portent le même nom à peu près dans toute la France, voire au delá, en revanche il y a de grandes variétés pour les noms de taureau, du belier, du jars, du verrat, par suite d'une moins grande fréquence de type et d'emploi». Таким образом Dauzat, на основании данных лингвистической географии, устанавливает две лексические категории устойчивую и неустойчивую, причем устойчивость и неустойчивость определяются функцией «вещи», обозначаемой данным словом, в общественной жизни данного населения (в связи с чем стоит большая или меньшая частота употребления слова) и тем фактом, насколько, данная «вещь» (а следовательно и слово) являются предметом широкого обмена между различными местностями. В области неустойчивой категории обнаруживается большое разнообразие, пестрота терминов в пределах данной территории, напр. Франции. Термины неустойчивой категории в большей степени подвергаются деформации, в частности, конечно, и заменам. (Это не значит, что всякая пестрота терминов появилась вследствие замен и является вторичной по отношению к предшествовавшему периоду «единства» и единообразия терминологии). Подчеркиваю то, что Dauzat говорит о названиях животных, которые ни полезны, ни вредны, ни очень объедены. Ясно, что в зависимости от степени полезности и вредности данного животного в данной местности, его название оказывается более или менее устойчивым (при прочих равных условиях).

§ 6. Любопытно, что русский диалектолог-этнограф Волоцкой (Сборник материалов для изучения Ростовского говора, Ярославской губ. «Сб. ОРЯС, т. LXXII, № 3, Петербург, 1902, стр. 5) пришел к очень схожим наблюдениям на словарном материале Ростовского уезда. Он указывает, например, что «насколько богата речь ростовского крестьянина словами для выражения житейских отношений или характеристики, иногда чрезвычайно меткой, внутренних и внешних свойств человека или домашнего животного, настолько она бедна, даже нища, словами

служащими для названия малых животных и растений, не имеющих непосредственного отношения к хозяйству. Тот же Волоцкой отмечает с одной стороны распространенность слов «мужского хозяйства», вроде оглобля, дуга, чека, на всем пространстве коренной России и удивительное разнообразие слов «женского хозяйства» и домашнего обихода (о. с. стр. 5).

§ 7. Если мы обратимся к тем из наших названий животных (часть птиц и «другие животные»), где трудно предполагать заимствование самой «вещи», то мы увидим сразу, что они входят в число неустойчивых элементов словаря, как с одной стороны не являющиеся предметом обмена на широкой территории по своей функции в быту населения, а с другой стороны не имеющие непосредственного отношения к хозяйству. В связи с этим находится и то обстоятельство, что животные, обозначенные этими названиями, имеют очень пеструю терминологию, как в нашем районе, так и в других. Приведу некоторые примеры. Сравним для «летучей мыши» (в одной Олонецкой губ.) кроме нашего ёлак, следующие термины: кожанка, летяга, ашкуд, натопырь, полеташка, ременница; для «головастиков»: мутикашки, бубах, живаренок, мормыш, благовица, паголовка, паголица и др. и для самой «лягушки»: скакуха, холодянка, потыкашка, клоктуша, квакуша и пр. для «дятла»: тикач, долбилка, желна, дегтяр, дяктел; для «ящерицы»: шижлик, жегальница, жужелица, поясница, щур, ящера; для «бабочки» бабурка, ласточка, косатка; и т. п.

Поскольку мы имеем здесь дело с неустойчивыми элементами словаря, постольку нам ясно общее условие возникновения заимствований: при соприкосновении с чужим языковым материалом в первую очередь, конечно, могут подвергаться иноязычному вытеснению именно неустойчивые словарные категории, как наиболее легко атакуемые и незащищенные; здесь обнаруживается замена слов иноязычным материалом также как и своим; замена— заимствование есть частный случай замены вообще. Заимствование здесь есть не только и, может быть, не столько результат

влияния на данный язык другого языка в обстановке культурного взаимодействия, сколько проявление, в условиях общения с иноязычным населением, некоторой лексической динамики, присущей данному языку и определяемой общественностью населения, говорящего на этом языке.

Естественно, что сила языковой традиции в неустойчивых словарных категориях сказывается менее сильно, чем в устойчивых, и они более открыты для всяких деформаций, в частности по линии вхождения чужого языкового материала.

IV.

§ 8. Очень любопытную картину дают заимствованные от финнов названия домашних животных; здесь как будто ясны общие условия заимствования: хозяйственные взаимоотношения. Однако не приходится ограничиться простой ссылкой на культурные влияния: во первых, самое влияние финнов на русских в области животноводства (даже оленеводства) просто ничтожно, судя по количеству и качеству заимствованных слов; во вторых, самый характер этих заимствованных слов наводит на несколько другие предположения.

Обратимся к материалу: 1) петач «нехолощенный бык», 2) варжа «плохой или еще очень молодой жеребец», 3) три названия для оленя-самца: гирвас «олень-самец на втором году», кундус «трехлетний олень-самец», урак «годовалый олень-самец». Прежде всего отмечу, что все эти названия являются названиями самцов; затем укажу на некоторую терминологическую пестроту связанную с ними: рядом с контус (четырехлетний олень-самец» (арх. кол.) существует наше кундус (арх. мез. кол.); в кол. рядом с гирвас существует ирвас, а рядом с ними в том же значении употребляется шардун (см. Подвысоцкий, s. v.); там же олений самец на третьем году носит название убарас, убарс, уварс. Таким образом для части этих названий мы можем наверняка утверждать, что они

не являются предметом сколько нибудь широкого языкового обмена, специализируясь по отдельным местностям данного района. Сравним также то, что сказано Dauzat о не дойных и не убойных животных, в частности о самцах производителях. Эти соображения говорят, что мы имеем здесь заимствования в области неустойчивой части названий домашних животных. Однако вышеприведенные названия интересны еще и с другой стороны. Все эти названия суть частные, подробностные названия: «нехолощенный бык», «плохой или еще очень молодой жеребец», «трехлетний олень-самец» и пр. Это, конечно, не случайно. Мне думается, что частные названия, а также названия частей, вообще подробностные названия, являются менее устойчивыми, а следовательно более подверженными заменам, чем названия общие и названия целых предметов; причем значение имеет здесь не логическая и психологическая сторона дела, а попросту тот факт, который мы принимали во внимание и выше: большая или меньшая частота употребления (активность) слова и отношение к размаху языкового обмена. Думается, что в отношении подробностных названий, мы имеем слабую степень как по первому так и по второму пункту. Другая категория названий — названия хозяйственных орудий, как будто подтверждает наши соображения (группы Kalima «Bauten... u. a.», o. c. 253 стр. и «Landwirschaft», o. c. 254 стр.), где из девяти заимствованных названий шесть являются подробностными. О культурном влиянии финнов здесь нет речи. По самому значению заимствованных слов скорее всего и здесь мы имеем дело с заимствованием по линии замены в области неустойчивых элементов словаря.

§ 9. Мы имеем следующие заимствования в категории хозяйственных орудий: 1. курик «род деревянного молота, легче и меньше чекмаря», 2. брюза «цеп, молотило», 3. кокица «железный молот, насаженный на длинную палку; употребляется для разбивки комков земли»; 4. лудега «место, где железная часть косы прикрепляется к деревянной ручке»; 5. кавзак «ху-

дой, тупой нож»; 6. кинжа «железный клин, вбиваемый при посадке топора; вбиваемый в верхний конец топорища гвоздь или клин для того, чтобы не соскакивал топор»; 7. тярега «ремешок из ивовой коры, которым привязывают косу к ручке»; 8. шарак «остріе, зубец вил»; 9. шорпы, шорпаки «колючки, сучки, наконечники вил».

§ 10. Три первые слова являются названиями целых предметов, но как раз в отношении их имеются особые условия заимствования, — особые условия способствовавшие вхождению и закреплению этих слов в русском языке. Для курика необходимо отметить существование этого слова и в значениях: «палка с толстым концом», «цилиндрической формы кусок дерева, прикрепленный к снасти, чтобы она не заедала ил», причем первое значение существует в той же местности, где употребляется и курик «род деревянного молота»; в той же самой местности имеется еще слова курица «загнутый конец балки на котором лежит желоб для стока дождевой воды»; здесь же слово курик употребляется (наряду с лопарь) в значении «рыбка: бычек подкаменщик». Таким образом, здесь налицо условия омонимии, отчасти каламбурного характера (курица с одной стороны не могло не связываться с обычным словом курица, с другой стороны рядом с курик «палка, молот» есть также курик в значении рыбы; наконец курица является формально «женским родом» к курику). Несомненно отмеченные обстоятельства способствовали закреплению слова курик в говоре данной местности.

Название кокица, по мнению Kalima, является заимствованием из карел. kuokka, люд. kuokk, вепс. kok «hacke»; если даже согласиться с Kalima, то несомненно, что утверждению этого слова в русском языке способствовало существование в соответствующих говорах глагола кокать, кокнуть и существительного кока «легкий удар» (Куликов «Словарь обл. Олон. наречия», Спб. 1898. s. v.); русская суффикация этого слова показывает, что оно введено в лексический русский материал говора. Наконец, слово брюза. Kalima справедливо считает это слово

заимствованием из корельск. briuza (ibid.), которое в свою очередь заимствовано из русского приуз «цеп, молотило»; уже это одно обстоятельство показывает насколько неосторожно здесь говорить о заимствованиях самого предмета (и лишь в связи с этим слова). Кстати «приуз» существует в Олонецкой губ. в разных вариантах: приуз, привуз, приүус, привуз, приуздь и даже припузно; самое многообразие форм для значения «цеп, молотило» показывает, что это слово не является предметом широкого обмена и, следовательно, подвержено заменам. В отношении проникновения этого слова в русский язык также могло иметь значение звуковое сходство («приуз» — «briuza»).

§ 11. В отношении заимствования частей хозяйственных предметов мы опять таки не можем предполагать факта культурного влияния финнов, в смысле заимствования каких либо усовершенствований и т. п. Это очевидно по самому значению заимствованных слов и явствует также из более детального рассмотрения материала. Здесь на лицо либо замена своего названия чужим в порядке замены неустойчивых элементов словаря, либо новообразование, которое могло идти по линии своего материала, а при наличии «под рукой» чужого — могло осуществляться в порядке заимствования. Так обстоит дело со словом лудега; сравните по этому поводу олон. окосье и «косьё» с тем же значением, между тем, как в архангельском косье и криули значит «рукоять косы» (Подвысоцкий, 72), для какового значения в олон. имеется косьявище (Куликов, 42). Принадлежность этих слов к неустойчивым бросается здесь в глаза (налицо и некоторая пестрота терминологии). Аналогично обстоит дело и со словом кавзак (ср. олон. косорь «пренебрежительно зовут затупленный нож», арх. и олон. тупик) (Подвысоцкий и Куликов, s. v.). Особенно ясно отсутствие заимствования подробностных realia на случае олонецк. арх. кпижа, которое заимствовано из карельск. küñži «гвоздь» (вообще); зато карельск. kiñša, со значением тожественным с русским, само заимствовано из русского кпижа.

Общая картина здесь такова: в области хозяйственных орудий финским «влиянием» затронуты подробностные термины, в порядке замены или новообразования, как неустойчивые терминологические места.

Не касаясь подробно в связи с затронутыми выше вопросами остального лексического материала Kalima, я отмечу, что заимствования аналогичного типа мы можем ожидать также в названиях из области домашнего обихода, названиях кушаний и т. п. (см. § 17 и § 6 наблюдения Зеленина и Волоцкого). Частное исследование, которое здесь могло бы быть осуществлено, должно было бы считаться с этнографическими данными, разграничивая возможные случаи заимствования «вещей» от замены и новообразования в области этих категорий, как терминологически неустойчивых (хотя и «относящихся к хозяйственной деятельности», но не являющихся предметом широкого языкового обмена).

V.

§ 12. Случаем замены слов, может быть, чаще всего затрагиваемым в литературе является эвфемизм (вежливости и суеверия); указывалось также и на связь эвфемизма с заимствованием. Сравним, например, Vendryes («Le langage», 257 стр.): «l'emprunt étranger atténue la brutalité de la chose qu'on veut exprimer; il joue le rôle d'un euphémisme»; ср. также Фасмер («Введение в языкознание» Петроград, 1917, стр. 318), который указывает на заимствование - эвфемизм под влиянием боязни. В нашем материале есть случаи заимствований - замен, которые имеют определенную связь с эвфемизмом («вежливости» и суеверия). Сравните, например, олон. калкачи «яички всякой мужской особи, а также и сама мошонка» (при олон. асаром, калаши в том же значении), олон. репаки «менструации», олон. няня, няни «соски, грудь женщины», олон. вергой («пой в вергой — пойди к черту»), олон. лембой «черт» («лембой тебя возьми»).

§ 13. Нужно оговориться, что говорить в этих случаях об эвфемизме можно лишь в условном обычном значении этого термина; подкладкой замены в некоторых случаях, считаемых «эвфемизмами», может быть как раз не эвфемизм, а скорее какофемизм. Какофемистическое (грубословное) происхождение заимствования - замены возможно в слове няня (при наличии здесь известной каламбурности); оно очевидно для таких случаев как олон. кярзя «морда, челюсти животного, рыло, свиной пятачек, губы («кярзи брать» = «целоваться», «подойди сюда так я те кярзю всю выволочу»), турба «морда у кошки и собаки; о лице: турбу то утри». /Вообще нужно иметь ввиду, что эвфемизм есть явление очень условное, и мы можем себе представить с одной стороны такое общество, где вовсе не «неприлично» назвать своим именем женскую грудь, а с другой стороны такое, где и слово «нос» неприлично (ср. Brunot «La pensée et la langue», Paris 1922, стр. 82). В обществе первого типа замена и может быть связана с шуткой, с своеобразной языковой игрой, но не с «вежливостью» и «приличием», с какофемизмом, а не с эвфемизмом. Точно решить вопрос может лишь обследование на месте.

§ 14. Особенно хочу подчеркнуть, что момент эвфемизма может быть связан с заимствованием названий некоторых животных и птиц, с которыми в представлении населения соединяются те или иные суеверия или боязнь, вызывающая суеверный страх. Известно, что ночные животные (филин, сова, летучая мышь) часто связываются с суевериями (Сравнить Клингер, «Животные в античном суеверии», стр. 89); то же самое можно сказать о хищных птицах вообще (о. с. 76 сл. и олонецк. габук «ястреб»), о дятле (о. с. 94—5), о ящерице (о. с. 154). Конечно, точно установить в каждом данном случае зависимость заимствования - замены от эвфемизма суеверия можно только оперируя соответствующим этнографическим материалом. Здесь я этим заниматься не могу, так как не ставлю себе цели частного исследования по заимствованиям.

VI.

§ 15. Вопроса о замене слов, и притом, насколько мне известно, впервые в особенно отчетливой постановке, касается Vendryes в уже упоминавшейся книге «Le langage», где глава «comment les notions changent de nom» противопоставлена им предыдущей главе: «comment les mots changent de sens».

Отмеченные Vendryes'ом фонетические причины замены не имеют прямого отношения к теме моей заметки, за то некоторые семантические причины могут быть применены к нашему материалу и как раз к той его части, которая нами еще не затронута.

§ 16. Отмечая группы значений, которые особенно вызывают замены, Vendryes говорит: «tous les mots qui sont plus ou moins des mots expressifs sont exposés aux affaiblissements de valeur qui entraînent des renouvellements» (стр. 253); Vendryes, употребляет термин «l'usure de mots» и указывает, что «l'emploi fréquent use les mots aussi bien dans leur sens que dans leur forme; et surtout s'il s'agit de mots éxpressifs, la valeur expressive s'attenue rapidement à l'usage. Le mot devient terne et fruste. Quant il s'agit par exemple d'exprimer les émotions de l'âme, on voit les mots les plus forts tomber peu à peu en discrédit et finalement sortir d'usage, parce qu'ils ne sont plus éxpréssifs (o. c. стр. 252; курсив мой). Нисколько не отрицая той постановки вопроса, которую дает Vendryes, я бы хотел дать еще дополнительную формулировку, а именно: некоторые значения, или эмоциональные по своему существу, или употребляемые в эмоциональном «контексте», постоянно обрастают в языке синонимическими и синонимообразными группами слов, при этом отдельные синонимы могут и сосуществовать в языке таким образом, что фактической замены, фактического вытеснения одним синонимом другого может и не быть.

Именно этот факт, как мне кажется, иллюстрируют материалы Зеленина, сообщенные им в работе «Отчет о диалектологической поездке в Вятскую губ.» (Сборник ОРЯС; том 76, № 2, стр. 15—16).

§ 17. Зеленин также касается вопроса об устойчивых и неустойчивых элементах лексики, но не в плане историческом, а в плане наблюдения над живым языком говорящих. В этом отношении «строго устойчивыми являются собственно одни термины-названия различных орудий и других предметов домашнего обихода. Во всем прочем каждый, можно сказать, говорит по своему, пользуется своими словами и выражениями; даже более: в каждом данном случае употребляются часто иные слова-синонимы, по сравнению с точно таким же следующим случаем. При переспрашивании (повторении вопроса по недослышке ответа и т. д.) крестьянин очень редко ответит теми же самыми словами, что в первый раз, а всегда новым оборотом речи. На этой почве в народном языке мы встречаемся с поражающим богатством и разнообразием синонимов. Для выражения понятий: ударить, бить, есть, говорить, врать, и множества других существует по нескольку десятков синонимических слов». (о. с. 15). Зеленин приводит и примеры таких «синонимов», например, для слова «говорить»: балесить, балентресить, бачить, баять, калякать, талалакать и т. п. (всего пятнадцать «синонимов»). Нужно заметить, что употребление термина синоним здесь возможно лишь с оговоркой, скорее следует говорить о синонимообразных словах в пределах данного значения («семантические дивергенты»). Зеленин говорит также о богатстве синонимами некоторых названий предметов домашнего обихода, но подчеркивает, что здесь названия варьируются лишь по разным местностям: «в каждой данной местности... они устойчивы и прочны», т. е. в данном случае мы имеем пестроту терминологии на данной территории, о которой мы говорили выше, связанную с устойчивостью и неустойчивостью лексической системы в ином смысле. Наконец, Зеленин указывает и грамматические категории слов-синонимов

типа «говорить—балесить» и пр.—это глаголы и прилагательные (о. с. 16); именно эти категории «варьируются в зависимости от каждой личности и данного случая (обстановки разговора в широком смысле этого слова)».

§ 18. Таким образом, мы можем сказать, что в категории выразительных и изобразительных («картинных») слов, наряду с существующими словами, постоянно имеют тенденцию возникать новые слова, которые либо более энергично и свежо удовлетворяют выразительным эмоциональным заданиям речи, либо по новому «изображают» данное представление. Эти новые слова либо могут заменить старые, либо сосуществовать с ними в языке и использоваться по мере надобности.

В этих категориях слов происходит перманентное обновление, которое может осуществляться и за счет своего языкового материала и в условиях взаимодействия с иноязычным населением, за счет иноязычного.

В пределах нашего материала по этой линии могут быть объяснены группы заимствований, как раз принадлежащие к изобразительным и выразительным словам. Сюда подойдут случаи из группы Kalima: «abstracta nomina und partikeln» (неточное название), как кирчажливый «скупой, бессердечный, безжалостный» (арх.); пикушной «маленький, невзрачный» (олон.) комбушки «четверенки», м. б. хай «опытность, опыт...» в поговорке «хаю мало — ума мало».

Сюда же пойдет большое количество глаголов (ср. выше замечание Зеленина о прилагательных и глаголах).

§ 19. Kalima отмечает свыше шестидесяти глаголов, заимствованных из финского в наших говорах. Из этих глаголов всего девять имеют хозяйственное значение: пёхтать «zu Butter schlagen», раготать «Fische fangen»; рибать «Flachs riffeln», ровгать «толочь в ступе, очищать зерно от шелухи», торбать «хлопать по воде особой толкушкой при ловле рыбы», урдовать «промышлять охотой лесную дичь», шингать «разделять лен на части, на пласты», юдать «покрываться льдом» «когда

вода станет юдать, зимний невод чинит»), и ямовать «ставить две сети в одну».

Остальные глаголы, за немногими неясными исключениями, целиком входят в категорию изобразительных и выразительных (эмоциональных), а иногда соединяют оба этих признака. Отмечу некоторые примеры[1].

§ 20. а) Группа глаголов, связанных с звуковой изобразительностью: килядать «издавать высокие звуки» («наперед покилядают в маленьки (колокола), а потом и в большой бунгопут»); колкать «стучать запором, задвижкою; стучаться в двери»; вилайдать «журчать»; виньгать «визжать»; корандать «квакать»; ку́ккует «кукует»; лобандать «стучать, шуметь, (кричать, говорить громко)»; мялайдать «блеять, мычать, громко кричать, плакать»; мярандать «brüllen, schreien»; рехкать «grunzen», ручападать «грызть, хрустеть»; ряжандать «хрустеть, трещать, греметь»; урандать «brummen, heulen, weinen, rieseln»; чибарить «щебетать...»; чиландать «звенеть»; черандать «журчать»; чуландать «журчать»; шолендать «шуметь, трещать, булькать»; юрандать «шуметь, громыхать, ворчать...».

§ 21. б) группа глаголов, связанных с значением «говорить» и вообще с человеческой речью и звуками ее.

В связи с этой группой нужно иметь ввиду следующее замечание Vendryes'а (o. c. 254): quand une chose ou une idée sont de celles qui suggérent en dehors de leur valeur propre nombre de valeurs secondaires, differentes suivant les milieux et les circonstances, il faut s'attendre à trouver pour elle dans le langage des expressions variées. Ainsi l'argent... (ср. олонецк. рага «Geld»)... L'idée de parler aussi à cause des sentiments variés qu'elle éveille. Le verbes qui signifient parler s'usent rapidement...».

[1] Оговариваюсь, что нижеследующее группирование слов имеет чисто условный характер, тем более, что по самому существу здесь очень трудно установить точные границы, да и по значениям некоторые слова могут быть отнесены в разные группы.

Приведу материал.

Каландать «schnell sprechen»; также «klopfen, schlagen»), арандать «ворчать, ругаться, повторять арр... арр...»; бурандать «ворчать»; виньгаться «просить умиленно, умаливать, канючить»; кярядать «говорить охрипшим голосом, хрипеть»; лекотать «murmeln, schnell sprechen, undeutlich sprechen»; лявзать «болтать, разглашать тайну»; малтать «говорить, толковать, понимать, смыслить, разуметь»; нюгандать «тихо говорить, мямлить, гнусить, ворчать потихоньку, говорить непонятное, непонимать»; нявгать «мяукать, говорить в нос, надоедать разговорами»; пирзать «плакать»; пужандать «тихо говорить»; равайдать «плакать»; уландать «heulen, heftig weinen»; чапжать «невнятно говорить, надоедать разговорами, пустословить; тихо, медленно есть, делать что либо»; шабандать «тихо говорить, делать что либо: ворчать, производить шелест, шум; искать, копаться».

§ 22. в) разные глаголы, подходящие под разбираемую категорию: аимиштать «спать не закрывая рта, судорожно вздрагивать от сильного и долгого плача, глотать слезы, подавиться»; кавать «понимать дело, уметь его вести; быть в страхе, в неприятном ожидании, (большое количество синонимов для слова «понимать» — общеизвестно; ср. выше малтать); кехтать «verstehen, können, zu etwas Lust haben; mit Mühe arbeiten...» кивиштать-ся «кончить, кончиться; сильно устать»; кобандать «etwas langsam machen, langsam gehen; zögern»; кубандать «чесаться, скрести себя»; мурдать «мять, комкать, истязать, мучить»; парандаться «бороться, состязаться, наряжаться франтом» (при парандать «готовить, устанавливать что либо, заряжать, настаивать»); пирдать «зря, небрежно, неумело что либо резать, рубить; комкать, портить; тихо ехать»; рибандать «бежать труском, трясти лохмотьями»; рымбать «mit d. Füssen einsinken (in den Morast), im Schnee waten; im Kot patschen...»; рындать «то же»; сурустать «немного поесть; закусить» (большое количество «синонимов», связанных с понятием есть—

общеизвестно; ср. выше чанжать), сярандать «дрожать от холода, страха; трусить, не решаться»; хайкать «зевать»; чирандать «течь помаленьку»; чихкать «быть больным».

§ 23. Остальные случаи либо сомнительны, как заимствования, либо не ясны с точки зрения ratio заимствования (т. е. в смысле отнесения их к этим именно группам): галубать «сильно желать», горготать «laut unbändig lachen; wieren»; гормоветь «покрыться плесенью»; кебовать «heilen, zaubern, wahrsagen»; корайдать «холодать»; кячкать «hauen, fällen»; (см. Kalima под соответствующими словами).

§ 24. Таким образом, подавляющее большинство заимствованных глаголов принадлежит к выразительным и изобразительным или употребляющимся в эмоциональном контексте; многие из них по отношению к «основным» словам данного типа, являются как бы «прозвищными»: подобно тому как в связи с одним лицом возникает несколько прозвищ приходящих на смену или возникающих рядом с другими, потому что те или выветрились и стали недейственными, или не освещают, не характеризуют данное лицо с той стороны с какой это нужно в данном случае, — подобно этому возникают синонимообразные слова в связи с некоторыми значениями; как не всякое лицо вызывает возникновение прозвищ, и притом не в одинаковом количестве, так и не всякое значение обрастает синонимообразными словами и также, если обрастает, то не в одинаковом количестве. Вопрос этот, конечно, требует особого исследования. Моя задача была лишь указать на самый факт и связать его с явлением заимствования.

VII.

§ 25. Вышеизложенное можно резюмировать следующим образом:

1. Словарное заимствование в ряде случаев не есть результат заимствования понятия или предмета.

2. В ряде случаев словарное заимствование осуществляется, как замена своего слова чужим, входя в категорию явлений, изу-

чаемых Vendryes'ом под рубрикой «Comment les notions changent de nom».

3. При прочих равных условиях, замене-заимствованию подлежат неустойчивые элементы словаря, т. е. термины не имеющие непосредственного отношения к хозяйству или не являющиеся предметом широкого языкового обмена, а также, быть может, подробностные термины.

4. Заимствование может определяться теми же факторами, что и эвфемизм (и какофемизм).

5. Комплектование синонимообразных групп, возникающих в языке в связи с изобразительными и выразительными словами может осуществляться не только путем использования своего материала, но и через словарное заимствование.

6. Словарное заимствование далеко не всегда является фактом пассивным в отношении заимствующего языка, часто (особенно соответственно п. п. 4 и 5) мы имеем дело не столько с «влиянием» чужого языка, сколько с экспансией языка заимствующего, с своеобразным лексическим «захватом».

Л. Якубинский.

Проект словаря русской этнографической диалектологии.

Русское языкознание, развиваясь в направлении, вытекающем из самого хода развития науки о языке, стремящейся, естественно, в первую очередь овладеть наиболее простой и в то же время устойчивой стихией языка, достигло больших результатов в области разработки звуковой и формальной стороны языка и в ее применении к вопросам русской культуры. Но, разумеется, русская лингвистика не ограничивала свою задачу выяснением одной внутренней, звуковой истории слов и форм, она понимала, что жизнь языка находится в тесной связи с другими проявлениями общественной жизни людей, — народ выражает себя всего полнее и вернее в языке своем, — и что для полного понимания жизни языка необходимо параллельное изучение всех сторон, т. е. стороны звуковой, физиологической, психической и социальной только до сих пор эти разные стороны изучались далеко неравномерно, и меньше всего уделялось внимания именно социальной стороне языка. Вместе с последней в качестве очередной задачи выделяется русским языкознанием этнологическая лингвистика, по другому — этнографическая диалектология, стремящаяся изучать язык в связи с вопросами этнографии, как «народоведения», археологии и истории, и своими преимущественными интересами примыкающая к тому направлению, которое сосредоточивает свое внимание на вопросах живого изучения языков. Таким образом, это направление научной мысли у нас в существенных чертах совпадает с той «лингвистической географией» западных стран,

которая с помощью критериев географических и социальных, народной психологии, лингвистических документов древних и новых стремится восстановить историю слов, всяческих креатур и трансформации, распределение и группировки в жизни и борьбе слов.

Проектируемый словарь, задуманный в порядке опыта [1] при изучении терминологии, относящейся к предметам материальной культуры и бытовым названиям центральной и северо-западной областей Великороссии, как видится, будет укреплять позиции этнологической лингвистики, — вот его внутреннее оправдание.

1. Всякая сущность познается в обстановке; слова, как индивидуумы, также имеют свои привязанности к земле-грунту; та борьба, которая случается между ними, имеет место не в метафизических облаках, но в той или иной местности, как это видно по стратиграфии терминов, поэтому при познавании их нужно считаться с местной психологией, обстановкой и изучать историю слов параллельно с историей вещей; для понимания всего этого нужно вникнуть в стихию психическую и социальную. Отсюда — изучать язык этнографии, значит изучать в то же время самые вещи, предметы и явления путем объяснения специальных терминов.

2. Не отрывать «слова отъ вещи» (требование Р. Мерингера) имеет большое значение для отыскания этимологии слова. Чтобы освоиться с естественностью раскрываемого разнообразия значения корня иногда в одних и тех же формах, корня, принимаемого не в «ботаническом» смысле и отыскиваемого под землей: это труд неблагодарный и часто бесполезный, и выводы из таких разысканий бывают более плодом увлечения, чем вновь открытых истин, а в реально житейской обстановке, при обстоятельствах, способствующих различению значений и вещественных отношений (термин Гуссерля) или, что тоже, — различению реальных и концептуальных значений, с одной стороны, и значения и внутренней формы — с другой, — для всего этого надо усвоить народное ми-

[1] В связи с работами Верхне-Волжской Этнологической Экспедиции при Акад.-Истор. Матер. Культуры.

ровоззрение, и это тем более необходимо, что слова часто вступают в соединения, ассоциируются и вызываются к жизни в обстановке вещей. Пример: «предписывается вам немедленно, в 3-х дневный срок, дать сведения о племенном народе; выяснить количество племенных мужчин и женщин» (распоряжение председателя сельского совета на нашу анкету выяснить племенной состав населения в Залужской вол., Весьегонск. у., Тверск. губ.). Логический ход ассоциации ясен: племенной бык, племенная корова— дают хороший приплод; за войну народа убито много, забота о приплоде — естественна, тем более, что некоторым категориям населения выдавался усиленный паек. Еще проба: история слова «наказание» есть несомненно и история уголовного обычая. «Наказание» первоначально значило — поучение — или имело значение близкое по значению этого слова. Затем оно означало — домашнее.наказание; и в настоящее время выражение «поучить детей» значит — наказать детей; точно также выражение «поучить вора» значит применить к нему домашнее наказание: поколотить, посечь его, т. е. наказать его так, как наказывают детей и вообще членов семьи. Затем, переходя к тому значению, которое имеется в настоящее время, слово «наказание» становится понятным.

3. В сфере языка имеют место одновременно две стихии: естественно-логический процесс мышления и органически с ним связанный, от него неотделимый речевой процесс. Исходная позиция того и другого процесса по природе своей социальна, колыбелью ее служит улица, быт, — отсюда предпосылками языковых явлений служат вполне определенные причины: утилитарная заинтересованность народа, факторы социальные, хозяйственно-бытовой уклад, этническая особность, географическая среда и пр.

4. При поверхностном знакомстве с народными говорами разных уездов, иногда волостей и более дробных местностей легко заметить весьма интересное различие в наименованиях одних и тех же предметов. Так, напр., в одной местности говорят: ухват, сковородник, уполовня; или остро́в, па́сонки и т. д., а на

расстоянии нескольких верст те же предметы называются: подъём, чапе́льник, чибалда́; стожа́р, прико́лки и пр. Палка, которою колотят «платье» (белье) во время полоскания в реке, соответствующая по назначению, «коршаге́» (в некотор. уу. Новгородской губ.), называется в Шунгенск. и Мисковск. вол. Костромск. у. «лопто̀й», а в районе Сандогорском и некотор. деревнях соседнего Буйского у. она же назыв. «валько̀м»; приколки к «стожа̀ру» в Шунгенск. вол. назыв. «отно̀ги», в Вёжах (той же вол. на расстоянии 10 верст) — «растóжья», а на севере Костромск. у. «прико́лки»; пастьба для скота носит название «вы́пуск» (в Шунге, Костромск. у.), а в 12 верстах — «вы́гон» (Куликово); разбивка домохозяев на группы при пользовании земельными угодиями, носит наименование «квито̀к» в дер. Вёжи, Костромск. у. и «десяток» — в северной части того же уезда и в Буйском уезде и т. д. и т. п.

Иногда эта граница до странности резко обрывается и распространенность слова в диалектах по данным лексикальных параллелей и совпадений иногда принимает удивительную затейливость, и тогда, чтобы проследить географическое распространение слова, приходится допрашивать историю, так как рядом с географическими условиями в игре стратиграфии участвуют факторы социальные, бытовые, этические. Совсем в смежных деревнях Щербовск. вол., Весьегонск. у., в разброску отмечаем, с одной стороны: «распашни́к», в другой, соответственно — «бпашень»; «фата̀» = «шаль», «пони́ток» = «кафтан»; «моцбнки» = «волнухи»; «страки́ва» = «крашва»; «упря́жка» = «уповод»; «позе́м» = «навоз» и т. п. По этим лексикальным разницам, настолько они определенно выражены, без других этнографических примет, можно безошибочно определить этнические особности, — население с первым рядом слов — «Пушкарѝ», когда-то крепостные Мусина-Пушкина, повидимому переселенцы, второй ряд слов — более общеуездного масштаба.

Здесь этнографическая диалектология наряду с разрешением чисто языковых проблем получает еще другое значение: она ука-

зывает на происхождение и сродство поколений. Если разделить все слова, соответственно предметам и явлениям ими выражаемым, на группы, то легко заметить следующие характерные особенности: во 1-х, странно поражает, что некоторые весьма обыкновенные предметы домашнего обихода имеют много синонимических названий, напр., ватру́шка — колюба́ка, куже́нька, тобо́лка, кули́чка и т. п.; или корзи́нка: зобе́нька. плету́шка, кошо́лка, набирка, поро́цка и пр.; полоте́нце — по́лка, рушни́к, ути́рка шири́нка, косынья́, крю́шник и т. д., и т. д.; во 2-х, наблюдаемое разнообразие в наименованиях предметов касается больше предметов домашнего женского хозяйства или народной терминологии по промыслам и занятиям, а такие слова-названия, как «оглобля», «дуга», «чека» и пр. будут одинаковы и поняты чуть ли не на всем обширном пространстве коренной России. Такой параллелизм наблюдается и во многих других областях. Насколько богат народный язык словами для выражения житейских отношений или характеристики, иногда чрезвычайно меткой, внутренних и внешних свойств человека или домашнего животного, настолько же он беден словами, служащими для названия мелких животных и растений, не имеющих непосредственного отношения к хозяйству и т. д.

Во многих таких различиях отразились условия и влияния исторические, племенные и культурные, наложившие свой отпечаток на жизнь и живую речь населения. Так, напр., простого сопоставления Костромских названий (Костромск., Буйский уу.): 1) пелёд (приделок, заслон у овина), 2) тябло, 3) зыби́ло ‖ бчеп (у зыбки), 4) скрой, 5) ко́чет, 6) козляки́ (род грибов), 7) висю́ли, 8) поса́д, 9) би́льцы, 10) ка̀лега,‖брюква, 11) пере́метник, 12) игла для вязания сетей), 13) че́мер, 14) кумыха́ и т. п. с соответствующими названиями Череповецк. у., Весьегонск. и Бежецк. уу. (Тверск. губ.) и в смежном с Костромской губ. Даниловск. у. (Яросл. губ.) — 1) при́пель (Тверск., Чрпвц.)—пеле́д (Ярслв), 2) божни́ца, 3) бцеп (у зыбки), 4) ломоть (хлеба), 5) пету́х, 6) векшари́ (Чрпвцк.) — козляки

(Тврск., Ярслв.), 7) ви́цы (Чрпвцк.) — вису́ли (Ярслв.), 8) покла́да (Чрпвцк., Тврск.) — поса́д (Ярслв.). 9) ро́спуски (Чрпвцк.) — пя́лы (Ярслв.), 10) брюква (Чрпвцк., Тврск.) — ка́лега (Ярслв.), 11) череседе́льник (Чрпвцк., Тврск.), 12) кле́шка (Чрпвецк., Тврск.) — игла́ (Ярслв.), 13) но́готь (болезнь у лошадей), 14) тресу́ха (Чрпвцк.) и т. п. достаточно, чтобы заметить, что западная часть Костромск. губ. в отношении хозяйственномъ и культурно-бытовом ближе стоит к смежным частям Ярославск. губ., нежели к указанным районам Череповецк. и Тверск. губ. Для многих явлений, касающихся стратиграфии терминов, синонимики, этимологии и пр. найдутся объяснения в области лингвистической психологии, так — притяженпе происходит всегда в пользу слова более крепкого, здорового, наиболее часто употребительного и которое опирается на семейство более многочисленное или относится к группам, — в роде дней недели, которые во всех говорах одни, — крепко ассоциированным в сознании через порядок хронологический; некоторые явления зависят от народной психологии: человек обозначает в своем языке то, что его интересует с точки зрения утилитарной, и особенно то, что относится к его занятиям; как бы, напр., язык народный мог дать специальные названия тысячам различных видов насекомых, жуков и пр., он, естественно, отметит 10—15 типов наиболее частых и характерных, а остальные назовет общим именем: «бука́ха», «мураша́» и пр. В общем объясняется для многих случаев и факт скольжения значений; напр., для частей тела, одежды, предметов домашнего обихода, пород растительных и пр., очень ясные понятия «руки», «щеки» и т. д. в целом, трудно определимы в частях и границах; в самом деле, как в точности определить, — где кончается рука и начинается плечо, или в каком месте математически щека делает переход к подбородку и т. п.

5. Будучи одним из наиболее достоверных источников для уяснения интеллектуального и хозяйственного состояния той или другой исторической эпохи, язык в своем содержании является могучим, порой единственным орудием для распознавания фактов

истории культуры. «По своей древности он ровесник первых человеческих могил, костей, орудий, но по своей выразительности он далеко превосходит эти немые следы человеческого прошлого». Но особенную культурно-историческую ценность языку придает то обстоятельство, что он не обладает такой изменчивостью, как представления, понятия и вещи, которым он должен дать звуковое выражение. «Он стоит по отношению к понятиям и вещам в таком же приблизительно отношении, как обряд, обычай по отношению к верованию; верования меняются, исчезают, обряды, соответствовавшие им когда-то, остаются. То же явление происходит и с языком, в языке есть свои переживания, подобные тем, которые заключаются в обрядах».

Сказанным в значительной мере определяется состав нашего словаря, круг вопросов, распределение в нем материала и метод изложения. При этом думается, что самой удобной формой для изложения изысканий этнологической лингвистики, как в смысле изучения языка, процесс развития которого до сих пор заключает в себе много не поддающегося точному анализу, так и в смысле прикладного применения лингвистических данных и добытых посредством их выводов к целям исторической географии, этнографии, народной психологии и к вопросам русской культуры, является форма словаря, и не только в начальном периоде нового лингвистического направления, предусматривающем в первую очередь меры и способ накопления и собирания материала для лингвистической географии, но и по существу требования научной мысли, находящей лучшее осуществление своих задач в развитии лексикографической работы.

Состав словаря и круг его ведения. Этнография восходит к общим понятиям о составе и распределении человеческого рода не иначе, как посредством рассматривания и соображения всех оттенков его народного разнообразия, так явственно и определительно выражаемого разнообразием языков. Еще больше интереса для этнографии представляют те изыскания, посредством которых в языке открываются памятники внутренней истории

народа, слова, как свидетели народного быта в разные периоды его развития. Отсюда понятно, что, предназначенный служить преимущественно задачам и целям лингвистической географии, словарь русской этнографической диалектологии лексический запас свой устанавливает из местных и областных слов, названий, выражений и терминов в рамках материальной и духовной этнографии и народного быта в целом, и в системе фактов, определяющейся этнографией с одной стороны и словом, как выражением, с другой. В частности его разнообразные отделы составляются: из слов и названий по отраслям народного труда и знаний, занятий, промыслов, ремесл и отдельных отраслей человеческой деятельности, с относящимися к ним орудиями производства и самих предметов производств, инвентарем и технической терминологией отдельных частей и приспособлений; из терминологии сельского хозяйства во всех его явлениях, действиях и моментах: земледелия, скотоводства, огородничества, птицеводства, животноводства, садоводства и пр., с видами отдельных работ: пашни, сенокоса, жнивы, молотьбы, сéва, пóлки, пáра и т. п., во всех стадиях исполнения, с названиями участков обрабатываемой земли и пр. т. под., из слов и названий, употребляемых на охоте, при рыбной ловле, при занятии пчеловодством и т. п.; при домашних работах и домашнем обиходе: стирке белья, ткачестве с названиями «домотканины», пивоварении, шитье и пр.; из терминологии, обнимающей разные промыслы, ремесла и рукоделия с названиями отдельных частей, приспособлений, самих профессий («швец», «чоботарь», «черепан-гончар») и т. п.; домашней утвари, убранства, хозяйственных принадлежностей, посуды и разных сооружений; различных средств передвижений по земле и воде, касающихся судоходства и судостроения, а также средств и способов переноски, названия упряжи и т. п.; из слов и терминов, распространяющихся на жилище, — с указанием на способ постройки: «в обло», «в лапу», «сковородником», на материал и пр., — на хозяйственные постройки и сооружения, названия составных частей избы, надворных построек, частей печи, разного рода укра-

шений построек и т. д.; из названий мужской и женской одежды и обуви летней и зимней, будничной и праздничной, головных уборов и пр.; из названий кушаньев и напитков в разные моменты жизни с указанием способов приготовления и употребления, накрытия стола и т. д.; из названий домашних животных, зверей птиц и рыб, насекомых пресмыкающихся и пр. с характеристикой их качеств в названиях; из названий возделываемых полевых и огородных растений и трав, частей этих растений в их естественном виде и в виде обработанном; из названий деревьев, кустарников, цветов, трав, ягод, грибов и пр., с указаниемъ особых представлений с ними связанных и т. д. и т. д.; словарь русской этнографической диалектологии в свой состав включает слова и речения, указывающие на образ воззрения людей на природу и на самих себя, предусматривая здесь обозначения и пародные выраженяя для названий и понимания понятий: небо, земля, душа, взгляд на судьбу, счастье, счет, число и пр., также душевных аффектов — страха, радости и т. п.; явлений природы, времен года, признаков погоды и пр., а также особенные названия для времен года, месяцев, недель, дней, морозов, признаков погоды и других терминов метеорологии и народного календаря; слова, относящиеся к естествознанию: анатомии и физиологии животных и человека и средствам народной медицины; в словарь включаются из местных областных названий особые обозначения для деревни, частей села, участков и способов владения землей, названия дорог, мостов, изгородей и их частей; далее, словарь подвергает анализу и слова, обозначающие юридические понятия, напр., собственность, заем, преступление и т. д., также речения, относящиеся к быту юридическому, религиозному, семейному с народной педагогикой, общественному (напр., «рука» вм. поручительство, «разуть ноги» вм. выйти замуж и т. п.); названия родственников близких и дальних, должностных лиц, видов взаимопомощи и пр.; названия явлений духовной жизни и быта населения, как-то слова и выражения, употребляемые при сватовстве, на свадьбе, при обрядах, рождении, по-

хоронах и пр.; названия игр и народных развлечений; слова обозначающие церковные предметы, обряды; названия местных, заповедных праздников, постов; названия духов, обитающих по народному поверию в домах, в банях, в воде, лесах и пр.; названия, связанные с колдовством, ворожбой, нашептыванием и т. д. и т. п.; в круг ведения словаря входят также изобразительные выражения для обозначения времени, пространства, высоты, веса, количества и пр., (напр., «куры» или «пение петухов» вм. рассвета, «богато» в смысле «много» и др.), также бытовые названия — «у́повод» — «упряжка», «зало́га» (отдых, перерыв в работе) и пр., образцы вежливости и разных приветствий, в роде: «беленько вам» (при стирке белья), «море под коровой» (дойни́це), «топенько-долгенько» (пряхе) «мир доро́гой» (путнику) и т. д. и т. д.; в состав словаря входят словари и жаргоны разных профессий: шерстобитов, лирников, охотников: языка нищих, воров, маклаков и пр. с их характеристикой в местном понимании, также слова и термины разных слоев и групп населения, с указанием в каком, какие и насколько употребительны (у крестьян, ремесленников, приказчиков, должностных лиц и т. п.); слова и названия, ведущие к учету географическо-этнической номенклатуры и топоники и т. п. Война и особенно революция, за время которой языковая энергия проявилась с особенной силой и полнотой, — два крупнейших события нашего времени, разумеется, не прошли бесследно для местностей. Новые формы жизни, быта, общественных и политических отношений, просветительной работы и пр. отразились прежде всего в языке, как самом чутком барометре житейских отношений. В народ спустилась масса новых понятий, слов, а в «меновой период» и новых для деревни предметов и вещей; включить в состав словаря лексический материал (применительно к своим статьям), полученный от войны и революции в народном понимании и употреблении, представляется также необходимым.

Вот приблизительно те границы, в которых размещается состав словаря русской этнографической диалектологии. Едва-ли

нужно особенно оправдывать и доказывать его отделы. Так, напр., очевидно значение языка земли, как назвал Надеждин словесный материал, представляемый именами и названиями рек, озер, гор и населенных мест, для определения этнологических отношений в их прошлом, а зачастую и в настоящее время; от анализа этого материала можно ждать разрешения многих вопросов, касающихся древнейших судеб русского племени, времени и путем расселения его, так и соседящих с ними в России племен и народностей, колонизационных движений и всяческих перегруппировок, определения многих других «частных древностей». Кроме того, топографическое имя почти никогда не бывает случайным и лишенным значения. «В нем по большей части выражается или какой-нибудь признак самого урочища, или характеристическая черта местности, или намек на происхождение предмета, или, наконец, какое-нибудь обстоятельство, более или менее любопытное для ума и воображения»; так, напр., известно, что высочайшие горы на самых разнообразных языках называются по имени покрывающаго их снега или его белизны: «Mont-Blanc» = белая гора; «Sierra Nevada» (в Испании) = снежная цепь; «Гималаи» = жилище снега или зимы; «Белуха» (в Сибири) и т. п. Конечно, большое число имен, по древности своего происхождения или по неизвестности языков, из которых они возникли, не могут быть легко объяснимы; но сколько еще остается таких, которых значение понятно или может сделаться понятным при помощи этнографической лингвистики и добавим, которой объяснение, раскрывая историю слова, место его возникновения, время жизни и отношение к самому мыслимому с ним предмету, может, наоборот, оказать большую услугу наукам: исторической географии, этнографии и народной психологии. Едва ли нужно доказывать значение для этнологии народной терминологии по народным промыслам и занятиям, также технических названий отдельных частей, приспособлений и т. п.; простое сопоставление наименований некоторых частей, напр., ткацкого стана или номенклатуры составных частей рыболовного невода

у м.-р. населения в соответствии с в.-р. (м.-р. «верстан» (ткацкий станок) = в.-р. «кроснá»; «блят» - «бéрдо»; «кóло» (передний навой) — «при́швица»; «трибок» (навой задний) — «колода» и пр.) указывает на другой совершенно источник и характер терминологии украинского населения и местностей великорусского севера, на разные условия и влияния исторические, племенные и культурные, наложившие свой отпечаток на жизнь и язык населения. Польско-немецкая культура узнается в названиях и терминах и украинских «бочаров». Словарь промыслов вместе с названиями местных праздников служит главным источником для сравнительного изучения так назыв. «частных древностей», источником, в котором искали и ищут разрешения вопросов о ходе колонизации. «О важности этого отдела достаточно сказать следующее: только зная, кто именно, с какими данными, пришел в известный край, можно судить о том, как повлиял на переселенцев новый край, чем они позаимствовались от своих соседей» и т. п. Терминология крестьянских построек в России и их отдельных частей довольна сложна; при этом в разных местностях те или другие помещения (жилые или для хозяйственных целей) или части их несут разные наименования. Поэтому для изучения истории развития построек представляется очень важным точно отметить употребляемые в разных местностях названия. И здесь сравнительно уже небольшой запас словарного материала может показать, что в местах северо-западного края: зáпечь, запéчье — означает простор хаты от печи к фронтонной стене, где помещается кровать-нары, тогда как в великорусском районе — зáпечь — обратный простор; или в том же северо-западном крае: куть, кут, куць — угол под образами, а в великорусских областях — кутний угол, кут — означает угол задний в большинстве местностей, кое-где (в некоторых деревнях, напр., Костромского у.) — угол против устья печи.

Сельское хозяйство, как и наука, имеет свою обширную терминологию, устрашающую незнающих множеством странных слов («суслóны», «гузóвья», «копнá», «колосники», «россоха»,

«трое́нье пашни», «лома́нье овса», «сыромоло́т», «повы́тка», «путе́ж», «запуск», «родники́» (у коровы), «перехо́дница» и т. д. и т. д.), которых верное применение узнать не так легко, как это кажется с первого взгляда, тем более, что сельское хозяйство заключает в себе несколько разнообразных предметов с терминологическим языком земледельца, скотовода, плотника, кузнеца, столяра, кожевника, купшера, пивовара, хлебопека, слесаря, маляра, глинника, угольника, копаля, смолокура, гончарника, бондаря, рыболова, бочара и пр. пр.; при сравнительном изучении этого громадного лексического материала устанавливаются культурные взаимотношения отдельных групп и народностей, реконструкции бытовых и хозяйственных условий жизни, много получается данных и для науки о языке. Народные названия сельско-хозяйственных орудий и других предметов отразили в себе историю этих последних, при чем весьма часто бывает, что это единственная, доступная исследованию история. Так только слово «соха» своим этимологическим составом определяет первоначальный вид нашего пахотного орудия, получившего свое имя «сохи» от развилья, раздвоенного конца: в старину русский книжный язык, а народ и теперь называет сохою всякое «развилье», всякий сук, прут, столб с раздвоением на конце», двумя рогами «зубьями»; не менее показательно значение терминологии в установлении развития земледельческой культуры: первобытный способ обработки — царапает землю, черкает = «черкуша» — пахотное орудие; другой способ — бороздит, пашет, увлекает взрыхленную, рассыпавшуюся при проведении борозды землю в месте собою = «соха» — пахотное орудие (ср. «пахать землю» и «пахать пол» — мести, также «отпаши́ кусок хлеба»); третий вид обработки — орет, т. е. отрезает сбоку, подрезает снизу, поднимает и опрокидывает (переворачивает) верхний слой почвы = «косуля», «плуг» — пахотные орудия; заключаем: «пахать» и «орать» способы обработки, когда-то различавшиеся; с появлением пахотных орудий второго разряда глагол пахать получил новое значение, стал почти синонимом глагола орать, но в неко-

торых областях сохранилось старое слово «пахать» и при новом орудии. Проследить географическое распространение этих терминов, своими названиями определяющих функции пахотных орудий и различные действия пахаря, а также ононимику этих слов — значит в то же время использовать эти факты для различных заключений о языке. Еще проба: у карел Бежецкого у. вид черкающего орудия называется цепуха́, любопытная трансформация слова «чепу́га» (пахотное орудие распространенное у соседей в.-р. в Вышневолоцком у.), определенно указывающая ударением и огласовкой на заимствование «цепухи́» карелами у соседей в.-р. и т. д. Присловья-прозвища интересны для этнологической лингвистики в том отношении, что они вместе с пословицами, поговорками географического содержания дают представление о сумме географических сведений народа и помогают установить исследователю деление народа на этнографические группы, не только более крупные, но и мельчайшие. «Установка этих групп — одна из трудных задач этнографии, но вместе с тем и важных; от точной установки этнографических групп должно начинаться всякое этнографическое и диалектологическое изучение местностей». Как народ сам себя делит, в чем видит свое отличие от других, в чем усматривает отличие жителей одной местности от жителей другой, — ответы на эти вопросы находим прежде всего в присловиях. Народ замечательно тонко подмечает самые мелкие отличия в быте, говоре и характере своих соседей, а это как раз материал для народной психологии и этнологической лингвистики. Нечего говорить о словах-архаизмах, лингвистических переживаниях новообразованиях, обращающих нас к патриархальному быту, древнейшему культурному миру; по немногим остаткам таких слов, уцелевших от крушения, или сохранившихся в новообразованиях, разбором первоначального значения корней, можно оживить жизнь и дела народов. В ином слове народном сокращенно выражена целая история неисчислимого множества душевных процессов, душевной работы и умственного напряженного труда; прав Друммонд, говоря: «старинное слово, подобно

старинной монете, говорит нам о прежнем обращении мысли и своим изображением и надписью раскрывает умственную жизнь и замыслы тех, кто ее чеканил» и т. д. и т. д. Наконец, слова-новинки, как приобретения войны, особенно революции, представляются особенно любопытными в том отношении, что они раскрывают процессы языка, как данного в опыте явления, в новообразованиях обнаружат творческую способность языка и то, как справляется язык с культурными приобретениями, дадут в многочисленных примерах образцы лексического творчества, народной этимологии, осмыслений и др. приспособлений уже данного в языке к новому содержанию; напр., «холодо́к на разви́лочках» (= веер), «пальто в забирушечку» (= каракулевый сак), «без козырька́» (= матрос) и т. п.; или: «при режи́ме дело то еще было» (= при старом строе), «сичас самой текущей момент ехать в Казанску губернию», «земной || подземельной отдел; «гражданя́нка» и пр.; или «рассыпной» и «развратной тиф» (сыпной и возвратной), «принима́льная плата» (премиальная), «полина́рное заседание» (пленарное), «ополон» (исполком) и т. д.; кроме того они будут характеризовать язык перелома, перехода от старых форм жизни и быта к новым, выяснят предпосылки лингвистических новшеств, как в сфере естественно-логического процесса мышления, так и речевого обнаружения и вместе с тем укажут социально-лингвистические группы населения и т. д. и т. д.

В заключение добавим, что словарный материал подбирается главным образом в разрезе горизонтальном — на пространстве живых диалектов и наречий и только по мере надобности и возможности отдельные предметы, вещи и явления будут характеризоваться и в разрезе вертикальном со справками по ним в прошлом. От этимологий словарь воздерживается, в его состав принимаются только те местные толкования слова и народные этимологии, которые способствуют раскрытию корня, или без которых значение и смысл слова был бы затруднителен; по мере возможности в словаре будут отмечаться слова заимствованные, но применительно только к позднейшим заим-

ствованиям, сложившимся за время уже исторического сожительства русских с окружающим иноплеменным населением. Зато с большим правом словарь расчитывает на включение в свой состав сведений чисто этнографических, всяких характерных и жанровых подробностей и других более или менее полезных данных: примет, поверий, обычаев и обрядов, технических описаний, чертежей, рисунков и, если возможно, истории предмета, вещи, явления и пр., словом всего того, что может способствовать яркости изображения той бытовой обстановки, среди которой слова и термины живут, дабы тем истиннее подойти к жизни слов и обозначаемых ими вещей и явлений.

Метод, план и техника словаря. Какой вид придать словарю, как устроить и расположить его для большей пользы и удобства. Желательно видеть, какие есть тожественные или близкие друг к другу выражения, слова для обозначения одних и тех же предметов, вещей, явлений, различных оттенков одного и того же понятия; желательно также изучить слова-наименования эти сравнительно одно с другим, чтобы ознакомиться, так сказать, с духом отдельных говоров и наречий и извлекать из этого какие-либо общие заключения и т. д.

В. И. Даль, в статье «О наречиях русского языка» (В. И. Г. О., 1852 г.), высказывая пожелание об издании целого ряда словарей русского языка, общих и специальных, указывал, между прочим, также и на необходимость составления «Словаря толкового». В то время, под этим названием, Даль понимал словарь, о котором он, между прочим, писал следующее:.. «Словарь толковый, расположенный не в простом азбучном порядке, а по предметам. Он то собственно и должен служить для изучения родного языка, для отыскания всех выражений, какие могут кому понадобиться... В этом словаре, под каждым главным, родовым или собирательным — в словарном смысле — речением, должны быть размещены, с подробным толкованием, все подчиненные выражения, относящиеся к одному и тому же предмету. Вместо списка всех слов языка, размещенных в азбучном порядке, сло-

варь этот будет состоять из целого ряда статей, в каждой из которых должны быть объяснены десятки и сотни слов». Со времени написания этих строк, т. е. за период почти в 75 лет в русской лексикографической литературе не появилось ни одного подобного словаря. Сам Даль, хотя, повидимому, и отдавал предпочтение словарю, составленному по предметам, перед словарями других типов, в своем «Словаре живого великорусского языка» остановился, однако, на конструкции словаря иного, смешанного типа, имеющего предметом общерусский язык, с значительным уклоном в сторону языка народного, с своеобразным размещением слов по гнездам и с элементами словаря предметного. Словарей лингвистических предметных нет, повидимому, насколько нам известно, и в многочисленной иностранной лексикографической литературе. Называют, отвечающий до некоторой степени заданию Даля: «Dictionnaire des idees suggerées par les mots», все слова в котором разбиты на многие группы, из коих каждая содержит слова родственные или смежные между собою по смыслу, относящиеся к какому-либо одному общему родовому понятию, выраженному заглавным словом группы. Но словарь этот, будучи лишь сухим перечнем одних слов, без примеров и каких-либо пояснений, представляет мало интереса.

Таким образом, предметный словарь языка, составленный согласно требованиям современной лексикографии, представлял бы, по крайней мере в нашей словарной литературе, совершенно новый вид обработки лексического материала. Некоторые частности теоретической постановки предметного толкового словаря кое в чем могли бы преемственно связаться с нашим словарем, если бы задуманный труд не строился на особых исходных основаниях, вытекающих из характера этнологической лингвистики. Словарь проектируемый, в том виде, как он задуман, вместо сухой номенклатуры, размещенной в азбучном порядке, также будет состоять из целого ряда статей, в каждую из которых войдут объясненными десятки и сотни слов; в этом словаре, под каждым главным, родовым или собирательным обозначением, должны быть разме-

щены, с подробными толкованиями, все подчиненные слова и выражения, относящиеся к одному и тому же предмету, явлению. Но и только; дальше совершенно другая принципиальная позиция. Метод словаря русской этнографической диалектологии состоит в том, чтобы отыскивать неизвестное по известному и от настоящего продвигаться к прошедшему. Это значит, что он в своем исходном основании группировки лексического материала будет базироваться не на той или иной концепции заглавного слова и по ней размещать подчиненные слова, а в подборе и распределении словесных обозначений и терминов будет исходить от реальных видимостей, предметов, вещей, явлений, как они даны в опыте; далее, подобно тому, как этнография восходит к общим понятиям о составе и распределении человеческого рода не иначе, как посредством расматривания и соображения всех оттенков его народного разнообразия, так и словарь в своем законченном виде даст лексические группировки разнообразных первичных элементов — отдельных слов-предметов, подобранных в целые статьи, состав которых мотивируется реально-житейской обстановкой, естественно-логическим признаком отношения вида к роду; так скажем, под общим понятием упряжь — приведена будет всякого рода — конская, воловья, верблюжья, оленья и собачья упряжь, употребляемая в России, с обозначением всех ее принадлежностей, как именуют их во всех концах государства; или, напр., статья, заключающая в себе общее понятие о сенокосе, как об отдельной отрасли сельско-хозяйственной деятельности, составляется из отдельных видов работ, сюда относящихся: косьбы, средств и способов сушки и метки сена, инвентаря и пр., каждый такой момент слагается из первичных элементов: «коса», «грабли», «брусок», «бабка», «торба» с «лопаткой» и пр. дают инвентарь и т. п.; или под общим обозначением средств передвижения — регистрируются всякого рада виды: по земле зимой и летом, по воде и т. д. и т. д.

Исследовательский аппарат словаря, сводящийся ко всякого рода справкам, к «примерным» иллюстрациям и графическому изображению предметов-слов особо областных и специально

местных или каких-либо технических приспособлений и целых, по существу требующих наглядности, опускается за строку; слова, выражающие предметы и явления духовного быта, обрядности и т. п., в необходимых случаях также найдут разъяснения в подстрочных примечаниях и описаниях; так, напр., в отделе земледельческих орудий здесь отведется место описанию «сохи», отдельных ее частей и функций, приведутся прозвища, поговорки, пословицы, относящиеся к ней; или при головных уборах — указанию на интимный характер некоторых из них, способ повязки, на поверия, в роде, того, что замужняя женщина не должна засветить волос и т. п.; слово «рогач» (ухват) потребует в соответствующем месте ссылки, указывающей на обычай в некоторых местностях класть его под подушку у родильниц и т. д. и т. д.

Предвидим все трудности такого расположения материала; трудности, проистекающие от невозможности зачастую окрестить вполне точно словом тот или другой предмет, от хаотичности живой жизни, многообразия и текучести фактов, переплетающихся и заходящих из одного отдела в другой и мешающих безошибочно загнать, упрятать вещь-слово в нужную клетку, тем более, что мир словесный богаче мира реального, — маленькая деталь, разность в предмете того же назначения уже дает новую словесную формулу, особенно это заметно, скажем, в предметах домашнего обихода и хозяйства, где лексическое творчество менее всего стеснено традицией, — а перевод одного слова другим очень редко может быть вполне точен и верен, всегда есть оттенок значения и объяснительное слово содержит либо более общее, либо более частное и тесное понятие и т. п.; но все же хотелось бы указанную систему словаря оставить и выполнить. Такая конструкция словаря дает во 1-х, наиболее устойчивую группировку лексического материала в путях независимых от наших индивидуальных восприятий, то анархических, то лишь местно-обоснованных, а во 2-х, требование не отрывать слова от вещи, изучать жизнь слов, их отношения параллельно с историей предметного мира, или выражаемого, придает словарю характер и значение

справочной книги для самых различных отраслей научного интереса. А чтобы возможно было отыскать нужное слово, спрятанное в той или иной статье, словарь придется снабдить указателями и сводками-статей одноименных предметов и прочими указателями.

Когда таким образом выяснятся в словах нредметы-вещи-явления, слова обрастут жизнью, можно с большой уверенностью ставить вопрос об этимологии слов, происхождении, заимствовании и пр., выработать нормы развития семантики и т. п.; так, напр., в средствах передвижения мы найдем мезенск. лайбы — «дровни», соответствующее названию мелкого судна — лайбы, распространенного по всему русскому побережью Финского залива. Интересно было бы выяснить, — на какой почве и по какой причине произошел переход значения от ладьи к дровням? Думается, что словарь наш даст или, по крайней мере, должен дать материал для разрешения этого вопроса; срвн. в Олонецк. губ. для того же предмета («небольшие узкие сани») отмечены формы: ла́бои, ла́мбуи; в Новгородск. летоп. (Синодальн. сп. I, 1143 г.) упоминается лайва — в значении «водоходное судно»; отделить это слово от финского — laiva — нет возможности, срв. эстонск. laew «корабль»; ср. далее в Могилевск. Губ. Ведом. (№ 103, за 9 окт.)[1] отмечается группа рабочих, прибывших в Могилев на лайбах (снегу 9-го октября еще не было и рабочие не могли прибыть на санях). Слово «лайбы» — сани необходимо рассматривать в связи с архангельским же ла́мбы «водяные лыжи». (Шейн, Дополн. к словарю Даля, 24; Опыт областн. словаря), и т. п.

Таким образом, словарь русской этнографической диалектологии помимо прямой научной цели — собрать материал для истории нашего языка в лексикологическом отношении, заполнит диалектологическую сетку русского языка, намеченную формальной диалектологией, материалом этнографической лингвистики, проверит, уточнит, возможно поправит и оживит исторические округа русских диалектов и наречий; с другой стороны, — про-

[1] Зеленин, Д. К. Проф. А. Л. Погодин. Северно-русские словарные заимствования из финского языка (Изв. II Отд. АН., т. X, кн. 2, стр. 457).

следит пути культурных и исторических взаимодействий и перегруппировок племен и народностей, населяющих карту русского языка. В задуманном виде словарь раскроет и определит геологические напластования в русском языке, восстановит логовища слов, выполнит и другие требования от него науки: покажет, что распределение слов па карте не случайно, но является функцией прошлого, а также условий географических и среды, с которой человек солидарен; отбор слов, борьбу их за существование, также выбор между двумя понятиями признает созданием социально-культурного порядка, как и этно-культурного; поспособствует определению собственного значения слова, как основного, так и производного в последовательном их развитии, время жизни и отношение к самому мыслимому с ним предмету и т. д.; установит перемены отношения людей к тем предметом и понятиям, которые обозначаются теми или иными словами, так хотя бы в выражениях вежливости: «бью челом» в XVII в. (челобитное), позже: «милостивый государь», «готовый к услугам», «честь имею», «будьте добры» и пр.; разница в значениях — в разнице воззрений эпох; или в прощальных приветствиях: «прощайте», «прости христа ради» и теперешнее — «пока́» и под. свидетельствуется ясно и определительно о разных укладах жизни, мироощущении. Выводя те же приветстнвия а широкую «сравнительную» дорогу изучения: греч. χαῖρε, радуйся, веселись (в соответствии с жизнерадостной, прекрасной Элладой), лат. valeo, будь здоров, силен, крепок (функция воинственности и силы мировой империи), франц. aú revoir, снова увидимся (отражение подвижности и общительности) и т. п., получаем падежную почву почувствовать и оценить, что дествительно, «язык есть исповедь народа, в нем слышится его природа, душа и быт родной»...

Обращаясь к обсуждению мер и способов практического накопления материала для словаря русской этнографической диалектологии и самой техники составления его, мы в первую очередь столкнемся с источниками. Источниками словаря могут служить: местные областные словари, сведения и описания по

отдельным отраслям народного труда и знаний, разные исследования по материальной культуре и быту нашего населения и пр. Заранее, однако, можно предвидеть, что литературные источники не могут удовлетворить всех запросов словаря, поэтому попутно с их использованием, пробелы будут заполняться анкетным путем, — составление такого вопросника для словаря понимаем, как задачу ближайшей очереди.

В порядке дальнейшего осуществления словаря намечаются две стадии работы: накопление лексического материала и обработка его. Собирание материала ведется путем занесения его на карточки: «регистрационную» и «рабочую», — обе необходимы, как показывает опыт. Первая на себя переносит от источника (будь он литературного характера, или непосредственно наблюденный, взятый из опыта факт) — слово-название, определяющее предмет-явление: пояс богородицы — радуга; или малахай — шапка с ушами и т. п.; вторая — к предмету, вещи, явлению подыскивает словесное обозначение, к нему относящееся: куча зерна вместе с мякиной-пелевой, сгребенная после обмолота — ворох; или сковородник — чапе́льник; или лихорадка — кумоха́, тресу́ха и т. п. На карточке отмечается: источник, местность и категория статьи слова-предмета. Для наглядности картографирования приводим образцы карточек первого и второго типа:

ОБРАЗЕЦ РЕГИСТРАЦИОННОЙ КАРТОЧКИ.

Пивоварен.	Влад. губ.; рук. А. Н. Обл. слов. № 24.
Стырь ‖ штырь.	Деревянный гвоздь, которым затыкают отверстие в пивных горшках.
	[Место для всякого рода сведений к слову-предмету].

ОБРАЗЕЦ РАБОЧЕЙ КАРТОЧКИ.

Рыболовство	д. Кукуево, Младотудск. в., Ржевск у.; Матер. Этнол. Эксп.
Рыболовная снасть на подобие небольшого бредня, сделанная из редкой домашней холстины (однозубины) — Кри́га.	
[Место для всякого рода сведений к слову-предмету].	

Дальнейшая стадия работы предполагает «сводную» карточку, на которую заносятся все собранные в разных местах для известного предмета или статьи словесные обозначения.

ОБРАЗЕЦ СВОДНОЙ КАРТОЧКИ.

Хоз. постр.	Приделок к бане для раздевания и для защиты входа в баню.
1. Перебайник, д. Перемут Весг. у.; Горск. вол. Чрпвц. у., ...	
2. Предба́ник, д. Вёжи, Шунг. в Костр. у.;	
3 Прила́зник, Смлнск. губ.;	
4. Примы́льник, ...	
5. Се́нцы, Грск. в Чрпвцк. у.;	
6.	

С сводной карточки, а в некоторых случаях и непосредственно с первичных карточек, материал переносится уже на страницы словаря, на которых примерно он распределится в таком виде:

Отдел

Общественный быт.

А. Виды и формы взаимопомощи.

Помога работою из-за угощения.

1. По́мочь, Всг. у. Твр. г., Ярсл., ...
2. По́моц, Грск. в. Чрпвцк. у., ...
3. Хари́зна, Вдм., [1] ....

....

Б. Общественное управление.

....

....

В. Общественные группировки и взаимоотношения.

Группа домохозяев, которой отводится общий участок земли при ее разделе.

1. Дися́ток, Кстр., Ярсл., ...
2. Квито́к, ...
3. Цели́к, Грск. в. Чрпц. у.,[2] ....
4. ....

Участок усадебной земли, отведенный целой группе домохозяев.

1. Ларь, Ярсл., ...
2. Цели́к, Грск. в Чрпвц. у. ....

Г. Название соседей.

Сосед по деревне.

1. Усе́д Чрпвц., ...
2. Ше́бер, Блшв. у. Сртв. г., ...
3. Шабе́р, Влгд., ...

Д. ....

---

[1] Помочь, завтрак и обед при минке льна;

[2] В целике 16 ревизск. душ.

Отдел
Семейный быт.

А. Общее название семьи.

1. Ватáга, Втл. у. Кстр., д. Хомутово Заобнр. в. Любм. у.,
2. Семейство, Грск. в. Чрпвц. у.;
3. Семья́
4. Вéник,

Б. Состав семьи.

Отец и мать.

1. Бáтюшко, мáтушка, Кмск. у. Арх., Кстр. у.,
2. Тятя, мама, Нвг. Твр.,
3.

Мачеха.

1. Богодáнная матушка, Влг.
2.

Дед и бабка.

1. Дéдушко || дéдя, Нвг., Твр.,
2. Бáтя стáринькой, Млг. у. Ярсл.,
3. Мáтка стáринька, Млг., у.,[1]

Женщины, принадлежащие к одному семейству.

1. Жéньство, Ярсл.
2.

Наемный работник в семье.

1. Батрáк, Новг.,
2. Казáк, Кем. у. Арх., Ряз. Чрпвц.,
3. Рабóтник, Чрпвц.,
4. Ярыга, Влг.,

и т. п.

В. Название родственников.

Брат мужа.

1. Дéвер, Кем. у. Арх.
2. Дéверь, Нвг.
3. Дúвир, Кем. у. Арх.,
4.

[1] Выходит из употребления.

Зять, принятый в семейство жены.

1. Вла́зень, Ярсл., ...
2. Прие́мыш, Грск. в. Чрпв. у., ...
3. ....

Тёща.

1. Тёща, Чрпвц., Новг., Тврс., ...
2. Хорови́на, Слвыч. у., ...

и т. д.

Отдел

Обряды.

I. Свадебный обряд.

А. Действующие лица.

Шафер со стороны жениха.

1. Во́лк, Сомр. в. Гдв. у., ...
2. Дру́жка, Чрпв., Твр., ...
3. Дру́жко, Втл. у., ...
4. Све́тчий, Ксм. у., ...

Шафер со стороны невесты.

1. Рожни́к, Кемск. Арх.; ....
2. Кисни́ца, Влд. Судг. уу. Влад. г. ....

Дружка (шафер), который едет с приданым невесты.

1. Коробе́йник, Рост. Ярсл. г.; ....
2. ....

Крестная мать жениха.

1. Брю́ньга, Лад. у.; ....
2. Посаже́ная мать, Грск. в. Чрп. у., ...

Сваха.

1. Вы́сват, Грск. в Чрпвц. у. ....
2. Сва́тья, Кем. Арх., ...
3. ....

Участники свадебного поезда.

1. Боя́ры, Ярсл., ...
2. Дворя́не, Нжгр. ....
3. Поежжа́не, Нжгр., Ярсл., ...
4. ....

Б. Этапы в свадьбе.

Первый после рукобитья свадебный пир, на котором пропивают невесту.

1. Запой, Рост. Яр., Врнжск. у.; ....
2. Пропо́й, ...

Вечер у невесты накануне брака.

1. Деви́шник, Нвг. Чрпв., Твр. Ярсл. ....

Свадебный поезд.

1. Пбезд кня́жеской, Лдж. у., ...
2. ....

Стол на другой день после венца с участием молодых.

1. Кня́жий стол, Рост. Ярсл., ...
2. Даровóй стол, Лад. у.; [1] ....
3. Отвóдины, Грск. в. Чрпв. у., ...
4. ....

В. Приданое.

Выкуп за невесту.

1. Вина́, Сомр. в Гдовск. у.; ....
2. Вы́вод, Рост. у. Ярсл. [2] ....

Г. ....

и т. д.

Отдел

Сельское хозяйство.

I. Пашня.

А. Действующие лица.

1. Па́харь, ...
2. Па́шник, Чрпв. у., ...
3. Оральбит, ...
4. ....

---

[1] Молодые дарят всем поезжанам дары.

[2] Предбрачный взнос вещами и деньгами, идущий со стороны жениха. Вещи поступают в собственность невесты, деньги же идут на расходы по пированию.

Б. С.-х. орудия и инвентарь при обработке земли.

1. Coxá, ...
2. ....

Соха с двумя сошниками и перекладной полицей.

1. Блокýша, Нжг., ...
2. ....

Косульный сошник.

1. Лéмех, Нжг., Чрпв., ...
2. Рáльник, Прмск., ...

Острый нож у косули, чертящий и разрезающий пласт земли.

1. Отрéз, Грск. в Чрпв. у.; ....
2. Чертéц, Ярсл., ...
3. ....

Стойка сохи, основная ее часть.

1. Лáпа, ...
2. Лýкоть, Дем. Твр., ...
3. Плотúна, Грск. в Чрпв., Твр., Кстр., ...
4. Плáха, ...
5. Рассóха, ...

Соединение оглобель (обеж) со стойкой, служащее одновременно рукояткой, за которую пахарь держится руками.

1. Рогáль, Грск. Чрпв. у., ...
2. Ручка, ...
3. Зголóвьё, Арх., ...
4. Острáк, Клжск., ...
5. Валéк, ...
6. Кворéц, Мурм., Влд. ....
7. ....

Связь, соединяющая рассоху (плотину) с оглоблями.

1. Подвóй, ...
2. Стýжень, ...
3. Перекрéсток, Втск., ...
4. Подсéльник, Орнбр. [1] ....

[1] Деревянное соединение.

Оглобли сохи.

1. Вóбужи, Оринбрск., ...

2. Обжи, Чрпвц., Вес. у. Твр., ...

Сошная полица.

1. Присóшок, Грск. в. Чрпвц. у., ...

2. Напáлок, ...

3. Шабалá, Вятск. Прмск., ...

4. ....

Поперечина, распирающая обжи сохи.

1. Перевя́слок, Люб. у. Ярсл., ...

2. Пéречень, Вятск., ...

3. Пáсынок, Крснуф., Пермск., ...

4. Спóрник, Вятск., ...

Пространство между ручками и поперечиной у сохи.

1. Двор, Пермск., ...

2. ....

Лопатка, которою пахарь оскребает отральников-сошников землю.

1. Исты́к, Рост. Ярсл., ...

2. Полúца, Обоянск. Курск. губ. ....

Прозвища сохи и характеристика ее качеств.

1. Русáнка, Орнб. Уфим., ...

2. Благýша, Нижг., ...

3. Рогалюха, Сиб., ...

4. Соха-плáха, Остшкв. у Твр., ...

5. Дры́нда, Брсгл. у. Ярсл., ...

Вилы навозные.

1. Карáкуля, Роств. у Ярсл. ....

2. Бя́нки, Нижг. [1], ...

3. Трóйны, Сомр. Гдв. у.; ....

Лукошко для высева семян.

1. Сéтиво, Чрпвц., Тврск., ...

2. Сúтиво, Прмск., ...

3. Сёвáлка, Рыб. в. Бежцк. у., ...

и т. д.

[1] Двурогие вилы для разравнивания навоза.

В. Пахотные участки земли.

....

....

Г. Удобрение.

1. Навоз, Чрпвцк., ...
2. Позём, Щерб. в. Весг. у., ...
3. Назём, ...

Куча навозу, вывезенная на полосу.

1. Колышка, Чрпв., Тврск., ...
2. Копышка, Влд. Судг. уу.; ....

Д. Земельные меры и меты.

....

Е. Отдельные работы при пашне.

(Вывоз навоза, пашня, бороньба, сев и пр.).

....

II. Сенокос.

А. Действующие лица.

Лица, работающие косою.

1. Косáрь, м-р.; южн. ....
2. Косéц, Чрпвцк, Нвг., Твр., ...
3. Косовщи́к, Пскв., Твр., ...
4. Косари́ха, (ж) ....

Лица, работающие граблями.

1. Гребéц, Чрпв., Тврск.; ....
2. Гребей, Чрпвцк.; ....

Б. Орудия и инвентарь.

....

....

Клинообразный кусок железа, вбиваемый острым концом в плаху; на тупом конце отбивают косу.

1. Бáбка, Чрвцк., Рост. Ярсл., Тврск., ...
2. ....

В. Уборка сена.

1. Стог, Чрпв., Кстр., Ярсл., ...
2. Зарóд, Кем. Арх., ...
3. Облитники, Слвчг. [1]; ....

Место, приготовляемое для метания стога (подстог).

1. Остóжье, Чрпвцк., Вcг. у. Твр., Переясл. Влд., ...
2. Подина, Влд. у., ...

Жердь, около которой обметывается сенной стог (зарод).

1. Острóф, Чрпвцк., ...
2. Стожáр, Арх. Кстр. Ярсл., ...

Подпорки-приколки у стожара-острови.

1. Острóвьё, Влд. ....
2. Пáсанки, Влд., ...
3. Пóдвезни, Грск. в. Чрпвцк. ....

Палка, которою притягивается с помощью веревки лежащее на возу сено.

1. Гнéтень, Кстр., Ярсл., ...
2. Пóтег, Чрпвцк., ...

Небольшой возок сена (с копну).

1. Острáмок, Влд., ...
2. Поджóпник, Чрпвцк., ...

и т. д.

Г. Участки сенокосной земли.

....

....

Д. Земельные меры при сенокосе.

....

....

---

[1] Огромные зароды сена

Е. Отдельные работы.

....

III. Жниво.

А. Действующие лица.

1. Жнец, ...
Жнея́, ...

Б. Уборка хлеба и укладка снопов.

1. Суслóн, ...
2. Гру́да, ...
3. Кобы́лки, ...
4. Стóйки ....

Последний сноп (пожина́льный).

1. Борода́, Чрпвцк, [1], ...
2. Пожина́льной сноп, ...

IV. Молотьба.

А. Действующие лица.

1. Молóцельники, Грск. в. Чрпв. у., ...
2. Молотильщики, ...
3. Молотьбит, ...

Б. Уборка и укладка скопов.

Скирды.

1. Кладь, Прмск., ...
2. Кладу́ха, Прмск. ....
3. Зарóд, Чрпвцк., ...

Два ряда снопов, головами вместе сложенных вдоль тóка-ладóни, для обмолота.

1. Покла́да, Чрпвцк., ...
2. Поса́д, Влд., Кстр., Ярель, Перяьск, Твр.; ....

и т. д.

[1] При окончании жатвы несколько колосьев (соломин) оставляют не срезанными, их сжинают после. Местами их связывают: это назыв. «завить бороду Исусу, Илье» (Ярсл. г.). Сжинают «бороду» с особой обрядностью; в Покров ее кормят скотине.

В. Орудия и инвентарь обмолота.

Орудие, которым молотят хлеб (цеп).

1. Молотилка, Чрпвцк., ...
2. Молотило, Ярсл., ...
3. Приузь, Чрпвцк., ...
4. Приуза, Сомр. Гдв. у., ...

Ремешок, соединяющий ручку цепа с круглою палкой, бьющей.

1. Пýто, Чрпвцк., ...
2. Увязь, Ярсл., ...
3. Цепник, Ярсл., ...

и т. д.

Г. ....

Отборное зерно в вороху, при веянии.

1. Чальцó, Врнжск. у.; ....
2. ....

и т д. и т. д.

Полное и выдержанное распределение материала на страницах дает уже окончательная редакция словаря, которая вместе с тем озаботится и приведением всяких попутных сведений к словам и предметам, примеров, в нужных случаях рисунков, чертежей, примет, поверий, обрядности и пр., что создает обстановку для слова и послужит исследовательским аппаратом для словаря.

С. Еремин.

О языковых следах финских тевтонов-Чуди.

1.

Одним из очередных вопросов индоевропейского сравнительного языкознания является вопрос о неиндоевропейских элементах в индоевропейских языках. Вопрос этот в последние десятилетия поставлен четко и твердо. С этим вопросом в индоевропейском языкознании начинается новое оживление, которое приходит на смену временному застою.

Общая постановка вопроса такова.

Некогда, приблизительно ок. 2.000 л. до Р.Х., где-то севернее Балканского полуострова сложился культурный мир, средством общения в котором был т. н. индоевропейский праязык. Как возник этот язык, это покрыто мраком неизвестности, но, по всей вероятности, он явился как результат сложного взаимодействия различных языковых стихий в рамках единой фонетической и грамматической системы. Это не был язык-примитив: время языков-примитивов успело миновать бесконечно давно. Это был приблизительно такой-же по природе язык, как языки наших дней, с таким же приблизительно грамматическим мышлением, но, разумеется, с тем реальным мышлением, какое соответствовало ступени обслуживаемой этим языком культуры.

Постепенно область индоевропейской речи стала расширяться. Индоевропейские племена стали, как завоеватели, проникать в области, населенные неиндоевропейцами. Часть этих индоевропейских племен растаяла среди завоеванных без следа (как это было, например, в некоторых частях Передней Азии и в Центральной Азии). Другая часть этих племен сумела передать за-

воеванным свою речь — индоевропеизировала завоеванных, — хотя в других отношениях, например, в антропологическом отношении, и она отчасти уступила завоеванным. Совокупность областей, где распространилась индоевропейская речь, составила индоевропейский языковой мир.

В процессе экспансии индоевропейская речь претерпела многоразличные изменения, неодинаковые в разных областях индоевропейского языкового мира. Отчасти это было обусловлено заложенной в самой природе всякой речи необходимостью изменения. А отчасти и фактом перехода индоевропейской речи от завоевателей к завоеванным. Завоеванные усваивали индоевропейскую речь не во всей чистоте. Некоторые свои фонетические навыки, созревшие на неиндоевропейской почве, они переносили на усвоенную ими индоевропейскую речь. Сходные явления были и в области общих норм строя речи — в области грамматики — г в области конкретного материала речи — в области словаря. По отношению к словарю немаловажное значение должно было иметь то обстоятельство, что индоевропейский словарь не мог обслужить словами все особенности культуры завоеванных индоевропейцами областей.

Как видно, отдельные индоевропейские языки, выросши из индоевропейского праязыка, оказались в той или иной мере проникнутыми неиндоевропейскими элементами, — даже если не принимать в расчет обычных явлений заимствования слов у соседей. Эти-то неиндоевропейские элементы в индоевропейских языках и выдвигаются теперь в поле внимания индоевропеиста-сравнителя, как раньше выдвигались индоевропейские элементы в индоевропейских языках.

2.

Наиболее остро выдвинута сейчас германская проблема — проблема происхождения германской речи.

Германская речь в фонетическом отношении представляет такие исключительные особенности, что уже давно различными

авторами по разным поводам высказывалась мысль о неиндоевропейском участии в ее сформировании. Впрочем, мысль о том, что германцы представляют собою результат индоевропеизации какой-то неиндоевропейской народности была высказана только в XX веке, S. Feist'ом («Die germanische und die hochdeutsche Lautverschiebung» в PBB XXXVI, «Noch einmal zur germanischen und zur hochdeutschen Lautverschiebung» в PBB XXXVII, «Kultur, Ausbreitung und Herkunft der Indogermanen» passim, «Indogermanen und Germanen»).

Какова именно неиндоевропейская подоснова германской речи, — об этом говорилось мало. Только яфетидологическая теория в лице ее основателя Н. Я. Марра («К вопросу о яфетидизмах в германских языках», в Яфетическом Сборнике, I) и ее сторонника Ф. А. Брауна («Die Urbevölkerung Europas und die Herkunft d. Germanen») выставила мысль, что неиндоевропейская подоснова германской речи — яфетическая, т. е. имеющая родство на Кавказе. Выступление Н. Я. Марра недостаточно полно. Выступление Ф. А. Брауна полнее, но обладает недостатками, которые вызвали жестокую отповедь на Западе, а отчасти и у нас.

В этой обстановке открывается возможность новых исканий в германской проблеме.

3.

Совершенно естествен вопрос: можно ли искать разрешения германской проблемы на Кавказе, не испытав предварительно возможности ее разрешения на Балтийском море?

У Балтийского моря до сих пор есть неиндоевропейцы — финны. Прошлое их темно. Когда-то любимая мысль о том, что финны — близкие языковые родичи турок, монголов, манчжур, теперь в науке сошла со сцены, и финнов считают не азиатами, а европейцами. Финская прародина в представлении ученых постепенно перемещается из глубин Азии в направлении Востока Европы и даже Запада Европы. Вместе с тем, постепенно на-

ростает мысль, что финны это, может быть, нечто более интересное, чем раньше полагали. Пусть исторические финны—бедные обитатели дремучих лесов и ледяных пустынь Северовостока. Но это, может быть, только бедные остатки доисторических финнов, а отчасти и результат финнизации (напр. лапландцы). Что в истории того или иного типа речи могут чередоваться периоды расширения и периоды сжатия, — тому множество примеров. Вспомним хотя бы кельтскую речь, которая в I тысячелетии до Р. Хр. была речью владык от Атлантического океана до Черного моря, от Северного моря до Средиземного, а в I тысячелетии по Р. Хр. забилась в некоторые уголки Британских островов и здесь стала речью рабов (ср. англосакс. wealh 'кельт, валлиец' и 'раб').

Почему бы неиндоевропейской подоснове германской речи не быть финской?

Неиндоевропейская подоснова германской речи, думаю, и есть финская.

4.

Общий ход аргументации моего утверждения, что неиндоевропейская подоснова германской речи финская, таков.

Изучение германского словарного материала показывает, что, вопреки мнению W. Thomsen'а, в германских языках множество слов финского происхождения, с финским корнем и с финской суффиксацией. Опасность смешения тех случаев германско-финского словарного параллелизма, которые обусловлены переходом слов от финнов к германцам, и тех случаев германско-финского словарного параллелизма, которые обусловлены переходом слов от германцев к финнам, при этом совершенно устранена, так как современная постановка сравнительного метода дает в руки исследователю прочнейшие критерии для определения направления движения слов. Не входя здесь в ближайшее обсуждение этих критериев, считаю существенно нужным указать, что район германского воздействия на финскую речь ограничивается районом

прибалтийско-финских и лапландского языков. За пределами этого района германского воздействия нет.

Одна из важных особенностей германских слов финского происхождения та, что они подчиняются строжайшей системе звуковых соответствий.

Эта система звуковых соответствий дает возможность довольно точно характеризовать тот финский язык, которому германская речь обязана словами финского происхождения. Язык этот ныне не имеет потомков. По фонетике он осуществляет родство с прибалтийско-финскими языками, хотя близость этого родства не следует преувеличивать — в этом языке были некоторые отличительные особенности, обязанные отчасти сохранению старых финских явлений, а отчасти возникновению новых явлений. Этот язык можно условно назвать древне-чудским.

Другая из важных особенностей германских слов финского происхождения та, что они выделяют из себя интереснейшие семантические группы.

Эти семантические группы позволяют составить некоторое представление о культуре носителей древне-чудского языка, Древней Чуди, а также о характере отношений между ними и германцами. В области материальной культуры Древняя Чудь стояла ниже германцев — насколько, этого изучение словаря не показывает. Но зато в области религии Древняя Чудь, несомненно, представляла явление очень яркое. Германские слова, относящиеся в область верований о душе, на половину финского происхождения, и среди этих слов финского происхождения — прагерманск. saiu̯alō-'душа'. Германские слова, относящиеся в область чародейства, тоже в значительной части финского происхождения. Финского же происхождения германское слово со значением 'религиозный закон'. Отношение Древней Чуди к германцам характеризуется тем, что перед нами ряд германских слов финского происхождения, группирующихся вокруг понятий раба и наложницы. Древняя Чудь была покорена германцами. Чудин служил германцу как раб, чудинка — как наложница.

Время древнечудского воздействия на германский словарь определяется по фонетическим признакам довольно точно. Оно развилось не раньше германского Lautverschiebung (буквально: германской передвижки звуков — так называется совокупность германских изменений способа артикуляции шумных согласных) и не позже установления германского ударения на первом слоге. Промежуток между обоими этими моментами падает приблизительно на середину I-го тысячелетия до Р. Хр. и занимает, по меньшей мере, один — два — три века.

Место древнечудского воздействия на германскую речь на основании данных словаря не получает достаточного освещения. Тут приходится обратиться к дополнительному изучению этнической и географической номенклатуры Севера. Оказывается, что границы распространения Древней Чуди совершенно совпадают с первоначальными границами распространения германцев у Балтийского моря.

Последнее обстоятельство чрезвычайно важно. Оно означает, что следует различать германцев, которые некогда пришли с Юга или Юго-Востока, как индоевропейские завоеватели, и германцев, которые составились, как результат распространения германской речи на покоренную Древнюю Чудь. Оно делает понятным, почему время древночудского воздействия на германский словарь приходится как раз на время коренного преобразования германской фонетики. Оба эти явления взаимно связаны. Коренное преобразование германской фонетики не что иное, как переработка германской фонетики в устах германизованной Древней Чуди. Кстати, удивительный параллелизм между германской и финской фонетикой замечен уже давно (особенное значение имеет статья E. Setälä в Journal de la Société Finno Ougrienne XIV «Über Quantitätswechsel im Finnisch-Ugrischen», — где, между прочим, установлена принципиальная тождественность германского так наз. грамматического чередования и финского так наз. чередования ступеней).

Как же быть с тем обстоятельством, что антропологический

тип населения германских стран с конца каменного века (с эпохи мегалитических сооружений) до исторического времени, как это показывает изучение костяков, в существенном один и тот же? Это обстоятельство означает, что этот антропологический тип первоначально принадлежал Древней Чуди, и что в позднейших германцах продолжается в существенном древнечудский антропологический тип. Очевидно, антропологический тип первоначальных германцев-завоевателей растаял в древнечудской антропологической стихии.

Как же быть, далее, с тем обстоятельством, что культурное развитие германских стран с конца каменного века (с эпохи мегалитических сооружений) до исторического времени, как это показывает изучение ископаемых остатков материальной культуры, шло в строгой внутренней постепенности, как непрерывная ассимиляция в местной культурной среде приходивших с Юга культурных достижений? Это обстоятельство означает, что Bahnbrecher'ами культурного развития германских стран была Древняя Чудь, и что позднейшие германцы шли по культурным путям, намеченным еще Древней Чудью. Очевидно, культурное достояние первоначальных германцев-завоевателей (а оно в момент завоевания было больше, чем культурное достижение Древней Чуди — об этом говорилось выше) было ассимилировано в местной культурной среде не иначе, чем вообще все, что приходило с Юга. Нелишне заметить, что вторжение индоевропейских завоевателей в страну Древней Чуди не могло вызвать падения местной культуры, как это было у Эгейского моря: индоевропейские завоеватели в страну Древней Чуди пришли с сравнительно утонченного Юга или Юго-Востока, тогда как в район Эгейского моря они пришли с сравнительно грубого Севера.

Перед нами Микены Севера, до сих пор известные только по материальным остаткам, а теперь известные и по языку, который оказывается финским — древне-чудским.

5.

В настоящей статье, в виду ее ограниченного размера и в виду того, что она предназначена для читателя без специальных знаний, невозможно развернуть полностью весь только что указанный ход аргументации.

Здесь дается только существеннейшее.

Прежде всего, рассматривается несколько германских слов финского происхождения, причем сообщается существеннейшее из области звуковых соответствий. Эти примеры должны показать читателю, что в германской речи, действительно, есть финские элементы.

А затем, рассматривается несколько названий народов и стран района Балтийского моря. Эти названия должны показать читателю, что первоначальная территория германцев у Балтийского моря некогда принадлежала финнам.

6.

Существеннейшее из области звуковых соответствий для германских слов финского происхождения касается шумных-не-сибилянтов. Для того, чтобы соответствия воспринимались легче, как представитель финского мира здесь выбран финляндский язык (Suomen kieli).

Шумные-не-сибилянты в середине слова.

Финляндск.	Прагерманск. в словах финского происхождения.
k в черед. с (γ >) нуль, j, v	1. χ̦ u̯ в черед. с u̯
	2. χ̦ в черед. с γ
t в черед. с (đ >) нуль, d	þ в черед. с đ
p в черед. с (ƀ >) v	f в черед. с ƀ
kk в черед. с k	k вне черед.
tt в черед. с t	t вне черед.
pp в черед. с p	p вне черед.

χu̯, u̯ перед нами в тех случаях, где в финском предшественнике германского слова непосредственно дальше следовал нелабиализованный гласный, а χ, γ — в тех случаях, где в финском предшественнике германского слова непосредственно дальше следовал лабиализованный гласный; есть случаи u̯ перед согласным.

Германские спиранты ниже представлены в прагерм. aiu̯|ō-, aiu̯|a- 'религиозный закон', alƀ|a- 'эльф', felχ|a- 'прятать, хоронить и т. д.', χaγ|ō-, χaγ|a- 'годиться, нравиться' и родственных образованиях, kaƀes|ijōn- 'рабыня, наложница', luγ|ō-, leuγ|ō- 'брачный обряд', mund... (вм. munđ...) 'продажная цена человека', rakuđ|a- 'строение', saiu̯al|ō- 'душа', teχu̯|ō- 'устраивать' и родственных образованиях, tauf|ra-, tauƀ|ra- 'чародейственный', в функции существительного 'чары', aif|ra-, aiƀ|ra- 'scheuchend, schrecklich, harsch, bitter' (№ 33), u̯īƀ|a- женщина.

Германские взрывные ниже представлены в прагерманск. (χa)γant|a- 'целый', χalk|a- 'кастрированный', ȷeuk|ra- 'упрямый и т. д.', lauk|a- 'лук', mak|ō- 'приспособлять, делать', mōt|a- 'форма', mōt|a- 'иметь свободное место и т. д.', mūt|ō(n)-, mōt|ō(n)- 'подать, пошлина', rak|ōn- 'то, что скрепляет что-либо' и родственных образованиях, rakent|ōn- 'то, что скрепляет что-либо'.

Шумные-не-сибилянты в начале слова.

Финляндск.	Прагерманск. в словах финского происхождения.
k (при венг. h)	1. χu̯
	2. χ
—	—
p (при венг. f)	f
k (при венг. k)	k
t (при венг. t)	t
—	—

χu̯ перед нами в тех случаях, где в финском предшественнике германского слова непосредственно дальше следовал нелабиализованный гласный; а χ в тех случаях, где в финском предшественнике германского слова непосредственно дальше следовал лабиализованный гласный. Нелишне иметь в виду, что, как венг. h, так и прагерм. χu̯ или χ известны перед задними гласными, и что, как венг. k, так и прагерм. k известны перед передними гласными, — но не без отклонений (к венг. k перед задними гласными ср. J. Budenz, Magyar-ugor összehasonlító szótár, 1—7, 33—40, 50—53).

Германские спиранты ниже представлены в прагерм. felχ|a- 'прятать, хоронить и т. д.' и родственных образованиях, χaγ|ō-, χaγ|a- 'годиться, нравиться' и родственных образованиях, χalk|a- 'кастрированный', χu̯ain|ō- 'низкий, сырой луг', χu̯al... 'кит; сом'.

Германские взрывные ниже представлены в прагерм. kab̄es ii̯ōn- 'рабыня, наложница', teχu̯|ō- 'устраивать' и родственных образованиях.

7.

Примеры германских слов финского происхождения.

1) Прагерм. aiu̯|ō-, aiu̯|a- 'религиозный закон' (англосакс. ǣ, ǣw 'священный обычай, религия, закон, брак', дрсакс. ēo, ēu 'закон', дрвнем. ēwa, ēa 'закон, норма, союз, брак', нвнем. Ehe 'брак').

Ср. эст. õige- (= финляндск. *oike-) 'прямое направление', эст. õige = финляндск. oikea 'прямой, правый, правильный, справедливый, законный' (эст. õige naene 'законная жена', õige tüdruk 'честная девушка', финляндск. oikea avio 'законный брак', oikea usko 'правая вера' и т. п.) с параллелями в других языках, см. J. Budenz, Magyar ugor összehasonlító szótár, 810. Ближе всего к германскому слову стоит эст. õige- (= финляндск. *oike-).

Замечания по фонетике. —oi должно было дать на прагерманской почве ai. Финляндскому k ~ нуль перед нелабиализованным гласным (e) должно соответствовать прагерманское χu̯ или u̯.

Обычное сопоставление прагерм. aiu̯|ō-, aiu̯|a- с лат. aequus 'одинаковый, ровный' и 'справедливый' не удовлетворяет: вряд ли возможно, чтобы в седой древности понятие религиозного закона строили на основе понятия одинаковости, ровности или справедливости.

2) Прагерм. alƀ|a- 'эльф' (дрсев. alfr, англосакс. ælf, срннем. alf, срвнем. alp).

Для объяснения слова важно принять в расчет его синоним — прагерм. u̯eχti- 'эльф' (дрсев. vēttr и т. п., англосакс. wiht, дрсакс. wiht, дрвнем. wiht). Последнее слово значит собственно 'вещь, существо' (готск. waihts, дрсев. vēttr и т. п., англосакс. wiht, дрсакс. wiht, древнем wiht).

Ср. к прагерм. alƀ|a- эст. (oleƀa- >) oleva-, ole(v)us 'вещь, существо' (эст. ole- 'быть', финл. ole- 'быть' и т. п.).

Замечания по фонетике. —o должно было дать на прагерманской почве a. l не требует комментариев. Отсутствие гласного перед губным объясняется тем, что финская речь в старину знала, при соответствующих условиях (в частности, после сонорного), опущение e не только перед зубным или задненебным, но и перед губным; в прибалтийскофинских языках опущение e перед губным обычно аналогически восстановлялось; след опущения e перед губным здесь однако остался в образованиях, где губной перестал ощущаться, как суффикс, и куда, в связи с этим, не имели доступа обычные аналогические воздействия; что в древнечудском языке в отношении опущения e перед губным сохранялось старое состояние, свидетельствует, кроме прагерм. alƀ|a-, также прагерм. tauf|ra-, tauƀ|ra- 'чародейственный', в функции существительного 'чары', см. ниже. Финляндскому и эстонскому (ƀ >) v должно соответствовать прагерманское f или ƀ.

3—5) Прагерм. felχ|a- falχ|- fulγ|- 'пугать, гнать' и 'прятать, хоронить'. Первое значение сохраняется в прагерм.

производном falχ|a- 'переполох, тревога', которое отражается в праславянском заимствованном polχъ 'переполох, тревога' с производным polšiti 'приводить в состояние переполоха, тревоги', а также в прагерм. fulγ|ija-, fulγ|ō-, fulγ|ē- 'гнать, преследовать > следовать' (дрсев. fylgja, англосакс. folgian и fylgan, дрсакс. folgōn, дрвнем. folgēn, нвнем. verfolgen, folgen). По поводу упомянутого праслав. polχъ надо иметь в виду, что χ после l славянским фонетическими средствами вне заимствования необъяснимо. Второе значение сохраняется лучше, причем, может быть, уже в прагерманском языке при этом значении ('прятать, хоронить') появилось и значение 'вверять, поручать' (готск. filhan 'прятать, хоронить, погребать', дрсев. fela 'прятать, хоронить', в некоторых условиях контекста и 'вверять, поручать', англосакс. befeolan 'прятать в земле' и 'вверять, поручать', дрсакс. bifelhan 'погребать' и 'вверять, поручать' дрвнем. felahan, bifelahan' погребать', срвнем befelhen 'вверять, поручать', enphelhen 'то же', der erde enphelhen 'погребать', нвнем. befehlen, empfehlen—со многими производными, вроде готск. fulhsni 'прикрытие, засада' дрсев. fylsni 'прикрытие, засада').

Не совсем как-будто ясный параллелизм значений 'пугать, гнать' и 'прятать, хоронить' находит объяснение на финской почве. Перед нами отражение финского транзитивного глагола, образованного от o -ового или u -ового существительного. Такое существительное представлено в эст. pelgu- (= финл. pelko-) 'страх, бегство' и 'убежище, прикрытие', откуда pelgu- = финл. pelkoa- 'страшиться', peluta- = финл. pelotta- 'страшить', со связями до венг. fēl- 'страшиться' (см. J. Budenz, MUSz., 508 сл.).

Замечания по фонетике. — Финляндскому p, эстонскому p в начале слова должно соответствовать прагерманское f. e и l не требуют комментариев; чередование гласных в германском глаголе — результат аналогического воздействия других германских глаголов; подобное чередование гласных в германских глаголах

финского происхождения есть и в других случаях, см. ниже. Финляндскому k в чередовании с нулем, эстонскому g в чередовании с нулем перед лабиализованным гласным должно соответствовать прагерманское χ или γ.

Рассмотренное германское слово имеет в германской речи родственников, причем родство заложено на финской почве. Чтобы родство было ясно, надо принять в расчет, что задненебный в рассмотренном германском слове с финской точки зрения — суффиксальный.

Прежде всего надо упомянуть прагерм. fel... в fel...-leγrii̯a-, откуда, с упрощением гаплологического сочетания, feleγrii̯a- 'засада' (готск. filigri) и в fēl|ii̯a- 'страшить' (дрсев. fǣla). Для объснения ē в прагерм. fēl|ii̯a- вряд-ли следует прибегать к помощи венг. fēl-, так как ē могло возникнуть аналогически и на германской почве (глаголы на -ii̯a- могли иметь на германской почве вокализм ē); ср. ниже tēu̯|ii̯a- 'устраивать, приводить в порядок' при teχu̯|ō- 'устраивать, приводить в порядок'. Нельзя не подчеркнуть по отношению к прагерм. fel... того же параллелизма двух значений, что по отношению к прагерм. felχ|a-.

Далее надо упомянуть прагерм. felm|a- 'страх' (в готск. usfilma 'устрашенный', дрсев. felmsfullr 'устрашенный').

Финск. pelk...: pel...: pelm... = финск. surk... (финляндск. surko-, surku- 'печаль, забота'): sur... (финляндск. sure- 'печалиться, заботиться', эст. sure- 'терять силы, умирать'): surm... (финляндск. surma- 'смерть, особ. насильственная', эст. surma- 'смерть') и т. п.

6 — 10). Прагерм. (χa)γa 'con' (готск. ga- и т. д., нвнем ge-).

Ср. финляндск. koko существительн. 'куча', 'собрание' и т. д., koko прилагат. 'собранный вместе, целый, весь'.

В прагерманском слове налицо падение грамматической силы до ступени силы служебного слова и даже до ступени силы префикса, последнее, впрочем, только после установления в прагер-

манском языке ударения на первом слоге слова, как о том свидетельствует ударение в случаях типа γa-ƀéra- (не γá-ƀera-).

Замечания по фонетике. — Финляндскому k в начале слова перед задним лабиализованным гласным должно соответствовать прагерманское χ. Сходным образом финляндскому k в чередовании с нулем в середине слова перед лабиализованным гласным должно соответствовать прагерманское χ или γ. o должно было дать в прагерманском языке a. Приобретя функцию служебного слова, прагерманское слово оказалось в эпоху действия закона Verner'a без ударения и по закону Verner'a (по которому глухие спиранты после неударенного гласного заменялись звонкими спирантами) вместо χ во втором слоге должно было оказаться γ. Создавшееся таким образом χaγa путем упрощения гаплологического сочетания преобразовалось в γa; к упрощению гаплологических сочетаний в прагерманских словах финского происхождения ср. прагерм. fel... -leγriįa- > feleγriįa- (выше).

Приведенная этимология существенным образом подкрепляется тем обстоятельством, что при прагерм. (χa)γa можно найти целую группу других прагерманских слов той же финской семьи. Из этих слов здесь рассмотрим только некоторые.

Прагерм. (χa)γan..., в соединении с γa (ср. другие случаи ниже) γa-γan... 'против (лицом к лицу с кем-либо)' — (древнем. gagan и т. д., нвнем. gegen). Разложение γaγan... на γa и γan... общепринято.

Ср. финляндск. kokona, с личным суффиксом kokonaan или kokonansa, первоначально Essivus (Locativus) Sg. от koko- 'куча, собрание', со значением 'вкупе' — это-то первоначальное значение и приходится принять в расчет при объяснении германского слова, — а ныне наречием со значением 'совсем'.

В прагерманском слове опять-таки налицо падение грамматической силы до ступени силы служебного слова, по крайней мере, в некоторых условиях контекста.

Замечания по фонетике. — Здесь, в общем, надо повторить

то же, что сказано по поводу прагерм. (χa)γa. γ в χaγan... объясняется неударяемостью слова, по крайней мере в некоторых условиях контекста, в эпоху действия закона Verner'a. Преобразование χaγan... в γan... есть упрощение гаплологического сочетания.

Прагерм. γant|a- 'целый' и 'невредимый' (дрвнем. ganz).

Ср., с одной стороны, уже упомянутые финляндские слова, а с другой стороны, финляндские слова типа huonontaa делать дурным, huono(n)ttu — 'сделанный дурным' (от huono 'дурной'. Теоретически возможно и финляндск. *koontaa 'делать целым', koo(n)ttu 'сделанный целым' (т. е. 'целый'). О причастиях страдательного залога на -(n)ttu от глаголов на -ntaa (которые ныне обычно заменяются аналогического происхождения причастиями страдательного залога на -nnettu) см. E. Setälä, Yhteissuomalainen äännehistoria, 389. Точно так же, как прагерм. (χa)γant|a- образовано прагерм. rakent|ōn 'постройка', см. ниже.

Замечания по фонетике. — Здесь, в общем, надо повторить то, что сказано по поводу прагерм. (χa)γa. γ объясняется местом ударения (прагерм. первоначальн. χaγánt|a-, ср. старое финское koγónttu). Преобразование χaγant|a- в γant|a- есть упрощение гаплологического сочетания. Финляндскому tt в чередовании с t должно соответствовать прагерманское t.

Прагерм. γađ|ō- транзит. 'собирать, соединять', интранзит. 'собираться, соединяться' и 'подходить' (транзит. дрфризск. gada 'собирать, соединять', дрвнем. gatōn, срвнем. gaten 'собирать, соединять', интранзит. срвнем gaden 'подходить', дрвнем. gatōn, срвнем. gaten 'приходиться в пору'), в соединении с γa γa-γađ|ō- 'то же' (срвнем. gegaten), со многими производными, вроде прагерм. γađ|an- 'спутник, супруг' (англосакс. gada, срвнем. gate, нвнем. Gatte), в соединении с γa γađ|an- 'то же' (англосакс. gegada, дрсакс. gigado, срвнем. gegate). Надо думать, что сюда же относится прагерм. γōđ|a- 'подходящий, хороший' (готск. gōþs и т. д., нвн. gut). Это слово, повидимому, намекает на то, что при прагерм. γađ|ō- было и пра-

герм. γađ|a- γōđ|- с аналогически усвоенным чередованием гласных; ср. ниже прагерм. χaγ|ō- и прагерм. χaγ|a- χōγ|- 'подходить, нравиться' (и при них прагерм. χōγ|a- '-подходящий').

Ср. финляндск. kokoa- транзит. 'собирать' из kokođa-. Так как деноминативные глаголы с t в чередовании с нулем из đ в качестве суффикса на финляндской почве употребляются интранзитивно не реже, чем транзитивно, то это финляндское слово представляется теснейшею параллелью германскому слову.

Замечания по фонетике. — Здесь, в общем, надо повторить то, что сказано по поводу прагерм. (χa)γa. γ объясняется местом ударения (прагерм. первоначальн. χaγađ|ṓ-, ср. старое финское, в части форм, kókođá-). Преобразование χaγađ|ō- в γađ|ō- есть упрощение гаплологического сочетания. Финляндскому t в чередовании с нулем (из đ) должно соответствовать прагерманское þ или đ.

Существующие индоевропеистические объяснения прагерм. γađ|ō-(вместе с пригерм. γōđ|a-) не удовлетворяют. Славянские слова с god- и балтийские слова с gad- gōd- могут рассматриваться как германские заимствования (балтийские отчасти через славянское посредство). Греч. ἀγαθός со своим γ (не χ) не подходит по фонетике. Дринд. gadh'ya 'festzuhalten', ā-gadhita 'umklammert' вряд-ли подходят по значению.

Интересно упомянуть еще одно прагерманское слово, где начало является неупрощенным. Это прагерм. χaγ|ō- 'подходить, нравиться' при χaγ|a- χōγ|- 'то же' (дрсакс. bihagōn и т. д. при дрвнем. kihagin и т. д., нвнем. behagen). Значение по существу то же, что значение прагерм. γađ|ō- интранзит. При этом глаголе известно χōγ|a- 'подходящий' (дрсев. hōgr 'подходящий'). Значение по существу то же, что значение прагерм. γōđ|a-.

11) Прагерм. χalk|a-' 'кастрированный' в готск. halks 'κενός, πτωχός' (ср. по значению праслв. χolstъ 'кастрированный' при малорусск. холостий 'κενός, πτωχός', великорусск.

холостой выстрел) и в праслав. заимств. χolkъ 'не состоящий в браке' (ср. по значению праслав. χolstъ 'кастрированный' при великорусск. холостой 'не состоящий в браке' — о мужчине).

Слова, означающие 'кастрированный', образуются обычно от слов, означающих 'резать' или 'колотить', см. O. Schrader, Reallexikon der indogermanischen Altertumskunde [1], 919, H. Hirt, Indogermanen, 291, 658. К значению 'колотить' ср., между прочим, праслав. xolstъ при праслав. xolstati 'колотить' (и других праславянских глаголах с иным вокализмом, но тем же значением).

Прагерманское слово прекрасно сопоставляется с эст. kol'ki- (= финляндск. kolkki-) 'klopfen, anklopfen, schlagen, (Flachs) brechen, dreschen (durch Schlagen auf einen Sack mit dem zu dreschenden Getreide), prügeln, kastrieren (durch Schlagen mit einem hölzernen Hammer') (словарь Wiedemann'a-Hurt'a). При эст. kol'ki- (= финляндск. kolkki-) есть и финляндск. kolhi- 'колотить' и т. д. с иной суффиксацией. Дело касается целой финской семьи слов.

Замечания по фонетике. — Финляндскому k, эстонскому k в начале слова перед задним лабиализованным гласным должно соответствовать прагерманское χ. o должно было дать на прагерманской почве a. Финляндскому kk в чередовании с k, эстонскому k в чередовании с g в середине слова должно соответствовать прагерманское k.

Не следует преувеличивать культурно-историческое значение прагерм. χalk|a-. Прагерманский язык мог заимствовать из финского источника первоначально глагол со значением 'колотить' и затем произвести отсюда прилагательное со значением 'кастрированный'. К тому же нет основания утверждать, что значение 'кастрировать' на эстонской почве древнее. Дело, может быть, в том, что финский глагол имеет оттенок значения, который, при создании известной культурной обстановки, легко приводил к значению 'кастрированный', так что прагерманский

язык и эстонский язык к последнему значению пришли параллельно.

12) Прагерм. χu̯ain|ō- 'низкий, сырой луг' (дрслев. -hvein в географических названиях, шведск. диал. hven 'низкий, сырой луг').

Ср. финляндск. kaino-, kainu- 'низкий' с различными производными значениями, kainulaiset (название племени) собств. 'обитатели низин'.

Замечания по фонетике. — Финляндскому k в начале слова перед задним нелабиализованным гласным должно соответствовать прагерманское χu̯. ai и n не требуют комментариев.

13) Прагерм. χu̯al... 'кит, сом' (дрсев. hvalr, англосакс. hwæl, дрвн. wal, walara, welira, нвнем. Walfisch 'кит', срвнем. wels, нвнем. Wels 'сом'.

Ср. финляндск. kala 'рыба' и т. д. до венг. hal 'рыба'.

На финской почве слово употребляется часто как второй компонент сложных слов, обозначающих отдельные виды рыб (как нем. -fisch). Не невозможно поэтому, что прагерм χu̯al... собственно абстракция из сложного финского слова или двух сложных финских слов.

Замечания по фонетике. — Финляндскому k в начале слова перед задним нелабиализованным гласным должно соответствовать прагерманское χu̯. a и l не требуют комментариев.

Дрпрусск. kalis (основа kali̯a-) 'сом' отнюдь не может быть доказательством индоевропейского происхождения прагерманского слова, так как само может быть заимствовано из прибалтийско-финского источника. О соседстве древних пруссов и финнов см. K. Buga в Streitbergt-Fesgabe.

Лат. squalus 'акула' создает некоторые затруднения. Но оно, быть может, об'ясняется как пара к греч. φάλαινα 'кит.' (sk^uhal... ‖ g^uhal...).

14) Прагерм. i̯euk|ra- 'суровый, мрачный, грубый, упрямый' (англосакс. gēocor) при i̯euk|ō- 'спор' (готск. jiuka), i̯euk|ē- 'спорить' (готск. jiukan).

Ср. финл. jäykkä 'суровый, мрачный, грубый, упрямый, стойкий', и т. д. jäykistele- 'упрямиться'. Рядом финляндск. jäyhä 'суровый и т. д.'. Дело касается целой финской семьи слов. Финляндские слова с jaukk..., joukk..., jukk...— германские заимствования (точнее, обратные заимствования в финскую языковую среду) разных эпох, см. T. E. Karsten, Germanisch-finnische Lehnwortstudien.

Замечания по фонетике. — j̦ не требует комментариев. Финляндскому äy (= äü) в прагерманском языке всегда соответствует eu. Финляндскому kk в чередовании с k должно соответствовать прагерманское k.

Состав германских слов финского происхождения был бы неполным, если бы среди них не было слова, отражающего суровый национальный характер финнов.

15) Прагерм. kab̄es|j̦iōn- 'рабыня, наложница' (англосакс. ciefes, дрвнем. chebisa, нвнем. Kebse; дрсев. kefsir 'раб' — новообразование от слова женского рода с ограниченным значением 'рабыня').

Ср. финляндск. kave', основа kape(h)e- (из kab̄es, основа kapeze-) 'женщина, мать' и 'высшее, наделенное сверхестественными силами существо', kapo 'то же', эст. kabehene, kabo и т. п. 'женщина' и т. д. до венг. kofa 'баба, старая женщина', см. J. Budenz, MUS, 33 сл. Финляндское значение 'высшее, наделенное сверхестественными силами существо' обязано воздействию германских слов семьи Gabiae 'богини-одарительницы', ср. T. E. Karsten, GFL., 27 сл.

Замечания по фонетике. — Данное слово представляет собою редкий случай прагерм. k и венг. k в начале слова перед задним гласным. a не требует комментариев. Финляндскому p в чередовании с v должно соответствовать прагерманское f или b̄. e и s не требуют комментариев.

16) Прагерм. lauk|a- 'лук' (дрсев. laukr, англосакс. lēac, дрннем. lōk, дрвнем. louh, нвнем. Lauch).

Ср. финляндск. löyhkä- 'exhalaison (désagréable), (mau-

vaise) odeur, puanteur' (словарь Y. Koskinen'a), 'foetor, e. c. corporis mortui, vapor putidus, putor (словарь Renvall'я), löyhkää- 'exhaler une odeur forte et désagréable—! l'ail, l'eau de vie' (словарь Y. Koskinen'a), 'foetere, putere' (словарь Renvall'я) и рядом löykkää- 'evaporare' (словарь Renvall'я), также, с иной суффиксацией, löyly 'пар' и т. д., см. о löyly J. Budenz, MUSz., 693.

Замечания по фонетике. — l не требует комментариев. Финляндскому öy (=öü) в прагерманском языке всегда соответствует au. Это соответствие следует истолковывать следующим образом: из старого финского eü в древнечудском языке (как, независимо от древнечудского, и в финляндском языке) развивалось öü; финские ö -овые и ü -овые звуки прагерманский язык заменял o -овыми и u -овыми звуками, так что финское öü он заменял ближайшим образом через ou; это ou в дальнейшем должно было развиться в au; другой пример au на почве финского eü > ou, как и примеры ă, ō и ŭ, ū на почве финского ö, ȫ и ü, ǖ, встретятся ниже. Финляндскому kk в чередовании с k должно соответствовать прагерманское k.

Прагерм. lauk|a- обозначало первоначально, вероятно, дикий чеснок, Allermannharnisch, Siegwurz, Allium ursinum L., — растение, известное в диком состоянии от Швейцарии до Скандинавии. Оно употреблялось в свое время не в пищу, а для чародейских целей, как средство против предательства (ср. нем. Allermannharnisch) и как средство для достижения победы (ср. нем. Siegwurz). Ср. V. Hehn, Kulturpflanzen und Haustiere, 197, 204.

Культурно-историческое значение прагерм. lauk|a- не должно истолковываться превратно. Перед нами не слово относящееся в область материальной культуры, а слово относящееся в область чародейства.

17) Прагерм. luγ|ō-, leuγ|ō- 'брачный обряд', luγ|ē, leuγ|ē- 'вступать в брак' (дрфризск. loga 'вступать в брак', готск. liuga 'брачный обряд', liugan 'вступать в брак'). Слова

эти некогда, вероятно, имели значительную прагерманскую семью, где аналогически возникло чередование гласных.

Рядом пракельтск. lug|i̯o- 'клятва' (ирл. luige).

Отношение прагерманского и пракельтского слов между собою не совсем ясно. В других индоевропейских языках родственных явлений нет. Надо думать, что и прагерманское, и пракельтское слово — результат заимствования из неиндоевропейского источника. Принимая в расчет, что перед нами слова, относящиеся в область низшей религии, где финское влияние могло действовать особенно сильно, позволительно искать финского источника этих слов.

Ср. финляндск. luvut (из luγut) Pl. 'formules de conjuration, paroles magique (pour opérer un charme)' (словарь Y. Koskinen'a, 361, 355), 'lectiones magicae pro sanandis morbis et vulneribus' (словарь Renvall'я), luku Sg. 'чтение; счет; число', luke- 'читать; считать' эст. lugu- 'произнесение, рассказывание, пение; рассказ, песня; чтение; счет; число', luge- 'произносить и т. д.; читать; считать', мордовск. эрз. lovo- 'читать; считать' и т. д. во всем финском мире, см. J. Budenz, MUSz., 839.

Замечания по фонетике. — l и u не требуют комментариев. Финляндскому k в чередовании с нулем (или j, v) перед лабиализованным гласным должно соответствовать прагерманское χ или γ. Или в данном случае играет роль положение задненебного после u?

18—19) Прагерм. mak|ō- 'делать подходящим, формировать, делать' (англосакс. macian, дрсакс. macōn, дрвнем. machōn, mahhōn, нвнем. machen).

Ср. финляндск. muokkaa- 'façonner, préparer, travailler', с другой суффиксацией muovaa-, muovaěle- 'façonner, former', muoto 'façon, forme, aspect', muotti 'moule, mesure'.

Замечания по фонетике. — m не требует комментариев. Количественная противоположность между финляндск. (ō >) uo и

прагерм. (ŏ >) ă не может составить препятствия к сближению, так как на финской почве нередки случаи количественного колебания в первом слоге слова, вроде финляндск. jää- 'оставаться' при jättä- (не jäättä-) 'оставлять'. Финляндскому kk в чередовании с k должно соответствовать прагерманское k.

К той же финской семье принадлежит прагерм. mōt|a- 'форма, отпечаток и т. д.' (дрсев. mōt, востфризск. mōt, нидерл. moet), которое прямо соответствует финляндскому muotti.

Обыкновенно финляндск. muotti (как W. Thomsen) и muoto (как T. E. Karsten) считают заимствованиями прагерм. mōt|a-. Это совершенно невероятно: финляндск. muotti и muoto обладают отчетливо уловимой финской суффиксацией (ср. maitti и maito от mai- и т. п.) и совершенно неотделимы от финляндск. muokkaa-, muovaa-, а германское слово не имеет никаких связей в индоевропейском языковом мире.

20—21) Прагерм. mōz|ī '-страна' (дрсев. mōri 'страна').

Ср. финляндск. maa -'земля; страна', эст. mā 'земля; страна; свободное место'.

Замечания по фонетике. — m не требует комментариев. ā должно было дать на прагерманской почве ō. Что касается z, то надо думать, что оно указывает на то, что в основании прагерманского слова лежит местная форма финского слова; по отношению к слову со значением 'страна' это совершенно понятно; ср. финляндск. maassa 'в стране' (из mā-s-na), masta 'из страны' (из mā-s-ta), maahan 'в страну' (из mā-ze-n).

Если учесть, что на финской почве mā может значить и 'свободное место' (эст. mād leidma или sāma 'Raum od. Eingang finden, Gelegenheit finden', mād andma или jätma 'Raum geben, Gelegenheit geben', см. словарь Wiedemann'a-Hurt'a), то нетрудно найти на германской почве родственника прагерманск. mōz|ī-.

Прагерм. mōt|a- 'находить место, находить возможность' (готск. ga-mōtan 'находить место', англосакс. mōtan 'находить возможность, мочь, сметь, долженствовать', дрсакс. mōtan

'то же', дрвнем. muoʒan 'находить место, находить возможность, мочь, сметь, долженствовать', нвнем. müssen при дрвнем. muoʒa 'свободное место, возможность, свободное время', нвнем. Musse).

В отношении суффиксации ср. финляндск. деноминативные глаголы на -t..., -tt..., среди которых имеется и maatu-, maattu; правда, maa- здесь выступает в значении 'земля', и глагол имеет значение 'достигает земли, приставать к берегу; приобретать свойства земли'.

Замечания по фонетике. — Кроме того, что сказано выше по поводу m и ō, надо сказать, что финляндскому tt в чередовании с t должно соответствовать прагерманское t.

22—23) Прагерм. mund... 'покупная-продажная цена человека' (дрсев. mundr 'покупная цена невесты и право-обязанность защиты невесты', дрфризск. mund, mond, англосакс. mund, дрвнем. munt 'право-обязанность защиты', нвнем. Vormund и т. д.).

Ср. финляндск. myynti первоначально 'давание' (ср. вогульск. mī-, mi- 'давать', остяцк. miji -'давать'), при меновой сделке, следовательно, и 'уплата', и 'продажа', ныне 'продажа' (myy- при myö- 'давать' > 'продавать').

Замечания по фонетике. — m не требует комментариев. Финляндскому ū соответствует прагерманское ū; в данном случае (перед носовым в закрытом слоге) оно должно было сократиться. Финляндскому nt в чередовании с nn из nd (вм. nđ) должно соответствовать прагерманское nþ или nd (вм. nđ).

Если принять в расчет, что первоначальное значение финского корня 'давать', то у прагерм. mund... обнаруживается родственник.

Прагерм. mūt|ō(n)- и mōt|ō(n)- 'дань, пошлина' (дрсев. mūta, срвнем. mūʒe при заимствованном из какого-то другого германского языка дрвнем. mūta и готск. mōta, дрангл. mōt, срвнем. muoʒ, muoʒe).

Ср. финляндск. myy- и myö- — первоначально 'давать'.

Суффиксация прагерманского слова сопоставима с суффиксацией финляндск. muo-tti, mai-tti и т. п.

Замечания по фонетике. — m не требует комментариев. Финляндским yy и (ō >) yö соответствует прагерманское ū и ō. Финляндскому tt в чередовании с t должно соответствовать прагерманское t.

Часто то, что здесь возведено к прагерм. mūt|ō(n)- и mōt|ō(n)-, объясняют из срлат. muta 'пошлина'. Это объяснение, однако, неверно. Средневековолатинское muta засвидетельствовано только с IX века и притом как германское по происхождению слово (837: nullum teloneum neque quod lingua theodisca muta vocatur, см. Fr. Kluge, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, под Maut). Далее, при допущении средневековолатинского происхождения слова трудно объяснимы колебания в его вокализме.

24—26) Прагерм. rak|ōn- 'то, что скрепляет что-либо' (дрсев. hur(đ)-raka 'Heck-Band'), rak|i̯a- приблиз. 'скреплять, связывать' в rak|i̯and- 'цепь, узы' (дрсев. Pl. rekendr) и rak|i̯andīn- 'цепь, узы' (дрсев. Sg. rekendi Fem.).

Ср. финские слова со значением 'приводить в устроенный вид' с различными модификациями этого значения: эстонские слова со значением 'скреплять, прикреплять' — rakenda- 'befestigen; anspannen, anjochen', rakendus 'Einfassung, Anspann', rake 'Einfassung' (kae̯vu-rakked) 'Einfassung, Bekleidung des Brunnens', pur̕je-r. 'Einfassungsstrick am Segel') и 'Riemen, womit das Ochsenjoch an die Pflugstange od. womit das Kummet an die Femerstange befestigt ist', финляндские слова со значением 'приводить в устроенный вид' и 'сооружать, строить' — rakenta- (tt ~ t) 'приводить в устроенный вид' (r. ateria 'mettre à la table', r. avioliitto 'entrer en mariage', r. maata или peltoa 'préparer la terre pour l'ensemencement) и 'сооружать, строить', rakennus 'сооружение, постройка'- и т. д. до венг. rak- 'сооружать; класть' (falat r. 'возводить стену', fészket r. 'строить, вить гнездо'), rakod- (= эст. rakenda-, финляндск. rakenta-)

'класть', см. J. Budenz, MUSz., 646. Для объяснения прагерманских слов важна та модификация значения, которая налицо в эстонском языке.

Та же модификация значения важна для объяснения прагерм. rakent|ōn- 'цепь, узы' (англосакс, racente, дрвнем. rahhinza). Это слово чрезвычайно интересно со стороны суффиксации. Ср. финляндск. rake(n)ttu, страдательное причастие от rakenta-. О таких страдательных причастиях см. E. Setälä; YÄ, 389. С такими причастиями мы уже имели дело, обсуждая прагерм. (χa)-γant|a-. Значение древнечудского слова, лежащего в основании прагерманского, собственно приблиз. 'прикрепляемое'.

Замечания по фонетике. — r и a не требуют комментариев. Финляндскому kk в чередовании с k должно соответствовать прагерманск. k. e и n не требуют комментариев. Финляндскому tt в чередовании с t должно соответствовать прагерманск. t.

На германской почве отражается и та модификация значения, которая налицо в финляндском языке. Дело касается прагерм. rakuđ|a- 'постройка, дом' (англосакс. ræced, reced, дрсакс. racud, racod). К суффиксации ср. финляндские образования на -ut (м. п. уменьшительные).

Замечания по фонетике. — Кроме указанного выше, надо иметь в виду, что финляндскому t в чередовании с нулем (из đ) должно соответствовать прагерманское þ или đ.

W. Thomsen, Über den Einfluss der germanischen Sprachen auf die finnisch-lappischen, 164, пытался доказать германское происхождение западнофинских слов. Его построение, однако, неверно: с германской стороны он принимает в расчет лишь продолжателей прагерм. rakuđa-, а с финской стороны только западнофинские явления.

27) Прагерм. saiu̯al|ō- 'душа' (готск. saivala, дрсев. sāl, англосакс. sāwol, дрсакс. sēola, siola, древнем. sēula, sēla, нвнем. Seele).

Ср. финляндск. (šaika- >) haika- 'легкий дым, легкий запах', haiku- 'то же', с иной суффиксацией haise- 'пахнуть' и т. д.

Что слова со значением 'душа' могут возникать на почве слов со значением 'дым, пар, движение воздуха, запах и т. п.', это вряд ли нужно особенно доказывать. Ср. например, дринд. dhūmas, лат. fūmus, праслав. dymъ 'дым' и греч. θυμός 'дух', греч. ἄνεμος 'движение воздуха, ветер' и лат. animus, anima, праслав. duχъ 'движение воздуха, запах, дыхание и т. д.' и праслав. duša и т. п. или финляндск. löyly 'пар, особ. в бане' и венг. lēlek 'душа'.

Суффиксация прагерманского слова по происхождению во всяком случае уменьшительная. Что она возникла на германской почве, это сомнительно: l -овый уменьшительный суффикс в существительных женского рода здесь является обычно в комбинации -elōn-. Гораздо вероятнее, что она возникла еще на финской почве: l -овый уменьшительный суффикс здесь является в любых комбинациях, см. J. Budenz, Az ugor nyelvek összehasonlító alaktana, 297. Представления древних о душе (ее представляли, как маленькое облачко или как маленького зверька — мышь и т. п.) делают уменьшительную суффиксацию совершенно понятной. Она встречается и в других случаях, напр. в венг. lēlek 'душа'.

Замечания по фонетике.—s как германская передача старого финского š (а может быть, и как продолжатель древнечудского s, если на древнечудской почве произошел переход š > s) не возбуждает сомнений. ai не требует комментариев. Финляндскому k в чередовании с нулем перед нелабиализованным гласным (a) должно соответствовать прагерманское χu̯ или u̯. a и l не требуют комментариев.

28—30) Прагерм. sileđ|ō-, или что нибудь в этом роде,— 'сельдь' (дрсев. sild, sīld).

Ср. финляндск. (sileđä- >) sileä- 'гладкий; гладкий и вместе с тем блестящий (спокойная вода; золоченый, серебреный, эмалированный и т. п. предмет); гладкий и вместе с тем скользкий (лед)', silkka- 'то же', также 'чистый' (словарь Renvall'я), sila 'гладкая и т. д. поверхность', silaa- 'делать гладким и т. д.', silakka- 'балтийская сельдь, Strömling', sila-joki 'река со

спокойно текущей водой', silo 'гладкая и т. п. поверхность' эст. (sileđä- >) sileda- 'гладкий', silku- и silakas 'балтийская сельдь, Strömling, особ. соленая' и т. д. Не лишне подчеркнуть, что корень sil... на финской почве может служить для образования слов, обозначающих рыбу с чешуей цвета воды.

Замечания по фонетике. — s, i, l и e не требуют комментариев. Финляндскому t в чередовании с нулем (из đ) должно соответствовать прагерманское þ или đ.

Интересно заметить, что в то время, как прагерм. sileđ|ō- 'сельдь' является заимствованием древнечудского слова, соответствующего финляндскому (sileđä- >) sileä- 'гладкий и т. д.', прибалт. silk(i̯)ē- 'сельдь' (лит. sìlkė и т. д.) является заимствованием прибалтийскофинского слова, представленного в финляндск. silkka- 'гладкий и т. д.'. Что на балтийской почве есть названия рыб балтийскофинского происхождения, это мы уже видели на примере дрпрусск. kalis 'сом'.

На германской почве есть и другие слова того же финского корня. В основании их семантики лежит представление спокойной воды или цвета спокойной воды.

Прагерм. sil|a- 'спокойная вода между двумя водопадами' (дрсев. sil).

Ср. финляндск. sila-joki 'река со спокойно текущей водой' (sila 'гладкий и т. д. поверхность', joki 'река').

Прагерм. silub|ra — первоначально, как это показывает r-овый суффикс, прилагательное, затем существительное со значением 'серебро' (готск. silubr, дрсев. silfr, англосакс. seolfor, дрсакс. silubar, дрвнем. silubar, silupar, нвнем. Silber).

Ср. финляндск. silo- 'гладкая и т. д. поверхность'. Слово принадлежит к морфологической категории, где имеется колебание между o-овой и u-овой суффиксацией; в таких случаях на германской почве мы находим обычно u (другой пример будет приведен в § 10). Ср. далее финляндское прилагательное на -pa- в чередовании с -va-, означающее 'обладающий чем-либо'. В основании прагерманского прилагательного лежит, таким образом,

финское silub̄a- 'обладающий гладкой и т. д. поверхностью' = 'гладкий и т. д.' ('цвета спокойной воды'). По поводу r-овой суффиксации в прагерманском слове надо принять в расчет, что оно вообще нередко в прагерманских прилагательных финского происхождения; она в них является по аналогии прагерманских прилагательных индоевропейского происхождения; ср. выше прагерм. i̯euk|ra- и ниже прагерм. tauf|ra-, taub̄|ra- и aifra-, aib|ra- (№ 33).

Замечания по фонетике. — s, i, l и u не требуют комментариев. Финляндскому p в чередовании с v должно соответствовать прагерманское f или b̄.

Принадлежащее V. Hehn'y сопоставление прагерм. silub̄ra- с названием города *Ἀλύβη* (у Гомера: *Τηλόθεν ἐξ Ἀλύβης ὅθεν ἀργύρου ἐστὶ γενέθλη*), как оно ни остроумно, имеет очень мало шансов на объективную верность: кроме затруднений в области фонетики (', а не ', а, а не i), оно встречает еще затруднение в области морфологии (необъяснимой остается первоначальная прилагательная природа прагерманского слова, на которую указывает r-овый суффикс).

Культурно-историческое значение прагерм. silub̄|ra- не следует преувеличивать: в устах германцев оно первоначально было прилагательным, а не существительным со значением 'серебро'.

31—34) Прагерм. teχu̯|ō- 'устраивать, приводить в порядок' (англосакс. geteohhian 'устраивать, приводить в порядок, определять, полагать', древнем. gizehōn 'устраивать, приводить в порядок', срвнем. zechen 'то же', zech, zeche 'устроение, приведение в порядок, организация, цех, цеховая пирушка', нвнем. zechen) и рядом прагерм. tēu̯|i̯a- 'устраивать, приводить в порядок' (готск. tēvjan 'приводить в порядок'). К вокализму ē в последнем слове ср. сказанное выше по поводу прагерм. fēl|i̯a-.

Ср. финляндск. teke- 'устраивать, делать' и т. д. до венг. tev- 'устраивать, делать', см. J. Budenz, MUSz., 215 сл.

Замечания по фонетике. — Финляндскому t в начале слова должно соответствовать прагерманское t. e не требует коммен-

тариев. Финляндскому k в чередовании с нулем перед нелабиализованным гласным должно соответствовать прагерманское $\chi\underset{\frown}{u}$ или $\underset{\frown}{u}$.

Если мы спросим себя, как должно было бы отразиться в прагерманском языке древнечудское причастие настоящего времени действительного залога от того глагола, который лежит в основании прагерм. te$\chi\underset{\frown}{u}$|ō-, т. е. древнечудская форма, соответствующая финляндск. (tekeƀä- >) tekevä-, то мы должны ответить: оно должно было бы отразиться в прагерманском языке как tauf... или tauƀ... Надо принять в расчет прежде всего то, что на древнечудской почве e перед губным суффикса еще опускалось, ср. выше прагерм. alƀ|a-. Далее надо принять в расчет своеобразную древнечудскую трактовку старых финских задненебных. Таким образом, для древнечудского языка надо ожидать teu- > (в виду переднего вокализма формы) teü- > (в виду перехода eü > öü, ср. выше прагерм. lauk|a-) töü- + губной, а для прагерманского языка (в виду того, что на месте древнечудского öü в прагерманском языке явилось ou и далее au, ср. выше прагерм. lauk|a-) tau+губной. Ожидаемое прагерманское слово действительно существует. Только для его обнаружения надо еще принять в расчет, что у финского глагола, кроме значения 'устраивать, делать', есть еще значение 'чародействовать' (ср. эст. tegija не только 'устроитель, делатель', но и 'чародей', tehtud aśjad 'чары, то, что создано чародейством' и т. п., см. словарь Wiedemann'a Hurt'a, под tegema), — как это вообще часто бывает с глаголами, означающими 'устраивать, делать', см. O. Schrader, RIA., под Zauber. Ожидаемое прагерманское слово—tauf|ra, tauƀ|ra- 'чародейственный', в функции существительного 'чары', с финской точки зрения, собственно 'устраивающий, делающий' (дрсев. taufr, древнем zouver, zoubar, нвнем. Zauber, также англосакс. tēafor 'Mennig', собственно 'чародейственная краска'). r -овая суффиксация прагерманского слова такова же, как и в некоторых других прилагательных финского происхождения.

К образованию прагерм. tauf|ra-, tauƀ|ra- ср. образование прагерм. aif|ra-, aiƀ|ra- 'scheuchend, schrecklich, harsch, bitter' (англосакс. āfor, древнем eiver, eiber), с которым надо сопоставить финляндск. (ajaƀa- >) ajava- 'гонящий', причастие наст. врем. действит. залога от aja- 'гнать'. По поводу этого случая надо заметить, что в системе глагольных форм а на финской почве некогда опускалось на тех же точно основаниях, что е (каковое положение вещей, сохраняется например, в языке Калевалы).

tau..., которое налицо в прагерм. tauf|ra-, tauƀ|ra-, открывает дорогу к объяснению прагерм. tau|ja- 'делать' (готск. taujan, дрсев. рун. tavidō, срннем. touwen, древнем zawjan, zowjan), tau̯|ō- 'то же', (англосакс. tawian). По всей видимости, в этих прагерманских глаголах отложилась та или иная древнечудская форма с опущенным е, в то время, как в прагерм. teχu̯|ō- отложилась та или иная двевнечудская форма с сохраненным е. Возможно, что семья прагерм. tau|ja-, tau̯|ō- вступила в смешение с другой прагерманской семьей, ведущей начало от праиндоевр. dū̆- 'тянуть (> прясть, ткать); тянуться (> стремиться)', ср. A. Torp, Wortschatz der germanischen Spracheinheit, 165 сл.

35) Прагерм. u̯alu̯|ōn 'прорицательница' (дрсев. vǫlva).

Для объяснения слова важно принять в расчет два синонима: дрсев. vǫlva и дрсев. spā-kona. Семантика последнего ясна: оно связано с дрсев. spā существительн. 'напряженное наблюдение, прорицание', spā глаг. 'напряженно наблюдать, прорицать', которые восходят к семье прагерм. speχ-, spaχ- 'напряженно наблюдать' (сюда еще дрвнем. spehōn 'напряженно наблюдать', нвнем. spähen и т. д.) и далее к семье праиндоевр. ((s)pek̑-, (s)pok̑- 'напряженно наблюдать' (сюда еще лат. specio, conspicio, греч. с перестановкою σκέπτομαι, дринд. paçyati, авест. çpaçyēiti 'напряженно наблюдает, сторожит').

Ср. к прагерм. u̯alu̯|ōn- финляндск. valvo- 'напряженно наблюдать, приглядываться, прислушиваться, сторожить, бдеть'

и т. д. до венгерск. óv- из olv- 'остерегаться, беречься', ótalom при oltalom 'защита', см. J. Budenz, MUSz., 844.

Замечания по фонетике вряд ли нужны.

36) Прагерм. u̯īƀ|a- женщина (дрсев. vīf, англосакс. wīf, дрсакс. wīf, древнем. wīb).

Ср. эст. (u̯īpä- ~ u̯īƀä- >) vīva- 'несущий', причастие наст. врем. девствит. залога от vī- 'нести'. Как на индоевропейской почве, так и на финской значение 'нести' может связываться со значением 'рождать', ср., например, зыр.-вотяцк. vaj- 'приносить' и 'рождать'. Таким образом, в основании прагерманского слова лежит финское слово со значением 'рождающая' ('gabaírands').

Замечания по фонетике. — u̯ и ī не требуют комментариев. Финляндскому p в чередовании с v, эстонскому ƀ в чередовании с v должно соответствовать прагерманское f или ƀ.

Средний род прагерманского слова нуждается в особом замечании. Он, по всей видимости, обязан воздействию прагерм. kaƀes- '(финская) женщина', когда оно еще не превратилось в прагерм. kaƀes|ijōn- 'раба, наложница'; это прагерм. kaƀes- '(финская) женщина' было прямым продолжением дрчудск. kaƀes 'женщина', чем и объясняется его -es; как все существительные на -es, это прагерманское слово должно было стать существительным среднего рода. О судьбах прагерманских слов на -es, которые в отдельных германских языках большей частью перешли в другие морфологические категории (обычно путем усложнения суффиксации), ср. в особенности T. E. Karsten, GFL.

8.

Прежде чем перейти к названиям стран и народов, одно замечание из области звуковых соответствий.

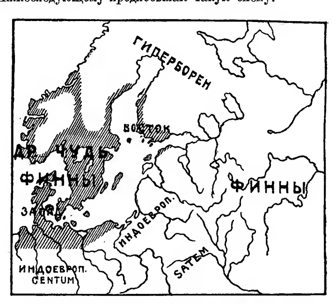
Как известно, названия народов и стран можно усваивать, не находясь под прямым языковым воздействием племени, от которого эти названия перенимаются. Названия народов и стран

бегут на громадные расстояния, а прямое языковое воздействие наступает лишь при той или иной форме сожительства народов.

Это объясняет, почему среди названий народов и стран, создавшихся в среде Древней Чуди и попавших в прагерманскую речь, некоторые (впрочем, только некоторые из числа относящихся к западной части древнечудской территории) прошли в прагерманском языке через Lautverschiebung, будучи усвоены особенно рано.

9.

Нижеследующему предпосылаю такую схему.



Север Европы в первой половине I-го тысячелетия до Р. Х.

10.

Некоторые названия народов и стран Севера Европы.

37—39) Древняя Чудь.

Прагерм. þeuþa-, þeuđija- ('свой' >) 'дружественный' (готск. þiuþ 'добро', дрсев. þȳđr 'дружественный', англосакс.

geþiede 'хороший') и рядом прагерм. þeuđija- ('делать своим' >) с одной стороны, 'делать дружественным' (дрсев. þýđa 'делать дружественным', англосакс. geþīedan 'примыкать'), а с другой стороны, 'делать понятным' (дрсев. þýđa 'делать понятным, объяснять, значить', англосакс. geþiedan 'переводить', срнем. dūden 'объяснять', древнем. diuten 'делать понятным, объяснять, значить', нвнем. deuten и т. д.). Эти слова имеют бесспорный уклон в сторону слов-этнических наименований. Это особенно ясно из праславянских слов, заимствованных из прагерманского языка. Для праславянского языка можно отметить: (teudįo- >) t'ud'ъ чужой (церкслв. штоуждь, а в силу различных контаминаций также чоуждь, тоуждь, стоуждь, дрруск. чюжь, польск. cudzy), t'udъ 'исполин' (церкслв. штоудъ, дррусск. чюдъ, польск. cud), t'udo-judo 'сказочное морское чудовище' (русск. чудо-юдо), t'udь 'население берегов Балтийского моря (дррусск. чюдь 'население ближайшего к русским побережья Балтийского моря, эсты', позднее 'финны'). Обращает на себя внимание противоположность прагерм. þeudija- 'свой' п праслав. (teudįo- >) t'ud'ъ 'чужой'. При праслав. t'ud... есть и преслав. t'uχ..., с той же, по мысли А. И. Соболевского, суффиксацией, что čeχъ, lęχъ (русск. чухна, чухонец 'финн', чушь 'нечто чуждое непонятное, нелепое'). — Рядом прагерм. þeuđō- 'полнота, множество' и 'народ' ('полнота, множество' в эстонск. заимствованном tōudu-; 'народ' в готск. þiuđa, дрсев. þjōđ, англосакс. þēod, дрсакс. thioda, thiod, дрвнем. diota, deota).

Кельт.-лат. Teutoni, Teutones, название одной из групп участников похода 113 года до Р. Хр. Первоначально это название относилось, повидимому, ко всему населению Бальтийского Севера. На это намекает пракельтск. teuto- (> touto- > tōto-, см. H. Pedersen, Vgl. gramm. d. kelt. Spr., I, 53 сл.) 'северный', т. е., с точки зрения пракельта, 'тевтонский, направленный в сторону тевтонов', и 'левый', т. е., с точки зрения человека, ориентирующегося по ориенту, 'северный' (ирл. tūath

'северный' и 'левый'). — Рядом пракельтск. teutā- (> toutā- > tōtā-) 'полнота, множество' и 'народ, страна' (ирл. tūath, кимрск. tūd, брет. tud).

Лит. tautà, 'Oberland, Deutschland'. — Латышск. tauta, дрпрусск. tauto 'народ, страна'.

Индоевропейские этимологические средства для объяснения всех этих слов вполне достаточны: энтическое название могло возникнуть в пределах германских стран на почве слова со значением 'полнота, множество', 'народ', а соседи могли это этническое название поставить в связь со своими словами со значением 'полнота, множество', 'народ'. Слово же со значением 'полнота, множество', 'народ', как у германцев, так и у их соседей, бесспорно, индоевропейского происхождения. Ср. еще умбрск. toto, оскск. tú̇vtú 'полнота, множество', 'город, государство'. В основании лежит праиндоевропейский корень tū- 'быть полным, изобилующим'.

Несмотря на это, есть основания думать, что этническое название вовсе не индоевропейского, а финского происхождения. Конечно, и германцы и их соседи должны были поставить его в связь со своими индоевропейского происхождения словами со значением 'полнота, множество', 'народ', — но это сути дела не меняет. Вместе с тем есть основания думать, что это этническое название относится первоначально к Древней Чуди. На германцев или некоторые их группы оно перенесено по преемству крови и по преемству обладания территорией.

Упомянутые основания следующие:

Прежде всего, кроме индоевропейской, возможна и финская этимология этнического названия. Ориентироваться надо на старое финское tāṷe- или täṷe- ~ täü-в лапландск. (tāṷe- или täṷe- >) dievva- 'полный, изобилующий', старое финское täü-te- в финляндск. täyte-, лапл. dievda- и т. д. до венг. tele, teli -'полный, изобилующий', см. J. Budenz, MUSz., 203 сл., и в особенности старое финское täü-ttö в эст. täitu- 'полнота, множество'. Древнечудское соответствие эст. täitu-должно

было звучать как täütü- и значить ‘полнота, множество > Чудь’. Будучи заимствовано в германскую речь (в речь того индоевропейского народа, который привил индоевропейскую речь Древней Чуди) до Lautverschiebung, оно дало teut... Отсюда после Lautverschiebung téut... > þéuþ... и teut.'. > þeuđ.'.

А затем легко разыскиваются явления, родственные рассматриваемому этническому названию, но объяснимые только финнологическими средствами. Семантическая судьба этих явлений такова, что дело может касаться только покоренной Древней Чуди, но не покорителей.

Прагерм. þeu̯|a- ‘слуга, раб’, первоначально, надо думать ‘чудин’ (готск. þius, дрсев. -þēr, англосакс. þēow, дрвнем. đeo) при прагерм. þeu̯|an-∼þeu|n- и далее, с распространением основы, которая известна и в других случаях, þeu̯|ana-∼þeu|na- ‘то же’ (дрсев. þjōnn, англо-сакс. þēowen, и при них глагол со значением ‘служить’: дрсев. þjōna, þēna, дрсакс. thionōn, дрвнем. dionōn, dionēn, нвнем. dienen), þeu̯|ı- ‘служанка, рабыня’, первоначально, надо думать, ‘чудинка’ (готск. þivi, дрсев. þȳ и þēr, англосакс. þēowu, þēowe, дрсакс. thivi, thiu, дрвнем. diu), þeu̯|ernōn- (с тем же суффиксом, что и u̯iđuu̯ernōn- и т. п.) ‘девушка, служанка’, первоначально, надо думать, ‘девушка-чудинка’ (дрсев. þerna, дрвнем. diorna, нвнем. Dirne).

В то время, как дрчудск. täütü- значило ‘Чудь’ (коллективное название), дрчудск. täü- значило ‘чудин, чудинка’ (название отдельного человека).

Кельт.-греч. *Θούλη*, название мифического острова, где-то на Севере. Различные авторы отожествляли его с разными островами, некоторые со Скандинавией, которая в древности считалась островом. Поиски точного местонахождения острова на основании дошедших до нас свидетельств — совершенно бесплодны, так как в эпоху этих свидетельств остров уже был мифическим, и каждый мог открывать его, где хотел. Материал

можно найти, например, у Müllenhoff'а, Deutsche Altertumskunde.

Если кельт.-греч. *Θούλη* отражает пракельтск. Teulā- (> Toulā > Tōlā), то, в то время, как дрчудск. täütü- значило 'Чудь', а дрчудск. täü- 'чудин, чудинка', дрчудск. Täülä- значило 'страна Чуди'. Суффикс -la- (-lä-) служит в финской речи для обозначения места и, в частности, для обозначения страны, ср. финляндск. Kalevala, Pohjola и т. п.

Маленькое замечание: название которое мы приняли условно, Древняя Чудь, оказывается, продолжает в действительности существование названия народа.

40—42) Древнечудский Запад.

Если мы спросим себя, как должно было бы звучать в прагерманском языке слово, которое продолжало бы древнечудское слово со значением 'вечер, запад', то при финляндск. (ekto- >) ehto-, (ektaγo- >) ehtoo- 'вечер', эст. õhtu- 'вечер' и 'запад', лапландск. iekto и т. п. 'вчера' и т. д., мы ждали бы прагерм. euþ... или euđ... Как и в случае прагерм. tauf..., taub... (№ 32), задненебный перед согласным дал бы u̦, причем, в виду заднего вокализма слова, оно в прагерманском языке выступило бы не в комбинации au (на почве древнечудского õü из eü, ср., в параллель древнечудскому языку, финляндск. õy = õü из eü), а в комбинации eu (на почве древнечудского eu, ср. в параллель древнечудскому языку, финляндск. неизменное eu).

Ожидаемое прагерм. euþ..., euđ... мы, действительно, находим, причем его распространение охватывает Ютландию и соседние местности. Позднее, вместе с передвижением германцев, это прагерм. euþ..., euđ... появляется и южнее.

Прежде всего надо привлечь сюда праслав. заимствованное (teudo-eudo >) t'udo-judo 'сказочное морское чудовище' (русск. чудо-юдо) и герм.-лат. Juthungi, название германского племени, отмеченного в сравнительно позднюю эпоху в составе аламанского союза.

А затем надо привлечь сюда герм.-лат. Eudusii, название германского племени, отмеченного очень рано (еще Цезарем) в Ютландии. Это название интересно по своей суффиксации. Дрчудск. euþu 'вечер, запад': euđus 'западный' (к и ср. прагерм. silubr|a- № 30) = финляндск. länsi, основа länte- 'запад': läntinen, основа läntise- 'западный'.

Все эти названия проникли в германскую речь после Lautverschiebung. Наряду с ними есть одно название той же семьи, проникшее в германскую речь до Lautverschiebung. Это — прагерм. eut... из eud..., которое передавало дрчудск. euđ... (đ германской речи до Lautverschiebung не было известно). Оно продолжается в дрсев. Jōtar, названии германского племени, обитавшего в Ютландии. По имени этого племени Ютландия и называется Ютландией.

Древнечудский Запад принадлежал самой Древней Чуди. Это ясно из того, что древнечудские названия Древней Чуди и древнечудского Запада продолжаются в одних и тех же местностях. Не лишено значения и то, что оба названия скомбинированы в праслав. заимствов. (teudo-eudo >) t'udo-judo.

43—45) Древнечудский Восток.

В соответствии с финляндск. ehto-, ehtoo- 'вечер', эст. ōhtu- 'вечер' и 'запад' и т. д., мы ожидали и нашли дрчудск. euþu- 'запад'. В соответствии с финляндск. (šōme- >) huome-, huomene -'утро', эст. hōmingu-, hommingu-, hommiku- 'утро' и 'восток' и т. д. мы ожидали бы дрчудск. šōme- или sōme- (смотря по тому, какие судьбы имело на древнечудской почве š, ср. выше по поводу прагерм. saiu̯al|ō- № 27) 'восток'.

Ожидаемое мы и находим, к востоку от Балтийского моря. Перед нами до сих пор не разъясненное удовлетворяющим образом финляндск. Suome- 'Финляндия' (uo из ō). Это название имело некогда меньшее географическое распространение, значило 'Юго-Западная Финляндия'.

Древнечудский Восток принадлежал самой Древней Чуди. Это

обстоятельство явствует не только из того, что без Древней Чуди на Востоке вряд-ли утвердилось бы древнечудское название Востока, но и из того, что данные общей палеонтологии связывают Юго-Западную Финляндию с местностями к западу от Балтийского моря.

В связи с развертывающейся сейчас картиной интересно проследить историю названия финнов.

Прагерм. Fenna- (Тацит Fenni, дрсев. Finnr, англосакс. Finn, дрсакс. Finn, древнем. Finn) имело иное содержание, чем финны в нашем употреблении. Оно обозначало, несомненно, лапландцев, а первоначально, может быть, и их нефиннизированных предков. Оно испытало постепенное перенесение. Для древних скандинавцев финнами были, во-первых, лапландцы, а во-вторых, нескандинавское население Финляндии, отчасти, может быть, те же лапландцы (лапландцы отмечены ок. С.-Михеля и в северной части Саволакса еще в XVI веке, см. K. Wiklund, Entwurf, 22). Позднейшие судьбы названия финнов вряд-ли нужно указывать.

Существующие этимологии названия финнов все без исключения и совершенно правильно считаются с первоначальной принадлежностью этого названия лапландцам. Большинство этих этимологий явно недоброкачественны (суждение на этот счет дано, например, у M. Schönfeld'a, Wörterburch der altgermanischen Personen und Völkernamen, 276). Интересна только одна этимология, предложенная O. F. Hultman'ом и поддержанная, между прочим, T. E. Karsten'ом. По этой этимологии, перед нами прагерм. fenþan- ~ fenþen- ~ fenþn- > fenn- и далее, с распространением основы, которое известно и в других случаях, fenna-, собственно 'тот, кто ищет, находит' (ср. fenþan- ~ fenþen- в древнем findo 'то же'). Дело касается людей, стоящих на так называемой ступени собирания (Sammelstufe), на ступени незнакомства с земледелием. Впрочем, и эта этимология грешит одним недостатком, который ее губит: на ступени собирания собирание принадлежит женщинам; вряд-ли возможно,

чтобы народность получила название по занятию женщин; эта народность скорее получила бы название по занятию мужин — охоте или рыболовству; кроме того вряд-ли собирание со стороны женщин может составлять нечто бросающееся в глаза — ведь и до сих пор на женщин падает собирание ягод, грибов и т. п.

Переходя, с новыми средствами, к новой этимологии, примем в расчет, что для гиперборея прежних времен была чрезвычайно характерна собака, как упряжное животное. В эпоху так называемых куч кухонных отбросов (Kjökkenmöddinger) единственным животным, какое успел приручить человек, была собака. Вокруг человека этой эпохи было всегда множество собак. Они были участниками его трудов — в частности, служили, надо думать, для упряжи — и его пиршеств. См. S. Müller, Nordische Altertumskunde, 8 сл. Позднѣе пользование собакою как упряжным животным стало уступать пользованию другими животными. Но в глуши снегов оно держалось, конечно, долго.

Принимая в расчет финляндск. penu- 'собака' (при peni- 'собака'), эст. peni- 'собака', мордовск. pinä, pine 'собака' и т. д., см. J. Budenz, MUSz., 512 сл. и связывая с этим словом (через древнечудское посредство) прагерм. Fenna-, можно следующим образом разъяснить фонетику этого названия: Fenu ~ Fenu̯- (в части форм) > Fenn- и далее, с распространением основы, которое известно и в других случаях, Fenna-.

К счастью, есть другое прагерманское слово, ведущее нас к древнечудскому названию собаки, соответствующему финляндск. penu-. Это прагерм. Fenuz|i̯a- и далее дрсев. (Fönrir >) Fenrir 'мифическая собака, мифический волк'. Суффиксация этого слова не может составлять загадки, если принять в расчет, что на финской почве названия богов, вроде верховного бога финляндцев Ukko, названия мифических гигантов, вроде величайшего из мифических гигантов финляндцев Vipuse-, и вообще названия существ, внушающих особое почтение, представляют собою существительные уменьшительные. Суффикса-

ция этого слова сопоставима с суффиксацией только что упомянутого финляндск. Uipuse-. Ср. прагерм. χu̯alas..., χu̯alaz... и, по ассоциации с колебанием в сходнооканчивающихся именах индоевропейского происхождения, χu̯ales..., χu̯alez... (№ 13) — финляндск. kalase- 'рыба' уменьш.

Д. Бубрих.

Необходимые исправления:

1) вместо mōzī везде читать mōzijō;

2) » mōri » » mōrr;

3) вычеркнуть все, что касается прагерм. aif|ra-, aib|ra-

Материалы по литовской диалектологии.

1. Описание говора.

Вводные замечания. § 1. Запись диалекта — сама по себе — не представляет еще готового научного материала. Видеть ценность в «нетронутых» записях, считать гарантией точности и научной годности — отсутствие намеренной фальсификации или исправлений по теоретическим домыслам — мы уже не можем. Необходима большая обработка записи, чтобы она приобрела значение научного источника.

Уже применение той или иной системы фонетической транскрипции всегда вводит подмен и нарушение соотношений в наблюдаемых явлениях. Необходимы описательные пояснения. Но они дают только частичную поправку той неточности, какая происходит от пригонки регистрируемого звукового материала под шаблон условных обозначений. Вполне устранить эту неточность нельзя за несовершенством любой транскрипционной системы.

Важнее этого для научной квалификации диалектографического материала определение индивидуальных отклонений от средней нормы диалекта [1]. Эти отклонения двояко обусловлены. Одни

[1] За среднюю норму диалекта я принимаю ту полную и безупречную форму речи (фонетическую, грамматическую и лексическую), какая осуществляется только изредка в силу того или иного принуждения, но всегда — с большей или меньшей очевидностью —, определяет языковое общение в среде нормальных и постоянных членов данного коллектива. Характеристику диалекта искали в его раритетах, в неповторяющихся нигде больше элементах, т. е. как раз в том, что служит языковому разобщению, что сближает диалект с внутри-коллективным, отчуждающим «арго». Теперь представляется более правильным искать *норму* диалекта (а не «характеристику») во всей полноте и сложности его узуального речевого состава, т. е. главным образом в тех элементах, какие служат широкому

вводит объект записи — каждый носитель диалекта, другие субъект записи — каждый регистратор. Учесть те и другие отклонения с исчерпывающей полнотой едва ли возможно, по крайней мере едва ли когда-нибудь удавалось. Но без этого рода правки — мы имеем не совсем готовый для диалектологии материал (с отрицательным значением в науке). Исправление записи путем повторных наблюдений и перечитывания вместе с объектами ее — помогает обнаружить и оговорить все случайности индивидуальной речи. Обстоятельный комментарий регистратора помогает читателю понять его «аперцепционное преломление» языковых явлений.

§ 2. Модификация языковых явлений от субъекта записи происходит прежде всего через уподобление его наибольшему языковому опыту («родному языку») тех деталей, какие остаются вне его сознательно-направленного внимания. И эта модификация тем сильней, чем более далек и чужд ему исследуемый диалект (потому что тем больше оказывается тогда поводов для нее). Тренировка в фонетических семинариях и кабинетах может свести погрешности в научной передаче звуковой стороны говора к тому минимуму, какой обусловлен самой системой транскрипции. Но нет такой школы, которая стремилась бы и могла бы предохранить от недосмотров и искажений семантических — даже индивидуального порядка, не говоря уже о тех, какие неизбежно являются при интерпретации сельского диалекта на каком-нибудь

языковому объединению в однокультурном коллективе. Нельзя в определении диалекта руководствоваться и логическим шаблоном: per genus proximum et differentiam specificam. Нет общего родового типа всех диалектов одного языка, нельзя принимать за таковой немногих разрозненных элементов, какие можно было бы «вынести за скобки», так как они не составляют системы, и в разных диалектах не тождественны по своему относительному значению; нельзя принимать и литературного языка, от которого обычно отправлялись в диалектографии, так как он всегда далек от «родового типа». С другой стороны обособляющие отличия малоупотребительны и неустойчивы (обречены исчезнуть); наконец, они распространены по большей части в диалектических *группах*, а не «особях», но каждая в несколько иных границах, и потому не могут быть названы специфическими в точном смысле.

литературном языке. Далее, у лингвистов с исторической подготовкой всегда почти можно наблюдать архаизацию или нормализацию говора. Некоторая неточность диалектограммы бывает результатом уже одной грамотности в данном языке,— полного владения его литературными нормами. Сличая свои записи (№№ 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11) с параллельными записями моего спутника[1], совсем неграмотного по литовски, но научившегося во время поездки приблизительно понимать эту речь и притом опытного в диалектографии, — я убедился, что не раз уверенно слышал несуществующие в данном говоре «правильные» формы и варианты слов, вместо неологистических. Прочные ассоциации литературных норм языка перерабатывают и вытесняют мимолетные и неотчетливые впечатления «живой речи» во всех тех ее элементах, в которых наблюдатель не предполагает еще отличий диалекта.

К еще большей невосприимчивости и непроизвольным искажениям в изображении диалекта ведут некоторые теоретические догматы или националистические воления диалектографа.

Этого рода «дурная компетентность» регистратора сказывается уже в отборе и группировке диалектических материалов. Известно, например, предпочтение к записи разговоров при изучении наречия и предостережения прославленных диалектологов против песен, сказок, связного рассказа, пословиц и загадок[2], словом против «народной поэзии».

В этой расценке проявляется не мера научной осмотрительности, а вмешательство специфического ученого пуризма. Искание фиктивного — «чистого» и «цельного» диалекта (удобного для некоторых теоретических догматов и систем) ведет к ложному изображению реального диалекта.

---

[1] Покойного В. М. Отроковского, пр.-доц. Киевского Университета. Ему принадлежит описание говора с. Кобылевки Подольской губ. — в Известиях Отд. Р. Яз. и Сл. РАН, т. XIX 1914 г., кн. 4.

[2] Ср., например, письмо проф. Белича к Бодуэну де Куртенэ. Изв. Отд. Р. Яз. и Слов. РАН, т. XVIII, кн. 1 за 1913 г.

§ 3. Различие языка в разговорах с одной стороны, — в песнях и т. д. (в «сельской поэзии») с другой—бесспорно очень значительно. Ощутительнее всего для наблюдателя это различие именно в степени «смешанности», лучше сказать — в сложности состава языка. Замечено, что разговорная речь нередко (однако не всегда) бывает более выдержанной, — типичной и иллюзорно беспримесной, чем язык песен и т. д. «Сельская поэзия» кочует, заходит от соседей, иногда перенимается от книжного человека, притом она не всегда в одной форме у всех и не одинаково известна всем. Ясно однако, что определение близости того и другого жанра в диалекте к его «средней норме» — сводится к поправке индивидуальных искажений от объекта записи.

Пока необходимой и достаточной казалась монографическая разработка *изолированных* диалектов, — для тех, кто исповедывал догмат *монолитности* наречия и лишь снисходительно допускал существование «переходных говоров», — естественно было исключать из лингвистического обихода песни, сказки и т. п. Теперь это невозможно.

Г. Шухардт еще в 1885 г. утверждал: «Нет совсем несмешанных языков — мы это можем сказать с большим правом, чем Макс Мюллер говорил: Вовсе нет смешанных языков»[1]. С другой стороны Ж. Жильерон — в ряде работ по французской диалектологии показал, что говоры одного языка, у сходнокультурного коллектива, живут общей жизнью; во взаимодействии вводят звуковые, грамматические, лексические новшества, — распространяющиеся от центров (больших городов) по «географическим путям»; что эти новшества охватывают непрерывные зоны, — что только при взаимной поддержке диалекты сохраняют языковое предание частично неизменным, — что все диалекты эволюционируют под прямым и сильным воздействием государственного языка («литературного»). В силу этого представляется методологическим промахом изучать диалекты обосо-

---

[1] H. Schuchardt. Slawo-Deutsches und Slawo-Italienisches. S. 5. Graz. 1885.

бленно, устранять от исследования тот материал, в котором больше проявилось диалектическое взаимодействие (влияние соседних говоров, отражения книжного и «городского» языка, иноязычные заимствования)[1]. Поскольку этот материал варьируется от одного носителя к другому, — мы имеем в нем источник для выяснения «разнодиалектности» в индивидуальном языковом диапазоне. А только в зависимости от накопления данных и наблюдений этого рода может быть установлена близкая к языковой действительности, а не фиктивная пуристическая «средняя норма» диалекта.

Кроме изложенного — отличие языка диалектических песен и под. от «разговоров» обусловлено функциональным различием «поэтической»— относительно самодовлеющей, и «практической»— подчиненной речи. Наиболее существенно характеризует «практическую» речь — незаконченность ее. Нормальная речевая работа недоосуществляется за ненадобностью в разговорных случаях вследствие подчинения в них речи, как сопутствующего, побочного средства другим средствам общения. Такими конкурентами речи являются здесь — 1) зрительный (и осязательный) язык: жесты, мимика, некоторое «непосредственное внушение» взглядом, иногда прикосновением, 2) бытовая связь, т. е. общность непосредственно предшествующего жизненного опыта и сходство психического реагирования у близких людей в каждой данной ситуации. Типическая «разговорная» речь наблюдается именно только между «своими людьми», у которых всегда много безмолвно угадываемого — «само собою понятного»[2]. Чем более чужие, не постоянные собеседники, тем более нормализованная и

[1] См. 1) J. Gilliéron et M. Roques. Études de géographie linguistique. Paris. 1912, p. 5, 9, 78, 80, 108. 2) J. Gilliéron. Pathologie et Thérapeutique verbales. I, p. 13 suiv. 3) A. Dauzat. La géographie linguistique. Paris. 1922. p. 28—40 и особ. p. 57.

[2] Одна реплика, взятая из разговора, производит впечатление бессмысленного обрывка, вне своей связи и обстановки. Приведу пример: Говорит старуха: «. . C'i͡ 'ir gra'ž'u...» — *там* (в Америке) [= в Сев. Америк. Соед. Штатах, где работает сейчас ее сын, эмигрант] *найдется* (довольно) *красивых* (девушек, на ком ему [сыну Антону] жениться).

полная речь всеми употребляется в разговорах. В песне, сказке, пословице — мы всегда имеем наименее условную диалектическую речь (т. е. понятную не в тесных только — наименьших социальных группировках) и законченную, — не перемежающуюся с другими средствами общения. Эта речь функционально приближается к государственному «общему» языку.

Едва ли кто-нибудь станет принципиально ограничивать лингвистику (и в частности диалектологию) изучением «практического» (— подчиненного) и условного (обособительного) типа речи — исключая поэтические (в частности песенную речь) и объединительные ее типы. При изучении большинства культурных и государственных («национальных») языков можно в силу практической необходимости разделять работу над этими языковыми видами. Но в разработке сельских диалектов устранение сказового и песенного материала не удобно.

Сельская разговорная речь с постоянными недомолвками (во многих случаях не восстановимыми регистратором, если он не туземец), со множеством случайных аномалий (т. е. фонетически неотчетливая, с неисправными конструкциями, с неточным словоупотреблением) — дальше всего от средней нормы, какая обнаруживается лишь при вынужденном прояснении, — при старательном и полном осуществлении языковых умений объекта записи. Таким вынуждением, наиболее благоприятным условием прояснения речи и является «сказ». Язык пословиц, загадок, сказок, песен — всегда наиболее законченный, полный и тщательный — поскольку способен к совершенству его осуществления данный носитель диалекта. Постороннему наблюдателю в этих случаях легче уловить «нормальные» языковые навыки своего объекта. И вместе с тем нельзя сомневаться, что это его *освоенный* язык, т. е. материал из данного диалекта. Пусть даже песня или пословица недавно перенята от носителя другого говора, она вошла в оборот, оказывает свое модифицирующее влияние в эволюции данного диалекта. Только упрямый научный историзм (или «доисторизм») отстраняет «новое», «наносное». С другой стороны,

нельзя забывать, что свои «поэтические» элементы речи — в сельском обиходе — гораздо более общеизвестны и широко употребительны, чем в городском, чем у носителей литературного языка. У нас функциональная диференциация резче и исключительней. Изучение одного только разговорного типа диалекта дало бы неполное изображение данной языковой культуры — и притом в ее самых несовершенных, «патологических» образцах. Такой отбор материала значительно обесценивает описание говора.

§ 4. В основе этой работы — записи, сделанные мной в с. Немонайцах (на р. Немане, в б. Виленской губ., Трокском уезде) летом 1913 и 1914 гг. Главной целью этих двух моих поездок (вернее — обходов) по Литве было собирание культурных названий — точно локализованных, вполне семантически выясненных, разносторонних и разнодиалектных. Поэтому я обследовал с большей или меньшей полнотой несколько диалектов[1]. Мои записи частично использованы здесь в отделе лексики. Где возможно я собирал не только словарные материалы, но и образцы разговорной, поэтической, сказовой речи. Выбор говора с. Немонайц для данной работы объясняется тем, что в этом селе я был и в 1913, и в 1914 гг., и прожил дольше всего (свыше месяца), а потому и лучше освоился с его диалектом.

Для окончательной обработки этих записей недостает данных о языковой зоне говора[2]. Пробел этот несколько восполняется характером материалов и их использованием. Разговорные данные приведены мною главным образом в отделе фонетического описания. В отделе лексики привлечены для сравнения данные печатных источников и моих записей из других мест. В отдел

---

[1] В Ковенской губ. 1) *Россиенский* уезд: с. Награмонт и с. Невойче; 2) *Тельшевский* у.: с. Лавков, с. Леплавки, с. Шаты; 3) *Поневежский* у.: с. Свинчулишки (близ Кракинова); 4) *Вилькомирский* у.: с. Погеложе, с. Куркли, с. Алунта (Аванта).

[2] Только в с. Балкосадзе (в нескольких верстах от Немонайц вверх по реке) я собрал некоторые лексические материалы. Печатных материалов о говорах соседних сел нет. В Литовской Хрестоматии Э. Вольтера в этом отношении могут быть привлечены только тексты из с. Ганушишки (верстах в 40 от Немонайц), но они совершенно неудовлетворительно сделаны с лингвистической стороны и потому для меня бесполезны.

текстов вошли песни и сказки, бытующие не в отдельных селах, а в широких диалектических зонах (так же как и культурные названия, приведенные в отделе лексики).

В с. Немонайцы я прошел первый раз из Вильно (через Попишки, Ольkеники, ст. Патаранцы), чтобы сделать наблюдения над говорами пограничной полосы. Первым селом с литовским языком на этом маршруте были Даргужи (в соседнем с. Перцюны жили тогда польские колонисты). В самых крайних (к польским и белорусским) литовских селах население почти целиком дву- и триязычно; в их литовском диалекте состав языковых слагаемых (литовский, польский, русский) не был однородным и определенным у всех, пропорция перемежающихся элементов варьировалась от индивида к индивиду, даже от случая к случаю (литовский, конечно, всегда преобладал). Только ближе к р. Неману я наблюдал стабилизированные сложные («смешанные») диалекты. Говор с. Немонайцы принадлежит именно к таким сравнительно устойчивым, — ассимилирующим (а не уступающим, переформировывающимся) пограничным диалектам.

Примечание. Языковая зона описываемого говора известна у литовцев под названием «дзуки». Разрозненные и случайные этнографические сведения о них сообщил Ю. Радзюкинас (Wisła 1900. T. XIV, zesz. 1, s. 42—55). При классификации литовских диалектов о дзуках либо не упоминали (Куршат, Граматика; Фортунатов «Из лекций по фонетике литовск. яз.», Р. Ф. В. 1897, № 3—4, с. 213—16; Явнис, Гр. лит. яз. с. 8—15 и 29—34), либо им не уделяли места (Барановский, «Заметки о лит. яз. и словаре» в Сб. Отд. Р. яз. и Сл., т. 65, № 9, с. 56 — причислял их к «восточно-литовскому» наречию. По нек. указаниям можно догадываться, что так же думали Фортунатов и Явнис). Необходимо ввести их в классификацию лит. диал., как самостоятельную группу (аналогичную, напр., жемайтской), так как дзукские говоры не однородны ни с сев.-западными сувалкскими, ни с восточными ковенскими.

Первое указание на эту группу — в *Compendium Gramaticae Lithvanicae* Theophili Schultzen (собственно — Хр. Сапуна) Anno 1673 p. 8. (См. у Ad. Bezzenberger. Beiträge zur Geschichte d. lit. Sprache. 1877. s. 9).

§ 5. Соотношение разноязычных элементов в говорах смешанного состава бывает разное. Какую-нибудь классификацию типов этого соотношения можно будет установить только на основе разработки многообразного материала. Для моей работы можно обойтись элементарным различением двух основных категорий: пассивного и активного смешения.

Пассивным смешением назовем чередование параллельных (разноязычных, разнодиалектных) элементов без особого функционального использования каждого, с утверждением за каждым альтернантом факультативной «правильности». Вновь заимствованные или вновь сочетаемые языковые элементы здесь теряют качество новизны или чужачества, осваиваются вполне, и находятся в распоряжении говорящего, как равновесные синонимы, — так что выбор того, а не другого из двух конкурентов определяется непроизвольным и несознательным ассоциативным тяготением каждой данной речевой последовательности, — настолько неясной и непонятной нам, что можно говорить о случайности этого выбора.

Так, расскащик сказки — литовскую форму ma'n'i (меня) «поправил на m'i'n'e; один раз сказал su ka'tra, в другой: su ka'troj (с русской флексией)[1]; в песне рядом с: 'jonui (dat. sg) встречаем: mat'i'još'u (русск. флексия). Обычно: 'kłaus'e 'jo, в сказке несколько раз с руссизмом: 'klaus'e 'pas 'juos, kł° pa 'žmogu («спросил у них»...); рядом с полонизмом 'a n'i — 'a n'ei.

Эти разноязычные альтернации ничем не отличаются от разнодиалектных, какие являются при смешении областного говора с элементами литературного языка. По поводу туземного

[1] Кстати сказать — по Явнису (Грам. литовск. яз., 139) katràs = uter, а «который» = kur̃s. Употребление этого слова в значении «который из трех» — при русской флексии очень показательно.

слова 'bukłos «домовище» крестьянин сказал, что можно сказать и: so'd'ibos (слово даже не ассимилированное фонетически в so'ʒ'ibos). Чередуется в живой речи местное 'kap и литературное 'kaip; nʊvaž''javə, nʊ'v'æjə — 'važ'jau, nʊ'v'æj (3 л. прош. вр.). В песне вместо заученного 'nakt'i — loc. sg. — было произнесено сперва 'nakc'u (с местным «c'» и русской флексией). Наряду с обычным 'c'ik, c'ik'tai в сказке несколько раз было произнесено 't'ik, t'ik'tai. При m'er'g'æłɛ ak'e'łɛs, du'r'æłɛs, šału'ž'ełɛs, изредка «городские» альтернанты: šału'ž'el'es, l'el'i'jel'e (раз в песне произнесено: łɛl'i'jel'e); при 'aic' 'ais'ju изредка 'eis'ju (книжная форма). При обычн. bɛr'n'æl'ju, ru't'æl'ju, pusr'i't'æl'ı — часто (и безразлично) употребляется городское произношение: dar'ž'el'ju. vain'i'k'el'ei, ru't'el'ju, łɑŋ'g'el'ı, pusr'i't'el'us.

§ 6. *Активным смешением* назовем образование неологистических форм из элементов двух языков или диалектов, контаминацию прочно остающуюся в диалекте, не имеющую конкурентов, и вполне отвечающую местному языковому вкусу («неправильность», не традиционность этих образований может быть обнаружена и убедительна в большинстве случаев только для ученого). Польское osobny литванизовано через осложнение литовским префиксом at: at'sabnas. Из «*маслобойка*» образовано (с литов. суффиксом) boi'k'æl'ɛ. Из «постройка, построить» (лит. форма 3 л. прош. вр.) pas'traino. Слово kus'n'æl'is (p''jauc' an kus'n'æl'u) из укр. ку́сник (вероятно найдется и в блр. гов.) с литовским уменьшительным суффиксом.

Русская флексия проникла в склонение имен существительных женск. рода (через обороты со свежим заимствованием, как: sa'k'ik 'praudʊ): 'pon'u (вм. 'pon'e), 'skarʊ (вм. 'skara), barzdʊ, 'łop'etʊ, а отсюда и в категорию мужск. рода: 't'iłtʊ, 'rozʊ, 'bal'ʊ (однако отмечена в цепких словосочетаниях и лит. флексия: 'darba da'r'ic' и др.).

Gr'eb'l'ei (Pl.) = грабли вм. единственно известного во всех других говорах greblŷs (sg!) — тоже объясняется русской реминисценцией.

В оборотах: ˜tau po˜ciek ˜duoda = «тебе по столько дают» и ′n′ieko kap ′c′ik po ˵sur′jo = «ничего, — только по куску сыра» — русское (и польское) «по» подменило литовское põ = «после, за, под». (Такой же пример контаминации у Куршата: põ wieną, põ dù и põ swíetą wálkiotis. L.-D. Wb.).

Конструкции: ′kok′ı ′žal′ıs ′vanduʌ и to′k′i ′kałnas! (с эмфазой) вм. koks ž. v. и toks k. выдают знание польск. jaki, taki. Наконец примеры активного смешения можно видеть в метафорическом применении заимствованного слова, уводящем от значения «архетипа», как: ′ruč′kos = «передние люшни воза», zo′pałka = «подпорка отвала сохи» и др. (см. в отд. 2).

§ 7. От случаев активного и пассивного смешения надо отличать *заимствование*. Оно не тождественно с тем и другим, так как этот «языковой гость» не утрачивает качества инородности, остается изолированным, минимально ассимилированным, как бы неприкосновенным. От пассивного смешения заимствование отличается еще тем, что оно обычно утилизуется в особых (осложненных) речевых функциях — как украшение или проявление известного языкового хвастовства, — словом употребляется всегда произвольно и, далее, не имеет традиционных парных конкурентов в диалекте, поэтому представляется незаменимым. Я имею в виду, как это понятно из предыдущего, заимствования не традиционные, — свежие и самостоятельные в диалекте.

Так, в сказке (см. текст № 2) ангел бранится словом n′edı˵v′ærka, которое восходит к блр. «*недове́рка*» (есть и «недове́рок»)[1]. Слово несколько искажено фонетически и семантически по сравнению с «архетипом» и обновлено по стилевой функции: точного значения слова ни рассказчик, ни другие крестьяне села не могли указать, ясно для всех было только, что это гневное слово с оттенком эвфемизма (как приличествует ангелу). Там же божба: dali′buk (из польск.) — более понятная, но

[1] Носович переводит «диссидентка», соответственно «диссидент». Едва ли достаточно и точно. Ср. укр. «недо́вірок» (часто в думах) по Грінч. «ренегат, маловер». Слово известно и в сев.-вост. лит. говорах (Микучонис).

употребленная, опять таки, как средство языкового колорита. Старуха (в разговоре), с особым эмоциональным назначением (как незаменимое) повторяет блр. (из польск.) заимствование: mar'katna = «скучно, тоскливо» (adv. обычно на -ai, -ei, и потому уже слово не может употребляться, как свое). Как слова моды или точные термины, были сообщены мне названия одежи, несводимые в литовском — nažut'ka (польск.), šn'u˜rauka (блр.), а также названия утвари и хозяйственных орудий: kol'dra (из польск.), na's'iłai (русск.), 'kr'esłos (русск.), mušk'e'ta (польск.), ruka'v'eč'ıs (русск.), pa'l'ič'os (русск.) и др. (см. все эти слова в отделе 2)[1].

Заимствования из книжного (или «городского») литовского языка отличаются от чужеязычных (при соотносимости с группой родственных по теме или образованию слов) тем, что они имеют еще более определенное по функции применение: только в поэтической речи или только в известной речевой ситуации (в разговоре с одноязычными: ксендзом, учителем, заежжим горожанином). Так в песне — с полным пониманием — говорится: ža'l'on 'g'ir'on, тогда как в диалекте употребительно только слово 'm'iškas = лес. Только в песне: mot'i'n'el'e, обычно 'motuła. В песне d'i'dei, ср. разговор. ʒ'ide'l'is. Песня (Inf.) pa'd'et'ı, g'ir'd'it'ı, kał'b'et'ı — обычно: šn'e'k'ec' = болтать, ra'v'ec' = полоть, a'k'ec' = боронить, 'gul'c' = спать, 'val'g'ic' = есть, pas'r'eʒ'ic' = принарядиться и т. д. В песне: sʊs'ı't'ikau, nʊs'ı'd'et'ı — обычно: nuz'bodʌ = «надоело», sʊs˜r'iŋk'ı, pazda'bojə = «облюбовал» и под. В песне заученная форма: ıs'ı'łaukš'ju при перечитывании записи была «поправлена» на обычную форму буд. вр. ıs'ı'łauš'jʊ. В песне — очень редкий архаизм: ˜sn'iekt'ı вместо неологизма, встречающегося во многих диалектах: ˜sn'iŋga.

[1] Чтобы понять преобладание руссизмов над полонизмами, и влкр. заимствования на ряду с белорусскими и украинск., надо иметь в виду не только общение крестьян (того времени) с русскими чиновниками административных центров и на местах, но, кроме того, военную службу в одних частях с великороссами. От бывших на военной службе (3—4 года и больше) влкр. элементы входили в широкий оборот.

§ 8. Как диалектические неологизмы (впрочем не выделяющие говора) я отмечу: 1) сокращение долгих гласных в окончаниях (в закрытых и открытых слогах): kamᵘoˈl'is (К., М., Ю. — kamûlȳs); pagaˈl'is (К., М., pagalȳs); ˈkul'is (Н., К. kūlȳs); ˈb'egə (3 л. пр. вр.), susˈdrask'ı (та же ф.), ˈg'er'ĕ (та же ф.) и под. 2) синкопа безударного ı: ž''nau (вм. ž'ı˜nau); pazdaˈbojo (вм. pasˈıdaˈbojo): pasˈr'eʒ'ıc' (вм. pas'ıˈr'eʒ'ıc') и под. (Ср. еще известные и в других диалектах фф.: šul''n'is, pakul''n'is). 3) c', ʒ' вм. *t, *d. перед i, j: ˈeʒ'os, ˈžoʒ'ei, ˈgr'æŋʒ'ımas, ˈʒ'v'il'ıkʌ, k'ec''virtu, sc'ıp'e'nai, ˜duoc', ˈs'amc'ıs, n'eˈgal'ınc'. Однако точнее определяет говор не столько наличность этих «новых» c', ʒ', сколько чередование c' ‖ t': ˈt'i — ˈc'i (= там); ˈtik — ˈc'ik; ˈkat'iłʌs — ˈkac'ıłʌs и т. д. 4) Велярное ł имеет тенденцию к u, а палатальное l' к j, особенно заметную у подростков: ˈkauta (вм. ˈkałta); ˜bautrus (вм. bałtrus); ž'ir'g'eiλo, почти žir'g'eijo (вм. ž'ir'g'el'jo) и под. 5) Образование аналогических форм: a) Nsg. masc.: ˈjauč'as, ˈsm'erč'as (вм. jautis, smertis) и b) формы 1 sg. opt.: gaˈl'etau, noˈr'etau (вм. gaˈl'eč'au и под.).

§ 9. Диалектические архаизмы можно видеть: 1) в сохранении комплексов an, in между согласных (не перед s): ˜randʌ, ˜łaŋkʌs, ˈvanduᴬ, но słaˈstai; ˈgr'inč'ʌ, n'eˈgal'ınc', (in'r'ed'ε), но paˈž'istamu; 2) в употреблении «предложного» падежа (его называют также Illativus): vaka˜ran (= к вечеру), ıŋˈkopə bεr˜žan (= влез на березу); suˈdej kac'ıˈłan (= сложил в котел); k'iˈtan ˈdaiktan (= в другое место); r'i˜tuosna (= по утрам); na˜mon (= в дом, но ˈnamo = домой); šul''n'in (= в колодец) и под. 3) в употреблении беспредложных конструкций глаголов с существительными: aˈtæjə ˈvanden'ə ˈbobʌ (в сказке); in'r'ed'e š'ıł˜kuose (в сказке); ˈvaž'au ˈv'il'n'ʌm (в песне).

Примечание 1. Эти архаизмы, конечно, менее всего могут служить выделительным признаком, так как они встречаются в разных говорах, только по большей части не соседних, — спорадически.

Примечание 2. За недостатком материала и места я не могу дать описания морфологии и синтаксиса говора, которое удовлетворяло бы выставленным мною выше требованиям.

Таблица гласных.

	ДИФТОНГИ.						МОНОФТОНГИ					
	Лабио-палатальный.				Палатализованный.		Передний.		Срединный.		Задний.	
	Напряжен.	Не напряж.	Напряжен.	Не напряж.	Напряжен.	Не напряж.	Напряжен.	Не напряж.	Напряжен.	Не напряж.	Напряжен.	Не напряж.
Высокий	ūi	ui	ūʌ	uʌ	īe		ī	ɪ			ū	ʋ
Средний	ōi	oi	ōu	ou	iē ēi	ie ei	ē			ə	ō	o
Пониженный			’ǣu	’æu	’ǣi	ɛi	ɛ̄	ɛ	’ǣ	’æ		ʌ
Низкий.			āu	au	āi	ai			ā	a		ɑ

Таблица согласных.

		Губной.	Губно-зубной.	Зубно-корональный.	Альвеолярно-корональный.	Альвеолярно-дорсальный.	Палатально-средне-язычный.	Задне-небно-задне-язычный.	Увулярно-задне-язычный.
Взрывной	глухой	p p’		t t’				k’ k	
	звонкий	b b’		d d’				g’ g	
Носовой		m m’		n	n’			ŋ’	ŋ
Фрикативный	глухой			s		š s’ š’			
	звонкий		v v’	z		ž z’ ž’	j		
Африкат	глухой					c’ č’			
	звонкий					ʒ’ ǯ’			
Спирант прерывистый корональный					r r’				
Спирант плавный латеральный.		ł			ł	l’	(λ)	(ł)	

Примечание к таблицам.

Обозначения звуков сделаны здесь сообразно принципам и системе международного фонетического алфавита. Примеры и пояснения ниже. На таблицах зарегистрированы не только те фонемы, которые граматически или семантически использованы в данном диалекте, но и те комбинаторные фонемы, которые являются реальными заместителями *других — нормальных*, какие были в намерении говорящего, но не осуществились и которые осуществляются только, если сосредоточено внимание на подменяемой фонеме; и, наконец, такие, которые являются в результате упрощений и сокращений произносительных работ в быстрой и небрежной речи (какую чаще всего и приходится наблюдать). В таблицах прямой чертой над буквой гласной (наприм. ū) обозначены гласные под ударением. (по б. части долгие). Здесь допущено такое условное отступление от общепринятых обозначений для большей компактности таблиц, и в виду того, что различие восходящей и нисходящей интонации не сказывается на качестве гласных. Гласные *краткие* под ударением (всегда с нисходящей интонацией, знак ̀) не выставлены в таблице отдельно, так как они по типу (на мой слух) не отличаются от соответствующих гласных под долготным нисходящим ударением. Гласные безударные (краткие) разумеются под простыми обозначениями (без прямой черты над буквой). Долгие безударные тождественны подударным.

В скобках поставлены обозначения артикуляций спорадических в говоре (присущих индивидуальной речи).

Знак ł попал в три клетки — так как звук, им обозначаемый, определяется (кроме специфической работы боков языка) тремя основными артикуляционными положениями: 1) упором кончика языка в альвеолы, 2) лабиализацией и 3) (спорадически) задне-язычным приближением к заднему небу.

Дифтонги помещены на таблице гласных ввиду того, что их компоненты не тождественны с простыми гласными тех же буквенных обозначений (они комбинаторно модифицированы более, чем допускает узнаваемость фонемы), а главное, ввиду неразложимости их в фонетической системе говора (отчасти это наблюдение подтверждается, напр., неодинаковой судьбой a самостоятельного и дифтонгического: данный говор знает дивергенцию aᵘ ‖ oᵘ, но не a ‖ o; или a ‖ æ (ɛ), но не aⁱ ‖ æⁱ); так, членение слога -at- : a + t аналогично не -aᵘ- : a + ᵘ, но aᵘt : aᵘ + t. Яснее и неоспоримее всего это относительно i͡e, u͡ʌ, сомнительнее всего (средняя ступень разложимости) относительно сочетаний гласных с плавными и носовыми (ar... am...), почему их и нет на таблице.

§ 11. *Об акцентуации.* В этом говоре четыре типа слогового акцента: два типа интонации долгих гласных (включая дифтонги и «сочетания с плав. и нос.») и два типа ударения на кратких гласных: 1) долготная *нисходящая* интонация, знак ́; 2) долготная *восходящая*, знак ̃; 3) ударение с музыкальным *повышением* краткого слога (по сравнению с предыдущим

слогом), знак ̀ и 4) ударение с музыкальным *понижением* краткого слога, знак ̏.

Все четыре типа я отчетливо различал только при медленном, старательном произношении (например, когда я спрашивал о названии вещи и получал однословный ответ), — особенно у женщин. В беглой разговорной речи я мог уверенно узнавать только два типа: долготное и краткое ударение (оба с музыкальным повышением по сравнению с предыдущим слогом), причем долготное мне обычно казалось в скороговорке — *нисходящим*. Надо еще заметить, что в песнях (см. ниже), которые мне не диктовали, а пели, — характер и даже место ударения меняются в зависимости от мелодии. Далее, мне представляется, что в речи молодежи села артикуляционное различие нисходящей и восходящей интонации простых долгих гласных (a, e, o, i, u) уже не существовало во время моих наблюдений. Оно лучше сохранилось в произношении дифтонгов, и в особенности au, ar. Показателем этой возможности утраты различия в долготных интонациях может служить сбивчивость и разнообразие произношения у нескольких и одного даже лица, что я обнаружил, заполняя свой «контрольный листок» слов, содержащих «сочетания с плавными». Вот примеры: у двух лиц (A — парень лет 16, B — женщина лет 40):

1) A: ˜dełnʌ; B: ʼdełnʌ (Куршат: délna).

2) A: ˜narštas и ʼnarštas; B: ˜narštas (K. nar̃štas).

3) A: ˜iłgʌs и ʼiłgʌs; B. ^jiłgʌs (восходяще-нисходящее). (Куршат ìlgas).

4) A и B одинаково: ʼvarnʌ, ʼšarkʌ, ʼb’æržʌs (K. тж.).

5) A: ʼduᵒdʌ и ˜dᵘodʌ.

Однако вполне возможно, что в моих записях *сказок* есть ошибочные обозначения интонации долгих гласных, как нисходящей (ʼ), вместо не услышанной мной восходящей (˜). В *словарных* же материалах я буду настаивать на правильности своей записи, следовательно на том, что отличия акцентуации моих материалов от данных акцентованных словарей — характеризуют говор, а не мое восприятие.

Распределение *экспираторной силы* при нисходящей и восходящей интонации долгих гласных однородно: слышится всегда «твердоначальный» слог, наибольшее напряжение голоса происходит в начале слога и затем ровно ослабевает, при чем восходящая интонация отличается только некоторым продлением этого напряжения. Музыкальное повышение тона при восходящей интонации происходит не всегда (обязательно только повышение тона начала слога по сравнению с предшествующим слогом) и в некоторых случаях единственным отличием восходящего ударения является полная артикуляционная четкость, аккуратность конца слога.

Восходящая интонация дифтонгов чаще всего составляется из музыкально-ровного экспираторно-сильного начала и, затем, экспираторно-слабого, музыкально «облеченного» (восходяще-нисходящего) конца. Быть может, это будет нагляднее при таком рисунке:

˜ji - il - gas ˜p' - ja - ᵘ k

Музыкальная пониженность предударного слога была уже отмечена; прибавлю еще, что при русской привычке к пониженному концу слова, мне не раз случалось непонятую сразу литовскую фразу делить (неверно) на слова именно так, что словораздел оказывался после предударного слога.

В некоторых составных словах, вероятно более неологистичных, сознаваемых 2-мя словами, слышится два совершенно равносильных ударения: ′saᵘła′gruž'e, ‵peč'o‵dɛŋkšt'e. Знак ‵‵ — музыкально пониженного слога, резко контрастирующего с предшествующим (если им отмечен конечный слог) или с последующим (в остальных случаях) определяет часто *фразовую* мелодику, а не словесную (или точнее слоговую) акцентуацию. Быть может, это явление не всегда услежено и отмечено мною, — но я все же сохранил эти свои пометки, так как это снижение тона имеет значение для организации фразы, как одно из синтаксических средств.

Примеры и пояснения об отдельных звуках.

§ 12. Дифтонг u^{i} очень редок здесь, как и вообще в литовском языке: ˜mu^{i}łu, ′ponu^{i}, ′jonu^{i}, pa˜sku^{i}.

§ 13. Дифтонги uʌ, ie очень сходны между собой по ходу звуковой модуляции и резко отличаются ото всех остальных дифтонгов, тем, что в них нет такого звукового преобладания первого элемента над вторым, как в остальных, и вообще, нет звукового фокуса. [Следовало бы обозначать их поэтому uʌ̄, iē во всех случаях, чтоб подчеркнуть эту разницу, — но в виду того, что тогда осталось бы невыраженным явственно ощутимое различие между нисходящей и восходящей интонацией этих дифтонгов, я отказался от этого. При восходящей интонации своеобразная природа этих дифтонгов выступает особенно резко].

При произношении их обоих всегда заметно снижение музыкального тона и некоторое нарастание экспираторное — либо в самом начале (при нисходящей), либо к средине (при восходящей интонации). Переходной срединный момент этого дифтонга — скользящий, неопределенный. Ясны и артикуляционно фиксированы только начальный и (особенно) — конечный элемент — ʌ и e: 1) r'i˜t^{u}ʌsnʌ (=по утрам), p'^{i}e˜t^{u}ʌsnʌ (=к полдням), ˜j^{u}ʌd'i, ′akm^{u}ʌ š'i′tu^s, ′vand^{u}ʌ. 2) ˜v'^{i}ena, ˜t'^{i}esos, p'^{i}e′v'æłɛs, ˜d'^{i}eno, ′l'i^{e}p'e, ′sv'i^{e}to.

§ 14. Гласный u отчетливо произносится, как высокий задний лабиализованный, только под ударением главным или побочным. В остальных случаях он сближается с о закрытым (знак ʋ). Первое u: ′dukr'e, ′butʋ, ′płuŋksnos, ′dudʋ, nʋ′łužə, ′gruš'ʌm, ūr'e˜da^{i}, ūgn'e′łɛs, ˋdu, sa^{u}ˋl'ut'e, broˋl'uka^{i}, u′p'en.

Ослабленная артикуляция (язык несколько ниже, губы несколько раскрытее): ′va^{i}kʋs, nʋ′v'ejo^{u} (или no′v'ejo^{u}), bɛrnʋ′ž'el'ı (или berno′ž'el'ı).

§ 15. Гласный i — ударяемый и долгий безударный, не отличается от русского ударяемого «и» (но палатализация предше-

ствующего согласного всегда гораздо меньше ощутима): 'r'imaⁱ, ˋl'izdʋ, 'v'irʌs, 'v'il'n'ʌm, p'i'ragʌ, ša'l'i, ˋv'ijə, ˋm'ikl'ʋ, ˋiš, ˋir, ˋp'irkə. Но безударный краткий i (ɪ) ниже, слабее — склонен к полному исчезновению, а там, где артикулируется отчетливо, он представляет собой открытый, передний очень широкий i, (в транскрипции ɪ): 'but'ɪ, ˋv'ɪdu'r'i, š'ɪŋkor'kos. В этом случае палатализация предшествующего согласного мало заметна.

§ 16. Гласный е — двух типов: 1) долгий узкий — ударяемый и безударный (знак е): он занимает среднее положение между двумя русскими е: «меди», «медный»: ž'u'r'ejə, e˜jæᵘ, tu'r'ejə, 'v'eƚ, 'tr'eč'as, 'rup'e. Так же звучит оно в словах из литературного языка: akm'e'n'el'jo, m'e'nul'ɪs, k'epu'r'eƚɛ, šɪm't'eƚɛⁱs.

2) Безударное краткое е (знак ɛ) звучит открытым (пониже язык и звуковой фокус несколько более задний) и приближается к звуку ɪ (см. выше): p'ɛƚɛˋda, 'em'ɛ, s'p'jov'ɛ, p'e't'æƚɛs. Нормально оно звучит как русское э («это»). Палатализация предшествующего согласного перед этим ɛ не комбинаторная, а слабая самостоятельная: aša'r'eƚɛs, (aša'r'eḷɛs), bɛr˜žan (ḅɛr˜žan). Спорадически этот звук является на месте исконного а (см. ниже). Только после ƚ этот звук встречается под ударением: 'ƚɛk'a, dob'i'ƚɛl'ɪ, ˋugn'e'ƚɛs.

§ 17. Звук, обозначаемый мною 'æ ('ǽ 'æ̃) близок к русскому я — перед слогом с палатальным (ср. «опять», «напялить»). Этот звук оказывается всегда почти под ударением и с палатализацией предшествующего согласного, (он имеет дифтонгический характер) притом на месте исконного *ě и *ē, (что обнаруживается при сравнении с литературным языком и западными диалектами): 's'ænaⁱ, g'i'v'ænə, 'v'æd'e, bɛr'n'æl'ju, m'er'g'æƚɛ, su'n'æl'ʋs, stuƚ'p'æl'ɪs, 'v'ærsnʋ, du'r'æƚɛs, 'n'æšʌ, v'eⁱ'd'æl'ʋs.

Не под ударением этот звук встречается крайне редко, — только при наличии близкой формы с ударением на данном гласном: s'ǣ'nut'e (ср. 's'ænʌs), ˋn'æmu'n'el'ɪ (с побочным ударением в начале) — ср. 'n'æmʋnʌs, š'æp'e'c'is — ac. 'šæp'ec'ɪ.

Примечание. Очень многочисленны случаи сохранения исконных *ě, *ē под ударением (не переходящих в: 'ǣ), но эти формы либо книжные, инодиалектные заимствования, либо аналогические новообразования из категории форм активного смешения в говоре (см. выше), — они сбивчивы и свидетельствуют о затемнении чутья к исторической в данном диалекте фонетической альтернации: pusr'ı't'el'us (ср. в той же песне pusr'ı't'æl'ı), ɫɛl'i'jel'ı, k'epu'r'eɫɛ, aša'r'eɫɛs (ср. mer'g'æl'ı, duk'r'æɫɛs и др. выше). Сфера распространения, как и более точные условия происхождения этого явления — при теперешнем состоянии литовской диалектологии не могут быть выяснены.

§ 18. Гласный ō (обычно долгий) напоминает сев.-великорусское о: 'pro, 'kol', 'o, a^{u}kš'tojə, 'koɫa^{i}, ža'l'on, m'er'gos (однако лит. о не казалось мне дифтонгическим).

Гласный о (в записях «ə») всегда безъударный, с более неотчетливой артикуляцией (язык ниже, чем в предыдущем случае), — может приближаться к «а» — в окончаниях: 'buvə, 'sakə, 'namə.

§ 19. Дифтонг о^{u} встречается редко (главным образом на месте безударного а^{u}): jo^{u}'nojı, ž'ı'noto^{u}, p'er˜pɫa^{u}kto^{u}. Один раз в текстах под ударением: ˜no^{u}jo.

§ 20. Дифтонг о^{i} (в текстах часто обозначен oj) является только вследствие отпадения гласного окончания после j в формах на -ojo, -oja, -oje: 'ɫαŋko^{i}, pr'iv'i'λjo^{i}.

§ 21. Дифтонг а^{i}: 'ɫa^{i}škas, 'buva^{i}, 'koɫa^{i}, 'r'ima^{i}, 'va^{i}ka^{i}, pata^{i}'s'ita^{u}, ūr'e'da^{i}, va^{i}n'i'k'el'e^{i}.

Только в слове 'ka^{i}p при беглом разговорном произношении слышится *кар* (поэтому носителей этого диалекта дразнят «kap-'saka^{i}»), но в текстах встречается и ka^{i}p, которое слышно всегда при медленном произношении.

Чаще при быстрой артикуляции можно заметить замену а^{i} через ɛ^{i}: 'bɛ^{i}g'ju, 'vɛ^{i}kšč'ojə (ср. в этой же песне: va^{i}kš'č'odams), at'ɫɛ^{i}k'e, gu'dɛ^{i}, daž'nɛ^{i}, d'i'kɛ^{i} (= даром, попусту), i'sɛ^{i}.

§ 22. Дифтонг eⁱ: gr'eⁱ˜č'aᵘ, v'eⁱ'd'æl'ʊs, 'n'eⁱjɛ, ˜jeⁱ (dat. sg. f.), 'a n'eⁱ.

На месте eⁱ под ударением иногда является 'æⁱ (явление аналогичное 'ǣ на месте ě): pa˜r'æⁱ, nu'v'æⁱjə, i'š'æⁱjə, nus'ı'l'æⁱdo, 'jæⁱ, no'r'æⁱs'ı.

§ 23. Гласный a не отличается от русского ударяемого а, в текстах он обозначается одинаково (a) и под ударением и без ударения, так как различие очень незначительно (ударяемое a чуть продленнее): 1) 'arkłas, 'tvartʌs, 'daržas, 'vagos, 'karč'us, 2) `apl'ikʌs, `sprag'iłʌs, `šak'es, `žagarʌs, bała`na, tvo`ra, 3) a'k'ec', a`p'inostr'is, anda'rokʌs, ska`ruk'e, pava`žos, kap`l'is, słas'taⁱ, 'g'iva. Вместо него встречается в быстром произношении æ: 'sæmænos (= мох), 'dær (= еще), 'krætas (= берег), или даже 'sɛmɛnos, 'dɛr, 'krɛntas.

§ 24. Гласный ʌ — сходный с русским а на месте неударяемого о (ср. рус. заву́): ˜randʌ, ˜dᵘodʌ, a'teⁱnʌ, 'gr'inč'ʌ.

§ 25. Гласный α не очень задний, сходный с французским «a fermé», — довольно редок, встречается только перед ŋ и ł, обычно вне ударения (а под ударением — язык напряжен): 1) kαł'naⁱ, ˜sakαłʌs, gαł˜von, kał'b'et'ı; 2) 'tαŋkus, 'gαłɛ, 'kαłtʌ, žvαŋ'guc'ıs (в сев.-восточн. гов. при тех же условиях явилось о).

§ 26. Дифтонг aᵘ, как все дифтонги (кроме ie, uʌ), имеет «полуторный» состав; при восходящей интонации экспираторное усиление остается на первом элементе дифтонга (как и при нисходящей), повышение музыкального тона не всегда наблюдается, разница только в большей отчетливости второго элемента при восходящей интонации: 1) ˜kaᵘk'e, ˜płaᵘtaⁱ, p'˜jaᵘc', ˜praᵘs'e, 'saᵘl'e. 2) kaᵘ`šukas, š'aᵘʒ'ik`łɛ, saᵘ`l'ut'e, aᵘkš'tojə.

После палатализованного согласного слышится почти æᵘ на месте aᵘ: ě'jæᵘ, n'e˜š'æᵘ, ˜łaᵘk'æᵘ, 'jæᵘjʌ (отсюда понятны — русская транскрипция местного названия «Евье» Виленск. губ. и белорусск. и малорусск. заимств. «евня», мр. ɛвя).

§ 27. *Общее замечание о палатализации согласных.* Наличие некоторой палатализации *всех* рядов согласных перед e, i, j —

резко отличает литовский язык от латышского. В данном говоре — в силу польского и русского влияния эта палатализация заметней и более всеобща, чем в других литовских говорах. Однако надо заметить, что ни один палатализованный согласный здесь не тождествен соответствующему русскому, так как все звучат «тверже»: и длина губной щели и приближение языка к небу здесь меньше, чем в русском.

§ 28. Звуки p, p', b, b': 1) po'naⁱt'ıs (= баринок, барчук), pa'kojɛs (= педали ткацкого станка), 'troptas (= плот). 2) p'ın'ı'gu, p'ī'ragas (= белый хлеб). 3) 'bul'b'ɛ (= картошка), a'budu, pazda'bojə. 4) ˜b'ⁱednas, 'b'ijaⁿ.

§ 29. Звуки m, m': 'jam; 'm'iškas.

§ 30. Звуки v, v': svo'gunos (= лук); błaⁱv'i'n'ikaⁱ (= трезвенники), 'v'is.

§ 31. Звуки t, t', d, d': 'tur'i, 'ratas; 't'evas, ''t'egu(l'), pavar't'e (=доска-подворотня); 'dar, ˜dⁿok; d'e'š'in'ıs.

§ 32. Звуки n, n': ar'c'in (= близко), 'nakc'u, nora'gaⁱ (= рассоха у сохи); 'šn'ækʌ, 'n'it'ıs.

§ 33. Звуки s, z, s', z': 1) 'sur'ıs (= прессованный соленый творог), sa'ła (= песчаная отмель посреди реки), 'kasa; 2) zo'v'esaⁱ (= дверные скобы), zo'pałkʌ (= подставка под ножом на правом роге сохи); 3) s'æ'nut'ɛ, 's'amc'ıs. 4) Звук z' редок: bu'z'ukaⁱ (= шишки).

§ 34. Звуки c', ʒ' считаются приметой говора, надо видеть в них исторические отложения. Они являются на месте исконных «t» и «d» перед i, j (в последнем случае вместо č', ǯ'): 'c'i's'is— правый рог сохи (от tiesùs), 'kul'c' (= молотить), ra'v'ec', c'ik, ar'c'in, 'daŋkc'eⁱ (= дворовые постройки для скота), 'nakc'u, tr'e'c'a (но и 'tr'eč'as); ʒ'v'iej (род. дв.), łaba˜ʒ'ⁱen, 'žoʒ'eⁱ, pas'r'e'ʒ'ic, ʒ''v'il'ika, 'gr'ænʒ'imas (= ток), 'eʒ'os (= ясли), 'ʒ'aⁿg'es'ı (= радовался). Актуальным для говора представляется вытеснение c', ʒ' через t', d' (č', ǯ').

§ 35. Звуки š, ž, š', ž': 1) mušk'e'ta, pa'm'iršə. 2) 'žal'es, u'žup'ɛ (название села), žagr'e'v'iržɛ (= лыковый канат, на ко-

тором держится стельвага сохи). 3) š'eš'kus (= хорек), 's'ær'ec'i. 4) 'ž'irgas, ž' ~na^u, pa'ž'istamas (знакомый).

§ 36. Звуки č', ǯ' (я наблюдал только палатализованные): 1) 'ja^uč'as, karč'e'ma, a'k'eč'os, na'muč'u, 'č'æ (= здесь). 2) 'd'iǯ'os (в песне). Звук ǯ' — крайне редок в этом диалекте (и должен быть объясняем заимствованием из литературного литовского яз.) — вместо ʒ'.

§ 37. Звук j — как мне казалось, совершенно тождественен врусск. й (j); он отличается от украинского и польского j менее энергичной артикуляцией, в литовском (и в данном говоре особенно) это скорее полугласный i̯, а не согласный j (= звонкий х'). В текстах я обозначал конечные дифтонги o^i, e^i, æ^i через oj, ej, æj, чтоб отличать те случаи, когда за этим окончанием отпал гласный (o, a, i), от тех, когда конечный дифтонг — исконный, и не оказывается внутренним при нормализованном произношении. Фонетическое значение первого и второго написаний — одно.

В виду сказанного понятно — частое исчезновение j перед i в быстрой речи: 'is (вм. 'jis), i~sa^i (вм. ji~sa^i) и приближение акустического результата двойного j к λ, т. е. очень палатализованному «l»: buv'i'n'eλe^i = buv'i'n'e^ije^i.

§ 38. Звуки k, g, k', g': 1) p'i'jokas (= пьяница), 'kur, ku^ʌ'łal'e^i (= колышки). 2) 'gul'c' (= лечь спать), guł'ta (= постель), gar'dus (= вкусный). 3) sk'i'łuk'e (= «щелочка», отверстие для пчел в улье), k'ec''v'irtas. 4) 'g'ær'c' (= пить), 'sprag'iłas.

§ 39. Комбинаторный звук ŋ встречается только перед k, k', g, g': iŋ 'k'ætur'ēs, peč'o'dɛŋkšt'e (= заслонка), 'łaŋgas; (тоже и в словосочетаниях).

§ 40. Звуки r, r': ra'š'ic', ~raŋkos (= ручки у сохи), 'ir; łab'r'it, ~r'e^ikšt'is (= веровочка, привязь), r'e^ikš'tukas (= idem), imb'r'ikas (= чайник, напр. жестяный).

§ 41. Звук ł не тождественен русскому *лъ*, значительно отличает его обязательная лабиализация, которая у некоторых лиц

как бы заслоняет самый звук ł и дает акустический результат w (u̯), это особенно часто наблюдается у детей и подростков: ˜kau̯ta (или ˜kawtʌ), вместо ˜kałta, ˜bau̯trus, kau̯'n'el'jo, mot'i-'n'eu̯łε. С другой стороны у взрослых, особенно женщин, я часто слышал среднее l (очень напоминающее украинское полтавское среднее l̥: ср. украинское 'pol̥e = «поле»), вследствие того, что кончик языка здесь (в отличие от русского *лъ*) не на зубах или нижнем крае десен, а на альвеолах: kał'b'et'i, 'łaiʒ'ε, 'bałtas,— и: kal̥'b'et'ɪ, 'l̥aiʒ'ε, 'bal̥tas.

§ 42. Звук l' — сходен с русским *ль:* pa'l'ei (= соответствует литерат. palig), t'e'v'æl'ei (= родители), 'l'ijo, ku'k'æl'is.

Сочетание l'j дает часто акустический результат λ — удлиненное палательное l (= испанскому ll), как и jj: 1) nu'v'eiλou (= nu'v'eijou), 2) vand'ɪ'n'eiλo (= vand'e'n'el'jo), ž'ir'g'eiλo (= ž'ir'g'el'jo), pr'iv'i'λoj (= pr'iv'i'l'joji).

§ 43. Явления *sandhi* (внешнее и внутреннее):

1) Неполная ассимиляция: ˋmam pa'd'et'ɪ (вм. ˋman pa'd'et'ɪ); 'kab' ɪš'l'ieč'inə (вм. 'kaip ɪš'l'ieč'ino); 'dauk p'ɪn'ɪ'gu (вм. daug p°).

2) Полная ассимиляция конечного согласного первого слова начальному согласному второго: ˋtegu'l'ija (из tegul'-), až'i'notau (из aš-ž'i°), v'i'sako (из v'is-), ˋkan'e'tei'tu t'evas (= 'kad n'e (a)'tei'tu t'evas), pa'žmogu (из pas-žm°), ˋka'jau (=ˋkad 'jau), ˋimgr'eb'łal'i (='imk-gr°), m'esbro'łal'i (= mesk-br°), ˋpat ˜jaunas (=ˋpats-jaunas), pr'i˜kais' 'kac'iłu (= pr'i˜kais'c'' kac'iłu), an'darbo (= ant-d°), an-kał'n'el'jo (не: aŋ°) ср. рядом ant-˜aukš-'tojə.

3) Ослабление артикуляции конечного слога: ˋgrinč'ʌ, ˋbuvə, ˜randʌ, 'kłoj (из 'kłojə), nu'v'æj (из °jə), p'ijo'k'el'ju (°jui dat. sg.), ˜boutru (=˜boutrui dat. sg.), 'važ'au (= va'ž'javo).

4) Внутри слова: ada'r'ik (=at-da°), u's'ɪr'ek'ε (=už-'s'i°), at'š'iša'k'ε (=at's'iša'k'e)—единствен. случай регрессивной ассимиляции, притом, разнослоговой; pazda'bojə (= pas'ɪ-da'bojo), nuz'bodʌ (=nus'i'boda = «надоело»).

5) размежевание двух гласных слогов посредством смычки (сужения) соответствующей переднему гласному («вставка согласного»): ˋpas broˋl'ukum-ūr'e'du (= pas broˋl'uku ūr'e'du)[1], nu'v'æj (= nu-'ejo), sʋ'v'ed'aᵘ, s'esūˋva (литер. sesû) — в последнем примере сказалось действие морфологической ассимиляции.

6) Диссимиляция: 'antras ˜ɫauras вм. 'antras ˜rauɫas (конечно — явление индивидуальное).

§ 44. *Действие эмфазы* сказывается: 1) в перемене или перемещении ударения: . . . n'e 'tu. . ., ˋal'e ˋaš (обычно ˋtu); . . .'p'il'k ˋlig'eⁱ! (обычно ˋp'il'k) = «насыпай поровну!» . . . ka(d) to'k'i 'kaɫnas 'stotu = «чтоб вот такая гора стала!» (вм. . . .'toks). . .'n'ækur n'æ 'ir, ž'u'ro, kad b'ær'ž'i (вм. 'ž'uro) = «нигде нет, глядь! (а она) на березе».

2) В приостановлении действия норм sandhi: 'taⁱ ir 'kas'k! (ср. перед этим ˋkas' несколько раз вместо *kas'k), и в приведенном выше: 'pil'k 'l'ig'eⁱ!; без эмфазы было бы 'p'i(l')-'l'ig'eⁱ. Вопросительная интонация обусловливает продление окончания: ar ˜stosɪs-ji 'v'el' 'g'ivā? (обычно 'g'ivʌ).

§ 45. *Замечание о мелодике речи.* Интонации вопроса, гнева — сходны с русскими. Повествовательная интонация (тоже подобно русской) заканчивается всегда падением тона. Этим объясняется, напр., в конце большой сказки (см. ниже) в конце фразы: naˋˋmo вместо обычного 'namo.

> *Примечание 1.* Знак ° в цитатах означает, что начало или конец данного слова тождественны только что перед тем приведенным формам этого слова.
>
> *Примечение 2.* Значение слов, цитированных в фонетических целях приводилось только для малоизвестных или модифицированных в говоре выражений.
>
> *Примичание 3.* В этом отделе знак ударения в литовских

---

[1] m здесь не морфологического происхождения, вин. ед. во всех склонениях оканчивается в данном диалекте на чистый гласный: 'darba, 't'iɫtʋ, 'rozʋ, ˋbal'ʋ, 'žmogʋ, 'sur'ɪ и т. д.

словах поставлен всегда перед начальным согласным ударяемого слога.

Примечание 4. Дифтонги в этом отделе, за исключением таблиц, обозначены везде не двумя равными буквами, как это принято, а так, что звуковой фокус дифтонга передан строчной буквой, — более же краткий и артикуляционно неустойчивый (переходный) компонент выражен поднятой маленькой буквой. В таблице я употребил общепринятое обозначение, прийдя к решению не подчеркивать такое понимание литовских дифтонгов, как не отличающееся по существу от обычного. Пусть читатель не придает значения этой непоследовательности. Отмечу далее, что «i» и «u» в конце дифтонгов сходны с «ɪ» и «ʊ» (но не с «i», «u») слоговыми.

2. Из лексики.

В этом отделе приведены или слова, вовсе не зарегистрированные ни в одном из словарей, или варианты — семантические и формальные — известных слов, какие употребительны в данном диалекте[1]. Затем, некоторые слова приведены только для целей географического определения сферы слова. Мой интерес во время поездок по Литве был направлен главным образом на культурные названия, и потому здесь даны почти исключительно имена существительные с вещным значением.

Слова, мною записанные, приведены здесь в фонетической транскрипции (во надо заметить, что знаки ударений в этом отделе *над буквами гласных слога*, а не перед началом ударяемого слога, — для простоты сопоставления с приводимыми вариантами из других литовских словарей). В нескольких случаях ударения остались не обозначенными — вследствие моего недосмотра при записи.

Вслед за словом, записанным в Немонайцах, приведены иногда его синонимы из других говоров или фонетические варианты этого слова в других диалектах, если оно распространено. Дальше, показания печатных литовских словарей, и наконец, сопоставления со словами из соседних языков. Знак id. после сокращенного названия автора словаря означает — тождественность приводимой в этом словаре формы слова с записанной в Немонайцах (насколько позволяет судить орфография данного автора), затем, после знака равенства, привожу значение этого слова из данного словаря, *если оно не совпадает* с только что указанным

---

[1] Я не упускал только ни одного случая совпадений моей записи со словарем Нессельмана (при осутствии данного слова во всех остальных словарях), чтобы подчеркнуть большую ценность этого напрасно заподазриваемого источника, так как убежден, что при дальнейшей разработке литовской лексикографии его «сомнительные» статьи будут реабилитированы по данным живых говоров.

(в говоре Немонайц). Если значение не выписано, значит оно одинаково с *предыдущим*. Знаком плюс (+) я присоединяю дополнительное значение какого нибудь словаря или говора (а если их много, то вводится нумерация значений). Знак равенства между двумя сокращенными названиями словарей ставится при полном совпадении их показаний. Я не имел целью исследовать этимологию собранных здесь слов, — но в тех случаях, где она известна, где ближайший источник заимствованного слова или этапы кочевания культурного слова или, наконец, самостоятельное в литовском языке образование его — очевидны, я указывал на это.

Перечень сокращенных названий.

(в отделе лексики).

Балкосадзе = село на Немане (б. Виленской губ., Тронск. у.).

Берн. или Бернекер (APR) = Berneker, E. 1) Die Preussische Sprache (Texte, Grammatik, Etymologisches Wörterbuch). Strassburg. 1896.

2) Slawisches Etymologisches Wörterbuch. I (A—L) 2 Aufl. Heidelberg. 1924.

Бец. или Бецценбергер = Bezzenberger, A. Beiträge zur Geschichte der litauischen Sprache auf Grund litauischer Texte des XVI und d. XVII Js. Göttingen. 1877.

Брю. или Брюкнер = Brückner, A. 1) Litu-slavische Studien. I. Die slavischen Lehnwörter im Litauischen 1877.

2) Preussisch und Polnisch. Arch. f. Sl. Phil. Bd. XXII. H. 4. S. 481—515.

3) Einige Lehnwörter im Litauischen und Lettischen. ibid. s. 515—518.

Буга = Буга, К. К. 1) Baltica. — Русск. Фил. Вестник. 1911 (отд. отт.).

2) Lituanica — Изв. Отд. Русск Яз. и Сл. Р. А. Н. т. XVII, кн. I. 1912.

3) Литовско-русский словарчик к переводу 20 литовск. сказок в изд. «Lietuvių pasakos». СПб. 1912.

Васнецов = Васнецов, И. М. Материалы для объяснительного областного словаря Вятского говора. Вятка. 1907.

Вольтер = Вольтер, Э. А. Литовская хрестоматия. I—II. СПб. 1904.

Гейтлер = Geitler, L. Litauische Studien. Prag. 1875.

Грінченко = Грінченко, Б. Д. Словарь украинского языка. I—IV. 1907—1909.

Даль = Даль, В. Толковый словарь живого великорусского языка. I—IV. Изд. 3-е и 4-е.

Добровольский = Добровольский, В. Н. Смоленский областной словарь. Смоленск. 1914.

Дравниак = Drawneeks, I. Русско-Латышский словарь (Kreewu-latweeschu Wahrdniza). Рига. 1913.

др.-пр. = древне-прусское, в древне-прусском языке.

Дубровский = Дубровский. Полный словарь польского и русского языка. Варшава. 1911.

Иде = индо-европейское, в индо-европейск. пра-языке.

Карский = Карский, Е. Ф. К вопросу о влиянии литовского и латышского языков на белорусское наречие. См. в Сборнике статей посвящен. акад. Ф. Ф. Фортунатову. Варшава. 1902.

Karłowicz = Jan Karłowicz. Słownik gwar polskich. I—VI. 1900—1911.

Kluge = Kluge, F. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 7 Aufl. 1910.

К. или Куршат = Kurschat, Fr. Littauisch - Deutsches Wörterbuch. Halle. 1883.

К [. . .] обозначает, что слово, приведенное Куршатом в прямых скобках, не известно ему из живого употребления и внесено из рукописных или старопечатных словарей.

Лавков — село б. Ковенской губ., Тельшевского у.

Лат. = латышское, в латышском языке.

Леплавки — село б. Ковенск. губ., Тельшевск. у.

Лескин (Abl.) = Leskien, A. 1) Der Ablaut der Wurzelsilben im Litauischen. Leipzig. 1884.

2) Die Bildung der Nomina im Litauischen. Leipzig. 1891.

Linde = Słownik Języka Polskiego przez M. Samuela Bogumiła Linde. T. I—IV. 1807—1814.

М. или Межинис = Kun. Mieżinio — Lietuviszkai — latviszkai — lenkiszkai — rusiszkas żodynas. Tilżėje. 1894.

Микл. (Et. W.) = Miklosich, Fr. Etymologisches Wörterbuch der Slavischen Sprachen. Wien. 1886.

Невойче — село б. Ковенск. губ., Россиенск. у.

Н. или Несс. = Nesselman, G. Wörterbuch der Littauischen Sprache. Königsberg. 1851.

Нос. или Носов. = Носович, И. Словарь Белорусского наречия. СПб. 1870.

Паграмонт — село б, Ковенск. губ., Россиенск. у.

Погеложе — село б. Ковенск. губ., Вилькомирск. у.

Подвысоцкий = Подвысоцкий. Словарь областного Архангельского наречия. . . СПб. 1885.

Прельвиц = Prellwitz, W. Die deutsche Lehnwörter im Preussischen und Lautlehre der deutschen Lehnwörter im Litauischen. 1891.

Преображенский = Преображенский, А. Этимологический словарь русского языка. Вып. 1—14. М. 1910—1916.

Свинчулишки — село б. Ковенск. губ., Поневежск. у.

Сержпутовский = Сержпутовский, А. Сказки и рассказы белоруссов-полешуков. СПб. 1911.

Словарь А. Н. = Словарь русского языка, составленный 2-м Отделением Рос. Академии Наук. СПб. с 1895 года (не окончен).

Sł. W. = Słownik Języka Polskiego ułożony pod red. J. Karłowicza, Ad. Kryń-

skiego i Wł. Niedźwiedzkiego. В моем распоряжении были вып. 1—18 (A—O) 1900—1904. Warszawa.

Смирнов = Смирнов, И. Т. Кашинский Словарь. В Сборнике Отд. Р. Яз. и Слов. Р. А. Н., т. 70, № 5. 1901.

Срезневский = Срезневский, И. Материалы для словаря древне-русского языка. I—III. СПб. 1890=1912.

Тверечь — село б. Виленск. губ., Свенцянск. у.

Thomsen (Ber.) = Thomsen, V. Berøringer mellem de finske og de baltiske Sprog. København. 1890.

Trautmann = 1) Trautmann, R. Baltisch-slavisches Wörterbuch. Göttingen. 1923.

2) Die altpreussischen Sprachdenkmäler. Göttingen. 1910.

У., Ульм. или Ульман = Ulmann, C. Lettisches Wörterbuch. I. Lettisch-Deutsches Wörterbuch. Riga, 1872.

Шаты — село б. Ковенск. губ., Тельшевск. у.

Ширвид = Schyrwid, Const. Dictionnarium trium linguarum in usum studiosae juventutis. V Editio. Vilna. 1713.

Шлапелис = Ю. Шлапелис. Русско-литовский словарь к I и II ч. «Русской школы», вып. 1—2. Вильно. 1909.

Ю. или Юшкевич = Юшкевич, А. Литовский словарь с толкованием слов на русском и польском языках. Вып. 1—3 (A — Kru). Изд. Р. А. Н. 1907—1922.

Остальные сокращения (как «см.», «ср.» «блр.» = белорусское) не отличаются от общепринятых.

A.

abrúsas — 1. Полотно с каймой на двух концах. 2. Скатерть. 3. Полотенце. Н. К. М. Ю = 3 (Н + «широко известно в Прусской Литве». К. «abrũsas». Ю. «id. àrba abrústas»). Н. К. Ю. сопоставляют с польским obrus [= 2], но это не верно, как показывает место литовск. ударения и неполное совпадение значений. Брюк. сравнивает с белорус. «обру́с».

Слово известно и в украинском (Грінченко, как и Носович, указывает одно только значение = 2. Ударение в украинском двоякое «о́бру́с»).

В великорус. говорах слово не зарегистрировано, сколько я знаю (Даль, Васнецов, Подвысоцкий, Добровольский, Смирнов нет). Судя по этимологии слова, данной Миклошичем (Et. W. s. v. brŭs —), потом у Бернекера (Sl. Et. W. s. v. brusъ), оно в литов-

ском заимствовано из русского (не может быть пра-литовским в виду а- и -s-, а также в виду лексической изолированности). Затруднение представляло до сих пор — значение слова в литовском. Говор с. Немонайц дает недостающие семантические звенья — от древне-русск. «обрусъ, обрусьцъ, убрусъ = платок, полотенце» (Срезневский, Материалы), которое, вероятно, и было заимствовано в литовский, — к современным разнозначным, (по большинству говоров) русскому и литовскому словам. Надо еще заметить, что «полотенце» и «скатерть» у литовских крестьян делаются — из полотна одной выработки и вида, только «скатерть» несколько шире. Ср. у Траутмана (B.-Sl. Wb. s. v. *braukįō).

al'v'ītos — лыковая перевязь — скрепа стельваги с колодой сохи. Н. 5: «Оба березовые боковые шесты деревянной качели» (вм. гужей). К. [перепечатывает из Н.]. Ю. М. — нет.

andarókas — домотканная юбка (из покупного товару — называется sukn'ǽl'e). Ю. М.: id. = юбка (польск. spódnica) = undarokas = indarokas = sejonas. К. — нет этих слов, только: [«sḗjonas = женский летний балахон»]. Невойче: undr'ijók = фуфайка (из немецк. Unterrock — юбка (Прельвиц не указывает). Польск. andarak, anderak, inderak = id. (Sł. Gw. P. Karłowicza + «ust(no)z Litwy»). Из литовского это слово перешло в белорусские говоры (встречается, наприм., в сказках изданных Сержпутовским, стр. 169). Носович: «*андара́к*» — женская шерстяная, особенно пестрая суконная исподница, которую носят поселянки. *андарачо́к*, *андарачный*». (То же повторяется у Даля и Грінченко). Добровольский: «*андара́к* — верхняя юбка; *андарашница* — любящая рядиться в юбки, что считается признаком домовитости. *Андрак* с кабатиком: шьется юбка из темносинего домашнего сукна и делается отдельно лифчик из простого холста. Юбка пришивается к лифчику». Можно видеть из приведенного, как слово, чем дальше от своего очага, тем больше меняет реалию и форму.

apač'à — нижняя перекладина педали у прялки. (Ю. id. = «испод». К. id. = Ю. + «подошва горы». Н. id. = Ю. +

«подошва». М. id. = низ, дно») (Ср. еще в литовск. — apatė (жем), apatìnis. apatė̃snis etc.). У плотовщиков — белоруссов (б. Гродненская губ.) «опачи́на» = заднее весло, руль плота; обратно заимствовано литовцами нижн. течения Немана: poczynà (К) = «весло» (— из блр.). Грінченко: «опачина» = 1). Весло на гребном судне. Василенко (Этнографические Материалы Полтавской губ.); «Половину казаків у окови до опачин посади». — Максимович (Песни). 2) тонкая и длинная связка хворосту; также связка лозы или камыша, вставленная в кучу бураков для вентиляции. Пирятинский у. «Треба опачин, — мостити греблю». Борзненск. у.» (Носович, Добровольский, Васнецов, Кашин, Подвысоцкий — нет). Даль: — «опачи́на? влгд. рожа, харя; личина; образина; пика, гиря (юж.). Перекрести опачину-ту, ведь все врешь»! В русских говорах это слово заимствовано из литовского, — чем дальше от очага, тем более изменено или затемнено основное значение.

ap'ìnostr'is — уздечка. Ср. kãntaras. Погеложе: ap'ìnastris = id. Н. «apinastris — веревочный недоуздок без удил». К. apýnastris = id. М. id. = apnasris = узда. Ю. apýnasris = узда без повода (ремня). Ср. nasraĩ (пасть). Пра-литовское слово. Этимологическое значение, повидимому, у Нессельмана.

àpl'ikas — (Н., К., М. — нет) — петля. Ю. — id. + застежка. Ср. укр. (Грінченко) гапли́к — проволочный крючок для застегивания платья, + гапличо́к, уменьшит.

árkłas — соха. Н., Гейтл., М. К. = плуг. К. + «в польской Литве = žagre в прусской Литве». Ульман «arkls = плуг, + мера земли в Прибалтийском крае». (Пра-литовск.). Ср. Траутман (B. Sl. Wb. s. v. *ãrtla).

atàsaja — 1) Железная связь (скрепа) стельваги с колесом у дышловой телеги (id. Свинчулишки). 2) pl. отосы-тяжи от оглобель к осям колес. Н., К. — нет. Гейтлер. L. St. 78: «atsaja — из Ширвида — постромки у запряженной лошади». М., как у Гейтлера = «тяж». Ульман нет. Носович: «отоса (лит. atasis [?] atzcjos) [опечатка вм. atsajos?] Веревочный или ременный тяж,

от оси к верхнему концу оглобли натянутый, правило. *Отосина, отоска, отосный, отосник*». Грінченко: отóса Sg. f. = отéса St. (= Носов.). В с. Положках (близь Глухова, Черниг. г.) я записал: «атéсы (a'tɛsɪ) = 2. Ср. Траутман (B. Sl. Wb. s. v. *Sejō) — пра-литовское ãtsaja. Приведенные литовские и русские слова — при сходстве фонетическом и семантическом — быть может независимого происхождения. Литовские слова образовались из префикса at- (в Немон. с восточно-литовской формой этого преф.: atã-)+saja. Ср. pásaitis привязной ремень (цепа и под.); Saitai Pl. (у Ширвида) темница (вероятно, книжный эквивалент для польск. więzienie); siẽtas = веревка, sieta = узел (у К. неправильно séta, sétas). Так же образовано наприм. àt(t)warslės = возжи (ср. twerìu — хватаю).

Русские слова разлагаются этимологически на «от» — «ось». Неясно укр. отéса, атéсы. Ср. польск. (Sl. W.) 1) odos (m) odosa (f) и 2) otos (m) otosa (f) = id. 2. Второе, возможно, из блр.-укр. Karłowicz: ocios (+ otos) = id.

áud'ekłas — простое (одноцветное гладкое) домашнее полотно (Балкосадзе — id.) Ю. id. = «ткань» Н. К. М. id. Ср. pakłót'is, dróbʼe, abrúsas. От áudžiu — тку (Пра-литовск.). Ср. Траутман (B.-Sl. Wb. s. v. *āudịō).

av'il'ïs — *долбленый* улей Ю. id. = «улей (пчел)». К., М. — id. Н — «id. = Соломенный плетеный улей». Литовское слово в старом родстве со славянск. (Ср. Mikl. Et. W. s. v. *ulij). Ср. bárčos, skr'in'ǽl'e. Ср. Траутман (B.-Sl. Wb. s. v. *auleịa-).

áž'os pl. — грядки (напр., капусты). éž'os — Вильком. у. Ковенск. губ. = id. Невойче Ковенск. губ. éž'a = межа. Ю. Н К. М. — только ežẽ = межа (+ граница). Ср. др.-прусск. asy (Берн. 281, Траутман 304) = межа. Ульман escha (= eža) граница. Следует заметить совпадение начальн. a — в данном говоре с др.-прусским словом, выделяющее его среди других литовских диалектов. Значения «межа» и «грядка» не настолько далеки, чтоб считать это разными словами. Пра-литовск. Ср. Траутман (B.-Sl. Wb. s. v. *ežịā-).

B.

bałanà — лучина (Свинчулишки — id.) Н., К., М., Ю. = 1) id. 2) блонь. Даль: «*Блона́, болона́* = (1) вообще оболочка... (2) плена, пузырь... (3) грудобр. преграда... (4) опухоль... *Бло́нь*, боло́нь, бло́нка — молодые, внешние, не вполне еще одеревеневшие слои всякого дерева»... Носович: «*Боло́на* = 1) большое стекло в раме окна [ср. у Даля: боло́нка] 2) обширное открытое ровное место при селении или в поле, поляна. Болонье (ср. это слово у Даля). *Боло́нина* = 1) тоже, что и «боло́на» в обоих значениях 2) плева под корою соснового дерева, состоящая из огустевшей смолы 3) смолистая лучина, отщепленная от края смолистой плахи». Грінченко: «*Боло́на* = 1) Даль 1. 2) Носов. 1. 3) ворота? калитка?»

Основное значение слова во всех русских говорах правильно указано Далем (1). Из «пузырь» — надо исходить для объяснения значения «оконное стекло» (пример сохранения слова при культурной смене реалии); из значения «плева под корою соснового дерева» (блонь) явилось — «лучина». Брюкнер (L. Sl. St. 69) считает литовское слово заимствованным из белорусского (за ним Бернекер Sl. Et. Wb. s. v. *bolna 1. и Траутман B.-Sl. Wb. s. v. *bālna = «белый») в виду «полногласия», однако он пренебрег несовпадением ударений и значений сопоставленных слов в литовском и белорусско-украинском, поскольку существующие словари позволяют об этом судить. Ударение указывает как будто на великорусский говор, как источник литовского заимствования. Но надо еще найти место употребления слова «болона́» (или «балана́») в значении «блонь — лучина» в великорусской области, чтобы утверждение о заимствовании было доказано; пока следует искать его объяснение из литовск. пра-языка (Ср. báłas — белый, balė̃nas = заболонь»).

baŋgà — ливень. Ю. bánga = id. Буга (Слов.) id. + «волна». М. id. + «бурун, буря». К. id. = 1) волна, 2) множество, масса, 3) окончание (Н. 321 id. = 1 и 3 у К.) Ульман: «banga =

морской прибой» (Повидимому литовское заимствование в латышском (ср. «buogs, buoga — толпа» — правильное фонетическое соответствие литовск. bαŋgà). По Траутману (B.-Sl. Wb. s. v. *bangā) — пра-литовское.

bárčos, pl. f. — ульи в дупле (борти). Гейтл. 79 — bartys pl. id. — сравнивает с польск. barcie. Ю., М. — нет. Н. только bartininkas (бортник — пчеловод). К. [id.] Брюкнер L. Sl. St. 70. считает славянским заимствованием в литовском. Ср. укр. *борть*, id., *бортник* — id. (Носов. только: «*бóрщина* — сосновое дерево, стоячее, годное для выдолбления в нем улья и заведения пчел»). Скорее всего из украинского. (Если бы заимствовано из др.-русск., было бы burtis, из польск. и блр. — было бы barcis).

brǟŋktas — пристяжной валек, орчик (Свинчулишки bruŋktei, orč'ikai). М. — нет. Ю. brą̃nktas — полено (привязанное). Н. id. = «дубинка, какую подвязывают собаке под шею, чтоб сделать ее безвредной. Рагнит». К. [id.]. Ульман — нет.

br'eʒ'en'is — закидная сеть. Н., К., М. — нет (Н. — bradine = bradinys = бредень). Ю. bridinys = бредень. В данном говоре заимствовано из белорусского. (Носович: брéдзень = 1. бредень 2. рыболовная сеть. Ударение как в соответствующей литовской морфологической категории, наприм. žvejȳs = рыбак. В говоре Юшкевича, повидимому, из древне-русск. (судя по вокализму; у Срезневского, Мат. — нет).

búkłos (в том же значении употребляется в Немонайцах и «sod'ībos», заимствованное из литературного литовского языка) = брошенное домовище. Ю., М. — нет. Н. 334: bukla = bukle = buklas = бытие, местожительство, местопребывание. Ką ant buklēs kēno įstatyti — назначить кого-нибудь на место другого. Žwērių buklas = логово зверя. К. [все перепечат. из Н.] (Пра-литовское). Ср. Траутман (B.-Sl. Wb. s. v. *būtla-und *būdla-).

búksos = stebułõs (только последнее известно в Леплавках = id.) — гнездо, ступица в колесе. Ю. id., М. id. + кузов телеги. Н. 337., К. — id. = «штаны». Ср. Н. ibid.: bukszas = «гнездо», ступица. К. bùkšas = id. + кожаный или железный

футляр. Слово заимствовано в литовском из немецкого «Buchse» = id. (На значение этого слова в литовском оказало влияние и немецкое «Büchse» = жестянка, банка... штаны). Переход ks > kš для литовского не вероятен, так как оба звукосочетания здесь одинаково привычны. Поэтому вариант Нессельмана загадочен.

buz'ùkai — шишки (сосновые и еловые). Ср. š'ìčkos. Н., К., М. = нет. Ю. только: «bùzas — чугун (сосуд); bùzis — круглый как яйцо глиняный кувшин для вина» (Пра-литовск.?).

b^u^ž'e — тяпец, било цепа. Шаты: boụž'e = безмен. Н. 333: bože и bu°že = 1. дубина, 2. тяпец, 3. било колокола, 4. безмен 5. головка булавки, 6. стержень птичьего пера. К. [перепечат. из Н.] М. id. = жезл, булава (Пра-литовск.). Ср. латышск. (Ульман) bauze или bōze (bause, bohse) = било цепа, поплавок, палка на шее коровы.

C'.

c'íes'is — правый рог рассохи у сохи. Ср. kúmpis. Произведено через переформирование и соответственное сужение и конкретизацию значения от обще-литовского прилагательного tiesùs — прямой. Этого производного у Н., К. М. (Ю.) — нет.

ʒ'.

ʒ'v'ìkūl'is — малый сноп соломы для кровли. Половина большого куля (Ср. kúl'is), — собственно: «один из двух снопов, составляющих (двойной) куль». Н., К., М., Ю. — нет.

D.

dáiktas — 1. штука, вещь, 2. местность, местожительство; v'ienām dá^ikt'e bùvo, paskū^i k'itán dá^iktan p'ǽrs'ik'el'e = «жил в одном месте, потом в другое переселился». č'oná^i gražùs dá^iktas = здесь красивая местность. Тверечь: (Литовск. Хр. Вольтера) in víena deĩktā = на одном месте. Н., Ю., К. id. = 1 и 2. М. id. = 1. Переход значения — как во французских диалектах:

pièce = штука, монета, бревно,→поле (участок земли). Ср. J. Gilliéron. Études de Géographie linguistique. Paris 1912, p. 31 suiv. (Пра-литовск.).

dàl'g'e — коса. Н. 124 id. К. dālgis id.; М. id.; Берн. APr. 284 — doalgis — id. Траутман. APr. Spr. D. 322, лат. dalgs id.; Лескин. Abl: 323:... «dilge = крапива, dàlgis — *серп*» (sic!) и указание, что у Ширвида «тоже и dalge = серп». Ср. pjā"tuvas. (Пра-литовск.). Ср. Траутман (B.-Sl. Wb. s. v. *dalgịa-).

dáŋkc'ei (ср. d'æŋgù = крою) — постройки для скота. Н. 137. dangtis (под dengiu) = крышка, + указание, что у Ширвида = и «крыша» (обычно — stogas). Лескин. Abl. 323. dàngtis = Н. К. dānktis = id. М. — id. Ю. dą̃ngtis — 1. одежда, покров. 2. крышка, покрышка (для посуды) (Пра-литовск.). Ср. у Траутмана *dăngā-.

dáržas — 1. палисадничек перед избой с улицы, 2. загон для скота, 3. огород. Н. 129, id. = 3. + 4. сад. К. dar̃žas = 4 (только!) М. id. = 3 = 4. + парк. Ср. sódas. (Пра-литовск.). Ср. Траутман (B.-Sl. Wb. s. v. *darža-).

d'íšl'us — дышло. Н. 144: dyselis — id. К. dyselỹs = id.

К. сопоставляет с польск. dyszel. М. id. Ульм. dihsele, dihstele-id. Prellwitz, 59: dýcelis = dyselys = dyzelỹs = dišne (1-я и 3-я формы взяты из неизвестного источника) — др. верх. нем. dîhsalâ, ср. верх. нем. dissel. Ю. только dýselis id. Слово Н., К., М., Ю. — действительно из ср. в нем., но приведенная мною форма (Нем.) из польского, как показывает š (и не из какого нибудь русского говора, как показывает l').

drabìnkos (id. Свипчулишки) — «полудрабки», стенки воза, имеющие вид лесенок. Ср. katúkai. Н., К., М., Ю. — нет. М., Ю. drobýnas = id. = gardės = kópėčios. Ср. Носович: драби́нка — небольшая лестница, уменьшительное от драби́на. В литовском из белорусского. Ср. следующее слово.

drob'ïnai — ясли над кормушкой в конюшне. Ср. Носович: «драби́ны — тележный состав без колес. Укр. Грінченко: драби́на = 1. переносная лестница, 3. драбки́ = решетки, соста-

9

вляющие боковые стороны тележного ящика и имеющие вид небольшой лестницы, 2. *решетка возле яслей.* Słownik Warszawski: 4,548...: drabina u wozu — id. drabina stajenna, sienna (= służąca za przegrodę w stajni nad żłobem...), но польское «drabinka» — в значениях не совпадает с литовским. В литовском из украинского или польского, судя по совпадению значений. Заимствовано раньше, чем предыдущее (как показывает литовское *o* на месте русского *a*).

dr'ǽk'ɛs — носилки. Н., К., М. — нет. (Ю. только. drẽkis, ia = 1. выкидки, выброшенная вещь, 2. помет, кал. Это из немецкого Dreck = 2).

Ср. латышск. (Ульм.) — drehgi (= drēg'i) = носилки, дроги.

dúrp'ɛs — торф (латышское torfs). Н., Ю., М., К. — нет. Из нижне-немецкого. Ср. Kluge (Et. W. d. D. S.): «Dorfft, Durfft, Törff, Torp — нижненемецкое слово, — оно вошло в литературный язык в XVI — XVII вв., собственно значит «дерн». Латышское заимствование — позднее (из ново-верхненемецкого).

e.

ẽʒ'os — кормушка в конюшне, ясли. Невойче: ẽǯ'os = id. Лепл. užˡéd'is = id. Н. 17: edžios = id. К., М. = Н. Ср. Траутман (B. Sl. Wb. s. v. *ēdįa). Пра-литовское.

ie.

iẽnos — оглобли. (Невойче: inai = id. Погеложе: jéna = id. Леплавки, Шаты: einos = id. Н., К. — нет. М. jena = id. Ю. jiẽna = id. (Пра-литовское).

ien'ǽłɛs — два упора большого колеса прялки. Н., К., М., Ю. — нет. Произведено от предыдущего слова.

i.

ĩndas — сосуд, ĩndai — посуда. Н. 27., К. = id. М. = чан, кадка, прибор. Пра-литовское. Ср. Траутман (B. Sl. Wb. под «—*da als zweites Kompositionsglied»).

G.

g'ǽrnas — жернов. Ю. gìrna = id. Pl. gìrnos = ручная мельница. Ц. 256. М., К. = Ю. (Пра-литовское). Ср. Траутман (В. Sl. Wb. s. v. *gīrnū).

gr'ǽnʒ'imas = ток. Н., К., М. = нет. Ю. gréndimas = id., у Ант. Юшкевича id. + griandimas). Пра-литовское. Ср. grindis и у Траутмана под «*grindā».

grìnč'a — изба. Н. 271 — gryniczia — по Ругигу и Мильке — «людская», по Ширвиду — «коптильня». К. [id.]. Гейтлер gricza = grinycza = «людская». М. griczē — хижина, пекарня, людская, лачуга, изба. Брю. (L. Sl. St.) сопоставляет (стр. 85) с др.-русск. *гридьница*, гридьня, которое, будто бы, значит «людская». Срезневский, Мат. id. = «большой покой для собрания (дружины?)». Даль: *гридня, гридница* — покой или строение при дворе княжеском, для гридней [т. е. воинов отборной дружины]; приемная, сборная, где древние князья принимали за-просто. В свадебных песнях (где молодые величаются князем и княгиней) — комната, в которой играют свадьбу. *Гридня, грыдня* — Орл., Болх. — изба, избенка, лачуга. (Носович, Грінченко, Капин, Васнецов, Подвысоцкий, Добровольский — нет).

Вероятно, заимствовано из древне-русского: *гридьница*, и подверглось постепенно фонетическому упрощению и семантическому обогащению, что легко происходит с изолированными («темными») словами.

gudẽi — гонщики плотов по Неману, южные белоруссы. Н. 260: «guddas — поляк, русский, по большей части, как презрительная кличка». guddukas — молодой поляк или русский». Ю. gúdas — русский человек, русский мужик, работник; белорус, пинчук. Напр., Gudaĩ ant siė̃lų płaũkia Nemunaĩs...(= г. плывут на плотах по Неману). parsìvežiau baltų̃ gudų̃ dukrùżę (= привез я себе [девушку] доченьку белых г.). К. Gùdas (т. е. = Н) = здешние литовцы так называют польских литов-

цев, а жемайты — южных белоруссов (быть может от «Gothen»?). Ср. латышское (Ульм.) Gudi — белоруссы. Буга (Дусяты): «Gũdas — человек не умеющий по литовски, польский шляхтич» M. id. = maskolius = русский, житель востока.

К.

káistu, káitau, káisc' — нагреться, закипеть. M. id. = жарить, греть, -ся, допекать. Н., К., Ю. id. = согреваться, потеть. Пра-литовское, как и след. слово. Ср. Траутман (B. Sl. Wb. s. v. *kaistē̃i-).

kaitrùs = теплый К., Ю. id. = хорошо горящий, дающий жар. М. id. = знойный, горючий. Н. 187 — id. = сильно греющий, накаляющий.

kãntaras — недоуздок Н., К., М., Ю — нет. (Носович, Добровольский — нет). Грінченко: ка́нтар, у = 1) узда, недоуздок, 2) род ручных небольших весов (2-е из греческого, известно и в великорусских диалектах). Słown. Warsz. 8. 235 — kantar, kantor, kentar, kętar, kandara: 1) uździenica bez wędzidła, służąca do uwiązywania konia˜u żłobu; 2) rodzaj munsztuka. Пока неизвестна этимология этого слова в украинском и польском, — нельзя решить, откуда заимствовали его литовцы.

kaplìs, sm. — мотыга (Невойче: ãkas = id., из нем. Hacke). Н. 178. kaplys = тупой топор. К. kaplỹs = оба предыдущие значения + «топор». M. id. = Н. Гейтлер, 168 — сравнивает — skaplis = долбило (повторено V. Thomsen'ом в Ber.). Пра-литовское. Ср. Траутман (B.-Sl. Wb. s. v. *kapā̃jō).

kárč'us — мешок, мера (зерна, глины) и pús-karč'us = полмешок. Н., К., М., Ю. — нет. Н. 205. korczus = польская мера (korzec), равная двум прусским мерам (у жемайтов). К. [id.]. Носович: «коре́ц, корца́: 1) ковш из дерева выдолбленный с рукояткою. 2) литовская мера (20 гарнцев). Древняя славянская мера. См. 2 Паралипоменон, гл. 27, ст. 5. «Десять тысящ *кор* пшеницы». Ср. Helmoldi Cron. Slav. 88: «modius autem Slavorum vocatur lingua eorum curitze. (Приведено у Срезневского и Бер-

некера). Добровольский: почти тождественно. Грінченко: ко́рець, -рця́ = 1) мера сыпучих тел. 2) железный или деревянный ковш и т. д. Срезневский, Мат.: корьць = корець. Пролог XV в. «Ни в ведро, ни в корец, ни бочкою меду не продавати». modius... Sł. W. 10.484: korzec, rca, pl. rce: miara ciał sypkich = 32 garncom. W różnych czasach i różnych miejscach k. miał różną wielkość.

С другой стороны ср. литовское prãkartas (K: biblisch.) = «кормушка» (у Берн. Sl. Et. Wb.: лит. «prãkartis» — быть может опечатка?) и др. прусское pracartis = «квашня» (Берн. и Траутман) — быть может «жлукто», т. е. «деревянная долбленая квашня».

В данном говоре karč'us едва ли объяснимо вполне как слав. заимствование, вероятнее видеть здесь контаминацию несохранившегося литовского *kartis или *karč'us (со значением «долбленый сосуд, мера зерна») и белорусского заимствования «ко́рец». Вариант Нессельмана фонетически выводим из польского и белорусско-украинского, он может быть только полнее ассимилирован славянскому слову.

По Бернекеру и Траутману (Зольмсен) указанные выше литовские и др. прусские слова родственны со слав. «корыто» (см. у них под этим словом) и скр. čaruš. А др. ц. сл. «*коръ*» восходит к др. евр. kōr, через др.-греч. κόρος. В виду «*корыто*» и prãkartas, а также словин. диал. koruš и польск. диа́л. koruszek, можно видеть в «когьćь» тоже контаминацию пра-славянской основы *kor-, *korū- и заимствованного книжного слова «коръ», от которого далеки по значению ново-славянские рефлексы слова «когьćь».

katùkai — полудрабки телеги. Ср. drabìnkos (Леплавки id. = «gárdus». Н., К., М. — нет. Ю. katùkas = 1) сеновал в конюшне, 2) «холодная» при волости. Слово Ю. заимствовано из белорусского. [Ср. Носович: «Коту́х (лит. guszta): 1) место, огороженное для насидки домашних птиц (голубиные, гусиные котухи), 2) перен. Заточение, тюрьма». Даль: кату́х и коту́х = хлев, ша

лаш, конура]; по Бернекеру (Sl. Et. Wb. s. v. *kotъ 1) — праславянское заимствование из иранского. Значение слова в Немон. так далеко от этого, что надо видеть в нем пример полного забвения первоначального значения заим. слова; быть может семантическим звеном к нему было 1-е значение Ю.

kaušùkas — черпак, ковшик. Н. 189. «kauszas = 1) большой уполовник, 2) черпак, 3) деревянный питьевой сосуд». Он сравнивает с kiauszas — (яичная, ореховая) скорлупа, череп, черепаха. (К. = Н. = черпак — напр., для смолы). Ю. káušas — 1) череп, 2) ковш, 3) основание передка телеги, 4) раковина. М. id. = тигель + id. Фик сопоставил с скр. kóçaḥ. V. Thomsen Ber. 184, приводит из Bielenstein'a (Gött. Gel. Anz. 1888, 403): латышское kaus's (в Курляндии) собственно: яичная скорлупа, говорится также и о черепе и о круглых сосудах. Ульм. kâuss, pl. — i = id. + блюдо, чаша, чашка, уполовник. Słovn. Warsz. 10. 508: kowsz — drewniane czerpadło z rączką do wody. Zdr. kauszyk. 8. 300 = czarka, czerpak. Por. — kousz i kusz = ib. Мнение Бернекера, что в польском это слово из белорусского или украинского, так же как и мнение Брюкнера: «kowsch scheint mir deutsch, nicht litauisch zu sein» (Arch. f. Sl. Phil. Bd. XX, s. 515—18) — ни на чем не основаны. Это слово перешло из литовского в немецкий, польский и русский: 1) в белорусском — *ковш* = Носович: «(деревянное) черпало с ручкою», 2) в украинском — Грінченко — ківш, ковшá = 1, совок для насыпки зернового хлеба, муки и пр. 2. (плата мельнику мукою за помол), 3. = Нос. и 3) влкр. (Даль) — ковш, ковшик — 1. корчик, черпалка 2. = Нос. 3. Разливная ложка, 4. ящик четвероугольною воронкою на мельницах». Не заимствованное славянское слово звучало бы *кус (-ик). В польском отчетливо сохранила литовскую фонетику форма: kauszyk. Остальные более или менее ассимилированы. У Траутмана нет. Бернекер (Sl. Et. Wb. s. v. *kovš) выводит русск. и немецк. слова из литовского.

kłú^nas — сарай для сена. Н. 220 = 1. место позади хозяйственных построек (за ригою и садом). 2. хозяйственные по-

стройки вдали от усадьбы. М. id. = гумно, ток. Ю. — 1) = М 2) ряд снопов, вымолачиваемых в один раз. 3) = klūnïena (см. ниже). К. kłonas = белильня (полотна) за житницей. Ср. лит. kłóti (Ю.) = стлать, постилать, kłotà (Ю.) = помост, настилка, klõtas = тло. Здесь два разных слова, из которых только первое (Немон.) перешло в блр.-укр. и польский. Ср. Носов.: «клу́ня— (Минск. и Могилев. губ.). Сарай вроде гумна, пуня при гумне». Грінченко: «клу́ня — рига, гумно, овин, житница». Sł. W. kłunia = 1. stodoła z kraglaków sosnowych stojąca na uboczu, zdala od domu, 2. miejsce sypiania wieśniaków. О втором см. у Траутмана (B. Sl. Wb. s. v. *klana-). Ср. Е. Карский. Сборн. Фортунатова, стр. 487.

kól'č'ekai — серьги. Н., М., К., Ю. — нет. Ср. М. kalciei = «zapinki lub kolcy od sznurówek—металлические цепочки у женщин для шнуровок». Носович, Грінченко — нет. Видимо из польского. Ср. Sł. W. kolczyki = id.: kupiła sobie kolczyki (= parę kolczyków). (Несовпадение ударения указывает, вероятно, на русское посредство).

kołdrà — теплое одеяло (на пакле). Н., Ю., К. — нет. М. kaldra. Слово известно в блр. и укр. Нос. «ко́лдра = id. (к. суконная, байковая)». Грінченко — «ко́лдра = ко́вдра и ко́вдря = id. В крестьянском быту очень плотное *рядно*, служащее одеялом или подстилкой вм. тюфяка (Полт. губ.)». Из польского вошло во все эти языки. Ср. Słown. Warsz.: kołdra, kałdra, и др. фонетические варианты = 1. przykrycie dla śpiącego w łóżku, 2. płaszcz, okrycie. [Włos. coltra przez 'Sr. Łć. cultra, z łać. culcita = pierzyna]. Таким образом, все звенья пути от латинского (срвек) cultra до украинского ко́вдря известны. Ср. у Бернекера (Sl. Et. Wb. s. v. *koltra).

kor'ẽi — соты. Н., К., М., Ю. — id.

kóš'ɛ — особое литовское блюдо (из гречневой молотой крупы выпекают нечто вроде рулета с кусочками сала, режут ломтиками и едят с кислым молоком). Н. 205. «kosze — (Grütze) каша (жем. из польского kasza)». К. [id. + у Шлейхера: —

«размазня, кулеш»]. М. = Н.; Ю. — kõše — Н. Ни одно из объяснений происхождения этого слова в славянских и литовских языках не удовлетворительно. Нет никаких оснований считать его не заимствованным во всех этих языках. Следует заметить полную «национализацию» этого слова по семантической функции в говоре Немонайц. Заимствование этого литовского слова из польского (Бернекер Sl. Et. Wb. s. v. kaša) — сомнительно.

kraužl'ìs — «горбушка», боковая корка хлеба (верхняя и нижняя корка здесь называются pl̃ùt'e). Н., Ю., К., М. — нет. Ульм. — нет. (Ср. М. kružas — венок. Ю., К., Ульм. — нет).

kr'æ̃kvos — стропила крыши. Н., К., Ю., М. — нет. Польское krokiew, krokwa, krukwa, krokwia = id. (Sł. Warsz.) не подходит фонетически, как и украинское (Грінченко) кро̀ква = id. Ближе всего орл.-курск. кряква = крылья саней. Ср. у Даля: кре́ква, кря́ква — дубина, шест и т. д. В значении «стропило» у Даля только «кро́ква». Преображенский (Эт. Сл. Р. яз. 6. 388) указывает блр. крёква = id. (Носович, Добровольский — нет). Во всяком случае, в литовском — из русского источника.

kr'epšý̦s — сумочка, мешочек, мошна. Н. 226: «krépszas = 1. маленькая кожаная сумка, 2. пастушья торба, 3. нищенская сума = kalmoka (употребляется около Тильзита, Рагнита и в Жемайтии) = krépszis, io = krepsze = id». К. — krãpšas = krẽpšas = 2 и 3. Ю. — id. (= krebšýs), а «krepšẽ» = плетенка, корзина, коробка, «+ krãbšas = корзина с крышкою для просушки». М. — нет. Основным надо считать krabšýs (или krab-šas). Появление *е* вместо *а* в kr'epšýs — диалектическое, как в krentas вместо krantas (= берег). Суф. — šys (— šas) известен в нескольких литовских словах. Ср. łopšýs = «колыбель» от łóbas = луб(ок). Если предложенное расчленение правильно, тогда мы имели бы в этом слове след заимствования из литературного др.-русск. крабии (Срезнѐвский Мат. = корзина, коробка, ковчег, кивот) с применением литовского суффикса. Ср. литовское kar̃bas (у Траутмана под: *korba-).

kr'éšłos — (pl. f.) «подуги», «стремянки» у телеги (т. е. пе-

редние боковые упоры ее стенок). В Леплавках id. = sk'ǽrs-płautı. Н. 226 krēsłas, pl. — ai 1) высокий почетный стул, 2) = Немон., 3) задняя осевая подушка телеги. Ю., М., К. krēsłas = 1-ое у Н. (Ю. = id. + 3-е значение Н.) Берн. A. Pr. 237: creslan в 1-м значении Н. (Траутман Apr. Sprd. 362—id.) (Брю. 97) Носов., Грінч., Добров. — нет. В польском (Sł. W.)— только в 1-м значении Н. Некоторую параллель к значению, какое имеет это слово в данном говоре, находим единственно у Даля: крéсло = «весь кузов тележный или санный, какой ставится на роспуски или на дровни». Во всяком случае, несомненно, из русского (прямого источника надо искать в белорусских говорах).

kuk'ǽl'is sm. — молоток. Н., К., М. — нет. Ю. — kukē-lis—io = id. (обычно płaktùkas). Ср. Ю.: kùkis = молот, палка, крюк для разбрасыванья навоза. Kukẽ = набалдашник. Kūkà = дубина с толстым концом. Пра-литовское (Ср. у Mikl. Etym. Wb. s. v. *kuka 2; у Траутмана под: *kauka — (B.-Sl. Wb.).

kùl'bačka — упряжное седелко. Н., К., М. — нет. Н. 208— kulbókas = 1. der Kolbalken (диалектическое немецкое заимствование из литовского?), 2. ярмо. К. id. = 2. Брю. 99, считает заимствованием из славянского. Бернекер (Sl. Et. Wb. s. v. *kulbaka) выводит литовское из польского, но происхождение слова считает неизвестным. Носович: кульбака — седло (верховое). Даль, Грінченко — id. Слово — известное в Немон., — заимствовано из русского (уменьшительного); Kulbókas — может быть пра-литовским (ср. след.); тогда из литовского надо объяснять это слово в польском и русском.

kúłb'ɛs — Pl. перекладины (саней, бороны). Н. 208, kulbẽ— колотушка. К. id. дубинка, приклад. М. — нет. Прельвиц (стр. 28) объясняет из немецкого Kolben. Сомнительно для слова с первым значением. (В языке немецких литвинов это слово могло по созвучию осложниться вторым значением — от немецкого Kolben). Ср. латышское kúlba (У.) «грузовая телега, дровни, дно воза или саней». Пра-литовское.

Kúl'is, sm. — большой сноп соломы (ср. ʒ'v'ikúl'is). М. kulys 1) id. 2) матня бредня, осиное гнездо. Н., К. id. = как в Немонайц. Гиртлер (стр. 66) считает балто-славянским. Это невозможно в виду лит. ū при славянск. у. Брюкнер считает заимствованием из русского (L. Sl. St.). Бернекер — тоже (Sl. Et. Wb. s. v. *kul'). Ср. однако лат. (Ульм.) kůhlis, ļa, kuhls = сноп, пучек, чурбан. Грінч. (укр.) куль, ля́ = 1. вымолоченный сноп, 2. связка камыша, 3. палка (в игре) etc. В литовском, латышском и русском — это слово могло явиться из общего источника. Нет оснований считать его праязыковым ни в одном из этих языков. Объяснения у Бернекера не удовлетворительны.

kūmp'is — левый рог сохи. Н., К., М. id. = окорок. Слово произведено от прилагательного kum̃pas (К.) «кривой». Ср. у Межиниса: kumpas medis su tiesiu ne sutinka (= кривое дерево с прямым не сходится), и ср. выше c'ies'is.

ku^d'æ̃l'is — кудель. К. kůdēlis = kodēlis = id. (kůdas — хохолок). М. — нет. Ср. Н. 203, kódas и kuodas = хохол, чуб (у птиц), кудель. kodélis = kódas. Лат. (Ульм.) kohda, kohdaļa = 1. id., 2. моток, свиток, 3. урок пряжи. Эта группа балтийских слов быть может не связана по происхождению с близким фонетически и семантически русским словом «кудель» (чье либо заимствование тоже исключено). Ср. Носович. *кудзеля* = 1. id. 2. нечесанные волосы. *Кудла* = 1. клок волос, 2. нечеса, 3. кличка косматой собаки. Грінч. куде́ль = куде́ля = шерсть, а также плохой лен или пенька, приготовленные для пряжи. 2. насмешливо: шиньон. Даль — сходно. (Ср. Mikl. Et. W. s. w. *kondrъ; рефлексы слова «кѫдель» изв. во всех славянских яз.). Bern. Sl. Et. Wb. s. 598. s. v. *kǫdělь — допускает, не без колебаний, что в балтийских языках это слово исконное. У Траутмана — нет. Мне представляется возможной контаминация (семантическая) пра-литовского слова с известным русским словом.

l.

łákštas — лист стекла, оконное стекло. М. id. = страница, лист (бумаги). К. lãkštas — лист капустный. Н. id. + К. Лат. (Дравниак) lũksne (papira) — лист (бумаги). Пра-литовское.

lãŋkas — дуга. Невойче: ràto łáŋks — шина. Шаты id. = ràto łuŋks. Леплавки: łoŋ̃kas — id. Немон. Нев.: łaŋk'jùks = дужка, скрепа граблей. Н. 368. id. = 1. шина, 2. лук, 3. обручь, 4. дужка ведра, плуга, 5. свод. К. id. = Н. 4, 5. Пра-литовское (Ср. l'eŋ'k'jù). У Траутмана (B. Sl. Wb. s. v. *lanka) и у Бернекера (Sl. Et. Wb. под *lǫkъ).

łazdùk'ɛ — стержень моталки. Н., М., К. только łazdà = палка. Пра-литовское. Ср. славянское: łoza (или łaska?). Бернекер (Sl. Et. Wb. 736). Траутман (B. Sl. Wb. s. 153).

łopeta — лопата (Шаты: šup'el'ɛ; Невойче: š'jup'el'ɛ). Н., К., М. id + лат. lopsta (Ульм. lahpsta). Берн. A. Pr. 305. lopto = id. Траутман. Apr. SpD. 372 id. Брю. 104. считал «славянским» заимствованием. По Траутману (B. Sl. Wb. s. 149 под *lãpetā) пра-литовское.

łótas — конек крыши. Невойче: łótai = продольные жерди на стропилах крыши. Ср. Носович «ла́та = длинная решетина — крыщь хату под латы (+ увеличительное «ла́цина»). Украинское (Грінченко) лата = длинная жердь, перекладываемая поперек стропил. Даль = id. (одно из значений). Sł. W. łata 2. 1) czworogranne cienkie a długie drzewo tarte a. wyciosane, listwa. Ł. dachowa na którą gonty kładą... Na ściany drewniane przybijają łaty pod tynk. Ogrodzenie z łat..., 2) krokiewka, 3) a) żerdź, drążek do którego przytwierdza ś. słoma na dachu b) cienka deszczułka etc. В русских, польских и литовских говорах это слово изолировано, быть может, заимствовано [ср. ирл. slat (bret. laz) «прут, жердь»], однако нет прямых указаний против праязычности этого слова в том и другом языках. Ср. Бернекер под *łaty, łatъve (Sl. Et. Wb. 694) Возможен, наконец, переход этого слова из польского (или блр.) в литовский, если оно кочевое, едва ли

наоборот, впрочем ср. лит. lûtas = челнок — однодеревка. Н. 373 lota = «планка, драница из нем. Latte». М. = id. Несс. + решетка. К. = id. Н. + [lõtas = малый челнок]. Лат. (Ульм.) lata = дощечка, дранка (крышная). (Это из немецкого, как и слово прусских литовцев, приведенное Несс.). В немецком это слово темное. Вопреки Клюге (Etym. Wb.) можно сомневаться в «германском происхождении слова» не только в виду др.-вер.-нем. и ср.-в.-нем. latta вм. latza при англо-саксон. lætta (хотя и læþþa), но также в виду особого (независимого) значения слова в литовск., польск. и русск. языках. Быть может, в родстве с этим словом славянское «лоток». См. у Бернекера (Sl. Et. Wb.) под этим словом.

l'úšn'a — упор полудрабка телеги. Н., К., М. — нет. Ср. Даль, Грінченко, Sł. W. (luśnia и lusznia) = id. У Носов. — нет. В литовском, судя по ударению, — из польского (если не окажется в белорусских диалектах). Бернекер колеблется признать заимствованием из немецкого (сред. -в.- нем. liuhs или, по Брюкнеру, нем. lünse). Материал для определения этимологии этого слова не достаточен.

łũbos Pl. — потолок. Н., М., К. — id. Берн. др.-пр. lubbo-доска (Траутман. Apr. SPr. D. id.). Лат. (У.) luba — гонта. Пралитовское. Ср. у Траутмана под *lauba (B.-Sl. Wb. 150).

M.

markátna — тоскливо, печально. Заимствовано из польск.: markotno, markotnie.

m'ent'ǽłɛ (или m'entùk'ɛ) — деревянный рычажок колеса прялки. Н., К., М. — нет (только mentẽ = лопатка). Пра-литовское. Ср. у Траутмана под: mentįō und mentō (B.-Sl. Wb.).

m'ǽšk'er'jos Pl. — рыболовные крючки, «удочки». Н. 396. mészkere. К. meškerẽ — id. М. meškerys — уда, удочка. Лат. (У.) makschķeris и makschķere — удочка, крючек (и производные).

m'ešk'er'ìkšč'as — удилище (Н., К., М. нет). К. только meškerýkotis = id. и [meškerýczia = id.].

m'ešłãi — навоз. Н. 398 mēszlai = id. К. mièšlai = id. М. mēszlas = id. Лат. (У.) mehsļi. Пра-литовск. Ср. Траутман (B.-Sl. Wb. 185 под *minžo).

«sałdùs m'iẽgʌs» — назв. хороводной игры (буквально = «сладкий сон»).

mušk'età — ружье (охотничье). Н. К. нет. М. id. (в др. гов. pučkà, plinta, šautùvė). Нос. Добр. — Нет. Грінч. Мушкет = id. Из польского (Sł. W.: muszkiet), в котором из французского.

N.

nab'edr'ikãi — задние перемычки упряжной шлеи (Невойче id. — p'ærnugar'es). Н., К., М. — нет. Грінченко, Носович — нет. Sł. War. nabiedrznik, nabiedrzyk, nabiodrek — część uprzęży końskiej, rzemyk boczny w zaprzęgu, spadający na biodro konia + nabiedrek, nabedryk = id. (последнее заимствовано из украинского по мнению ред. Sł. W). Новое заимствование (из украинского?), судя по передаче na- не через no-, как в старых литовских заимствованиях из русского.

nas'ĩłai Pl. — коромысло. Н., К., М. — нет. Свинчулишки id. = nàšč'ei. Русское заимствование, как показывает a и s (ср. Немон. n'éš'u). Срезневский, Мат.: «носила = носилки». Даль, Грінченко — id. (Быть может, давнее заимствование?).

nažutkà — кофта (id. Паграмонт, Свинчулишки). Н., К., М. — нет (Носович, Грінченко — нет). Из польского. Ср. Sł. W.: narzutka — okrywka kobieca (т. е. «накидка»). Karłowicz Sł. Gw. P. — нет. Изменение значения может объясняться несходством шляхетского и холопского (литовцев) быта. Панским словом называли отдаленно подходящую вещь своего обихода и этим ее облагораживали. Новое заимствование, судя по «na».

n'iekóč'ei Pl.—корытце, ночвы. Погеложе: n'iekùč'e. М.— нет. К. [nekoczia = id.]. Ср. Mikl. Et. W. *nŭštvy = id.; польское nieczułka, niecka = id. В литовском независимо от славянского [в связи с: niekóju (К. непр. nèkóju), -óti = «веять хлеб в ночвах»].

noragãi — рога рассохи (у сохи). Невойче id. Н. 423. noragas = id. К. norãgas = id. Брюкнер (L.-Sl. St. 112 и Arch. f. Sl. Ph. 70, 517) считает заимствованным из польского «так как это слово часто употребляет Стрыйковский». Польское naróg (= 'naruk) фонетически дальше от литовского слова, чем блр. нáрог. Аргумент Брюкнера несостоятелен, во всяком случае. Пра-литовским слово не может быть, так как оно не разложимо по литовски на no — ragas (нет префикса no- для данного диалекта, а славянское на- в старых литовских заимствованиях всегда передается через no-, ср. nõbažnas, nopẽrckas etc.). Первоначальное значение слова: «железная обивка на рогах сохи, сошник» (Так Даль: «нáрог (зап.) сошник, лемех»). Из белорусского.

noš'él'n'ikai Pl. (Н., К., М. — нет) = петли (вместо хомута) в дышловой упряжи. Sł. W. naszelnik = naszyjnik = pas rzemionny od chomąta do końca dyszla przymocowany dla kierowania nim. Грінченко: 1) наши́йник = 1. ошейник, 2. притеснитель. 2) наши́льник = нашильник. Даль: «id. = 1. в польской упряжи: нахвостник, подхвóстник, пахва; в русской дышловой упряжи: ремень идущий от хомута к дышлу etc». Префикс no- и суффикс -nik- ясно указывают на славянское происхождение слова. Несовпадение значений может быть индивидуальным искажением семантемы у объекта записи. Фонетически ближе всего к польскому (вероятно, из польского и в литовских и в русских диалектах).

O.

ož'ei — козлы (для пилки дров). Н. указывает в данном значении только форму ед. числа К. ožỹs и ožiaĩ = id. М. id. Перевод с польского: kozły.

P.

pagal'is. s. m. — палка, дубинка Бец. (Gesch. 308) pagalaitis — полено, чурбан. Н., М., К., pagalỹs, -io- полено. Лат. (У.) pagàle и pagals 1. id., 2. пламя (elles pagàle — адское пламя). Пра-литовское.

pakłót'is — тонкое полотно, белое с узором или многоцветное. Н. 220 — id. = подстилка, постель. К. [id. юж. литовск., объяснено: apatìne perynà = нижняя перина]. М. нет. Пра-литовское (Этимологич. значение у Несс.).

pakul'n'ìs — толстое грубое полотно и такие же нитки. Н. 208 pakullinnis (от pákullos) adj. — паклевый pakulnys, ìo = id. (то же у К.) М. pakul̃inis — ткань из пакли (по Н. от kuliù, kùlti). Пра-литовское.

pal'éj — возле. Н. К. М. palyg — с родит. падежом = сообразно, по, относительно (М. — возле), с. Тверечь: palȳ = id. (Вольтер. Лит. Хр. 379).

pal'íč'os pl. ножи-отвалы и оковка рогов сохи. Н. К. palýczia = id. М. paliczia = verstuvē = козачка, отвал. Брюкнер L.-Sl. St. 114 — из белорусск. (Ср. Грінченко: полúця=id. Даль: полúцы = id.). Литовск. č при блр. и укр. c быть может указывает на сев.-влкр. источник (говор с меной ц || ч).

pal'iẽtas — участок земли. Н., К., М. нет (заливной луг?).

pár̃łagas — пол. Н. К. М. — нет (Лавков: pàdłagas и padłágas). Из польск. podłoga. Ср. Тверечь: čel̃ẽrnykus вм. *čelẽdnikus (Вольтер. Лит. Хр. 378).

paval̃kái — хомут (Свинчулишки: paval̃k'e). Н. 63 id. «обычно kamantai; и вещь и слово в Прусск. Литве мало известны, — жемайтское». К. [id. Н.] М. id. Лавков: id. = kamónta; Леплавки: id. — kìŋ'k'imas (Пра-литовское. У Траутмана под *u̯alka-). Ср. v'ełkù.

pavažós pl. — полозья (Невойче — id.) Н., К., М. pavažà — id. (Sg.). Ср. v'ežù.

pěčodèŋkšt'ɛ — заслонка русской печки. Н., К. — нет. М. peczdanktē — id. (Диалектические новообразования).

p'ǽrnai — в прошлом году. Н. 286 pérnay = id. К. М. pérnai = id. (М. id. + pern). Лат. (У.) pehrn = id. Пра-литовское. (У Траутмана под *pērna-).

p'īrágas — булка, белый хлеб. Н. К. = id. М. — «пирог». Брюкнер (L.-Sl. St.) сравнивает блр.-укр. «piroh», польск. pieróg.

Ср. Лат. (У.) pihrags — пирожок (с салом). Носович: пирог = 1. калач, 2. пирожок. Грінченко: пирі́г, ога́ = Носович 2. Даль: пиро́г = сев. до Москвы «хлеб, ситный, лучший ржаной». Нвг. влг. прм. «хлеб полбенный, ячный»; тмб. кур. ряз. «хлеб пшеничный». Орнб. «ситный яровой без приправы, || . . . с начинкою». St. W..pieróg, piróg = «пирог, вареник». Karłow. Sł. Gw. P.: piróg = 1. ciasto, 2. potrawa z ciasta, 3. chleb żytni podługowaty. По фонетическому составу и по значению заимствование выводимо из польского (диал.), и белорусского. Заимствование могло быть еще из др.-русского. Ср. Срезневский (Мат.) «пирогъ = хлеб ситный». Славянское слово надо сопоставить с литов. pūraĩ (Н. 298 púrai) = «озимая пшеница».

p'ijókas — пьяница. Н., К., М. нет. Носович пія́ка и пія́к = id. Укр. (Грінченко) пия́к, ка́ и пия́ка, ки = пія́к, ка; пія́ка, ки = id. (у Даля только: піюка, піюха (кур.) = id., что фонетически не подходит). < Польск. pijak = id. (Sł. W.) не может быть источником в виду места удар. > Заимствовано из блр. или укр. (ср. литовск. gérti — пить, gerẽjas, girtũklis = пьяница). В польск.: pijok (Sł. W.), ве́роятно, обратное заимствование из литовского.

p'írk'ε — жилая комната в избе. М. нет. Н. 293 из Ширвида id. = пекарня. К. [Н.]. Пра-литовское.

p'jautùvas — серп. Н. id. + pjuwis, pjautuwe = id. К. piáutuwas = id. (от p'jáuti). Пра-литовское. (Ср. у Траутмана под *pē̯i̯ō).

pł̀àkas — волна. Н. 304 id. «германизм» (Flecken) = пятно. М. id. = plekas = пласт сена. К. plãkas = Н. + «клякса». Омонимы. Слово Н. и К. немецкое, а первое, быть может, пра-литовское. (Ср. plakù, plàkti = «бить, хлестать»).

pł̀ùt'ε — верхняя и нижняя хлебная корка (ср. kraužl'ìs). Н. 311 pluttà = корка (хлеба, сала, etc.). К., М. plutà = id. (М. + кора земная). Лат. (У.) pluta — плоть, голая кожа, внутренности. Пра-литовское. (Соответствует ст.-сл. плъть и т. д.. См. у Миклошича Et. Wb).

pósaukos, pl. (рыболовная) леска. Н., К., М. нет. (В связи с sukù. Ср. влкр. «лéску сучúть»).

pót'er'ei — 1. бусы, 2. молитвы (Ср. karól'ei = кораллы). Н. poterus- «отче наш», pl. poterei (295) — «четки». К., М. põteriai (poteris) = 2. (К. + «из католическ. pater noster»). Нос. Грінч. — нет. Польск. pacierz = 1, 2, + четки. Если бы заимствование шло из польского, было бы póc'ež'ei (Ср. nažutkà), а никак не póter'ei. Вероятно, из русской речи униатов Ю. З. Руси, но возможно и самостоятельное словообразование.

purstù, pùrsti — моросить, увлажнять. Н. 299 — pùrtu, pursti — трясти. М. id. = пухнуть; К. pùrtau, pùrtyti — сыпать, трясти.

R.

ragóč'us — дышло сохи и колода ее (одно дерево). Н. 426 — id. М. нет. К. ragõczius = рогатый, с рогами. К. ragõžius auch ragãžius — большой плуг. По Брюкнеру (L.-Sl. St. 124) из польск. rogacz. Судя по значению, ударению и зв. «g» — из влкр. (Ср. Нос.: рогáч = 1) рожен, кол, 2) рычаг для подъема). Даль: рогáч . . . и в данном значении. Грінченко — нет. Вариант К. — фонетически изменен, так как его диалект дальше от источника заимствования.

rat'ǣl'ıs, sm. — прялка. Н., М. id. К. ratẽlis — «колесико».

ráikšt'ɛ — веревочка, привязь — наприм., ножика у пояса. (Балкосадзе — id. = r'ẽikšt'ıs, r'eikštùkas). Н. 443 raisztis, raisztis, raisztas = перевязь, повязка (наприм., головная повязка девушки). М. raĩsztis — связь, веревка. К. id. = перевязь. О вставном k перед š см. у Буги (Baltica, с. 2—6, 9). Ср. у Траутмана под *rišō.

r'epka — железный поясок (скрепа) на ободе колеса без шины. Н., К., М. — нет. Можно считать пра-литовским. Ср. rẽplės — клещи.

r'ǽzg'in'ɛs — приспособление для переноски сена, скошенной травы — из двух полуобручей переплетенных веревочной

сеткой, — складывающихся, как челюсти [На Украйне (Полт., Черниг.) называют этот прибор «сы́тка»]. К. [rezgìnės — лапти] [rẽzgis — корзина, по Кельху — плетеные носила]. Ср. Шаты: r'ezgìn'es — кожаные туфли. Беценб. (Beitr. z. Gesch. 319) — ст. литовск. raisgis, raisge — корзина (глосса к pintinis). М. — pl. id. = корзина + (указывает польск. rezginie, которое можно понять только, как заимствование из литовского, в Sł. J. P. Linde нет). Karłowicz (Sł. Gw. P.) rezginie = «zbiorki». Ust. ze Żmudzi. Лат. (У.) reschgis — плетенка, reschgi, reschgenes pl. — id. Пра-литовское. Ср. материал Траутмана под *rezgō.

róg'ɛs — 1. дровни, 2. сани (Невойче 1. = šlåjes; 2. = šłáik'es. Свинчулишки 2. = važ'ìs). Н. 445. id. «известно близь Рагнита, но не употребительно». К. rõges — маленькие саночки (а большие назыв. šlãjes). М. id. Лат. (У.) ragawas, ragus, raga (ehstn. reggi) — дровни. Пра-литовское.

római Pl. — рама (окна). Лат. (У.) rahme = id. Н. К. нет. М. romos — id. Из немецкого (через польск. посредство). Ср. у Линде (Sł. J. P.) ramy do okien bywają...; ramy z deską do obrazów [но безусловных указаний на Pl. tant. в п. я. не имею].

rúč'ka — задний упор полудрабка телеги («подуга»). Н. 447. ruczka — id. К. [id.]. Даль, Носович, Добровольский, Грінченко — в данном значении нет. Брюкнер L.-Sl. St. 128 «из славянского». Источник надо искать в блр. или укр. говорах.

rukav'èč'ìs Pl. — рукояти сохи. Н., К., М. — нет. Ср. Даль «руковятка» без данного специфического значения. Носович, Добровольский — нет. Срезневский (Мат.) «рѹковать = ржковать = охапка, сноп. Грінченко: руків'я = рукоятка (наприм. креста, хоругви). Источник надо искать в блр. или украинских говорах.

rušk'ìn'ei Pl. — щавельный суп (на молоке). Н., К., М. нет. К., М. rūkštỹnė — щавель.

S.

s'àmc'ıs — большая деревянная ложка для стряпни над костром, большой уполовник. Н. 462 под: semiù: «Sámtis — большая разливная ложка, по Ширвиду — тоже и сачек рыбацкий, под. обр. и лопаточка каменьщика». К., М. sámtis — чумичка, поварешка (так в Невойче). Пра-литовское. (Этимология — у Н.).

s'ekm'ĭn'e — «зеленые праздники», Троица. К. sekminės = id. (от ст.-литовск. sēkmas = седьмой).

s'erd'ǽšn'ikas — шворень, серденшик: Погеложе, Свинчулишки — id. (Невойче — id. = špán°g'el'ıs). Н. 463. Serdecznikas (Ширвид — Szerdekisznis). М. — нет. К. [id. Н.] Носович, Добровольский, Грінченко — нет. Даль «сердечник» = id. + др. значения. Польск. serdecznik. Судя по «č» — вариант Н. — из польского (так Брюкнер). Вариант Немонайщ восходит к блр. говорам.

s'ìeksn'is — сажень. М., К. id. Н. 460. sēksnis = id. Лескин (Abl. 282) производит от sìekiu «поймать рукой». Лат. (У.) sèeks = мера зерна. Ср. Траутмана под *sēkį̄ō.

s'júłas — нитка. Бец. (Beitr. z. Gesch. 322) — siule — лоскут, кисточка, кончик. Н. 469 под suwu: sulas = нем. sule — шов. М., К. siúlas id. + пасма. Гейтлер (L. St. 69 id.) сопоставил с чешск. šle, др.-болгарск. *шьлꙑ.

1·skaŗà и уменьшит. 2·skarùk'ɛ (или 3·sk'ep'etùk'ɛ) = головной платок. М. 1 (= skepeta) = «платок». К. 1 = лоскут, 2 = id. Лат. (У.) skara — вьющаяся шесть, чуб, клок, «колтун» etc. Миклошич сравнивает со славянским *skora (Et. W.). Пра-литовское. Буга (Švietimo Darbas 1922, № 1—2 стр. 87) относит к skìrti и сопост. с лат. šk'ierla.

sk'iẽdros pl. — щепки. Н. 475: skēda = skēdra = id. М., К. skiedrà = id. + лучина. Лат. (У.) skāida = id. Пра-литовское. (Лескин).

sk'ìetas (Свинчулишки, Паграмонт id. = sk'íts) — бёрдо. Н. 477 — skētas = id. + другие значения. М., К. skiētas — id.

Лат. (У.) schķēets и schķeete = id. (Пра-литовское; см. у Траутмана под *Skeita-. . . рус. щит).

skón'ıs — вкус («вкусный» в с. Нем. только «gardùs», в других говорах «skanùs»). Н., К., М. — нет.

skr'in'æ̃l'ɛ — 1. сундук, 2. улей ящиком. Н. 482. 1) skryne = 1. + ящик, ларь, 2) skrynélia, skrynéle = 1. К. skrȳne = Н. (К. + «родственно с нем. Schrein»). М. id. = 1. + ларь, ковчег. Брюкнер (L.-Sl. St. 133) «из славянск.» (польск. skrzynia, блр. skryńa) — указывает, что слово встречается уже у Бреткуна в переводе Библии 1590 г. = «ковчег (Ноя)». По Прельвицу 49. — из нем. Schrein, которое восходит к латинск. scrinium. Нос. скры́ня = 1. + садок живорыбный. Добровольский = 1. Грінч. скри́ня = 1. + 2. ящик в мельнице, в который падает мука + 3. шлюз в водяной мельнице. Даль — скрин, скрыня = 1. + 3 Грінч. + кружка, горшок. Ни из польск., ни из блр.-укр. это литовское заимствование не выводимо фонетически. Восходит или к др.-русск. (Ср. Материалы Срезневского: «скрина = скриня = ковчег, кивот») или непосредственно к немецкому (ср. др.-в.-нем. scrīni = сундук). В говоре с. Нем. слово вполне ассимилировано и подверглось семантическому осложнению.

sɫastãi — западня, ловушка (для крыс, хорьков), в Лавкове — для мышей. Бец. (B. z. G. 323): slanstas — силок (16 в.). Гейтлер 109: slastas — id. Лат. (У.) slaʃds, slaʃdi = id. Н., К. нет. М. id. Бец. (Lit. Forsch. 172) slą̃stai — id. = slą̃stos. Если в латыш. не заимствование из литовского, то надо предположить два пра-балт. варианта слова: с носовым и без него. Тогда совпадение варианта Немонайц с латышским можно использовать для балтийской доисторической этнологии.

sm'él'is, sm. — песок. М. id. = Smiltis. К. 1) [smeltis — «песчаное поле» из слов. Бродовского], 2) Smiltis = id. Лат. (У.) Smehlis — песчаные наносы в поле. Smílts обычно Pl. Smiltis, часто Smílkts = песок. Следует заметить лексическое совпадение с латышским — в отличие от других литовских говоров. Пра-литовское.

Sn'ícos. (Свинчулишки: Sn'íc'e)—вилка дышла при соединении с осью телеги. (Погеложе — id.) Н., К., М. — нет. Даль: «сни́ца — один из 2-х брусков, укрепленных в круге, меж конх вставляется дышло повозки»... Нос. сни́ца = id. Грінч. сни́ця = id. Из нем. через польский. Ср. Karłowicz. Sł. Gw. P. sznica = śnica. Ср. сред.-в.-нем. snitz (sniz) «Geschnitztes» (у M. Heyne. Deutsches Wörterbuch. III).

sódas и sod'ǣl'is — сад, садик. Бец. (B. z. G. 324) «владенье» [по смыслу цитаты надо перевести «усадьба»]. Н. 458 id. — плодовый сад. М. К. id. Брюкнер (L.-Sl. St. 135) считает славянским. Лескин (Abl. 340): «слав.? — или от sėdmi?» (Так производил Нессельман). Пра-литовское. Ср. Sod'íbos.

spal'va — цвет, окраска (естественная, — в отличие от kvárba — раскраска). Н., К., М. — нет. Лат. (У.) Spalwa — оперенье, масть, окраска шерсти. Следует заметить лаксическое совпадение с латышским — в отличие от других литовских говоров (пока там не найдено это слово).

spŕág'iłas — цеп. Н. 495 id. К. sprãgilas — М. id. Пра-литовское. (Лескин сопоставил с лат. sprigulis и spridſigs, лит. sprageti).

sprag'el'ìkštas — циповище (ручка цепа). М., Н., К. — нет.

stákl'ɛs — остов ткацкого станка. Н., К. id. (stâkles). М. id. = кросна. Лат. (У.) stakle = id. Др. прус. stacle — упор, подпорка (Р. Траутман. Apr. Spr. D. 435). Пра-литовское.

stáłn'ikas — ящик в столе. Н., К., М. нет. Носов. — нет. Даль — «стольник — яросл. = скатерть». Грінченко — стільни́к = соты (по Чубинскому). Добровольский «доска стола» [по смыслу одной цитаты]. Вероятно русское заимствование, но ближайший источник не известен пока (разница значения!). Ср. однако балтийские слова у Траутмана B.-S. Wb. под *stāla-; быть может, здесь пример «активного» смешения».

stαŋgà — лента. Н., М., К. — нет. [М. id. = «лом» (это из нем. stange в диалектическом произношении?)]. Фонетически не

сводимо к wstęga, wstążka. Нельзя производить и от лит. sténgiu (K) — силиться, возвращаться = сопротивляться. Ср. stangà (K., H. 500) — упорство, упрямство. Ср. укр. стýга (Грінч.) = плетеная коробка из лозы, луба. Др.-ц.-сл. стѧгъ, блр. (Носов.) стужка = лента. Быть может, пра-литовское.

st'ebułà (так в Свинчулишках) или búksos (см. выше) — втулка колеса. Леплавки: stabul'ẽ (или búksos). Невойче = Лепл. H. 500, stebolys, stebulys, stebulẽ = id. K. [id.] M. id. Пра-литовское. (См. у Траутмана B.-S. Wb. под *staba-).

st'el'vóg'ɛ = передняя вага (большой валек) телеги, повозки (так в Свинчулишках). H., K., M. — нет. Ср. польское stelwaga и sztelwaga (Karl. Sł. Gw. P.) = id. Носович — нет. Грінченко: стельвáга = штельвáга = id. Даль — нет. Kluge Et. Wb. — нет. В конечном счете из немецкого, но в литовском из польского.

sc'ip'enãi = спицы. (Свинчулишки: st'ip'enai. Леплавки id. = zvanõs и ràtpedei). M. stipinas = id. H. 501: stippinus, stippinnis, stippinas, stipinas. = 1) id., 2) ступенька приставной лестницы, 3) дубинка. K. stipìnis — ножка, подпорка etc. По Лескину (Abl. 285) — пра-литовское. Ср. stimpù.

stórys — толщина. H., K., M. — нет. H. 504 и K. только: storyñ eiti = толстеть. H., M. storybē, storumas = id. (Пра-литовское).

stóvai — угловые стойки ткацкого станка. H., K. — нет. M. только stovus = staczias = стоящий прямо. Лат. (У.) stahwi Pl. = id. (и ряд родственных слов). Пра-литовское. Надо сопоставить с тем, что приведено у Траутмана под *stāu̯a-.

stuõbr'is sm. — бревно. M. id. = ствол, пень + лат. stûbrs (У. только stuburis = 1. M.) K. [stobrỹs — по Мильке «верхушка упавшего дерева»]. Пра-литовское. Ср. Траутмана под *stubura-.

stukãi Pl. — деревянный обод колеса. (Свинчулишки: ràtłaŋk'is, Леплавки: tek'in'ɪs). K., M. — нет. M. stukas = szmotas = gabalas = кусок. H. 504, stukkas = ком, глыба, stuk-

kis = чурбан, тулово. К. [id. из Н.]. Лат. (У.) stuķeht — набивать (чем), stuhķis: 1) запеленутый младенец, 2) гнилой чурбан. Пра-литовское.

str'ìčk'ɛ — петля на малом передаточном колесе прялки. Н., К., М. — нет. Ср. Грінч. стрічка = лента, тесемка. Даль: стричка = лента (особ. девичья). Нос., Добровольский — нет. Заимствование (быть может, из украинского).

sú̃as — одна из верхних перекрестных осей мотовила (моталки). К., М., Н. — нет.

suv'ærtuvɛs — Pl. f. = оси педалей ткацкого станка (нижние перекладины). Н., К., М. — нет.

sú̃r'ıs — формованный соленый творог. Н., К., М. id. Ср. sū́ras — соленый. Брюкнер колеблется — признать ли заимствованием из славянского или исконным балто-славянским (как Фик). Пра-литовское (так и Траутман под *sūra-).

sv'íestas — масло сливочное (и вообще — коровье). Н. 508 «масло». К., М. id. По Лескину (Abl. 286) — пра-литовское, ср. svidù, лат. swaidīt». Лат. (У.) sweests = id.

sv'ìrnas — амбар. Н. 510, id. = «комната, спальня (жем.)». М. id. = свиронь. К. id. «только в песнях, наряду и вместо klė́tis = амбар, девичья светелка, спальня взрослой сестры». (У. нет). Брюкнер (L. Sl. St. 140) в белорус. видит заимствование из литовского. Даль: свирон, -рна и свирен, -рна (зап.) = амбар, житница. Грінч. нет. Нос.: «свирон = чулан, кладовая. Летом в свирне сплю». Добровольский — свирен = «постройка помещичья, в которой хранились съестные припасы». Karłowicz Sł. Gw. P.: świren, świron, świrna = śpichrz, żytnica. Микл. Et. Wb., Траутман и Преображенский — нет. Пока не известен культурный очаг слова — нельзя определить и путей его распространения.

svogúnos Pl. — лук. Н. 510 id. (Рагнит). М. id. К. [id. + обыкновенно cibūlė; около Тильзита = Prieslauch]. Ульм. — нет.

Š.

šabol'bónas — фасоль. Н., К., М. — нет. Ср. Karłowicz. Sł. Gw. P.: szabelbon = szablak (= szabel) = siablak = siabelbon = Groch szablasty, fasola. Из польского диалекта (полонизованное немецкое Säbelbohne = турецкий боб).

šàk'es — вилы (id. Невойче). Н. 510, (от szakà) = id. = 2. вилка, 3. ухват. К., М. id. Лат. (У.) sekumi Pl. — навозные вилы. sakums = sekums = разветвление. (Пра-литовское).

šal'in'ɛs — перегородки, переборки (в сарае, напр.). Н. 511 szalinne (под szalis) id. «около Рагнита неизвестно» М. нет. К. [id.].

š'auʒ'ikłė — ткацкой челнок (Свинчулишки šaudikła, Паграмонт и Шаты: šáutuvᵉs). Н. 525 (под szuwis = стрела etc.) id. М., К. šaudýklė = id. М. (+ стрела). У Лескина (Abl. 312) — тоже под szū̃vis — сопоставлено с лат. Schaudeklis (по Ульм.). Пра-литовское. Ср. ниже šov'in'e и материал Траутмана (B.-Sl. Wb.) под *šau̯dō.

š'æiva — шпулька в ткацком челноке. Н. 517 szeiwa = id. К. šeivà. М. id. = цевка, вьюшка, катушка. Гейтлер (L. St. 71) сопоставляет с ц.-сл. цѣвъ, чешск. ceva. Тоже и Траутман под: *šei̯u̯ā- и kai̯u̯ā-. Не убедительно, этимология остается неизвестной.

š'ėpa — шкаф (Лавков id.) Н. 515: szẽpa id + сундук = szẽpas. К. [id.]. М. id. Ср. польское szafa. Из немецкого через польский.

š'æp'ec'is (говорят и š'æp'et'is) ac. š'æ̃p'ec'ı — одежная щетка. М. id. Н. 515 szepetis id. + гребень для расчески льна, шерсти. К. šepetỹs — «своеобразная щетка из щетины связанной на одном конце, употребляемая тоже как гребень».

š'ešk̀us — хорек. Н. 516 — szészkas = id. + жгут (в игре) = szeszka = szeszkus (Ширвид). К. šẽškas = id. М. id. (указ. в блр. шешóк. Нос. — нет. Добровольский: «шешка привез» без поясне-

ния). Лат. (У.) sesks — id. Пра-литовское (заимствовано в белорусский).

š'ič'kas — хвоя. Н., К., М. — нет. (Даль, Грінченко, Носович, Добровольский — «шишка» в данном значении нет). Изменение значения заимствованного (из русского) слова могло произойти в силу его синонимичности с buz'ùkai (см. под этим словом).

š'înos Pl. — нарезы полозьев. Н. 515 и 519 «обычно széni» id. + шины колесные. К. [Н.]. М. id. = рельсы. Брю. (L. Sl. St. 141) выводит из польск. šyna, но возможно и прямо из немецкого Schiene, как лат. (У.) Schiline (= š'îne).

šl'înas («gr'înas mól'is báłtas — vàd'inas šl'înas) — белая глина. Н. 527. szlyna = id. = szlynas. К. [id. Н.]. М. id. Ср. Karłowicz, Sł. Gw. P.: ślin = rodzaj gruntu, margiel (+ ślinowaty:.. śl-te pagórki.). Этимология у Траутмана (B.-S. Wb. под *šlejō = прислоняю). В польском из литовского.

šn'úrai Pl. — перемет, «конец» (рыболовная снасть: длинная веревка с подвязанными крючками). Н. 530 sznúras = 1. шнурок, 3. плотничий шнур (из нем.). К šniũras = id. М. id. Брюк. 2. id., (L. Sl. St. 142) id. из польск. sznur, что не совсем подходит фонетически, грамматически и семантически. Смягченное n в литовск. может объясняться из нем. Pl. Schnüre; тогда заимствование оказалось бы прямым, без польского посредства (притом, с семантическим осложнением).

šn'urāᵘka — кофточка со шнуровкой. Н., К., М. — нет. Брюкнер (L. Sl. St. 142): id. = корсет, из русск. «шнуровка». Можно указать точнее блр. источник (Носов., Грінченко — нет). Добровольский — id. (Даль знает это слово в другом несколько значении).

šov'ín'e — задвижка дверная. Н., К., М. — нет. Пра-литовское (от šáuju). Ср. š'auȝ'ikłé.

šufl'édos Pl. — оконный сруб. Н., К., М. — нет. Непонятное мне изменение значения нем. Schubladen — «выдвижной ящик стола», которое перешло в польск. szuflada и укр. (Грінченко) «шуфляда и шухляда»).

šúłas — столб в стене сарая, хаты. Н. 523 «id. + 2. подпорка 3. бочарная клепка. Возле Мемеля: 4. дверная притолока». К. šùlas = id. = Н. 3. М. id. = дощечка. Брюкнер (L. Sl. St. 143) id. сравнивает с блр. šúla. Ср. Носович: шу́ла (+ шу́лище, шу́лка, шулочка, шуля́к) = 1. колода, 2. столб с пазами в строепии или в ограде, 3. толстяк. Грінченко: шу́ла = Нос. 2. Даль: шуло = Нос. 2. Слово известно в польск. (Karłowicz Sł. Gw. P.: szuło = id. Ust. z Litwy) и в срб. шŷл = чурбан, колода etc.; шу̑љак = id. etc. Ср. Mikl. Et. Wb. s. v. *šula. Слово не может быть балто- славянским в виду соответствия литовскому š славянского š (вместо s). С другой стороны не обязательно считать его ни праславянским, ни пра-литовским. Первоисточник пока не известен. В литовском оно стоит в связи со следующим словом, поэтому, если даже заимствовано из блр.-укр., то в давние времена. Наличный матерьал не достаточен для решения вопроса.

šul'n'ìs sm. — колодец. Н. 523: 1) szulinys «ок. Рагнита: всякий колодец, в других местах только Ziehbrunnen». 2) szùlnis (Жем.) = id. М., К. šulinỹs = id. К. + «первоначально, вероятно, ключь, оправленный в бочарные клепки». Возможно (мне кажется) и другое объяснение: «колодец оправленный дуплистой колодой».

Т.

t'ék'iłas — точильный брусок (для косы). Н. 94. id. = tékẽlis = tékẽlas. Др.-прусск. tackelis. Траутман (APr. Spr. D. 444). М. id. К. tekẽlas = id. Лат. (У.) tezelis, tezele, tezeklis = «вертящийся точильный камень». Пра-литовское.

t'ešłà — разведенная известь Н. 92. (и К.) taszlà = teszlà = «тесто». М. только taszla = Н.

t'iłtas — мост. Н. 105, К., М. — id. Лат. (У.) tilts. Пралитовское. Ср. у Траутмана (B.-S. Wb.) под *tila-..: рус. тло.

t'itúnas (реже tabákas) — табак. Н., К., М. — нет. У. нет. Польск. tytuń — листовой курительный табак. Ср. Грінченко, Добровольский: тютю́н = id. Даль: тютю́н = бакун, папушный

или шнуровый — самый простой украинский табак. Кочевое слово, повидимому в литовск. из польского.

tránas — трутень. Н. 112 id. («не шмель, как у Мильке и др».) М. id. (К. trãnas сравнивает польск. trąd). Лат. tranis, ņa (У.) = id. Пра-литовское. (Траутман сопоставляет славянск. слова — то с этим, то с лит. tréndu, trandìs; убедительно только второе).

trόptas — речной плот. Н., М. нет [Ср. К. — sėle. Ю. s. v. gudas: sieła = id.]. К. trόpta — по Кельху: «плот с парусами, какие плавают в Курляндской бухте, — более прочный, чем речные». Из нем. traft. Остановлю внимание читателя на этом германизме в окраинном Ю.-В. говоре (занесен плотовщиками).

tvártas — хлев. Н. 122 (под tweriù) — id. К., М. id. Пра-литовское.

tvorà — плетень, забор (Шаты: tvóra). Н. 122, К., М. id. По Лескину — пра-литовское (tveriù, tvirtas, aptvaras, лат. tvāre).

U.

uõła = нора. Н. 32: 1) ũla = id. + яма, пещера, логово 2) ũle = скала. К. 1) ũlẽ = яма 2) ũlà = скала + по Мильке — «ущелье». М. id. = 2. (Ср. назв. рек в Литве: «Ула» и лат. ala (У.) = 1). Омонимы, которые выживают в некоторых диалектах (напр., Немон., Межиниса, Мильке) только порознь.

užbόnas — глиняный кувшин (молочный) с ручкой. Шаты: uzbonélis. Н.: 1) 35 uzbonas = глиняная кружка, 2) 29 izbonas = id. 3) 535 zbonas = горшок, кружка. К. uzbõnas = izbõnas = глиняная кружка с ручками. М. = Н. 1. Брюкнер сопоставляет блр. žban, млр. zban. Носов.: только «жбан, жбанóк = кувшин глиняный или медный с довольно широким горлом, на подобие горлача». Добровольский только: «жбан, жбанóк = 1) Нос. 2) сосуд для хранения денег». Грінченко жбан = джбан = збан = дзбан (из польск.) = id. (збанóк, збаня́ — уменьшит. = id.)». Польск. dzban, ст. польск. czban, др.-русск. чьбан, нов. жбан = деревянный сосуд (Слов. русск. яз. А. Н., II ч.).

В данном говоре из блр., в других диалектах (напр., литературном) — быть может, из польского.

V.

vad'ǽl'εs — возжи (Паграмонт, Лавков id. = vaǯ'ós). Н. 59 wadzos — id. (под wedu), wadeles. К. wãdźios. М. id. Погеложе; vad'ǽłεs = веревки, на которых подвешена колыбель (łupš'ís). Пра-литовское.

vag'ǽl'is — чека (тележной оси) (Леплавки id. = uzkũlis. Свинчулишки — kułál'is). Н. 45. wágis — деревянный крюк или колок, кран, клин, кляп. К.—[Н.] М. = Н. Иог. Шмидт (Verw. verh. 43) сопоставил с др.-в.-н. weggi, wekki = клин. Пра-литовское.

vágos pl. f. — борозды, рядки (наприм. — картофеля). Погеложе — id. Н. 45 wagà = id. К., М. id. Невойче: vógos = id. Лат. (У.) wâga = id. Пра-литовское.

val'in'ĭs — вал в ткацком станке, «навой». Свинчулишки id. = v'æłun'ĭs. Бецценбергер (В. z. G. 336) velēnas — wœlanas, wœlena = валек — «глосса к staklių medis (к. 16 в.)». М. valinys — гардина. Н., К. — нет. Пра-литовское. Ср. др.-пр. Walis = «валéк» (Tr. APr. SprD. 456).

vãis'jai — pl. = плоды. Н. 57, wáisus = id. К., М. waĩsius др.-пр. wēisin = Ac. sg. m. = плод. Р. Траутман (A. Pr. Spr. D. 459). Пра-литовское.

v'ec'ìkl'ε — ковш для ручного веянья. Погеложе — vẽt'ikl'es = id. Н. 73. wẽtyklė. К., М. — id. Лат. (У.) wehteklis, wehtiklis = id. Пра-литовское. Ср. материал Траутмана под *u̯eieti (B.-S. Wb. 345).

v'eitù̃škos pl. — моталка, мотовило. Н., К. нет. М. vytuszkos = vytuvai = id. (К. wytuwaĩ = id.) Носов., Добровольский — нет. Ср. Грінченко: витýшка — снаряд для сматывания ниток в клубки. Даль: витушка (кур.) = id. Скорее всего из украинского. В данном говоре «ei» может соответствовать укр. и («ы»), но не русскому «i».

v'irbałāi — зубья бороны. Н. 82: wirbalas (под wirbas — прут, ветка) = колышек, ступенька приставной лестницы, вязальная спица (деревян.), грифель, колок косы, кляп. К., М. = Н. Лат. (У.) — 1) wirbulis — дерев. колок, грифель, 2) irgulis = втулка. Пра-литовское.

vóv'er'is sf. — белка. Н. 87, К., М. wowerē (польск. wewiórka) лат. (У.) wahwere = id. Пра-литовское. См. у Траутмана (B.-S. Wb.) под *u̯ēu̯er- и *u̯āu̯er-.

Ž.

žàgaras — хворост [В б. Вилькомир. у., Ковенск. губ. (Шлапелис) id. = žābas, žābaras]. М., К., Н. — id. (К. žāgaras). Лат. (У.) ſchagaras. Пра-литовское.

žàgr'ɛ — рога сохи («рассоха», вилка). Невойче id. = соха. К. žāgre = плуг (у Шлейхера id. = соха). Н. id. — прусск. диалектич. «zoche». Ср. Даль: «жáгра (стар.): ушастая палка для держки фитиля при пальбе, пальник». Очевидно это слово из литовского попало в русский через смешанный состав русско-литовского войска, и вошло, как термин, в профессиональный (военный) язык.

ž'ìbałas — керосин. Н., К., М. нет. Новообразование (вероятно, книжное). Ср. след. слово.

ž'ibur'ìs — светильник, освещенье. Н. 545, id. = лучина. Явнис (Грам. 101) žiburỹs = Н. + «свет». Гейтлер (L. St. 123) žiuburys = žiburys (жем.) = свет, факел, ср. хорв. zublja = id. По Лескину — пра-литовское (Abl. 289. Ср. žibeti. Лат. zibt. etc.).

žvaŋgùc'is — роса. Н., К., М. — нет (собств. «бубенчик»).

žv'ìrgždai — мелкие гальки. М. id. К. id. + у Ширвида — «песок». Лат. (У.) ſwirgſde = id. Пра-литовское.

Z.

zopàłka — подпорка под железным отвалом на правом рогу сохи. Н., М., К. — нет. Даль, Грінченко — нет в данном значении. Ср. польск., блр. (Носов.), укр. (Грінченко) — запáлка =

спичка. В литовском метафорическое применение этого слова («активное смешение»).

zov'ésai — петли, болты дверные. Н. 535 только zowẽskas = zowẽckas = zowẽcka = zowẽska = id. К. id. (poln. zawiasy). M. id. Брюкнер (L.-Sl. St. 156) — из млр. zaviska. Не верно. Даль, Носович, Добровольский — нет. Грінченко завіса = id. Судя по «е» источника надо искать в блр., влр. или польских говорах. Ср. Karłowicz, Sł. Gw. P.: zawiesa = zawiasa = id.

Примечания к отделу лексики.

1) На гипотетических картах расселения балтийских племен, составленных К. Бугой[1] место села Немонайцы оказывается на карте I (нач. VI в. по Хр.) в области др.-пруссов, недалеко от границы с др.-латгальцами, а на карте II (нач. XIII в. по Хр.) — в области литовцев аукштайтов — на границе с пруссами. В виду этого следует обратить внимание на лексические совпадения с латышским не повторяющиеся в других диалектах: spal'va, 'sm'el'is, 'žus'ıs (ср. лат. zûs's и с другой стороны ср. Немон. sła'stai, где др. говоры имеют *an перед s так же как в 'žus'ıs, при лат. slazdi, где -a- не может вссходить к *-an-), 'stovai (лат. stāvi), 'dr'æk'es (быть может, в связи с лат. (У.) drehgi) и еще 'až'os (вм. известного в большинстве говоров 'ež'os) при др.-прусск. asy (= azi). Этих совпадений указано так мало, потому что материалов мало, и при собирании их не было соответствующего интереса. Вероятно, специальное обследование диалектов района дало бы больше подтверждений очень правдоподобным догадкам К. К. Буги.

2) Обозначая некоторые слова, как «пра-литовские», я хотел указать только на то, что их не считаю новыми заимствованиями от иноязычных соседей. Ни древности употребления, ни «чистоты» происхождения этим я не утверждал (оставляя подобного рода суждения компетенции «палеонтологов»), т. к. меня интересовало только отграничение фактов *исторического* взаимодействия языков.

[1] В приложении к статье: «Die Vorgeschichte der aistischen (baltischen) Stämme im Lichte der Ortsnamenforschung», Streitberg Festgabe. s. 22—36. Leipzig 1924.

3. Тексты.

Примечания к текстам.

1. Надстрочной дужкой ⁀ обозначены те комбинации семантических слов, какие представляют одно фонетическое слово («groupe de force»).

2. Прямыми скобками выделены речевые варианты, какие рассказчик предложил в ответ на мой переспрос во время записи (или при перечитывании ему записи).

3. Круглыми скобками выделены мои пояснения или составленные мной грамматически нормализованные дублеты к тексту. Два — три раза круглыми скобками выделены ускользающие, небрежно артикулированные звуки — повторенные отчетливо при переспросе. Так как эти случаи очевидны, то нет надобности в особых означениях для них.

4. В переводе («петитом») — в прямых скобках дано значение того, что взято в такие же скобки из литовского текста, а в круглых скобках — мои дополнения и пояснения для стилистической сообразности перевода с подлинником, иногда для вразумительности.

№ 1.

ˎbuvə sta′n’isłavas‖ˎir ɪs ′ejə ɪ n ′v’æl’n’ʊs [′v’æl’n’ʊ] an ′darbə‖′sakə|′jæį ′tu pasta′t’is’ɪ pɛr ma′r’es ′t’iłtʊ|′ta^{i} su ′katro^{i} no′r’æ^{i}s’ɪ ′dukt’er’ɪ ′žan’es’ɪ‖ˎbuvə dukt’e′r’es ′tr’is‖ ta^{i} ′is pazda′bojə a′l’ænʊ‖ɪr ji′sa^{i} pa′stra^{i}nə ′t’iłtʊ‖ta^{i} ′sakə| dær ′a^{i}k pɛr tʊ ′t’iłtʊ‖ɪ′sa^{i} p’ɪr′ma o ′v’æl’n’is pa′sku^{i}‖ɪ′sakə| ˎtæ^{i} ˎdær sʊ ka′tru no′r’es’ɪ ′žan’es’ɪ‖′ta^{i} ɪ′sa^{i} in′r’ed’ɛ ′dukt’er’ɪs š’ɪłˇk^{u}os’ɛ‖ta^{i} ′is aps’ɪ′žan’ɪnos (sic!) su˜jo^{i}|ɪr nʊ′v’æj ′gul’c’‖ ɪr ′sakə|ž’ʊ′r’ek ˎka n’e ′t’e^{i}.′t’evas (ˎkad n’e a′t’eitu ′t’evas)‖ ′ž’urə kad a′te^{i}nʌ‖tæ^{i} pa′em’ɛ ′skarʊ|′kamol’ɪ ɪr ′š’æp’et’ɪ (sic!)‖ ɪr ′e^{i} ′b’egə|′ž’urə ka ′ja^{u} n’e to′l’i‖˜trɛŋk’ʌ ′š’æp’ec’ɪ (!) ɪr ′sakə ka ′tαŋkus ′m’iškas ′stotʊs‖tai ′is ′ajo ˎp’ ɛr tʊ ′m’iškʊ ta^{i} sus′drask’ɛ‖ɪr ′sakə|ž’ʊ′r’ek ˎka [kad] n’e ′te^{i}n^{a}|′ž’urə.ˎka n’e to′l’i|′ta^{i} e^{i} ˜trɛŋk’ɛ ′kamol’ɪ ɪr ′sak’ɛ|kʌ to′k’i (sic!) ′kαłnas ′stotʊs‖′ta^{i} ɪr ′stojos c’i ′kαłna^{i}‖′ta^{i} ′ž’urə ′kad ɪr ′v’el’ ka ^{a}n’ju (= kaĩ añt jũ) ′gułʌ|ta ′e^{i} ˜trɛŋk’ʌ ′skarʊ‖ˎkap′skarʌ| kʌ ′tok’jəs ′mar’^{i}əs (быть может: ′mar’es) ′stotʊs‖ta^{i} ə˜ju (? быть

может = añ^{t}jũ) tas 'jos 'tevàs at'ła^{i}k'ı | 'g'er'ɛ ır 'trukə ||| 'ja^{u} 'je$_{ɪ}$ sus'gr'ižə ır'ajə 'namə || 'sakə | ja^{u}n'es'n'es s'es'e'r'es n'es'ı'sv'æ^{i}-k'ık | ba ma'n'i [m'i'n'e] pam'ır'š'i || ta^{i} 'is i'n'æjə p'ır'k'e [p'ir-'k'on] ˋır pası'sv'æ^{i}k'ınə ja^{u}n'es'n'es [ja^{u}'n'esn'ı] s'es'e'r'is | s'es'e'r'ı] || ta^{i} 'is 'em'ɛ 'ju pa'm'ıršə ||| ta^{i} 'i ıŋ'kopə bɛr˜žan pa'l'ij 'šul'n'ı || ta^{i} a'tæjə 'vanden'jə s'e'na 'bobʌ ır paž'ʋ'r'ejə šul'˜n'in || ar ˋˋaš to'k'e gra'ž'i n'eˋš'u 'vanden'ı || ta^{i}'i s'p'jov'ɛ nʋ'v'æjə || a'tæjə k'i'ta ır ˜t^{u}oj paž'ʋ'r'ejə | ar 'aš ˋˋto'k'e gra'ž'i n'e'š'u 'vanden'ı || tai 'i at'š'ıša^{u}k'ɛ (sic!) | ta^{i} n'e 'tu 'tok'ɛ gra'ž'i | al'e 'aš || ta^{i} 'i paž'ʋ'r'ejə ın 'a^{u}kštʋ | 'n'^{i}ekʋr n'æ'ir | ž'ʋ'ro (sic!) | kad bɛr'ž'i ||| ta^{i} 'i iš'kopə ıš 'b'æržə | at'k'el'ɛ 'bal'ʋ || ır 'aš bu'va^{u} ˋan tə 'bal'a^{u}s | ır 'aš 'g'er'a^{u} | ır bur'noj n'e tu'r'eja^{u} ˋir pɛr 'barzdʋ var'v'e || v'ı ˋˋsa |||

Перевод. Жил-был Станислав. Пошел он на работу к чертям [к чорту]. (Чорт и) говорит: «Коли построишь ты мост через море,—так на которой хочешь (моей) дочери женишься». Было (у него) три дочери. Он облюбовал себе Алёну. И построил он мост. А чорт сказал: «Ты пройди-ка еще по этому мосту»! (Пошел) он вперед, а чорт сзади. Он тогда говорит: «Дак ты на какой хочешь, — женишься». И нарядил (чорт) дочерей в шелковые платья. Оженился он (Станислав) на ней (Алене) и пошел (с ней) спать; говорит (ей): «гляди, чтоб не пришел отец». Видит (она), что (отец) идет; забрали они платок, клубок и щетку — и побежали. Видят, что (чорт) уж недалеко. Ударили они о землю щеткой и говорят, чтоб (такой) частый лес встал. И шел (чорт) через этот лес, ободрался. Говорит (опять Станислав): «гляди, чтоб (он) не подошел». Видят, что (он) не далеко, — и ударили они (о землю) клубком, — примолвили, чтоб во-такая гора встала! И встали там горы. И видят, что опять уже он на них словно наседает (букв. «налегает»). Тут ударяют они о землю платком, чтоб—как платок — стало (на земле) такое море. Вот и подлетел к нему (морю) отец-то ее и стал пить — пока (не) лопнул. Тогда они повернули и пошли домой. (Она) говорит: «С младшей (моей) сестрой не здоровайся, а то меня позабудешь. Вошел он в горницу и поздоровался с младшей сестрой. Тут он ее (жену) взял и забыл... Она влезла на березу около колодца. И пришла за водой старая баба, поглядела в колодец: «Я-ли это, такая красавица, воду ношу»! Плюнула она и ушла. Пришла другая, — сейчас-же погляделась (в воду): «Я-ли это, такая красавица, воду ношу»! [Можно думать, что это излишнее повторение эпизода было придумано мальчиком, сбитым моими переспросами, — вместо запамятованного в этот момент эпизода узнавания «героини» сестрой или мужем]. Тут она крикнула: «Да это не ты такая красавица, а я»! Глянула (баба) вверх, — нигде нет; смотрит, — коли на березе (Алена). Тогда слезла та с березы, затеяла бал. И я был на том балу, и я пил, и в рот не попало и по бороде текло. Вся.

Примечание к тексту № 1.

Рассказчик — Ясь Куцевич, около 8 лет, пастушок. Сказка записана на лугу на холмике, откуда Ясь стережет свой скот. Рассказывая — хмурится от напряжения, сосредоточенно щиплет траву, сердится, если переспросишь. Считает меня большим шутником, так как убежден, что нельзя не уметь как следует политовски, когда пишешь и читаешь по литовски, и все мои языковые промахи и вопросы — принимает за игру. Год он провел в русской сельской школе, но был исключен за неспособность и мало чему там научился. По русски не скажет ни одной фразы, помнит отдельные слова. Выправить с ним запись не удалось. Едва-ли в его «сказе» найдется что нибудь традиционное, трафаретно-сказочное. Он запомнил отдельные смысловые звенья, комбинировал и оформлял их в речи по своему. Даже шаблонную концовку сказки он перековеркал.

Логика сюжета осталась ему непонятной, и он нарушил ее. Станислав строит мост только благодаря помощи Алены, она же спасает его от гибели в брачную ночь и еще трижды потом во время бегства. Станислав забывает ее, заглядевшись на «младшую». Посредством чар Алена возвращает себе любовь мужа.

Ясь упустил вовсе ряд эпизодов в развитии своего сюжета и оставил в намеке, укоротил до ненужности другие. И все же — он выбрал для рассказа превосходную сказку, не переставил ее эпизодов, воспроизвел все наиболее важные моменты, — дал как бы скелет сказки. Он свел к малости все «любовные» моменты сказки и выделил повторением единственный комический (со старухой у колодца). Конец совсем потерял (быть может, устал рассказывать).

Речь сказки отрывиста, лаконична, бедна. Связности рассказа он достигает самыми примитивными и немногими средствами: из 65 предложений этой сказки — 19 начинает с «tai», 11 — с «ir», 12 — прямо со сказуемого; остальные 23 — с подчинительных союзов: kad, jæi, ba (единичны: jau, ar). Ритм этой речи в однообразном порядке слов. Косвенная речь почти не встречается, «чужие слова» обычно вводятся посредством глаголов «говорить». Бедность фразеологии обнажает структуру сюжета: напр., утроение эпизода «создание преграды преследующему» очевидно вследствие повторения тождественной фразы в начале его. Таков вкус этого рассказчика. Оттого язык сказки ближе к обычному разговорному, чем у взрослых рассказчиков. Только интонациями он заметно отличался от обиходного. В этом наиболее мальчик следовал преданию.

№ 2.

ˋž'idas ɪr ˋžmogʊs || ˋž'idas ˋbuvə ˜b'^{i}ednas || a'tæjə ɪn ˋi [in 'i] ˋˋžmogʊs ji˜sæ^{i} ˋbuvə ˋmažas ˋdaktaras | 'ka^{i} kaz˜ło^{u}ckas || ji˜sæ^{i} sus'roʒ'ɪmə su ˋž'idu 'a^{i}c' ˜l'^{i}eč'ic' ˋžmoˋˋn'u | ˋir an r'i'tos iš'ˋæjə 'je^{i} || 'a^{i}nʌ 'je^{i} aˋbudu ɪr ˜randʌ 'pon'ʊ n'eˋˋgal'inc' | ka'tros dakta'ra^{i} ʒ'ideˋl'i n'e ga˜łɛjə iš˜l'^{i}eč'ic' || o 'je^{i} aps'ɪ'em'ɛ iš˜l'^{i}eč'ic' 'pon'ʊ || [ir] ˜l'^{i}ep'ɛ 'ponu^{i} pr'i˜ka^{i}s (sic!)ˋkat'iłu ˋˋvanden'o ɪr ˜d^{u}oc'

at'sabnu ʽp'irk'ʋ ‖ žmo'gus ˜l'ⁱep'ɛ 'ponuⁱ ['ž'iduⁱ] p'˜jaᵘc' (sic! мгновенный паузный перерыв после «p'») tu 'pon'ʋ an kus'n'æl'ʋ ‖ taⁱ 'ž'idas 'kłaᵘs'ɛ pa 'žmogu ['pas 'žmogu] | ar ˜stos'ɪs ji 'v'el' 'g'ivā ‖ taⁱ ʽʽžmo'gus at'sak'ɛ | ʽkad ʽaš l'ⁱeʽp'ju ˜taᵘ ˜p'jaᵘc' ɪr ˜p'jaᵘk ‖ taⁱ 'ž'idas su˜p'jaᵘs'ɛ (sic!) ɪr su'd'ej (sic!) kat'i'łan [kac'i'łan] ‖ at'jæjə žmo'gus | iš˜płaᵘd'e tʋ 'pon'ʋ ɪr su'd'ejə ka ʽbuvə ji | ʽʽp'æržɛgnojə ʽju ɪr ʽʽsto'jos g'i'vu ka ʽbuvə svei'ka ‖ at'jæjə 'ponas ɪr 'kłaᵘs'ɛ [pas'juᴬs] | ˜k'ⁱek 'nor'i p'ɪn'ɪ'gu ‖ žmo'gus at'sak'ɛ | ˜dᵘos'ɪ man 'sur'ɪ ‖ taⁱ 'ž'idas pra'd'ejə 'r'ekc' an žmo-˜gaᵘs | ʽku ʽtu da'r'is'ɪ iš to 'sur'jo | 'kol' tu ʽʽn'e'im'ɪ p'ɪn'ɪ'gu | ka ˜taᵘ ˜dᵘodʌ ‖ žmo'gus pa'em'ɛ 'sur'ɪ ɪr ɪʽʽš'æjə ‖ 'eⁱ teⁱ'pos is'l'ičɪnə ʽʽk'ætur'es ‖ ɪr ʽʽn'e'em'ɛ ˜nⁱekə | kap ʽc'ik po ʽʽsur'jo ‖ o ˜p'eŋktə kab* iš˜lⁱeč'ɪnə taⁱ 'paem'ɛ 'łop'etʋ | taⁱ 'ž'idas u's'ir'ek'ɛ | ʽʽku ʽʽtu da'r'is'ɪ iš ʽʽłop'e'tos | 'kol' tu ʽʽn'e'im'ɪ p'ɪn'ɪ'gu | ka ˜taᵘ po ˜c'ⁱek ˜dᵘodʌ | ba 'm'es teⁱ'pos ʽn'e prɛzg'i˜v'æns'ɪm | kap ʽtu da'r'ɛⁱ ‖ žmo'gus at'sak'e | ʽkas ˜taᵘ gαł'von n'edɪʽʽv'ærka ‖ 'jeⁱ 'eⁱnʌ (sic) a'budu kɛ'l'ɪ ɪr˜kłaᵘs'ɛ žmo'gus pa 'ž'idu | ˜k'ⁱek m'es 'tur'ɪm 'sur'u ‖ 'ž'idas at'sak'ɛ ʽʽko 'tr'is ‖ žmo'gus 'sakə | ka 'm'es pas ˜k'ætur'ɪs ʽbuvəm | taⁱ 'tur'ɪm (!) 'buc' ɪr k'ætu'r'i ʽʽsur'eⁱ o p'ɛŋk'ta łop'e'ta ‖ o 'ž'idas at'sakə ʽv'is t'ik'taⁱ (sic!) 'tr'is ‖ taⁱ žmo'gus 'kłaᵘs'ɛ pa 'ž'idʋ | ʽkur 'd'ejeⁱ k'ec'ʽv'irtʋ ‖ o 'ž'idas 'sakə kō 'tr'is t'ɪk (sic!) ʽbuvə ‖ žmo'gus 'sakə 'ž'idu sa'k'ik 'praᵘdu ba 'kars'jʋ ‖ o 'ž'idas ʽv'isʌ 'sakə 'ko t'ɪk 'tr'is ‖ 'jaᵘ 'jeⁱ 'eⁱnʌ a'budu p'er ʽm'iškʋ ‖ žmo'gus ˜lⁱ ep'e 'ž'idu | ʽkas' ˜dᵘob'ɪ ‖ taⁱ 'ž'idas 'kłaᵘs'ɛ pa ʽžmogaᵘs | 'ko c'e ʽbus ‖ o žmo'gus at'sak'ɛ | ʽʽkad ʽʽaš l'ⁱe˜p'jaᵘ ʽkas' n'edɪʽʽv'ærka | taⁱ ʽir 'kas'k ‖ 'kasa ji'saⁱ i 'randʌ 'daᵘk p'ɪn'ɪ'gu ‖ žmo'gus ˜lⁱep'ɛ ʽp'il'c' ɪŋ 'k'æ-tur'ⁱəs kru'vas ‖ 'ž'idas ʽp'iła ɪr 'sakə ‖ ʽman š'ɪ'toj | 'taᵘ š'ɪ'toj |

* = kaⁱp iš°.

o 'kam š'ı'toj || o žmo'gus at'sakə | 'p'il'k n'edı''v'ærka || o 'ž'idas 'kožnə 'ros kap 't'ik ''pas'em'ɛ ır 'p'iła ŋ kru'vas 'ir v'ı 'sakə | 'man š'ı'toj | 'ta^{u} š'ı'toj | 'kam š'ı'toj || o žmo'gus at'sak'ɛ | 'aš 'ta^{u} 'rozu sa'k'a^{u} n'edı''v'ærka | 'p'il'k 'l'ig'e^{i} 'v'is ın 'tr'is kru''vas || o 'ž'idas kap c'ik'ta^{i} 'pas'em'ɛ | ''man š'ı͂toj | ''ta^{u} š'ı͂toj | 'kam š'ı''toj || o žmo'gus at'sak'ɛ | 'tam 'tr'ec'a kru'va 'kas su'v'ed'ɛ k'ec'v'irtʊ 'sur'ı || o 'ž'idas at'sak'ɛ | ͂ko dal'i'bug ''aš sʊ'v'ed'a^{u} || žmo'gus 'sakə | 'aš ta'v'i 'kor'ja^{u} ır 'tu 'man n'e pr'is-paž'i'na^{i} || o 'ž'idas at'sak'ɛ | ͂ko dal'i'bug 'aš sʊ'v'ed'a^{u} || žmo'gus 'sakə | 'im v'ı'sus š'ı'tu^{s} 'p'in'ıgʊs ır 'æ^{i}k na''mo || ta^{i} 't'i 'buvo 'n'e žmo'gus 'al'e 'an'jołas | m'e'g'ino 'ž'idʊ |||

Жид и Неизвестный. Жид был бедный. Пришел к нему Неизвестный, — он был вроде — доктор, как (наш) Козловский. И сговорился он с жидом итти лечить людей; на другое (же) утро они отправились. Идут они (так) вдвоем и находят барышню, которую не могли вылечить важные («большие») доктора. А они взялись вылечить эту барышню. [И] велели (они) барину вскипятить (для этого) котел воды и дать (им) отдельную комнату. Неизвестный велел барину [жиду] резать барышню на кусочки. Тут жид спросил у Неизвестного: «Будет ли она опять жива»? Тогда Неизвестный в ответ сказал: «Коли я велю тебе резать, так режь!» Жид порезал (ее) и сложил в котел. Подошел Неизвестный, выполоскал эту барышню и сложил ее, как была, — перекрестил ее, и встала она живой, и как была — здоровой. Пришел барин и спрашивает [их]: «сколько (ты) хочешь денег?» Неизвестный ответил «Дай мне штуку сыру». Тут жид стал кричать на Неизвестного: «Что ты будешь делать с этим сыром? Зачем ты не берешь денег, коли тебе дают?» Неизвестный взял сыр и ушел. Так они вылечили четверых. И (Неизвестный) не брал ничего, как (а все) только по штуке сыру. А с пятого, когда вылечили, взял (он) лопату. Жид (и тут) вскричал: «(Ну) что ты будешь делать с лопатой? Зачем ты не берешь денег, коли тебе по-столько дают? ведь мы так не проживем, как ты (это) поступаешь». Неизвестный в ответ: «Что тебе на ум (взбрело), Ирод» (В тексте «n'edı''v'ærka» — объяснено рассказчиком, как не совсем понятное ругательное слово, объяснение его см. § 7 с.). Идут они (как то) вдвоем по дороге, и спрашивает Неизвестный у жида: «Сколько у нас сыров?» Жид ответил, что три. Неизвестный говорит: «Так как мы были у четверых, то должно быть четыре и сыра, да (еще) пятая лопата». А жид все твердит, что только три. Неизвестный спросил жида: «Куда ты дел четвертый (сыр)»? А жид говорит, что три (их) только было. Неизвестный говорит жиду: «Скажи правду, не то повешу»! А жид все твердит, что только три. (Потом) уже — шли они (как то) вдвоем через лес. Неизвестный приказал жиду: «Копай яму!» А жид спрашивает его: «(И) что тут будет?» Неизвестный в ответ: «Коли я велел — копай, Ирод, так и копай!» Копает он и

11*

находит много денег. Неизвестный велел сложить в четыре кучки. Жид раскладывает и приговаривает: «Мне — вот эта, тебе — вот эта, а кому-ж вот эта»? Но Неизвестный говорит: «Накладывай, Ирод!» А жид, каждый раз, как черпнет (денег) и высыпет — на кучку, все свое: «Мне вот эта, тебе — эта, кому эта?» Неизвестный отвечал: «Я тебе раз сказал, Ирод, клади поровну на все три кучки». Жид — что ни черпнет: «Мне вот эта, тебе — эта, кому эта?» Неизвестный и говорит: «Тому будет третья кучка, кто съел четвертый сыр». Жид сказал: «что? — ейбогу, я съел!» Неизвестный говорит: «(Да ведь) я же тебя чуть не повесил, и ты мне не признавался!» А жид опять: — «что? — ейбогу, я съел». Неизвестный говорит: «Возьми все эти деньги и ступай домой». А был это ангел, он делал испытание жиду.

Примечание к записи № 2.

Рассказчик — крестьянин Антон Куцевич, 17 лет — хорошо грамотен по русски, польски и литовски (окончил двухклассное училище в Троках). Под влиянием своего ксендза-националиста он высоко ценит родной язык, читает литовские книги из его библиотеки. Говорит старательно, с некоторой изысканностью (равняясь на стиль школьных хрестоматий). В его речи много руссизмов — им образуемых, и больше (чем у других в его семье) — сказывается знакомство с литературной нормой языка. Сказку он говорил раздумывая над фразой, и внимательно перечитывал запись со мною. Только один эпизод в конце сказки «вышел» у него, он не мог вспомнить, как тут надо рассказывать.

Язык этой сказки, понятно, отходит от «средней нормы диалекта».

№ 3.

ʼs'junt'e mo'tut'e | ʼs'junt'e s'æ'nut'e | ʼs'junt'e ma'n'i motɪ-
ʼn'el'ɛ | u˜p'en vandɪ'n'el'jo || ˜ka^{i}p aš nʊ'v'ejo^{u} | u˜p'en vandɪ'n'el'jo |
sus'ɪ't'ika^{u} bɛ́rnʊ'ž'el'ɪ | žɪrg'e'l'i g'ɪr'dant'ɪ || m'er'g'æl'ɛ 'manə |
jo^{u}'nojɪ 'manə | 'ar n'e 'gal'ɪt mam pa'd'et'i (= man pa'd'et'i) |
ž'ɪr'g'el'ə g'ɪr'd'it'i || n'e ga'l'u pa'd'et'i | su ta'v'im kαł'b'et'i |
'b'ija^{u} 's'æna^{i} motɪ'n'ełɛ^{i} | d'i'de^{i} nus'ɪ'd'et'i || at˜ła^{i}k'e ˜sakαłas |
'p'ɛr ma˜r'ɛs ˜gułb'ɛ | 'ir su'drumst'ɛ vandɪ'n'el'ɪ | ˜ła^{u}k'æ^{u} 'l'ig
nu'stojʌ || ē˜jæ^{u} na'muč'ʊ | n'e˜š'æ^{u} van'den'ɪ | pas'ɪ't'ika^{u} mot'i'n'ełɛ |
v'ɪdu'r'i dva'r'æl'ɪ || 'dukr'ɛ jo^{u}'nojɪ | 'kur tu 'buva^{i} | buv'i'n'eje^{i} |
'kur tu 'te^{i}p uš'truka^{i} || at˜ła^{i}k'e ˜sakαłas | 'p'ɛr ma˜r'ɛs ˜gułb'ɛ |
'ir su'drumst'e vand'i'n'el'i | ˜ła^{u}k'æ^{u} 'l'ig nʊ'stojʌ |||

1. Слала матушка,
Слала старушка,
Слала меня маменька
На реку за водицей.
2. Как вышла я
На реку за водицей,
Повстречала паренька,
(Он) коника поит.
3. Девушка моя,
Молодка моя,
Вы не можете-ль помочь мне
Коника поить.
4. Не могу помочь (я)
Ни с тобой калякать
Боюсь старой маменьки,
Чтоб не провиниться.

5. Налетел сокол
За морской лебедью
И замутил водицу,
Ждала (я), пока устоялась.
6. Шла я домой,
Воду несла,
Повстречала маменьку
Посреди дворика.
7. Доченька — молодка,
Где ты была, бывала,
Где ты так задержалась?

8. Налетел сокол
За морской лебедью
Замутил воду,
Ждала (я), пока устоялась.

№ 4.

Вариант этой песни, записанный около местечка Куркли бывш. Ковенской губ. Вилькомирского уезда — в то же лето (1914 года) от крест. Игн. Чернявского (около 30 лет).

ʹs'junt'ɛ ʹman'ɪ mət'iʹn'eɫɛ | ʹup'ɛn vʊnd'iʹn'eɫɛ | (bis) ‖ ʹke^{i}p aš nʊʹv'ejo^{u} | sust'i`ku bɛrnoʹž'el'ɛ | ʹg'ird'it'ɪ ʹorkl'ɪ ‖ m'erʹg'el'ə ʹmonə | `ar ne ʹgol'ɪt paʹdet' | ʹorkl'ɪ g'irʹd'it' ‖ n'e gaʹḷju paʹd'ɛt'ɪ | sʊ taʹv'ɪm kaɫʹbet' | `b'iju ʹs'ænos mət'iʹn'el'əs | ɫaʹb'ɛ$^{i}$ nus'ɪʹd'et' | aʹtoɫa$^{i}$k'ɛ so`kαɫas | `par maʹr'os ˜guɫb'ɛ | ir ʹsudrumst'ɛ ʹvʊnd'i˜n'el'ɪ | ʹɫa$^{u}$k'e$^{u}$ ʹl'ig'jam at'iʹstojʌ | ɛ˜jo$^{u}$ naʹmo [naʹmuč'u] n'e˜š'o$^{u}$ ʹunden'ɪ | pas'-`t'ika^{u} mot'ɪʹn'eɫɛ [ʹmomo или ˜momo ʹmoč'e] | v'ɪduʹr'i ḍvaʹr'eɫɛ ‖ du˜kr'e ja^{u}ʹnojɪ | `kur tu buʹvɛ$^{i}$ | buv'i˜n'e$^{i}$je$^{i}$ | `kur tu ˜t'e^{i}p uš˜trukɛ^{i} |‖

Вариант этот приведен в виду того, что сравнение с первым текстом позволяет легко видеть диалектические черты каждого.

№ 5.

ša`l'i `k'æl'ʊ ˜v'iešk'eʹl'æl'ʊ | g'iʹv'ænə šαɫʹtrš'us | `is tuʹr'ejə ʹtr'is suʹn'æl'us | ʹ$^{u}$o$^{i}$ ʹduda `ir ʹv'ɛɫ ʹduda dud'iʹt'el'a | v'i`sus ʹtr'is ˜ka^{i}p ˜v'^{i}ena ‖ ʹp'irmas ˜bα^{u}trʊs [˜bαɫtrʊs] | ʹantras ˜ɫa^{u}ras [˜ra^{u}ɫas] |

ˈtreč'as mat'i'jošʊs|ˈoi ˈduda ˋir ˈv'εɫ ˈduda|ˋir ˈv'εɫ ˈduda dud'i-ˈt'el'a||nʊva'ž'javə in͡ o'l'itun|ˈp'irktı ˈjonui ˈdudu|˜bo"tru sk'r'ipkʊ|mat'i'jošu p'ī'ragʌ||͡a n'ei ˈdudos|͡a n'ei sk'r'ipkos|͡a n'ei p'ira-˜g'el'jə|ˈoi ˈduda ͡ˋir v'εɫ ˈduda|͡a n'ei p'ira'g'el'jo|||

1. Край дороги столбовой
   Проживал солтыс (сельский судья, или волостной староста?).
   У него было три сына,
   — Ай дудка, еще дудка, и маленький дуденок —
   Все три — как один.
2. Первый — Варфоломей,
   Второй — Раул,
   Третий — Матвей.
   Ай дудка, еще дудка, и маленький дуденок.
3. Он поехал (раз) в Олиту
   Купить Ване дудку,
   Варфоломею скрипку,
   Матвею — булки.
   — А ни дудки,
   А ни скрипки,
   А ни булочки.
   Ай дудка, еще дудка...
   А ни булочки.

№ 6.

gra'ž'i ˈpon'e p'εɫε'da|ˋˋgra'ž'i ˋˋgra'ž'i ˋˋgra'ž'i ˋˋgra'ž'i|gra'ž'i ˈpon'e p'εɫε'da||ˈɫεk'ja ˈgrušʌm p'εɫε'da|ˈɫεk'ja (4 раза)|ˈɫεk'ja ˈgrušʌm p'εɫε'da||ˋvijo ˈl'izdu p'εɫε'da|припев, как раньше|ˈd'ej k'a"š'in'us p'εɫε'da|ˈd'ejo (4 раза)|повторение предыдущего стиха|ˈv'æd'e ˈvaikus p'εɫε'da|припев|ˈvaž'a" ˈv'il'n'a͡m p'εɫε'da|припев|ˋp'irko ˜muiɫu p'εɫε'da|припев|˜pra"s'ε ˈvaikus p'εɫε'da|припев|gra'žus ˈvaikus [ˈvaikai] p'εɫε'dos|припев|˜j"od'i ˈvaikai p'εɫε'dos|припев|ˋd'iǯ'os ˈvaikai p'εɫε'dos|припев|ˈmargos ˈpɫuŋksnos p'εɫε'dos|припев|ˈnakc'ʊ [ˈnakt'i] ˜ka"k'ε p'εɫε'da|˜ka"k'ε (4 раза) + повторение предыдущего стиха|||

1. Красавица — барыня сова.
2. Летит сова на грушу.
3. Свила сова гнездо.
4. Снесла сова яйца.
5. Вывела сова детишек.
6. Поехала сова в Вильну.
7. Купила сова мыла.
8. Умыла сова детишек.
9. Красавцы детки у совы.
10. Черные детишки у совы.
11. Большие детишки у совы.
12. Пестрые перья у совы.
13. Ночью кавкала сова.

№ 7.

ˋdu broˋl'uka^{i} kun'i˜ga^{i} | ˋdu broˋl'uka^{i} ūr'e˜da^{i} | ˋt'ik aš ˜v'^{i}ena vargo˜d^{i}ena | ′gr'ɛb'ja^{u} ′łαŋkoj š'^{i}e′n'æl'i | ˋir nʊ′łužo gr'ɛbłaˋl'is | ˜no^{u}jo ′gr'ɛbl'o kōt'eˋl'is | ′ɛ^{i}s'ju ′ɛ^{i}s'ju [′e^{i}s'ju ′e^{i}s'ju] ko gr'ɛ^{i}˜č'a^{u} | ˋpas broˋl'ukum ūr'e′du | ˋm'es (k) broˋłal'i ra′š'it'i | ˋim (= imk) gr'ɛˋbłal'i ta^{i}′s'it'i | aš n'e ′m'es'ju ra′š'it'i | ˋir n'e ˋims'ju ta^{i}′s'it'i | ˋt'egu ˋl'ija | ˋt'egu(l) ˜sn'^{i}ekt'ı | ˜łαŋkoj š'^{i}e′n'æl'i |||

1. Два братца-ксендзы,
Два братца-управляющие,
Только я одна-беднячка.

2. Сгребала сено на лугу,
И сломилась ручка,
Новых граблей ручка.

3. Я пойду, пойду скорей
К братцу, что чиновником.
Брось-ка, братец, ты писать,
Возьмись грабли починять.

4. Нет, не брошу я писать
И не стану починять.
Пусть и дождь пойдет, и снег —
На лугу на сено.

№ 8.

ˋuž maru′ž'el'ju [maru′ž'el'jə] | ˋuž duno′jel'jo | ′stov'ı bɛr′n'æl'is | ′an akm'e′n'el'jo | ′jo k'epu′r'el'ɛ | ˋan šαłu′ž'ełɛs | ˋkad a(š) ž'i′nota^{u} | ˋkad ′mano ′butʊ | ta^{i} ˋaš p'er˜pła^{u}kto^{u} | ˋper n'æmu′n'el'i | ˋir pata^{i}′s'ita^{u} | ′jam k'epu′r'el'ɛ || ˋuž maru′ž'el'jʊ | ˋuž duno′jel'jo | ′stov'i m'er′g'æl'ɛ | ˋan akm'e′n'el'jo | ˜jos va^{i}n'i′k'el'is | ˋan ˋšαłu′ž'el'ɛs || kad a ž'i′noto^{u} | ˋkad ′mano ′butʊ | tæ^{i} ˋaš p'er˜pła^{u}kto^{u} | ˋp'er n'æmu′n'el'ı | ˋir pata^{i}′s'ita^{u} | ˜je^{i} va^{i}n'i′k'el'ı |||

1. За морюшком, за Дунаюшком
Стоит паренек на камушке.
У него шапочка немножко набок.
2. Когда бы знала я,
Что мой он су́женый, (буквально: что моим быть ему)
Переплыла бы я через Неманушка
И я поправила бы на нем шапочку.
3. За морюшком, за Дунаюшком,
Стоит девушка на камушке,
А веночек у ней немножко набок.
4. Когда бы знал я, что ей моею быть,
Я переплыл бы через Неманушка,
Да и поправил бы на ней веночек.

№ 9.

m'e'nul'is nus'i'l'æ^i^do | sa^u^\`l'ut'e ušt'e'k'ejo | gra\`ž'i l'u\`dna pa'n'aƚɛ | pro ƚɑŋ'g'el'i ž'ʋ'r'ejo ‖ ko 's'ed'i \`po ƚɑŋ'g'el'jʋ | ko 'r'ima^i^ an rɑŋ'k'el'jʋ | 'kol' 'n'e^i^n'i in dar'ž'el'i | \`sk'int' \`ir ža'l'ju ru't'æl'jʋ [ru't'eljʋ] ‖ 'n'i man ru't'el'e^i^ \`sk'int'i | 'n'i va^i^n'i'k'el'e^i^ \`p'int'i | man ˜d^i^eno 'nakt'i 'rup'e | \`kad su bɛr'n'æl'jʋ 'but'i ‖| .

1. Месяц опустился.
Солнце взошло.
Красавица грустная барышня
В окошко глядела.
2. Что сидишь под окошком,
Что застыла, подпершись рученьками,
Что нейдешь в палисадник,
Нарвать зеленой руты.
3. (Не до того мне) — ни рвать руту,
Ни плести веночки —
Днем и ночью (одно) меня кручинит,
— Чтоб с женихом (все) быть.

№ 10.

'sv'^i^eto m'er'gos | p'^i^e'tus 'n'æšʌ | \`o 'aš ˜ja^u^na pusr'i't'el'us ‖ 'o^i^ bɛr'n'æl'i dob'i'ƚɛl'i | \`kur sta't'it'i pusr'i't'æl'i | 'o^i^ m'ɛr'g'æƚɛ l'ɛl'i'jel'ɛ | 'gɑƚɛ 'v'ærsnu | 'am p'^i^e'v'æƚɛs ‖ o 'pat(s) ˜ja^u^nas |

ža˜l'on ′g'ir'on | is'i′ła^{u}kš'jʋ [is'i′ła^{u}š'jʋ] ‵m'ikl'ʋ ‵r'ikšt'e | ‵aš m'εr′g'æłε^{i} per p'ē′t'æl'εs | aša′r'ełεs p'er v'e^{i}′d'æl'us | ′o^{i} bεr′n'æl'i dob'i′łεl'i | n'e ‵aš ˜ka^{u}ta [˜kαłta] | ′tu ‵pats ˜ja^{u}nas ||

1. У людей девки — обед несут,
   А я, молода — (еще) полдник.
2. Ой цветок — паренек (буквально: цвет-клевер, паренек),
   Где поставить полдник.
   Ой, девушка — лилеюшка,
   У край-поля на лужку.
3. А сам молодой — в зеленый лес,
   Выломаю крепкую розгу;
   Я девушку по плечам,
   У ней слезы по щекам.
4. Ой цвет-клевер, паренек,
   (Тут) не я виновна,
   А ты сам (мой) «молодой».

№ 11.

‵an kαł′n'el'o | ‵ant a^{u}kš′tojo | ′væ^{i}kšč'o‵jo m'εr′g'æl'ε | ‵ji va^{i}kš′č'odams | ‵be ul'′jodams | ′a n'i ˜v'^{i}enas akm'e′n'el'is | ūgn'e′łεs n'e ′rod'e | ′a n'i [′a n'e^{i}] ˜v'^{i}enas bεrnu′ž'el'is | ˜t'^{i}esos n'e kαł′b'ejo || ′koła^{i} ′man'i pr'iv'i˜λjoj | ′v'is š'im‵t'ełε^{i}s ˜kłoj | o ˜ka^{i}p ′man'i pr'iv'i˜λjoj | ‵iš kar′č'emos ′n'e^{i}je || pa˜r'æ^{i} ′v'iras ‵iš kar′č'emos | ak'e′łεs uš′p'iłεs | ′o^{i} m'er′g'æl'i łεl'i′jel'i | ada′r'ik du′r'æłεs | ‵‵tegʋ a′darə p'ijo′k'el'u | š'ıŋkor′kos duk′r'æłεs |||

1. По горýшке, по высокой
   Девушка ходила.
   Ей ходивши да гулявши,
   Ни один (там) малый камень
   Огонька не показал.
   Ни один-то паренечек
   (Девке) правды не сказал.

2. Пока меня завлекал,
   Все сотнями устилал,
   А когда меня завлек,
   Из корчмы (кабака) нейдет он.

3. Пришол муж (мой) из корчмы
   До глаз нализался («набрался»).
   «Ой, девонька, лилеюшка,
   Отвори мне дверку»!
   — «Пусть откроют-те, пьянчуге,
   Кабатчицыны дочки»!

Примечание к текстам песен:

Записи №№ 3, 6, 9 сделаны от Франи Куцевич (около 10 лет) не грамотной, владеющей сравнительно «чистым» диалектом, пока не отходит от своей матери, местной уроженки. Некоторые элементы «печатной» песни у нее от занятий в хоре органиста.

Записи №№ 5, 7, 8, 10, 11 — от разных девушек (крестьянок) подруг Франи (тоже участвуют в хоре у органиста). Все они немного знают польский язык, так как он считался языком сельской элегантности. «С девушками надо говорить по польски» сказали мне в Немонайцах. Потому, можно думать, полонизмы здесь являются как «заимствования», а руссизмы входят элементами «пассивного» и «активного смешения».

Б. Ларин.

Ленинград.
Лето 1925 г.

P. S. Корректуру этой статьи согласился прочесть мой учитель, проф. Л. В. Щерба, и указал ряд моих промахов. Я очень обязан ему за постоянную помощь моим научным занятиям.

Кроме того в чтении корректур мне помог мой слушатель, Иосиф Иеронимович Микучонис (уроженец б. Уцянского у. Ковенск. г.).

Албановедение и албанцы.

I.

Характеризуя положение албанского языка в индоевропейской лингвистике, Norbert Jokl, один из лучших его знатоков и усердных работников, называет его пасынком (ein Stiefkind) в индоевропейской семье, которому не уделялось такого серьезного и широкого внимания, какое уделялось его родственникам, в силу чего в результате мы имеем, с одной стороны — огромные достижения в области изучения родственных албанскому индогерманских языков и с другой стороны — сравнительно бедные достижения в области изучения албанского языка[1]. N. Jokl не совсем прав, когда он отводит албанскому языку в лингвистике более скромное место, чем его родственникам, и в этом не трудно убедиться, если вспомнить блестящий ряд выдающихся филологов, лингвистов и этнологов, начиная с Фр. Боппа и кончая нашими днями, которые с большим успехом поработали и продолжают работать в области албановедения, затронув в своих трудах самые разнообразные стороны изучения албанского языка и этнологии — Hahn, Miklosich, Gustav Meyer, Jensen, Pedeŕsen, Schuchard, Bugge, Pekmezi, M. Vasmer, Weigand, Jokl, G. Patch, Fr. Nopcsa, Thallóczy и др. Благодаря этим трудам, албанский язык приобрел все права гражданства, вошел в широкий научный обиход, и жаловаться ему на невнимание к себе, с нашей точки зрения, никак не приходится: внимания ему было

[1] N. Jokl. Albanisch. Grundriss d. indogerm. Sprach- u. Altertumskunde, B. III. 1917, Herausgegeb. v. W. Streitberg.

оказано вполне достаточно, о чем свидетельствует наличность огромной албановедной литературы.

Положение вещей в области албановедения все-же остается, однако, неудовлетворительным, но не в том смысле, как об этом думает N. Jokl, а в более глубоком, в смысле постановки принципиального вопроса о том, в какой мере албанский язык вообще подлежит ведению индоевропеистики, в какой мере методы индоевропейской лингвистики применимы вообще в деле разрешения албанской проблемы; не представляет-ли собою вовлечение албанского языка в сферу индоевропеистики вообще простое недоразумение, поддерживаемое твердо упрочившеюся традицией, нуждающейся в пересмотре. Новейшие успехи яфетическего языкознания в этом убеждают с несомненностью.

II.

Создатель индоевропейской лингвистики, Franz Bopp, в 1854 году первый определил принадлежность албанского языка к индоевропейской семье, и с этого времени албанский язык вошел в научный оборот и стал объектом сравнительно-языковых изучений в рамках индоевропейской лингвистики вплоть до последнего времени [1], когда в 1922 году академик Н. Я. Марр в статье «К вопросу об яфетизмах в албанском» (Яфетич. Сборник, Петроград, 1922, I, стр. 57—66), определив с несомненностью принадлежность албанского языка к шипящей группе языков яфетической семьи, тем самым установил новый яфетидологический подход к изучению албанского языка.

Албанскою проблемой интересовались, однако, задолго до Bopp'a, и когда этот последний впервые приступал к изучению

---

[1] «Wie ein Teil Wortschatzes und ihr flexivischen Charakter beweist, gehört die albanische Sprache... zu der indogermanischen Familie und ist als selbstständiges Glied derselben zu betrachten». — W. Meyer-Lübke (G. Meyer): Die lateinischen Elemente im albanischen. Grundriss d. roman. Philologie, B. I, 1904, стр. 1038, и др.

албанского языка, в науке с 1781 года, со времени появления известного исследования Joh. Thunmann-а: «Untersuchungen über die Geschichte der östlichen europäischen Völker» (Leipzig), уже было установлено, что нынешние албанцы — это потомки древних иллирийцев; так их трактовали и историки Niebuhr и Fallmerayer, и филологи Kopitar, Benfey, Miklosich, Diefenbach, Hahn и др. Крупнейший и заслуженнейший албановед G. Meyer признал в албанском языке один из древне-иллирийских говоров[1]; затем Bugge и особенно P. Kretschmer (Einleitung in die Geschichte d. griech. Sprache) подтвердили иллиризм албанцев, в частности Kretschmer установил связь албанского языка с языком венетов, а Pedersen — принадлежность венетского языка к иллирийскому. Параллельно с этим Hirt и C. Patsch выдвинули фракийскую теорию происхождения албанцев, а F. Nopcsa склонен был видеть в албанцах помесь иллирийцев с фракийцами[2]. Кроме того, румынский ученый Hasdeu говорил о родственном египтянам пеласгийском пранароде, прослоенном фракийцами — на севере и греками — на юге, потомками которого и являются албанцы — phantastische Ansicht, по выражению N. Jokl'я[3].

Итак, в этнологическом отношении нынешние албанцы — это потомки иллирийцев или иллиро-фракийцев, а в языковом отношении они принадлежат к индоевропейской семье — такова, в общем, основная точка зрения, господствующая в среде албановедов-индоевропеистов, а отсюда и в науке вообще.

Построенная на этой точке зрения огромная работа албановедов протекала главным образом в плоскости изучения языковых взаимоотношений албанского с соседящими с ним или a priori родственными ему — латинским, греческим, славянскими, румынским и вообще романскими языками. Классические работы по

---

1 Назван. сочин. в обработке W. Meyer-Lübke.

2 Beiträge zur Vorgeschichte und Ethnologie Nordalbaniens. — Wissenschaftliche Mitteilungen aus Bosnien u. d. Herzeg. XII. B., 1912, стр. 211—225.

3 См. назв. выше статью в Grundriss d. indogerm. Sprach- u. Alterthumskunde, к которой и отсылаем читателя за более подробными справками.

албанскому языку G. Meyer-а, и особенно его «Etymologisches Wörterbuch» и «Die lateinischen Elemente im Albanischen» — устанавливали в албанском, с большим увлечением и преувеличением, огромный слой латинских заимствований и строили на нем целую систему звуковых и формальных латино-албанских взаимоотношений. Miklosich-у и Schuchardt-у принадлежала мысль об общности основного этнического элемента, входящего в состав румынского и албанского народов, объясняющей собою и их языковые совпадения. Тому же вопросу посвящены многие страницы в замечательном труде Ovide Densusianu: Histoire de la langue roumaine. T. I. Paris, 1902, а также работы Kr. Jensen'a («Die nichtlateinischen Bestandteile im Rumänischen» — Grundriss d. romanisch. Philologie, I. B. стр. 524—534 и др.), W. Meyer-Lübke (Mitteilungen d. Rum. Inst. Wien, I) и G. Meyer («Albanische Studien»). Не называя других работ в той же области сравнительного изучения албанского языка, отмечу, что в результате — албанский язык стал представляться, как смешанный язык, в который вошли путем заимствований самые разнообразные элементы. Автор «Etymologishes Wörterbuch d. albanischen Sprache» G. Meyer высказался в том смысле, что из 5150 албанских слов, вошедших в его словарь, 1420 слов представляют собою заимствования из латинского или итальянского, 1180 слов — из турецкого, 840 — из новогреческого, 540 — из славянского, и только 400 слов с большею или меньшею вероятностью он склонен был считать древним индоевропейским наследием, а около 730 слов остались для него неясными[1]. G. Meyer несомненно увлекался, определяя в албанском заимствования, и в его этимологии внесены были впоследствии некоторые поправки, но уже самая постановка вопроса, при которой оказывается возможным живой язык примитивного горного народа, каким являются албанцы, свести только к 8% исконно народного достояния, а всё прочее раздать, по всем пра-

[1] См. S. Bugge: Beiträge zur etymologischen Erläuterung der albanischen Sprache. Beitr. z. Kunde d. indogerm. Sprach. XVIII, B., S. 161—201.

вилам искусства, кому угодно из соседей, характеризует, до некоторой степени, тот тупик, в который неизбежно зашла, да и не могла не зайти, лингвистика, ограничив свой кругозор определенным каноном «допущенных к употребленю» языков и языковых формул, пойти дальше которого значило-бы разрушить самое здание науки, чтó и случилось на самом деле не только тогда, когда в блестящем ряде трудов академика Н. Я. Марра родилась новая яфетическая теория, которую ждет, несомненно, большое будущее, но гораздо ранее, лет на десять ранее академика Н. Я. Марра, когда в 1899 году в Zeitschrift f. vergleichende Sprachforschung, т. XXXVI появилась впервые статья одного из лучших албановедов, Holger Pedersen'а: Albanisch und Armenisch (стр. 340), в которой был дан хотя и небольшой, но весьма осязательный материал для того, чтобы «пойти вглубь албано-армянских совпадений» и тем нарушить установленный канон. Конечно, этого H. Pedersen не сделал, да и не мог сделать, но чутье исследователя не обмануло его, когда он робко и с оговорками намечал первые соответствия в албанском и армянском, чтò 23 года спустя вновь было поставлено в порядок дня Н. Я. Марром, но уже без каких либо оговорок, с полной определенностью, как черта, характеризующая общность яфетической природы двух родственных языков.

Возвращаясь к албанскому языку, в общем, надо сказать, что, начиная с Fr. Bopp'а и проходя через труды Miklosich'а, Schuchardt'а, G. Meyer'а, Pedersen'а, Jokl'я, Pekmezi и др., — албанский язык вступил в самую гущу основных проблем индоевропейской лингвистики, вглубь и вширь разработал свое учение о звуках и формах, продвинув вместе с тем и свое собственное этнологическое самоопределение, как язык не греко-латинской группы, но «приближающийся к языкам северноевропейским» и представляющий собою «тип смешанного полуроманского языка»[1].

---

[1] G. Meyer: Die lateinischen Elemente im albanischen, назв. изд., стр. 1039; N. Jokl: Albanisch, 113.

Таково последнее слово индоевропейской лингвистики по албанскому языку.

Однако, уже одно то обстоятельство, что албановедение не знает писанных памятников ранее XVI—XVII вв.; что албанская диалектография находится почти в зачаточном состоянии; что албановедение развивалось на почве априорных этнологических предпосылок и традиционных представлений, которые нашли свое выражение, между прочим, и в конечном признании в албанском языке какого-то «типа смешанного полуроманского языка», и которые связали исследовательскую мысль навязчивой идеей чуждых языку инородных заимствований, принявшей у G. Meyer-а, независимо от его почтенных научных заслуг, чудовищные размеры, что с совершенной определенностью уже вскрыто отчасти W. Meyer-Lübke [1], отчасти S. Bugge [2] и особенно Pedersen'ом [3] и Norbert Jokl [4], — то обстоятельство, что сравнительно-историческая схема языка строилась нередко сквозь призму этих именно априорно воспринятых и затем осознанных, как иноземный элемент, чуждых заимствований, не представляющих, однако, собою в действительности никакого заимствования, и т. д. — все это, вместе взятое, вынуждает нас признать, что албанский язык и этнология все еще представляют собою широкое поле для работы во всех направлениях, начиная с основной этнологической проблемы и кончая ею же, и что нам предстоит, отказавшись заранее от тенденции видеть в албанском языке непременно «смешанный тип» в «индоевропейском» смысле этого слова и делить его ризы между греческим, латинским, романскими, славянскими и турецким языками, начать всю работу

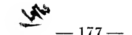
---

1 Grundriss d. rom. Philol. I. B. 1904—1906, стр. 1038.

2 Beiträge zur etymologischen Erläuterung d. alb. Sprache — Beitr. zur Kunde d. indogerman. Sprachen, XVIII. B., стр. 161 (1892).

3 Die indogerm. Form des Wortes für «Schwiegertochter», BB. XIX (1893), стр. 293; Albanische Etymologien, там же, XX, стр. 228; Albanesisch, 1905, Kritischer Jahresbericht rom. Philol. IX B. 1909, стр. I, 206.

4 Linguistish-kulturhistorische Untersuchungen aus dem Bereiche des Albanischen. 1923.



сызнова, использовать то, что возможно и необходимо использовать из области этнологических и лингвистических достижений, но вести основную работу не в узких рамках так называемой индоевропейской теории, а в плоскости более широкого международного языкового общения.

III.

Говоря о своей национальности и родном языке, албанцы называют себя: 1) arbɛr, arbɛrēš, arbɛnòr — в Греции и Италии, а также в Албании на побережьи севернее Корфу, в округах Валоны, Курвелеш и т. д.; местность эта называется labɛrì, lapɛrì, ее население làp, -bi (G. Meyer, Etym. W. 14). Hahn отмечает в тоскском наречии имя горной области за Валоной arbɛri-a; ему соответств. в гегском наречии arbɛni-a, означающее всю Албанию (Albanesische Studien, Jena, 1854, стр. 230). Производным отсюда по Hahn-у является новогреч. Ἀρβανίτης и европ. Албания; 2) arnàut — по Meyer-у, скутарийский термин, распространенный также в Болгарии, Сербии, Румынии, восходящий к ново-греч. ἀρναβίτης из ἀρβανίτης (Etym. W. 16); этот именно термин, между прочим, отмечен и у обследованных мною албанцев-колонистов на Азовском побережьи Украины, называющих себя arnaùt и говорящих arnaùčče, т. е. по арнаутски; 3) šk′ipɛtàr и šk′ipɛrì, гег. šk′ipɛnì — Албания (Etym. W. 411 šk′ipòn′); по Hahn-у — это общеалбанское имя страны šk′ipɛrìa (тоск.), šk′ipɛnìa (гег.) и народа šk′ipɛtàr (Alb. Stud., 229); у Pekmezi наряду с šk′ipɛtàr отмечено гег. šk′üptàr (Grammatik d. alb. Sprache, 89).

Историческую справку о термине *албанцы* Ἀλβανοί, племя Ἀλβανῶν с городом Ἀλβανόπολις, местность Ἄρβανον дают L. v. Thallóczy и K. Jireček в статье — «Zwei Urkunden aus Nordalbanien» (см. Arch. f. slav. Phil. XXI B., стр. 78; то-же в изд. Illyrisch-albanische Forschungen, B. I, 1916, стр. 125).

Согласно данным двух названных исследователей, имя Албании восходит к древнеиллирийским временам, и принадлежало оно вначале определенной территории, обнимавшей горную область Крои (Kroja), откуда затем во второй половине средневековья это имя распространилось и на другие области Албании.

Таким образом, мы имеем сейчас два основных термина для имени народа:

1) arbɛr, arbɛrès̀, arbɛnòr; arnàut, albanoi — все одной и той-же основы, и

2) šk'ipɛtàr, šk'üptàr.

Уже Hahn в 1854 г. интересовался албанской этнической терминологией и в своем труде Albanesische Studien собрал обширный материал на пространстве «от срединной Азии вплоть до крайнего угла Запада», группирующийся вокруг предположенной им основы arb-, alb-, arm-, (Albanach Верхн. Шотландии, Arbassoa у басков; средневековые названия позднейшего Auvergne: arverner, arvernia, alvernia; затем — albes, alpes, alpen, кельтск. alb — высокий, лат. arb-or и пр.), поставив вопрос, не представляют-ли собою кавказские albania и armenia производных от того-же корня.

Сейчас не может подлежать уже никакому сомнению тождество alban и armen, если иметь в виду, что вторая составная часть этих слов представляет собою хорошо знакомый нам яфетический суффикс van || ven | man || men | pan || pen | ban || ben, означающий первоначально — сын, дети, а затем и — народ, племя и т. д., присутствующий в таких племенных названиях, как german — германец, gardman (арм.), garda-ban (груз.), название Грузии khartvel из khartmen, gardmen; сюда-же отнесем и sloven и т. п. (см. Н. Я. Марр, Яф. Сб. I, 45). Что касается первой основной части ar — al (а не arb — alb, как думал Hahn), то в ней мы имеем характерное для яфетической фонетики чередование плавных в свистящей (l) и шипящей (r) группах сибилянтной ветви яфетических языков, к какой по своей природе прежде всего и принадлежит албанский язык, разделяя пристра-

стие к r (arbɛ̀r) в тосском наречии и к n (arbɛnòr) — в гегском.

Обычная традиционная этимология албановедов, видящих в племенном названии албанцев šk'ìp, šk'ìpɛtàr, šk'üptàr производное от лат. excipio — воспринимаю, слышу (Meyer, Thallóczy и др.), откуда, по Meyer-у и алб. šk'ipòn' — «понимаю», šk'ip, štüp — «по-албански», šk'ìpe — «албанский язык» — должна быть оставлена.

И этому термину своевременно уделено было Hahn-ом большое внимание (Alb. Stud., 229). Он пытался связать это слово: 1) с греч. *σκᾶπος*, *σκῆπων*, *σκίπων*, лат. scapus, scipio — древко, палка, алб škop, stap; 2) с греч. *ὁ σκηπτὸς* — удар молнии, *σκίπτω*, *σκήπτω* — подпираюсь, упираюсь, а также бросаюсь, низвергаюсь на что-либо с быстротою, стремительностью, в связи с чем стоят, по Hahn-у, škrɛpɛtìg (тоск.), škriptín (гег.) — мечу искры, сверкаю; тоск. škripɛtìmɛ, гег. škeptìn — молния; 3) с алб. skiftèri — орел.

Несостоятельность этимологии албанского национального имени — šk'üp или škip G. Meyer-a с достаточной убедительностью была вскрыта в 1915 г. K. Treymer-ом, посвятившим этому вопросу небольшую заметку в Indogerm. Forschungen (B. XXXV, I — II, 135), и к этой этимологии можно более не возвращаться. Однако, и этимология, предложенная Treymer-ом, выделяющим в слове šk'ip два элемента: š — k'ip, и центр тяжести видящим в — k'ip, сопоставляя его с южно-тосскским k'ipi — толпа, группа, отряд, стая и пр., не убедительна. С другой стороны, возможность связи национального имени с именем предполагаемого тотема, вообще говоря, конечно, не исключается, но в данном случае, как это уже было отмечено Jokl-ем, в нашем распоряжении нет достаточных к тому оснований[1]. Приходится поэтому искать другое объяснение, более конкретное, чем лат. excipio или алб. šk'ipe — орел.

[1] Linguistisch-kulturhistorische Untersuchungen aus dem Bereiche des Albanischen. Berl. u. Leipz. 1923, 307—308.

Такое объяснение алб. šk'ip, šk'ipɛtàr, šk'üptàr мы легко найдем, если в племенном названии будем искать определенной, конкретной вещи, т. е. племенного-же названия, но только протоисторического характера. Таким племенным названием в основе современного албанского šk'ip, šk'ipɛtar, šk'üptar лежит не что иное, как та же основа, что и в *σκοῦποι*, т. е. народ — скупы, отмеченные на Балканском полуострове, между прочим, у Анны Комнен (XII в.) и сохранившие свои следы в имени *τὰ Σκόπια*, нынешн. гор. Скопье, Ускюб. Отбросив в этом имени показатель множественности р, мы получим известную уже нам основу ska‖sko (⟶sku)‖ske (⟶ski), которую мы имеем в мегрельском skua — skwa, в сванском skey-, «у армян в сказочных преданиях о первых насельниках родной страны — великанах, исполинах и т. п. с префиксом hu, т. е. həskay — исполин, гигант, герой, или šku — с префиксом hu (⟵ho) hušku⟵hoško — герой, силач и т. д. (см. Н. Я. Марр: Термин Скиф. ЯС. I, 102); то же в sku — *ϑα*, греч. *σκύϑης* — скиф.

Таким образом, в двух этнических терминах современных албанцев мы имеем дело несомненно с яфетическим наследием, вскрывающим пред нами сложный процесс протоисторических этнических наслоений на территории нынешней Албании.

Повидимому, протоисторическое скифское яфетическое население, к которому принадлежала и известная часть протоалбанцев, а быть может и протоалбанцы вообще, имело широкое распространение на Балканском полуострове, о чем свидетельствует его топонимика: алб. scodra или škodra, визант. *σκόδραι*, итал. scutari; skupi, skopje, usk'üp; р. škumbi или škump, scampinum flumen (XIV в.) или fiume scumbino (XVI в.), а вероятно, при более тщательных розысках, и многие другие.

IV.

Современные албанцы в массе своей по языку делятся в общем на две основных группы: *тоски* (tosk, tòskε) — в южной Албании и *геги* (gègε)—по Hahn-y тоскийское прозвище северных албанцев, которым, однако, местное население себя не называет, применяя его, в особенности в срединной Албании, к валахам (назв. соч., стр. 236).

Уже Hahn поставил в связь с алб. toskεϱìa — по тоскийски или toskεnìa — по гегийски латинскую, а «быть может» этрусскую форму tuskus, tuscia, откуда совр. toscana, признав их идентичность. К этой же группе он отнес *Τυῤῥην*, откуда в совр. Албании *Τυράννεα*, новогреч. *Τύραννα*. Та же основа turs — предполагает Hahn, лежит и в греч. *τύρσις*, аттич. *τύῤῥις*, лат. turris — башня, замок, крепость (*Τυρσηνία*, аттич. *Τυῤῥενία* — Тиррения или Этрурия; *οἱ τυρσηνοί* — этруски[1]. В связь с этою же основою Hahn ставит имя этрусского божества turs или turms, богини turan у тирренцев, идентичной с римской Венерой (назв. соч., стр. 232—235).

Приняв во внимание эти данные, пойдем, однако, дальше и признаем, что албанский термин tosk представляет собою несомненно яфетическую форму, а именно — название народа с задненебным показателем множественности k и тождествен с нараще̇нною уже при посредстве r основою trus || turs → tus, римск. tusci, vicus tuscus, mare tuscum, toscano и т. п., т. е. этруски, затем — tuš тушины, по свидетельству Птолемея именовавшиеся в древности, как это своевременно было отмечено Н. Я. Марром, tusk-ами («К вопросу о происхождении пазвания «этруски» и «пелазги»). Этот же термин ведет нас и дальше,

[1] В дополнение можно было бы указать еще имена гг. Турну — мугарели на Дунае и Турин — в сев. Италии.

в бассейн Ванского озера, где имеем город Ванских царей tušpa, позднее у армян tos-p (Н. Я. Марр, там-же) и т. д.

Что касается второго этнического термина — gegεria, gek, gegu, то у Hahn-а мы находим показание, что термин gek представляет собою, между прочим, популярное в сев. Албании имя собственное, известное и в южной Албании в форме Gògaja, а в Греции и у валахов в форме goga. Отказываясь от ближайшего глоттогонического определения слова, Hahn ставит в связь с ним одно из шести латинских племен, geganea, составлявших, по Ливию (III, 37), patres, а также древних gigantes (назв. соч. 236).

Как-бы то ни было, двоякая этническая терминология сама по себе вновь говорит нам о том, что в протоалбанцах мы дожны видеть смешанный яфетический тип из нескольких первичных, этнически родственных слоев, подвергшийся затем уже в своем гибридном виде в позднейшее время в известной степени эллинизации, романизации, славянизации и туркизации.

Не следует, однако, никоим образом увлекаться степенью этой иноязычной депрессии, как склонны обычно некоторые делать, говоря об албанском языке, чуть-ли не в каждом албанском слове видя заимствование. Необходимо признать в известной мере наличность этой депрессии, но не следует забывать и того основного факта, что при всей мощности эллинской культуры и римского оружия, ни греки ни римляне, в силу методов своей торговли и системы своей колонизации, никогда не проникали вглубь страны, в самую гущу коренного горного пастушьего населения, в самые поры народной жизни за пределы доступной им и необходимой для них, с точки зрения их экономических интересов, географической зоны, ограниченной, в конце концов, побережьем и крупными торговыми путями внутри страны. Необходимо, с другой стороны, расшифровать несколько и традиционное представление о народных передвижениях в древности, и разбойничьи набеги вооруженных торговых банд иноземцев на местное население не расценивать мерилом современных истори-

ков и летописцев, преувеличивавших, по совершенно понятным мотивам, размеры и ужасы этих нападений до размеров массовых иноземных народных вторжений.

Подходя к албанской проблеме в плоскости этих конкретных положений, мы стоим перед задачей, намеченной уже Н. Я. Марром в его этюде — «К вопросу о яфетизмах в албанском» (Яфетический Сборник, I, стр. 57) и сводящейся к выяснению вопроса, в какой мере определенный албанский языковой материал представляет собою действительно романизмы, эллинизмы и пр., как этот вопрос по отношению к албанскому обычно разрешался G. Meyer-ом и др., и какой материал в албанском являет собою прямое яфетическое наследие, общее для современного албанского с латинским, греческим, кельтским, славянским, турецким и пр.

И только при этом условии мы не только вскроем подлинную глоттогонию албанского языка, но и подлинные романо-эллино-албанские, а быть может и далее — кельто-славяно-албанские взаимоотношения.

V.

àrɛ — поле. G. Meyer, Etym. W. 14, *Χριστοφορ.*, 8; Pekmezi, 231. По Meyer'у — замствование из лат. arɣum, среднев. arum. При наличии мегрельск. и грузинск. are — пространство, арм. vayr (←*var-i) пространство, поле и т. д., восходящих к протояфетической форме *var-e, с чем родственны груз. ƀar и баскск. iƀar долина (см. Н. Я. Марр: О яфетическом происхождении баскского языка), этимология G. Meyer'а должна отпасть и алб. àrɛ вместе с соответствующими лат., мегр., груз., арм. и проч. должно быть рассматриваемо, как яфетическое наследие в албанском.

ƀar — трава, сено. G. Meyer, 26 — не знает, кому его отдать: латинянам, грекам или туркам (!). Отдавать его никому не нужно, ибо при наличии груз. ƀar и баскск. iƀar долина не под-

лежит никакому сомнению, что и албанское bar, хотя и с дифференцированным позднейшим значением, должно быть отнесено к той-же семье слов. Его мы находим в первичном несомненно значении в названии двух сербских рек: *Ибар* на сербской прародине в области Старой Сербии и *Колубара*, впадающая в р. Саву западнее г. Белграда, а также в именах болгарских рек: *Върла Бара, Браниска-Бара, Згоригpадска-Бара*, *Бара* в системе р. Осъм, *Сливовска-Бара* западнее р. Янтры и др. (см. М. В. Юркевич: Двадцатипятилетние итоги княж. Болгарии, т. I, кн. 1-ая, София, 1904). Кроме того, большие текучие болота у сербов называются вообще барами (ба̏ра — лужа, болото, луг); слово это входит в состав названий некоторых из таких болот-озер: *Нурча-Бара* и *Грабовачка Бара* в Вальевском округе, *Гола Бара* в с. Ушче, *Смердан Бара* возле р. Дрины, известное своими целебными свойствами. В болгарском языке слово *бара* значит лужа, канава. Кроме болгарского и сербохорв. языков, слово *bara* или *bar* в значении болота известно и всем прочим славянским языкам, а на территории б. Сувалкск. губ. в Польше мы имеем и озеро Barzyn (см. Berneker, Sl. etym. Wörterb. 43). К этой-же основе отношу и южно-русск. *балка*, и алб. bal'tɛ — грязь, болото и слав. блато — *болото*, и рум. baltă, новогр. *βάλτη*, ломбард. palta, ладинск. (ретором.) и пьемонт. pauta, не видя никакой надобности разыскивать, у кого заимствовали свои термины румыны и греки, у славян или албанцев: это общеяфетическое наследие Средиземноморья, этимологически представляющее собой племенное название народа *беров* или *иберов*.

Знаменитая в культурно-исторической жизни южного славянства река *Вардар*, *"Αξιος* — у греческих и римских писателей, *Велика* — в средние века у болгар и сербов в верхнем и среднем своем течении, в области которой в конце IX и в начале X вв. протекла просветительная деятельность непосредственного ученика, сотрудника и биографа славянских первоучителей Кирилла и Мефодия, *Климента* словенского, епископа Величьского, только

что подверглась детальному этимологическому обследованию проф. Софийского университета, Йордана Иванова в III кн. Софийского издания «Македонски Прегледъ» за 1925 год (стр. 17—28).

Автор полагает, что славянское *Велика* есть условный перевод греческого названия этой реки — *Ἄξιος*; что же касается имени *Вардар*, то автору представляется, что это есть позднейшее, третье название, вытеснившее два предыдущих: наиболее древнее — *Ἄξιος* и следующее *Велика*. Имя *Вардар* впервые упоминается в памятниках с XI в.

В византийской литературе была попытка объяснить это имя реки от имени Варда Склир, крупного византийского генерала и кандидата на престол, получившего в X в. на нижнем течении реки обширные владения (дополнитель Иоанна Скилицы). Турецкий географ XVII в., Хаджи Калфа объяснял то же название, как сложное из двух турецких слов: *вар* — есть, имеется и *дар* — узко, тесно, т. е. узкая река, что противоречит, однако, обычной в литературе характеристике данной реки, именно, как широкой, великой реки. Новейшие исследователи, напр. Иречек, ставят имя реки *Вардар* в связь с именем народа *вардариоты*. Проф. Иванов идет дальше и пытается вскрыть этимологию слова. Исходя из того, что в IX в. в области реки *Ἄξιος* были поселены персидские колонисты, по объяснению византийских писателей, получившие имя от реки — вардариоты, автор в персидском языке ищет разрешения этимологической загадки. Шафарик искал его в турецком языке, видя в *-дар, -дер, -дере* слово «река». Принимая слово *βαρ-δαριος* за слово персидского происхождения, проф. Иванов переводит его — «большая река», ибо, говорит он, в персидско-иранских наречиях прилагательное *бар, вар, уар, баро* значит «большой», а существ. *дария* значит «река»; ср. Амударья, Сыр-дарья, т. е. «река Аму», «река Сыр».

Таким образом, полагает проф. Иванов, название *Вардар* есть персидское слово и представляет собою дословный перевод славянского названия той же реки — *Велика*. Слово *вардариот*

есть позднейшее греческое название персидских колонистов в области р. Вардара. В этой же области лежит сейчас с. *Вардаровци*, город *Енидже-Вардар*, и нижневардарская долина у местного славянского населения носит имя *Вардарйя*, по-турецки *Вардар-оваси*.

Догадка проф. Иванова не лишена некоторой вероятности, но вместе с тем искусственность ее очевидна. Во-первых, в нашем распоряжении нет никаких данных, которые говорили бы о том, что р. Вардар *на всем своем протяжении* носила когда-либо славянское имя *Велика*: это название документально установлено только для верхнего ее течения. Во-вторых, все построение страдает искусственностью: какие то персы, в весьма незначительном количестве поселенные на нижнем течении р. Вардара несомненно среди массового славянского населения области, переводят славянское название реки на свой персидский язык; это название вытесняет прежние названия той же реки, греческое и славянское, распространяется на все ее протяжение и не только утверждается за рекою, но служит основою для названия народа, поселенного на ее берегах!

Мы не можем утверждать, что ничего подобного не могло быть в действительности, но если такой факт и имел место, то его нужно рассматривать, во всяком случае, как очень редкое явление в области этнической номенклатуры и топонимики.

Гораздо проще и естественнее видеть в названии реки *Вардар* старое местное доперсидское и дославянское название, по своей этимологии составное яфетическое слово, в котором первая часть есть то же *bar*, с которым мы только что познакомились выше из весьма обширного топонимического материала на Балк. п.; вторая же часть представляет собою ту же яфетическую основу, которая лежит и в общеизвестном слове *don*, по яфетически — «река». Таким образом, слово *Вардар* в переводе на русский язык дословно значило бы «Вар-река» или «река-река». Думаю, что и слав. название той же реки или известной ее части *Велика* есть на перевод греч. *Ἄξιος*, но славянская народная

этимологизация дославянского местного яфетического: bar || bal, ber || bel, wer || wel [1].

buȓ, buȓɛ M. 55 — мужчина, муж.; Pekmezi buȓɛ — мужчина, герой (234). *Χριστοφορ.* 56 — муж., герой. Meyer возводит к герм. *bûro — в Bauer, древн. gibûro сожитель, bûr — дом, комната, аглс. bûr — жилище и связывает с алб. далм. — иллир. фамилию Burius, отстраняя ит. barone, цыг. burò жених. К той же основе M. относит алб. mbuȓ — хвала, прославление, mbuȓem хвастаюсь, горжусь, сущ. mbuȓɛsì f. гордость, похвальба, слава.

Уже эта характерная семантика слова подсказывает нам, где мы должны искать его первоисточник. Meyer'овская этимология бессильна что либо сделать в этом отношении: она — тупик. Выход из него мы найдем в яфетич. ber < bur, т. е. *iber*, народ иберы, откуда становится понятным и значение алб. buȓ — «герой» и производных от него глаголов mbuȓ, mbuȓem, а также и фамилии Burius. Мало того, и самый тупик уничтожается с помощью того же ибера, раскрывающего нам палеоэтнологию социального германского термина *bauer*, подобно др.-русск. *смерду*, о чем см. Н. Я. Марр: Об яфетической теории (Новый Восток, № 5, стр. 237). Таким образом, герм. *bauer* и др.-русск. *смерд* представляют собою разновидности одной и той же яфетической основы *i-ber*. Но и гер. *baron* и русск. *барин* незачем исключать из той же обширной семьи дериватов яфетического bĕr < bur.

g'arpɛr, гег. g'alpɛr, скут. džarp; мн. ч. gɛrpén', gɛrpin; кал. g'ɛlpèn', гег. g'àrpi и т. д. M. 137; Hahn — g'àrpɛr, гег. g'àrpɛn; *Χριστοφορ.* g'àrpɛrɛ, гег. g'àrpɛnɛ; в нашем алб. говоре — g'arp, мн. ч. g'àrpɛr — змея. По Meyer-у, из gierp, ср. др. инд. sarpati — ползет, sarpa — змея, лат. serpo serpens, serpula, греч. ἕρπω.

---

[1] Следует отметить уэльское *dwr* река, в той или иной форме, в том числе и в форме — *dar*, входящее в состав названий многих рек Англии — Dour, Duir, Thur, Doro, Dairan, Adar, Cheddar, Darwen, Darent, Dart и т. д. Ср. во Франции — Dordogne (из Duranius), Eure (из Antura); в Испании — Duero; в Германии — Oder.

Первопачальною формою мн. ч. для g'arp M. считает štεrpìn', štεrpèn' — «все ползающее», представляющее собою другое основообразование с ударенным суффиксом srp — ìn, где sr развилось в str по примеру слав. и герм. (stru — вм. sru —); g'εrpìn', по М., есть слияние из g'arp и štεrpìn'. Искусственность и натяжка этимологии Meyer'a делают ее мало убедительной, а по существу и невероятной.

Алб. g'arp — представляет собою, конечно, не что иное, как спирантизованную форму, которой соответствуют сибилянтные sarp — serp и пр., и должно быть поставлено в связь с мегрельск. *gueri* змея (*Яф.* Сборн. I, 130), *gvel* «звериный тотем иберов» (Нов. Вост., № 5, 318), имеющий своим соответствием в сибилянтной ветви sper || spel ⟶ smer || smel, в связи с чем и «змей» (smer — zmer), как и волк — тотем иберов.

mal' — в исследованном нами украинском алб. говоре имеет значение — *лес*; у М. — *гора* (256); то же: у Hahn'a — *μάλλj-i*, мн. ч. *μάλλjε-τε* (66); Pekmezi, 257, Pedersen, Alb. Texte m. Glossar, 153. Повидимому, это последнее и есть исконное значение слова, засвидетельствованное, между прочим, и топонимикой: древнеиллирийский город Dimallum, что по-албански значило бы «две горы» или «Двоегорие», и Dacia maluensis = Dacia ripensis (см. Schrader, Anmerkungen — к Kulturpflanzen u. Hausthiere Hehn-a, Berl. 1894, стр. 532). То же слово в значении *берег* присутствует в румынском mal, которое Densusianu объясняет, между прочим, заимствованием из алб. (Hist. de langue roum. I, 350), летском mala, ирландск. mala. Его же мы должны видеть, несомненно, и в названии о. Мальта, где окончание — ta есть характерный, в частности, для алб. показатель множественности.

Что касается нашего значения того же алб. слова — *лес*, то вместе с значением — *гора* оно представляет собою такой-же случай семантической контаминации, что и болг. gurà, означающее одновременно и *лес* и *гору*, кстати сказать, с тою же, несомненно, основою, что и алб. gur — камень (Pedersen, KZ, XXXVI, 319). Аналогичный факт имеет место в лит. gìre, gìria, лет. dsire —

лес при др.-инд. giriš — гора; исп. monte тоже имеет значение «гора» и «лес» (см. Berneker, Sl. ethym. Wörterb., 329). Алб. mal' Meyer возводит к индоевр. основе, сохранившейся в др.-слав. iz-molěti, н.-слав. molěti — (?) торчать, выдаваться (257); у Востокова изъмылѣти или изъмлѣти — с тем же значением (Словарь, 155).

mot — год. Отмеченному в нашем украинском алб. говоре vīt — годы (мн. ч.!) и sa vìšme — сколько ему лет? у М. соответствует vjet, vit — год (стр. 475). Для ед. ч. того же понятия в нашем говоре отмечено мною слово motmot, откуда и motmotiš — me — однолеток, представляющее собою дублированное слово mot, отмеченное у М. в значении — год, погода (стр. 263), восходящее, повидимому, к той же основе, что и глагол mat или mas — меряю, сущ. matɛ, masɛ — мера, родственное литовск. matůju — мерю и mētas — время, год, памирск. meth, math, mathān — день. От той же основы, по М., алб. mošatar — ровесник, сверстник. Румынск. moš — старик, дед М. объясняет, как заимствование из алб. mošɛ — с тем же значением [1], производные от которого проникли и к украинским русинам (стр. 263).

Кроме указанных выше, в нашем говоре мною отмечены: matɛ — мера, глагол un maϑ — меряю, inf. tɛ maϑ — мерять, и частица moš при именах отчества: m'ītri moš tòdres — Дмитрий Федорович; последнее у М. не отмечено.

Если с алб. mat, mas, matɛ, masɛ и пр. мы поставили в связь не только лит. mētas и рум. moš, но также и слав. mēta — мѣтити, мы получим новый интересный факт праязыкового яфетического наследия в одной из индоевропейских групп.

perɛndì, perendì, записанное нами в нашем алб. говоре в форме perendì с одним только значением — бог, имеет своими соответствиями у Hahn'a: perndì, гег. perɛndì — бог (стр. 98); у Meyer'a: perɛndî, perndî — бог, в говорах — небо (328); у Pekmezi — perendi — бог (266); *К. Χριστοφορίδι* в своем сло-

---

[1] На той же точке зрения и Densusianu, назв. соч. I, 354.

варе *Λεξικον της αλβανικης γλωσσης* отмечает perεndi — бог для тоскского наречия (313); H. Pedersen в своих Albanesische Texte: perεndi (175) — бог; G. Weigand в своей грамм. Albanesische Grammatik (1913) для южно-гегийского диалекта приводит pεrìnd, pεrìndεn в значении родитель (стр. 25). G. Meyer объясняет слово из лат. *imperantorem; но так как такой формы в языке не существует, а объяснить албанское слово ему необходимо из латинск., то он придумывает комбинацию формы imperantem с суффиксом — or. Специальное внимание интересующему нас слову уделил H. Pedersen в статье Albanische Etymologien (Beiträge zur Kunde d. indog. Sprachen, XX B. 1894, 228), вскрыв несостоятельность этимологии Meyer'а. В perεn-di он склонен видеть слияние, в котором вторая часть — di представляет собою начальную форму слова *день*, а первая идентична с славянским *Перун* и лит. Perkúnas. Pedersen считает слав. *Перун* заимствованным из иллирийского. Таким образом, отвергнув заимствование, Pedersen аннулировал мейеровскую экспроприацию албанского бога; но объяснила ли нам, в конце концов, что либо и этимология Pedersen'а? Приходится признать, что и попытка Pedersen'а вскрыть подлинное происхождение албанского бога так же неудачна, как и фантастическая этимология G. Meyer'а. А между тем, действительно, где же, как не в объектах культа и связанных с ними представлениях, искать следов живой старины, и она прекрасно вскрывается в данном случае из персидского birindž — медь, цинк, представляющего собою, по толкованию Н. Я. Марра, яфетическое наследие в персидск. яз.; ср. из грузинск. spilenďi || hpilenďi, арм. pəginď (←*hpirinď) — см. его «Тальши», стр. 9. Отсюда и слав. Перун и лит. perkunas, но не как заимствования из иллирийского, а как наследие собственной живой яфетической старины.

ùjε — вода, по М. родственное с др.-инд. udan —, лат. unda, греч. ὕδωρ, слав. вода (то же Pekmezi, Gramm., стр. 63), несомненно — одно и то же с баскским ura — вода, алб. urε — мост и алб. же uδε — дорога; связь между алб. urε — uδε — подтвер-

ждена Jokl (Studien zur albanesischen Etymologie u. Wortbildung. Sitzungsberichte d. W. Akad. 168 B. W. 1911).

vèrɛ по тоскскому наречию и vènɛ по гегскому — *вино* отмечено мною в нашем албанском говоре в тоскской форме vèrɛ. Алб. ven- ‖ ver- вместе с греко-лат. vin-voin восходят к той же яфетической группе, откуда и грузинск. gvino — вино, venaq̇ — лоза и виноградник, удинск. bine — виноградник, сад и т. д. с характерной для шипящей группы яфетических языков перегласовкой в албанском n ‖ r.

В тесной связи с vèrɛ стоит и отмеченное нами у наших албанцев, но неизвестное Meyer'у, vrešt — виноградник, тождественное с старославянским вրъть, врътоградъ — виноградник, и современным сербским вр̑т — сад.

С алб. ruš — виноград M. склонен видеть родственную связь слав. гроздъ, грездъ, предполагая в них заимствование. Во всяком случае, алб. ruš проливает свет на загадочное южно-слав. rojno vino.

Итак, мы располагаем сейчас уже достаточным материалом для того, чтобы определить албанский язык, как один из живых яфетических языков, родственный на западе — баскскому яз. и на востоке — группе яфетических языков современного Кавказа — грузинскому, мегрельскому, сванскому, абхазскому и ближайшим образом армянскому, равным образом как и целому ряду вымерших яфетических языков, вроде этрусского, шумерского, скифского и пр.[1] Современные нам албанцы, как и баски, это потомки древних яфетидов, язык которых уже в позднейшее время, развиваясь органически из своей протоосновы, в процессе скрещений и новых международных отношений, впитал в себя, однако, также и некоторый иноземный элемент ввиде славянских, латино-романских, германских, греческих и турецких слов и выражений,

[1] Когда настоящая статья была уже сверстана, в печати появилась новая работа Н. Я. Марра: «Из поездки к европейским яфетидам». — Яф. сборн. III (1925) с новыми ценными данными по албанскому языку и топонимике, которые, к сожалению, не могли быть мною использованы. *Н. Д.*

отчего, однако, язык в своей основе не перестал быть тем, чем он был и раньше, т. е. яфетическим языком, в котором естественно имеется много общего протоисторического достояния со всею группою яфетических языков; исследование этого общего достояния и составляет основную задачу современного албановедения, более сложную, но, несомненно, и более плодотворную, чем та задача, какую в области албановедения ставила себе до сих пор индоевропейская лингвистика и этнология.

Н. Державин.

Origine japhétique de la langue basque.

(Notice préliminaire rédigée conformément à l'état actuel de développement de la théorie nouvelle).

Introduction.

Le célèbre poète russe Griboyedoff qui eut la mauvaise chance de périr en Perse a énoncé une sentence devenue parmi les Russes un dicton — «c'est une tradition de fraîche date, mais difficile à croire»; c'est ce dicton qui revient involontairement à la mémoire, quand il s'agit du sort des études japhétiques, de leur développement en ces dernières années, j'oserais même dire, sans reculer devant une telle affirmation, en ces derniers mois et en ces dernières semaines. Il ne s'agit point du sort des études japhétiques au dehors, de son progrès parmi les érudits des corps savants chez nous ou à l'étranger: en s'attachant à cet espoir, on succomberait d'une manière plus sûre et plus funeste, qu'en Orient loin de sa patrie ne succomba l'écrivain russe plein de sarcasmes et de remarques acerbes dans la peinture des moeurs nationales de son pays. Parmi les professionnels de la linguistique on en est encore envers la théorie nouvelle à l'état d'analphabétisme, on ne connaît même pas — c'est un fait qu'on est obligé d'admettre — le système de la transcription japhétique. Ce qui nous occupe, au contraire, c'est une série d'idées d'importance générale, émanées d'observation de faits nouveaux, dont le rapide accroissement dans nos recherches devient, en somme, de plus en plus périlleux faute de forces indispensables qui pourraient être mises en oeuvre pour les approfondir et accélerer le triomphe au moins de ce qui est atteint depuis longtemps et présente une

acquisition définitive de la science. Ce développement rapide des études japhétiques à l'intérieur dérange assurément nos entreprises de longue haleine, et nous empêche de mener à bien l'élaboration d'un problème, comme celui de l'origine japhétique de la langue basque, problème qu'on pourrait croire plus simple qu'il ne l'est en réalité. En ce moment il paraît même superflu d'exposer des arguments au profit de la parenté simple du basque et des langues japhétiques du Caucase. Nous en étions du reste à cette question il a y cinq ans. Après mon premier séjour chez les Basques, mes premières observations immédiates terminées sur le parler basque en France, on m'encourageait et me faisait espérer, du côté des Euscariens d'Espagne, un auditoire attentif, certes désirable dans le milieu national. A l'aimable proposition de Mgr de Azkue d'exposer mes idées sur cette question, je m'empressai de donner la traduction française de ma communication préliminaire russe sur l'origine japhétique du basque, faite quelques mois auparavant à l'Académie des Sciences de Russie (actuellement de l'URSS). La traduction était accompagnée d'une lettre, à titre de préambule, dans laquelle j'attestais que mes études basques, alors récemment faites pendant mon séjour à Bayonne, dans le milieu national du peuple, ayant un intérêt de premier ordre pour l'étude préhistorique de l'Europe, ne font que confirmer davantage l'opinion émise dans la notice préliminaire russe de l'origine japhétique du basque [1]. En ce temps-là, il ne s'agissait déjà plus de constater tout simplement la parenté, mais de déterminer d'une façon plus précise la place du basque parmi les langues de souche japhétique et les mesures pratiques nécessaires pour composer la grammaire de la langue basque, envisagée comme une langue de souche japhétique et pour avancer en général les études basques selon les principes de la théorie nouvelle non connue en Occident et naturellement méconnue. C'est aussi très naturel qu'en Occi-

[1] Об яфетическом происхождении баскского языка (ИАН, 1920, pp. 131—142).

dent, de même qu'en Occident basque, la proposition faite si aimablement n'eut pas de suite. La traduction de ma notice préliminaire russe sur l'origine japhétique du basque de même que ma lettre qui l'accompagnait, toutes les deux surannées en ce moment, ont eu le sort des êtres non destinés à voir le jour à temps. Du reste en attestant l'état suranné des deux écrits nommés, nous jugeons du point de vue actuel de la théorie japhétique. Pour le reste du monde savant tous les deux, même aujourd'hui, auraient été une nouveauté, et l'un d'eux, ma lettre à Monseigneur de Azkue qui devait servir de préambule à la communication préliminaire, contient vraiment quelques points non dépourvus d'actualité. De plus, la lettre à Monseigneur Azkue pouvait montrer où nous en étions en général dans la question basque il n'y a qu'un lustre. Voici cette lettre:

I.

«Cher collègue Monsieur de Azkue,

En confiant à vos soins, pour la faire imprimer, la traduction française de mon article préliminaire sur le basque, faite avec un empressement cordial par mon neveu, dont j'ai toutes les raisons d'apprécier l'amabilité, et seulement revue par moi, je vous demande la permission, d'y joindre quelques remarques additionnelles à titre de préambule.

Tout d'abord je notifie que le texte est laissé sans aucun changement tel qu'il a paru dans l'original russe, présentant un exposé des motifs qui devaient justifier aux yeux de la haute assemblée savante mon intention d'entreprendre une excursion linguistique dans la région peuplée par les Basques et non une thèse élaborée sur la parenté du basque avec les langues japhétiques.

Après des mois de travail, dont deux quinzaines passées au pays basque, c'est tout naturel que je sois à même d'ajouter une série de faits nouveaux ou considérations toujours en faveur de

la thèse; je pourrais aussi donner plus de précision à mes pensées générales. Pour soutenir la justesse des étymologies proposées dans la Notice, il me serait aisé maintenant de les pourvoir de preuves nouvelles plus décisives, tirées du basque même, comme par ex., l'archétype «^{s}hemer» pour «^{s}heme» («seme») 'fils' qui se dégage du génitif pluriel «^{s}hemer-en» («semer-en»), où l'«r» est un radical primordial restitué et non une consonne euphonique, comme le supposait Van Eys, ni l'élément pronominal, comme l'explique M. Winkler[1]. Personnellement je jugerais plus utile de toucher dans ma Notice la question de l'accent basque, surtout celui du dialecte souletin qui nous promet de donner un nouveau point d'appui pour rattacher une certaine couche du basque à une couche correspondante, dans les anciennes langues littéraires géorgienne et arménienne, couche probablement basque (mesque) ou ibérique, ce qui reste encore à établir[2].

Mais ce qui importe à présent, c'est de préparer une grammaire basque, élaborée sur la base japhétidologique. Le temps n'est plus où l'on énonçait l'opinion de la parenté de la langue basque avec les langues indigènes du Caucase[3]. L'heure a sonné depuis longtemps de mettre l'idée en oeuvre, et qu'on enregistre les matériaux tirés du basque dans une grammaire selon les règles japhétiques. On est déjà bien en retard, et, à mon avis, il serait superflu de perdre du temps à discourir sur une

---

[1] L. c. ci-dessous, p. 198, note I.

[2] C'est dans la suite que les termes «bas-k» et «ı-ber» ont trouvé avec le progrès de la paléontologie leur explication comme variantes dialectales du même nom ethnique, ce qui ne tranche guère d'avance la question de leur valeur réelle dans des cas différents.

[3] J'ai lu avec une grande satisfaction dans l'étude très intéressante de M. Schuchart «Tsigurri» les lignes suivantes (Rev. intern. d. Et. Basques, 1912, p. 110): «Jedenfalls hat man insofern Recht mein Ergebnis als ein etwas dürftiges zu bezeichnen, als es die Hauptfrage unentschieden lässt ob das Baskische dem Hamito-semitischen oder dem Kaukasischen näher zu rücken ist». En admettant une telle manière de voir, on marche déjà sur la frontière de notre théorie; il ne manque que le discernement de deux perspectives, hamito-sémitique et japhéto-sémitique, pour franchir la frontière et être sur le terrain sûr de la théorie japhétique.

thèse, que beaucoup ne veulent pas entendre. Il faut créer des entendeurs, de bons entendeurs.

L'idée date de cinq siècles, mais non la méthode de traiter la question.

Un historien espagnol du XV-e siècle Marguerite mit le premier la question sur le tapis: il s'appuyait sur des témoignages des historiens et des écrivains en général pour attester l'origine caucasique de la population primitive de la péninsule des Pyrénées. Quatre siècles plus tard un autre historien, toujours de nationalité espagnole, a essayé de défendre la même idée en se basant sur des données linguistiques. Il est cité dans ma Notice. Rien de plus juste et de plus réel que les assertions d'un membre de l'Académie de Madrid, R. P. Fidel Fita, si on ne considère qu'en ses traits généraux sa thèse sur la parenté de la langue de la population primitive de l'Espagne avec le géorgien; mais ses preuves ne sont pas à la hauteur du problème; elles ne font que l'obscurcir quand l'auteur essaie de préciser ses jugements et quand on descend avec lui sur le terrain des faits matériels. De plus, reste à savoir ce que désirait prouver R. P. F. Fita: la parenté du basque avec le géorgien au profit de laquelle il ne manqua pas d'ailleurs d'apporter — quelquefois par accident — des faits importants, ou la parenté de toutes les langues, même du sanscrit avec l'arabe, dont il a utilisé sans réserve les ressemblances superficielles et fortuites pour rapprocher ces langues de différentes souches[1]. Et si Marguerite et, n'oublions pas non plus Hervas, comme Pierre abjurant[2], pouvaient pour se justifier s'en rapporter à l'époque, à laquelle ils appartenaient, le cas n'est pas le même avec F. Fita. L'éminent historien espagnol me rappellerait l'attitude d'un brave soldat luttant

[1] A présent le mirage de la descendance indépendante des diverses souches de langues, même dites indo-européennes, s'est évanoui, du moins pour les japhétisants, mais au fond ce fait ne change aucunement notre opinion sur la valeur des assertions de l'historien espagnol sur la parenté du basque avec le géorgien.

[2] Écrivain érudit de son temps, il y a plus d'un siècle, ce dernier renonça par suite à son opinion sur ce sujet.

au XIX siècle pour la belle et pour la bonne cause tout à fait sans armes ou avec celles de l'époque préhistorique. Cependant ce problème est très compliqué. En vain l'aborderait-on avec la fronde du roi David. La tâche n'est même pas à la portée de ceux qui ne manient en maîtres que des outils bien ciselés du XIX siècle, — les moyens de la linguistique indoeuropéenne.

Du reste il manquait à F. Fita la connaissance du géorgien, par lequel il s'efforçait de rouvrir la boîte mystérieuse du basque. Le même défaut s'accuse dans le traité très instructif de M. Heinrich Winkler [1]. Si j'avais disposé de ce livre à Pétersbourg, quand je rédigeais le texte russe de ma Notice, je me serais servi de quelques passages, ou pour corroborer mes opinions ou pour insérer dans le même article des faits qui ne sont point touchés dans l'étude de M. Winkler ou y sont erronés. Guidé uniquement par des recherches sur les langues japhétiques orientales, j'étais indépendamment ramené à ma thèse au cours de mes investigations. Et ce n'est peut-être qu'un fait de meilleure augure pour la thèse. Le fait est que nous sommes arrivés, M. Winkler et moi, aux mêmes conclusions dans leur substance, en envisageant les mêmes matériaux à des points de vue bien différents. Sans doute c'est dommage que M. Winkler ne fût pas versé dans la littérature russe sur la philologie arméno-géorgienne. Cela lui aurait épargné l'élucubration toute primaire sur les emprunts faits par la langue géorgienne à d'autres, celles dites «caucasiques» de même qu'à l'arménien, à l'iranien, au turc etc. Avec des moyens de renseignement si limités il aurait bien fait de ne pas trop s'appesantir sur les relations des langues, qu'on continue en Occident, faute de perspective de la classification selon la science du langage, à définir par le terme de géographie «caucasiques», avec les langues finno-ougriennes, altaïques et indoeuropéennes, ou du moins de ne point traiter dans son livre la

---

[1] Das Baskische und der vorderasiatisch-mittelländische Völker- und Kulturkreis, Breslau 1909.

question de leur parenté génétique conjecturale des époques infiniment reculées[1]. Pour mettre en évidence l'absence totale chez M. Winkler de connaissance historique de la langue géorgienne et de celles qui lui sont plus étroitement apparentées, il suffirait de citer ici les lignes (p. II), où il énumère les déterminaisons des cas dans les «langues du Caucase méridional», à proprement parler dans les deux groupes, le sifflant et le chuintant, de la branche sibilante de la souche japhétique; il suffirait de montrer, comme il traite le cas datif pronominal ou datif deuxième. Pour marquer sa perspicacité toute superficielle dans la morphologie géorgienne on pourrait relire aussi l'analyse du mot géorgien «sadgom-i» telle qu'elle suit (p. 41): «sa = sein, Ort, wo...... a-dgomi = sein (wo), Ort, wo stehe(n) = Haltepunkt». Manquant de la compréhension historique de l'état actuel phonique des pronoms M. Winkler poussa sa distinction entre les langues «caucasiques du nord et du sud» jusqu'à voir dans les pronoms personnels géorgiens «me» (← «*me-n»), «men»[2] un emprunt à une autre souche des langues[3]. Une connaissance quelque peu avancée des «langues du Caucase méridional» pourrait plus que lui faire franchir l'abîme insondable qui lui paraissait exister auparavant dans les relations phoniques entre la langue basque et celles du Caucase[4]; il modifierait son opinion sur le multicon-

[1] Les rapports des langues japhétiques et de celles du groupe finno-ougrien commencent maintenant à se découvrir grâce au progrès de la théorie nouvelle, mais nous avons ici d'autres procédés d'argumentation, une autre méthode (v. p. 209) et notre appréciation de l'hypothèse du prof. Winkler ne se change point en essence.

[2] L'idée d'envisager ces pronoms comme des formes du pluriel, même quand il s'agit de 'moi', de 'toi' (cfr. ahkh. «sa-ra» 'moi', «wa-ra» 'toi')—géorg. «m-en», «m-en», ne perd point sa force pour les temps postérieurs, époques morphologiques, mais la paléontologie nous suggère qu'à l'état primordial ces pronoms n'étaient que noms complets qui ne se décomposent pas comme la forme plurielle.

[3] L. c., p. 14, note 2.

[4] L. c., p. 34—35. «So wiedersinnig das scheinen mag bei den in kaukasischen Sprachen möglichen, fast unglaublichen Kombinationen von Konsonantenlauten, so hat mich doch gerade das baskische Lautsystem bei näherer Prüfung, in meiner Ansicht von den Beziehungen der beiden Typen auf das nachhaltigste bestärkt; ich gebe zu, dass ich früher hier eine unüberbrückbare Kluft zu sehen meinte».

sonnantisme des «langues du Caucase méridional», à savoir du groupe chuintant, qui se caractérise avant tout par «le vocalisme plein», et c'est justement à ce groupe que remonte l'une des deux couches fondamentales du basque, de même que la couche correspondante pré-indoeuropéenne de chacune des deux langues hybrides (japhéto-indoeuropéennes) de l'Arménie[1].

L'auteur n'est pas dans un état plus heureux quand il analyse, par ex., les pronoms personnels abkhazes, en y reconnaissant le suffixe «-ara» au lieu de «-ra» comme un élément pronominal[2], tandis que ce n'est que le formatif du pluriel, ce qui n'empêche pas que les pronoms à cette déterminaison ne s'emploient qu'au sens de singulier. Etudiant les pronoms sans perspective historique M. Winkler ne trouve pas de meilleure qualification que «estropiés» pour les radicaux purs pronominaux «s», «u» (↘«w»)[3] qui forment les thèmes simples «sa», «wa» dans la langue abkhaze.

Certes M. Winkler n'est point dépourvu de connaissance du géorgien et de ses proches parents, mais son savoir, s'il n'est pas de l'époque préhistorique, relève toujours de l'état de la science qui a (déjà) été surpassée par notre théorie spéciale. Néanmoins, nous avons à noter dans l'opuscule de M. Winkler des remarques très justes et parfois vraiment géniales, on dirait plutôt des divinations heureuses vu surtout l'insuffisance des renseignements matériels de l'auteur. Cependant la défaillance de M. Winkler dans cette matière n'ajoutait rien aux armes d'attaque, dont disposaient ses adversaires pour faire échouer le triomphe de sa thèse principale. Le mieux renseigné ne pourrait faire que corroborer davantage les assertions de l'auteur. Par ex., il n'est pas exact, quand M. Winkler affirme que «l'instrumental» du sujet domine dans la plupart des «langues du Caucase septentrional», comme dans le

[1] Dans les idées actuelles de la théorie japhétique ces deux langues ne présentent avant tout que les types de transition de l'état japhétique à l'état indoeuropéen.

[2] L. c., p. 16.

[3] L. c., p. 23: «Die verstümmelten Formen».

basque. Mais son inexactitude est toute formelle: le cas du sujet au fond n'est point instrumental, mais le datif, parfois aussi le génitif, comme l'a d'ailleurs remarqué M. Winkler lui-même [1] et s'il avait connu ce fait à fond dans son ambiance naturelle, il aurait insisté avec plus d'énergie sur ce trait commun à toutes les langues japhétiques, y compris les «langues du Caucase méridional» et le basque; en outre il ne se serait pas permis d'affirmer le manque des formes passives à ces langues dans leur ensemble [2]. En général de son manque de sentiment d'ensemble envers les langues japhétiques du Caucase il s'ensuit que M. Winkler a pris pour originelles des formations postérieures, des formes usées dans lesquelles les exposants matériels des catégories idéales ne se sont pas conservés; il estima les phénomènes modernes comme primitifs [3]. Par conséquent il exagère le rôle du symbolisme dans la morphologie. N'ayant aucune idée claire sur les origines compliquées des mots japhétiques aux bases «redoublées» ou «avec des variations des consonnes ou des voyelles» [4], — des mots qui sont produits parfois par la fusion de deux synonymes ou de deux courants phoniques, appartenant à deux langues différentes, due au croisement ethnique des tribus, M. Winkler a été obligé de faire une large part au symbolisme, aux éléments matériels sans la substance significative dans la création du lexique. Ainsi nous voyons dans son traité de telles assertions comme si de la nature des langues japhétiques ressortent des catégories idéales sans les éléments qui les expriment; comme si ces langues n'étaient pas susceptibles d'être traitées d'après les grandes lois de la linguistique générale, ou encore, pour nous

---

1 P. 19, note 1.

2 P. 12, note 2, «Von einer Passivgeltung des Verbes war dabei gar keine Rede, dafür haben diese Sprachen grösstenteils gar keinen Sinn».

3 Je m'empresse de constater que je ne nie point la présence de catégories grammaticales primordiales, sans formations spéciales, mais le symbolisme n'y joue guère un grand rôle, c'est la survivance de l'état où la syntaxe prenait encore la place de l'étymologie.

4 La substance d'une catégorie des mots composés, néanmoins, est clairement saisie par M. Winkler (p. 43, note I).

rapprocher de notre question, comme si dans le basque nous avions un état primaire de la formation des verbes, plus claire qu'elle ne l'est dans les langues japhétiques du Caucase. Le fait est que le basque, loin d'être primitif, ce que rejette décidement M. Winkler lui-même (p. 49—50), est bien éloigné de la simplicité de structure, parce qu'il est une langue croisée. Sa clarté séduisante ne fait que voiler par des phénomènes postérieurs un entrelacement d'éléments et de couches entières qui remontent aux différentes branches et aux différents groupes de la souche japhétique.

En même temps M. Winkler affirme dans des termes trop décisifs que le basque a conservé d'une manière remarquable son caractère primordial et s'est moins éloigné des apparentés qu'on ne l'admet. Mais cette constatation de la part de M. Winkler paraît préconçue, en tout cas prématurée, tant qu'il ne disposait pas de moyens nécessaires de la grammaire comparée des langues japhétiques et bien plus encore, il avouait son impuissance à avoir les matériaux nécessaires pour en ébaucher les traits essentiels. En pareilles circonstances il peut arriver que cela même qui paraît d'une date moderne soit un legs d'une époque reculée et vice versa. Théoriquement M. Winkler était, on ne le peut nier, très conscient des périls auxquels il courait; lui-même il nous met en garde contre eux dans des termes tout clairs[1], mais ce n'étaient que de bonnes intentions ou de la phraséologie critique qui ne servait à rien, à défaut des moyens sûrs de contrôle, comme nous voyons de l'étymologie fameuse de «emekume» 'femme' qu'il répète sans y rien reprendre (p. 41, note): «emakume Frau, eigentlich geben-Kind» (cnfr. § 15).

---

[1] L. c., p. 40 note 2. «Ich habe mich daher im Folgenden bemüht überall ursprünglichste, am wenigsten verstümmelte baskische Form zu eruiren um nicht durch zufällige Lautanklänge in verstümmelten Gebilden mich irreführen zu lassen», ou encore p. 41, note I: «Hieraus wie aus zahllosen anderen scheinbar einfachen Ausdrücken ersieht man, wie wenig man solche Verbindungen ohne genaue Kenntniss des Ursprungs zur Vergleichung heranziehen kann».

Dans ses pensées générales M. Winkler s'approche maintes fois de notre point de vue actuel, mais la divergence s'accuse dans leur précision et dans le traitement des faits matériels. En traitant, par ex., la question des bases redoublées M. Winkler écrit (p. 30): «die etwa entsprechenden Erscheinungen im indogermanischen sind trotz ihrer Häufigkeit auf gewissen Gebieten doch nur vollständig sporadische, verschwindende, und ausserdem, wie ich überzeugt bin, vielfach unter dem starken Einfluss der vorangehenden Sprachschicht, also gerade der baskischen oder dem baskischen verwandten, erst entstanden; es ist wohl kein Zufall, dass die besondere Vorliebe für Doppelungen und ähnliche Klangfiguren weitaus am meisten dort auftritt, wo die der indogermanischen voraufgehende Bevölkerung vermutlich oder sicher iberisch-baskisch war». A part quelques explications de détails, il ne faudrait que substituer aux mots «justement de la couche de la langue basque ou qui lui sont apparentés» leurs équivalents «justement de la couche de la langue basque ou en général japhétique» et aux mots «ibéro-basque» tout simplement le terme «japhétique», pour que je souscrive sans réserve au passage cité. Du reste quand il s'agit des deux langues de l'Arménie, dont M. Winkler ne soupçonnait même pas la différence radicale, on éprouve l'importance exclusive de plus pour la thèse mise en avant dans le passage cité; nous n'avons alors aucune raison d'éliminer du passage les appellations ethniques des Ibères et des Basques, tribus de la population pré-indoeuropéenne du pays, connu plus tard sous la dénomination d' «Arménie». On pourrait par mégarde identifier aussi nos pensées sur la relation des numéraux basques et «causasiques». En effet dans le traitement des noms de cette catégorie je trouve, à ma grande satisfaction, des idées très proches des miennes, formulées dans des propositions parfois identiques avec celles que j'ai énoncées, à part le rapprochement du basque avec le chamitique (p. 35), où M. Winkler aurait supprimé lui-même les noms «bat» 'un', «bederaϑι» 'neuf' et d'aütres encore, s'il avait une connaissance

un peu plus approfondie des langues japhétiques du Caucase; muni de telle connaissance, il n'aurait jamais affirmé qu'il n'y a aucun lien clair dans les noms numéraux entre les langues du Caucase septentrional et méridional, excepté 10 et 5; il aurait été au contraire plus précis et pressant dans sa supposition que les numéraux 8 et aussi 9 dans le basque représentent des formations composées d'une époque primitive. Pour nous c'est le fait qui se dégage toutefois d'une autre analyse de ces numéraux (8 et 9) que ne propose M. Winkler. C'est toujours le manque de savoir de la grammaire comparée des langues japhétiques, surtout de leur phonétique comparée qui a empêché le savant allemand de formuler ses justes idées générales d'une manière plus persuasive et plus saisissante; si M. Winkler était versé dans l'actualité des phénomènes phoniques qui unissent d'un réseau de lois comme d'un lien serré les langues japhétiques pour en former «une famille», plutôt un système à part, il aurait défini la parenté du basque avec les langues «caucasiques» non seulement comme «intérieurement profonde» (innerlich tief), mais aussi comme extérieurement bien exprimée en matière de langage. Enfin je ne peux pas m'empêcher de relever encore une constatation dans le travail remarquable de M. Winkler, une fois l'état des choses dévoilé que les Basques ne font qu'une tribu avec le peuple du même nom (bask, resp. mask || musk || mesk) dans la population pré-indoeuropéenne de l'Arménie: «les Basques», dit-il, «viennent probablement de l'Arménie pré-indoeuropéenne»[1]. Dans le traité de M. Winkler

[1] Mais peu à peu cette question nous a représenté son côté réel qui est loin d'être assez simple pour faire facilement voyager les Basques du Caucase aux Pyrénées ou des Pyrénées au Caucase. Les Basques des Pyrénées sont si fortement et organiquement liés à leur entourage ethnique, c'est-à-dire aux peuples romans qu'on ne peut parler du déplacement isolé des Basques; ce «déplacement» eut lieu sans aucun doute aux temps les plus reculés et dépasse l'ordre usuel des migrations historiques; cette question est donc du fait de l'ordre préhistorique, c'est-à-dire de l'époque de la dispersion ou expansion primordiale du genre humain (v. N. Marr, Классифицир. перечень печатн. работ по яфетидологии, Ленингр. 1926, p. 7), et nous n'avons aucune raison de chercher le berceau de cette expansion ailleurs qu'en Europe même.

(p. 37) on peut[1] croire avoir trouvé la même opinion[2] à savoir, que les Basques viennent du pays «où habitaient les Arméniens ou peut-être les Protoarméniens (probablement caucasiques)». Cependant ce n'est pas le point auquel nous nous rencontrerons. Tout au contraire c'est le point de notre divergence, indépendamment des considérations point impeccables qu'émet à ce sujet M. Winkler et des voies toutes différentes par lesquelles il arrive à ses conclusions. C'est le point de notre divergence, parce que M. Winkler affirme catégoriquement que les Basques n'ont jamais été au sud de la chaîne des monts caucasiens (p. 50): «Die Basken brauchen durchaus nicht jemals im Kaukasus gesessen zu haben, sie haben auch aller Wahrscheinlichkeit nach nie dort gesessen». Les Basques doivent avoir habité d'après M. Winkler au nord du Caucase (p. 52): «. . .die heutigen Basken nördlich vom Kaukasus in Gegenden mit finnischer und türkischer Bevölkerung wohnten». Malheureusement M. Winkler s'appuie sur de tels «faits», que le basque n'est pas si étroitement lié aux langues du Caucase méridional[3], ce qui n'est guère vrai. Mais si la thèse de M. Winkler conserve sa validité, elle ne contrariera point notre compréhension de la question, parce que l'analyse des noms de lieux et, en général, des termes ethniques nous a permis de suivre la migration des Basques[4] sur l'immense étendue de l'Arménie jusqu'au Nord du Caucase[5] et ce que M. Winkler détermine comme la demeure orientale des Basques au nord du Caucase ne serait en réalité qu'une étape de leur migration[6].

---

1 Plutôt on pouvait.

2 Ma première pensée du reste.

3 L. c., p. 51: «Schon die Tatsache, dass ihre Sprache ungleich mehr an die nordkaukasischen Idiome erinnert als an die südkaukasischen, im Bau wie im Wortmaterial, scheint uns hier den Weg zu zeigen».

4 D'après notre opinion actuelle, non la migration, mais les séjours des Basques à l'étape préhistorique de l'expansion collective de toutes les tribus unies en état de croisement primitif [croisement ou plutôt coexistence des germes des tribus non encore différenciées], mais non de la tribu basque isolée.

5 De plus des régions Ouraliennes jusqu'aux parages Atlantiques de l'Europe Occidentale.

6 A modifier: «ne serait qu'un des points de leur séjour dans l'expansion préhistorique».

En dehors de la question basque dans la petite brochure de M. Winkler, nous y trouvons un enrichissement substantiel de la littérature japhétidologique, à l'insu de l'auteur. Il y a une série de suggestions sérieuses et constatations précieuses de faits. Et si, néanmoins, nous nous sommes permis de nous prononcer dans notre Notice préliminaire russe dans ces termes qu' «il n'a pas fait avancer la question basque», la responsabilité de cet insuccès ne retomberait pas autant sur M. Winkler qui, lui-même, avouait bona fide les limites de son savoir des langues «caucasiques»[1]. A mon avis, la responsabilité en revient plutôt à ceux qui avaient porté audacieusement leur verdict soi-disant autoritaire et continuent à le faire sur cette question, n'ayant guère la connaissance des matériaux, même dans une mesure égale à celle de M. Winkler[2]. Jamais dans cette affaire qui date du XV siècle les adversaires de l'origine ethnique commune de la population pré-indoeuropéenne de la péninsule des Pyrénées et du Caucase n'ont fait de démarches effectives pour se mieux renseigner afin de pouvoir se mettre en état de vérifier ce que, par inertie, ils étaient toujours enclins à nier avant de le connaître. Mais tout cela se rapporte au passé, tandis que l'actualité exige de nous l'accomplissement d'une grande tâche qui s'impose à notre génération et plus encore à la génération prochaine — c'est la tâche de mettre en action l'idée découverte qui attend des travailleurs et exige d'eux des sciences multiples. Le problème est immense; il s'agit enfin de la question sur les créateurs de la civilisation méditerranéenne et chaque savant, s'il continue de travailler isolément ne réussira qu'à vite succomber. Il nous faut une réunion de forces et une organisation nouvelle, libre de préjugés scientifiques, de cette pire espèce de préjugés existant surtout dans le domaine humanitaire. Je ne crois pas que nous soyons à même d'y arriver par des voies anciennes. L'énoncement de souhaits ne

---

[1] L. c., p. 1.

[2] A ce sujet j'ai émis mon opinion dans l'article en arménien «L'origine japhétique du mot sumérien tam-dam» (Handes Amsorya, 1921, janvier-février).

nous aidera pas non plus. En abordant un sujet très proche de la question basque D. Auroliano Fernandez-Guerra a exprimé le même souhait: «Esta sorpredente variedad, aquí deleitable, desconsoladora allí, hace dificilisísimo nuestro estudio, y que para adelantar un paso en él tengamos que demandar auxilio à todas las ciencias. No sin causa pintaron los antiguos en amigable coro y unidas de las manos, à las ninfas simbolizadoras de las ciencias y artes. Quien enamorado de una, desprecie las demàs, esteriliza el estudio, embota el ingenio y malogra sus fuerzas casi divinas»[1].

Plus de quarante années se sont écoulées. Et la cause reste toujours stationnaire, sans succès. Il serait vain de se plaindre de l'indifférence des savants ou des instituts ayant de l'autorité qui persistent à déprécier ce qu'ils ne savent pas et ce qu'ils n'aiment point et à rester stériles par pruderie scientifique, outrée tant qu'il s'agit de notre grand problème, quand nous n'opposons à leur indifférence et à leur inertie traditionnelle bien organisée que des efforts désunis et des actes isolés, fussent-ils parfois d'une grande vaillance.

Il ne nous manque pas à nous, mais à la science humanitaire une concentration de forces des explorateurs rejetés par l'école dominante, dévoués aux études des langues du Caucase, de la langue basque, de la langue étrusque, en général des langues japhétiques, y compris les langues de l'Asie Mineure et de la Mésopotamie qui appartiennent à la même grande souche. Les matériaux constatent l'unité de leur origine, les savants qui les explorent sont obligés d'unir leurs forces pour approfondir les études de ces matériaux surabondants et il ne reste qu'à fonder une organisation spéciale sur des bases nouvelles. C'est l'unique moyen de créer des entendeurs, de bons entendeurs et par conséquent des travailleurs conscients qui nous manquent entièrement».

Nos voeux d'avoir des moyens pour faire avancer les études basques, on pourrait le dire, sont exaucés par le Ciel, mais le Ciel de l'Europe orientale, le Ciel Soviétique. En ce moment,

[1] Cantabria (Boletin de la Sociedad Geografica de Madrid, IV, 1878), p. 95.

quand s'imprime cet article, nous avons à Léningrad un Institut des recherches japhétidologiques ou tout simplement Institut Japhétique de l'Académie des Sciences de l'URSS qui compte trois années et demie d'existence. Notre Institut des études comparées des langues et littératures de l'Occident et de l'Orient dispose de deux sections, l'une spécialement japhétique, l'autre, celle de la linguistique générale, où la théorie japhétique a ses représentants. Et ce qui est de bon augure, c'est que dans ce même Institut ont été tenus des cours de basque dont l'un des résultats tangibles est une jeune basquisante, S. L. Bychovskaya, qui est ma collaboratrice dans la publication d'une chrestomatie basque, pourvue du glossaire basque-russe. A Moscou c'est le Comité d'études des langues et des civilisations ethniques du Caucase septentrional (maintenant des peuples orientaux de l'URSS) qui est sur la voie de collaboration. Ces conditions favorables aux études japhétiques et tant d'autres ont poussé la théorie japhétique si loin que j'ai été contraint de changer la thèse de mon article présent, sa partie fondamentale.

Je me préparais à faire ce texte fondamental d'une notice sur la place que le basque occupe ou pour mieux dire que le basque allait prendre, si le fait de l'appartenance du tchouvache à la souche japhétique n'était survenu. Le tchouvache par lui-même ne nous dérangeait guère. Certes le tchouvache nous a donné beaucoup de lumières inattendues. Par un apport de documents linguistiques, de ceux qui se laissent observer dans cette langue même, nous étions plus en état d'élargir le terrain sur lequel s'érigeait le travail comparatif consacré aux langues japhétiques, il nous inspirait à accentuer de plus en plus, les faits aux mains, la disposition des langues japhétiques en couches successives de diverses époques glottogoniques, il nous encourageait dans l'idée, en partie déjà familière, d'appliquer la méthode comparée aux langues de la même souche japhétique, situées sur différents niveaux du développement du langage. Le tchouvache isolé se plie assez docilement pour se soumettre aux lois de correspondances

phonétiques qui règlent les relations mutuelles des langues japhétiques du même ou presque du même état de développement.

Mais la situation fut changée, quand le tchouvache donna les moyens de jeter un pont pour pénétrer dans le milieu turc et un autre pour passer sur le côté finnois et renouer ainsi les liens de parentage, héritage de la vie préhistorique commune, qui unissent aux Japhétides les Finno-Ougriens de même que les Turcs, ceux-ci censés être par la langue les plus proches des Mongols. Désormais il s'agissait donc de faire volte-face et de retourner à la théorie de ceux qui s'efforçaient de prouver la parenté directe du basque et des langues uralo-altaïques? Point du tout. Il s'agissait de trouver la place du basque, non seulement dans le milieu des langues japhétiques, dont il représente l'une des incarnations les plus claires, mais de lui assigner un point déterminé dans la succession de diverses époques du développement des langues japhétiques, de toucher la cause immédiate du fait qui, dorénavant, ne peut être douteux pour les japhétisants, fait de parenté du basque et des langues finno-ougriennes et turques, parenté certes de degrés différents, qui se dévoile certainement par des procédés et par des données, dont on ne soupçonnait pas auparavant l'existence. De plus, il est survenu un nouveau fait qui touche de plus près le problème de l'Europe préhistorique, un fait qui aggrave notre cause. D'après ce fait nouveau les langues dites indoeuropéennes[1] ne représentent qu'une transformation des langues japhétiques, leur développement ultime, mais jamais les langues d'une autre race, jamais celles d'une origine indépendante de la souche japhétique dont les représentants anciens connus des temps historiques, de même que les contemporains ne sont pour nous que des espèces relictaires. L'une d'elles, unique par son importance exceptionnelle pour l'Europe préhistorique et en général pour la question sur les origines des langues anciennes de la Méditerranée, même des langues dites modernes, spécialement ro-

[1] N. Marr. Индоевропейские языки Средиземноморья (ДАН, 1924, pp. 6—7); —Иберо-этрусско-италская скрещенная племенная среда образования индоевропейских языков (ДАН, 1925, pp. 9—10).

manes, c'est le basque. La question de son origine japhétique posée, on a donc raison de s'attendre, si l'on vise à une réponse fondée et décisive, à découvrir non seulement des relations étroites avec les langues japhétiques, mais encore des rapports compliqués entre le basque et les langues avoisinantes appartenant à différents groupes censés être de race diverses. De plus, même en se limitant aux relations seules des langues japhétiques, naturellement à mesure que celles-ci ont été l'objet d'études plus approfondies, on rencontre d'autres obstacles dans le traitement de la question posée. La méthode comparée seule ne suffit pas. Vient toute une série des moyens plus efficaces d'investigation: paléontologie, sémantique préhistorique, faisceaux sémantiques, croisements, termes primordiaux, à savoir noms ethniques SAL, BER, YON, ROCH, simples ou composés, mots croisés de deux mots de valeurs identiques, mais de différentes tribus (SAL-BER, BER-YON et ainsi de suite) etc. Il est clair qu'à côté de ces graves questions de glottogonie, la grammaire comparée formelle, avec ses correspondances phonétiques, soit dans la morphologie, soit dans le lexique, ne donne qu'une idée superficielle, une image dénaturée de l'ensemble du langage, elle ne le touche qu'en surface et ne laisse jamais voir le fond des choses, c'est-à-dire les phénomènes vitaux, ni même les entrevoir. Pour apprécier la différence des deux méthodes, l'une comparée, l'autre paléontologique, les enchaînements de valeurs et leurs groupements d'après les faisceaux sémantiques, il suffit de confronter notre notice préliminaire russe, première communication, et celle que nous présentons à présent ci-dessous sur le même sujet et presque au moyen des mêmes matériaux, quoique la conclusion reste la même, comme on peut le voir dans le texte qui suit la partie du commencement de la notice russe et que je cite ici sans y changer le fond. Certes je n'y répéterai pas l'exposition des moments personnels et les motifs de mon intérêt pour le basque, ni les remarques générales sur l'histoire du traitement de la même question, origine de la langue basque, telle que je la concevais à ce moment-là, avant ma première visite au Pays Basque.

«A l'aube de mes études linguistiques, n'étant qu'un étudiant, j'eus la tentation d'aborder la langue basque pour utiliser ses données dans la question qui m'intéressait. Guidé par mes connaissances de géorgianisant et me basant uniquement sur les matériaux du langage géorgien, alors mal éclaircis même du côté philologique, j'abandonnai mes études basques sans en avoir retiré une grande impression en faveur de la nature japhétique du basque. Or dans ce temps-là, vu ma compétence matérielle mentionnée, mes recherches japhétiques ne sortaient pas des limites bornées d'un géorgianisant. Il est tout naturel que Hugo Schuchardt ait encore moins pu en qualité de spécialiste sentir la proximité «psychologique» entre les langues indigènes du Caucase et celle du Pays Basque, car il ne connaissait pas assez profondément la langue géorgienne et ignorait les éléments de la théorie japhétique. C'est pour cela qu'il préféra expliquer la langue basque d'après ses analogies et par ses consonnances avec le nubien. En fixant méthodiquement les limites précises des rapprochements linguistiques, il tâchait de mettre fin aux recherches vagues de M. A. Trombetti».

«Ce dernier représente déjà par une figure de géométrie la connexité généalogique entre les langues de l'Afrique du Nord, des Pyrénées et du Caucase. Par sa trop large conception du problème de la parenté des langues, il trouva facilement une proche parenté entre le groupe égypto-berbère ou chamito-septentrional et celui des langues basque et caucasiques. Il fit alors une sorte de triangle, dont le sommet, le plus proche du point d'origine des trois unités ethniques, pourrait être situé au nord de l'Afrique».

«Parmi les autres investigateurs du langage, plutôt philologues que véritables linguistes, les uns renoncèrent en principe à faire aucune recherche sur sa parenté génétique, en se réclamant adeptes sobres de l'école réaliste; les autres, la méthode comparative adoptée, abordèrent la question d'origine de la langue basque pour lui trouver des apparentées avec une passion effrénée et poussèrent les comparaisons audacieuses et toujours artificielles, jusqu'aux dernières limites; mais dans les deux cas la littérature consacrée à ce sujet ne donnait qu'une conception dénaturée de l'origine, ainsi que de la physionomie de la langue basque. Ceux qui renoncèrent à faire de la langue basque — «ce représentant typique d'une race tout à fait à part» — l'objet d'études comparatives, admirent de fait la même méthode comparative pour s'en expliquer les particularités partielles. Ils comparèrent ces particularités à celles qui leur semblaient être communes dans diverses langues, même de la famille indoeuropéenne, mais ce fait rendait souvent obscure la vraie nature du langage réellement original. C'était un acte d'imprudence quand, par ex., M. van Eys, lui qui s'opposait aux études comparées d'ordre génétique sur la langue basque, admettait toutefois l'identification du mot «puru» dans la combinaison basque «be-puru» 'sourcils' avec l'indo-européen «braue» all., «brow» angl., «bhrû» sansc. (d'après Mahn, Bask. Sprachdenk.)[1]. Dans cet éclaircissement il s'empressait de reconnaître la consonne «harmonieuse» (le t euphonique) dans l'élément morphologique, marque du pluriel au cas oblique, gén. «be-t» (v. p. 212 §§ 12, 13, 33, cfr. k → g) de «be-t» (be-g), la base développée du mot basque «be + t-il-e» 'cils', à la lettre 'cheveux des yeux'.

«Il n'est pas de groupe de langues dans l'univers qu'on n'ait pas essayé d'apparen-

[1] Dictionnaire basque-français, 1873, s. v. begi.

ter au basque. On l'a apparenté aux langues chinoise et américaines. Comme je viens de l'apprendre par ce qui a été écrit à ce sujet la comparaison de cette langue avec le géorgien a été faite même dès le commencement du XIX siècle. «Un éminent philologue et historien espagnol» qui de son côté avait remarqué des points de ressemblance entre cette langue «caucasienne» [japhétique] et le basque, pour appuyer sa thèse sur la parenté étroite du basque avec le géorgien, se référait à l'identité des manières de construire les formes verbales, au système de la numération etc. Mais ces rapprochements sui generis des études comparées sur la parenté du basque avec les langues «caucasiques» en général et avec le géorgien en particulier, ne pouvaient donner rien de stable parce que les auteurs de ces rapprochements connaissaient peu même les langues caucasiques et ce peu qu'ils savaient était hors de l'éclaircissement de la grammaire comparée des langues japhétiques, hors de la théorie japhétique. Aux cas les plus heureux de ces études, l'élucidation de la parenté indiscutable des normes générales ou typiques ne servit à rien, d'après la remarque très juste d'un Basque: «on ne saurait tirer d'une cause générale l'explication d'un fait exceptionnel». C'est pour cela que la langue basque continue à demeurer un fait exceptionnel comme elle l'a toujours été. M. H. Winkler qui aborda la question avec une plus large information, au fond ne l'a pas fait avancer beaucoup».

Cependant l'étrusque venait d'attirer mon attention. Les études japhétiques m'ont forcé par leur développement à m'occuper de cette question ethnologique et linguistique de l'Italie préhistorique. Et en me préparant il y a déjà quatre années à un voyage en Etrurie, j'ai absolument dû m'intéresser aussi à la langue du peuple, «mystérieux par son origine, existant encore de nos jours, qui habite les pentes des montagnes entre l'Espagne et la France, ainsi que les plateaux voisins. Et mes études renouvelées sur le basque m'ont cette fois-ci donné de prime abord une toute autre impression».

Et je me croyais même alors autorisé à me prononcer de la sorte:

«En tout cas je considère comme très nécessaire d'examiner sans intermédiaire le basque dans sa vitalité réelle, comme langue qui est en général très importante pour résoudre le problème des anciennes langues japhétiques d'Europe et de leurs restes déposés dans les langues non japhétiques de l'Europe méditerranéenne, ce qui est d'une grande importance pour envisager dans une juste lumière la langue étrusque et pour en poser l'étude sur une base plus solide» etc..

Ma première visite au Pays Basque me fit sentir la justesse de mes premières suppositions, comme l'atteste ma lettre à M. de Azkue, imprimée plus haut. Ma seconde visite et les études qui suivirent ne firent qu'approfondir et préciser l'idée de la grande importance du basque pour l'Europe préhistorique. Les articles parus sur le basque[1] attestent en partie la même chose. Mais c'était déjà dans

[1] V. liste ci-après.

ma communication préliminaire russe avant ma première visite au Pays Basque que j'affirmais cette idée, que maintenant je ne fais que préciser avec plus d'assurance:

«La langue basque est japhétique, sa morphologie et particulièrement son système compliqué des formes verbales, où les philologues ont à leur grande satisfaction trouvé — jusqu'à présent toujours par des analogies seules — un point d'appui pour le rapprochement du basque avec plusieurs langues américaines, tout cela s'explique par des données des langues japhétiques et de la théorie nouvelle qui grâce à elles est en train de s'élaborer. Cette parenté du basque avec les langues japhétiques ressort non seulement des catégories typiques de la grammaire, mais aussi de la matière qui sert à la formation de ces catégories. Les racines du vocabulaire de la riche langue vivante des Basques sont aussi d'origine japhétique et elles nous aident naturellement à découvrir la source où elles sont puisées. De plus, c'est justement grâce à leurs formes que nous sommes à même de déterminer le groupe de la souche japhétique auquel appartient le basque, du reste non un seul groupe, mais plutôt plusieurs dont les éléments se sont jadis déposés dans la langue basque et laissent maintenant suivre leur trace dans la formation de ses différentes couches».

Certes il est à remarquer à présent que les rapprochements du basque avec les langues dites «de diverses races», même de la «race» indoeuropéenne, ne peuvent provoquer par eux-mêmes d'objections, mais c'est une tout autre question, même une série de questions de divers ordres, dont le traitement scientifique n'est possible que lorsqu'on a une connaissance préalable des langues japhétiques et de la théorie nouvelle. Même cet acte «imprudent» dans le traitement de faits isolés, comme le rapprochement du mot basque «be-puru» 'sourcil' avec l'allem. «braue» et ses apparentés indoeuropéens (v. p. 211) trouve maintenant sa justification (v. plus bas § 33), mais ce n'est qu'un apport de la paléontologie des langues japhétiques.

Il ne nous reste qu'à prévenir que «Deux études nouvelles de C. C. Uhlenbeck sur le basque» en russe sont jointes ci-après pour préciser notre position dans la question des rapports du basque avec les langues de diverses souches, spécialement les langues romanes, y compris les soi-disant emprunts romans. Cet appendice pourrait bien rentrer dans le cadre de notre introduction, mais, une fois composé pour paraître dans la série Japhetitische

Studien et relégué ad calendas graecas[1], l'article doit être imprimé séparément et ne corrigé que dans des détails rester au fond tel qu'il était destiné, écrit en russe, à voir le jour en Allemagne.

I. Liste d'articles spéciaux sur le basque.

1) Об яфетическом происхождении баскского языка (ИАН, 1920, 131—142).

2) Le terme basque «udagara» 'loutre' (ЯС, I, 1—30).

3) Предварительный отчет по командировке в пределы древней Этрурии и Баскию (ИАН, 1921, 724—739).

4) К вопросу о префиксовых образованиях в баскском яз. (ДАН, 1924, 159—162).

5) Analyse nouvelle du terme Pyrénées (ДАН, 1925, 5—8).

6) Les Pyrénées ou Monts Ioniens (ДАН, 1925, 15—18).

7) Из поездки к европейским яфетидам (ЯС, III, 1—64).

II. Liste d'articles avec des passages sur le basque suivie d'un index.

I) Нарицательное значение термина ɋера в «митанских» женских именах (ИАН, 1920, 121—127).

II) Яфетический Кавказ и третий этнический элемент в созидании Средиземноморской культуры (МЯЯ, XI), v. XI.

III) Астрономические и этнические значения двух племенных названий армян (ЗВО, XXV, 229—256).

IV) К вопросу об яфетидизмах в германских языках (ЯС, I, 43—56).

V) К вопросу об яфетидизмах в албанском (ЯС, I, 57—66).

VI) Термин «скиѳ» (ЯС, I, 67—132).

VII) Термин βασιλεύς (ЯС, I, 133—142).

---

[1] Probablement en dépendance d'opinions locales autoritaires, comme, par ex., celle d'O. G. v. Wesendonk, Archäologisches aus dem Kaukasus (Jahrb. d. deutsch Archäol. Inst., Bd. XL, Heft 1 u. 2, pp. 43—76); v. N. Marr, К определению племенного происхождения Георгия, сына Тамары (ИАН, 1926, pp. 473—478).

VIII) Яфетиды (Восток, кн. I, 82—92). Петр. 1922.

IX) La Seine, la Saône, Lutèce et les premiers habitants de la Gaule Etrusques et Pélasges. Petr. 1922.

X) Надпись Сардура II из раскопок ниши на Ванской скале (Археологическая экспедиция в Ван в 1916 г.). Петр. 1922.

XI) Der japhetitische Kaukasus und das dritte ethnische Element im Bildungsprozess der mittelländischen Kultur (Japhetitische Studien, II), Leipz. 1923 = II, sauf l'avant-propos spécial et les notes, lesquelles sont omises en allemand.

XII) К толкованию имени Гомер (ДАН, 1924, 2—5).

XIII) 'Север' и 'мрак' || 'левый' от Пиренеев до Месопотамии (ДАН, 1924, 8—11).

XIV) 'Смерть'→'преисподняя' в месопотамско-эгейском мире (ДАН, 1924, 12—14).

XV) О 'небе' как гнезде празначений (ДАН, 1924, 23—26).

XVI) Из семантических дериватов 'неба' (ДАН, 1924, 27—28).

XVII) Яфетические переживания в классических языках и 'вера' в семантическом кругу 'неба' (ДАН, 1924, 29—31).

XVIII) Quelques termes d'architecture désignant 'voûte' ou 'arc' (ЯС, II, 137—167).

XIX) Заметки по яфетическим клинописям (ИРАИМК, III, 288—304).

XX) Об яфетической теории (Новый Восток, кн. V, 303—339; отд. отт. 1—36). Москва. 1924.

XXI) Термины из абхазо-русских этнических связей. «Лошадь» и «Тризна» (к вопросу о племенном происхождении средиземноморского населения). Изд. Наркомпроса Абхазии. Лен. 1924.

XXII) Первый средиземноморский дом и его яфетические названия у греков μέγαρον и у римлян ātrium (ИАН, 1924, № 1—11, 225—237).

XXIII) Название этрусского бога смерти Kalu и термины 'писать', 'петь', 'чорт', 'поэт-слепец' (К вопросу об Ištar Karmenta). ИАН, 1924, № 1—11, 183—195.

XXIV) Из яфетических пережитков в русском языке (ДАН, 1924, 65—67).

XXIV-а) Составной характер этрусского tusurϑı 'девушка' (ДАН, 1924, 113—115).

XXV) Краеведение. Изд. Асс. Горск. Краев. Орган. Сев. Кавк. Лен. 1924.

XXVI) Филистимляне, палестинские пеласги и расены или этруски (Евр. мысль, I, 1—31). Лен. 1925.

XXVII) ქართველ ერის კულტურული შუბლი ენათ-მეცნიერების მიხედვით. მნათობი, № 4 (12)—№ 5 (13). ტფილისი. 1925. Отд. отт. 1—55.

XXVIIа) К грузинским надписям из Месхии (ЗКВ, I, 228—232).

XXVIII) Грамматика древне-литературного грузинского языка (МЯЯ, XII, 1925).

XXIX) Отчет о поездке к восточно-европейским яфетидам (прил. к прот. ОИФ). ИАН, 1925, 15—29.

XXX) Ольвия и Альба Лонга (ИАН, 1925, 663—672).

XXXI) Приволжские и соседящие с ними народности в яфетическом освещении их племенных названий (ИАН, 1925, 673—698).

XXXII) Прилагательные 'длинный' || 'короткий' (ИАН, 1925, 797—812).

XXXIIа) Основные достижения яфетической теории (изд. «Буревестник», Ростов н/Дону 1925).

XXXIII) Предисловие к Восточн. Сборнику Гос. Публ. Биб. (Вост. Сборн. I, I—XVI).

XXXIV) Абхазоведение и абхазы (ВС, I, 123—166).

XXXV) Происхождение американского человека и яфетическое языкознание (ВС, I, 167—192).

XXXVI) Über die Entstehung der Sprache (Unter dem Banner des Marxismus, 1926, janvier, pp. 558—598).

INDEX.

A) Remarques générales sur le basque.

1) De l'importance des études du basque (VI, 84; XI, 19; XX, 2).

2) De l'expansion et de la soi-disant migration préhistorique des Basques (II, 33—36; III, 239, n. 2; VIII, 86; IX, 9; X, 37, n. 2; XI, 14; XXVII, 48; XXI, 13, 24, 31—32, 40, 43, 55; XXVI, 10; XXVIIa, 229, p. 2; XXX, 669; XXXIIa, 21; XXXV, 188; XXXVI, 564).

3) Du terme «basque» (XXI, 11, 14, 31, 46 et pass; XXVIIa, 229; XXXI, 658; XXXIIa, 21).

4) Du caractère composé du basque (XVIII, 165; XX, 29; XXI, 10, 11; XXXIIa, 21).

5) De la couche étrusque (ROCH) dans le basque (XXI, 10—11, 15, 25, 39—42, 54; XXVI, 12, pass.; XXXIIa, 21).

6) De la couche SAL dans le basque (XXI, 10—11; XXX, 664; XXXII, 805 et pass.).

7) De la couche YON dans le basque (XXI, 10—11, 19, 20; XXVI, 30 et pass.; XXXIIa, 21).

8) De la couche BER dans le basque (XII, 4; XXI, 10—11, 13 ;XXVI, 6; XXXVI, 565, 566, 569 et pass).

9) Le basque et les langues romanes (XI, 11; XIII, 10, p. 3; XXVII, 34).

10) Différence entre le basque français et le basque espagnol (XXVI, 25).

11) Termes d'origine basque dans le français (II, 34; XXVI, 25).

12) Rapports du basque avec les autres langues japhétiques vivantes (XXI, 40), en particulier avec l'arménien, l'abkhaze (IX, 26; XXI, 9, 10, 13—14, 19—26, 32, 40; XXXIIa, 21) et le tchouvache (XXIX, 15 et pass.).

13) Rapports du basque avec les langues américaines et australiennes (VIII, 89; XXXV, 185).

B) De la phonétique et de la morphologie basque.

1) L' «r» initial dans le basque (XXI, 22, 31; XXVI, 10; XXXI, 677; XXXII, 837; XXXIIa, 21).

2) L' «ş» dans le basque (XXXI, 676).

3) Des liquides dans le basque (XXI, 22; XXIV-a, 113).

4) L' «k» initial dans le basque (XXXI, 679).

5) La loi basque d ∽ l (X, 27, n. 2; 39, n. 1).

6) Du pluriel basque (III, 244; VI, 83; XXI, 22, 24, 44; XXVII, 21, 22).

7) Du verbe basque (XXI, 22, 26).

8) De la déclinaison basque (XXI, 21, 22).

9) De la conjugaison basque (VIII, 88).

10) Des préfixes dans le basque (XXI, 22, 23, 41; XXII, 235; XXIX, 23; XXXIV, 136).

11) De la place du déterminatif dans le basque (XXI, 23; XXIX, 24).

C) Etymologies.

agur	salut	(XVI, 28).
ahal	v. al	
al, ahal	force	(XXIX, 26).
al-	femme	(XXIII, 185; XXIX, 22, 26).
alaba	fille	(I, 124; XVII, 30; XXI, 19; XXIII, 185).
almen	puissance, pouvoir	(XXIII, 184).
andere	femme	(XXIII, 186; XXX, 669).
ar	mâle	(X, 38, n. 2).
aragı v. haragı		
arañ ← arayn	poisson	(XXVI, 26).

aṛı v. haṛı		
arato⟷aratu⁓aratı	chair	(XV, 26).
arat-egun ⟵ harat-egun	jour gras	(XV, 26).
aratoste⟶aratuste⁓aratıste	carnaval	(XV, 26).
arası	faire faire	(XXI, 26).
arayn	v. arañ	
aṛeba	soeur de frère	(XXXIIa, 21).
artu	prendre	(XXIX, 26).
arsto	v. arɯto	
arɯto	âne	(XXVI, 12, 13).
arϑ̇	ours	(XV, 26).
ası, arası	faire faire	(XXI, 26).
a-te, a-tal	porte	(XXII, 233, 234).
aɯto v. arɯto		
ay-hen	raisin	(XXII, 235).
ayta	père	(XXI,23,XXII,235).
ayspa	soeur	(XXI, 23).
burdın	fer	(XXV, 19;XXIX,19).
buru	tête	(XII, 4, 15; XXIX, 15; XXXIII, VII; XXXVI,566,597).
edes v. eres		
egıa	vérité	(XXI, 44).
egun ⟶ egu	jour	(XXI, 43, 44).
eguskı, ıguskı	soleil	(XXI, 43, 44).
ekaṛı	porter	(XXI, 21).
ekı	soleil	(XXI, 44).
eles v. eres		
eme	femelle	(XIX, 295).
enada v. enhara		
enhara, enada, ınhara, ṃara	hirondelle	(XXXI, 691).

erası	faire, v. ası	(XXI, 26).
eraîn	faire parler	(XXI, 25, 26).
eraînle	orateur	(XXI, 25, 26).
eraînte	entretien, causerie	(XXI, 26).
eres, eles, edes	narration, récit	(XXI, 43).
eresı-	élégie	(XXI, 42).
erdı	moitié	(XXI, 10).
esker	gauche	(XIII, 10; XIV, 13).
eskela	louche, nord-est	(XIII, 10; XIV, 13).
eun ← ehun	dix	(XXI, 46).
eurı, urı	pluie	(XVI, 28; XXXI, 683).
ewînkaldun	Basque	(XVIII, 165; XX, 20, 29; XXI, 10, 40, 43, 54; XXVI, 26.
eϑ̇ay	ennemi	(XXIII, 189).
eϑorı	arriver, venir	(XXVI, 16).
eyta	aussi, et	(XXI, 23).
garagaṛ	orge	(XXI, 21).
garı	froment	(XXI, 21).
gayϑ̇	mal, malheur, maladie	(XXI, 21, 27).
gayɯto	méchant, mauvais	(XXI, 21, 27).
gıson	homme	(VI, 74).
gora	haut, élevé	(XVI, 28).
gorden	vert	(XVI, 28).
goybel	nuage, nuageux, triste	(XVI, 27).
gur ← kur	salut	(XVI, 28).
gurtu, gurϑ̇en	saluer	(XVI, 28).
haṛ → aṛı	pierre	(XXXV, 185).

haragı ⟶ aragı	chair	(XV, 26).
herdera	une langue étrangère	(XXI, 10, 13).
hıṛı ⟶ ırı	ville, cité	(XXX, 666).
hors ⟶ ors	ciel, nuage	(XVI, 27).
horsadar ⟶ orsadar	arc-en-ciel	(XVI, 27).
hun ⟷ (*hon) ⟶ on	bon	(XXI, 19—21)
hur ⟶ ur	eau	(XVI, 29; XIX, 290; XX, 10; XXXI, 683, 695; XXXV, 185; XXXVI, 169, 171).
hurı ⟶ urı	ville, cité, commune	(XXX, 666).
hurden ⟶ urden	bleu	(XVI, 28).
horϑ̇	voûte visible, surface,	(XVI, 27; XXXV, 185).
horϑ̇	dent	(XVI, 28).
huṛun ∼ huṛın	lointain	(XXI, 19).
huṛutı	de loin	(XXI, 19).
ıkusı	voir	(XIX, 289; XXIX, 25, n. 3).
ıl̦argı	lune	(XXVII, 51).
ın̦ara, v. ınhara		
ırı v. hırı		
ırhınsırı (cf. samarıkına)	hennir	(XXXVI, 586).
ısar	étoile	(XXI, 23, 54).
ısarıhıϑ̇	rosée (b.-n.).	(XXI, 23).
ıtur	source	(XXII, 233).
ıɯtar ‖ ıɯter	cuisse	(XXIII, 186; XXIX, 23).
ıɯtarbegı	ennemi	(XXIII, 189).
ıɯurba	délire, folie	(XXIII, 193).
ıϑ̣u, ıɯu	aveugle	(XII, 2).
kopeta	front	(XII, 5, n. 3).
kurpıl	roue	(XVI, 28).

labur	court	(XXXII, 806, 807).
lehen	avant, premier	(XXXII, 806).
luse	long	(XXXII, 806, 807).
makɪla	bâton	(IV, 53—55).
mendɪ, mendɪska	mont, monticule	(XXIV, 66; XXV, 15).
mende	temps, siècle	(XXIV, 66).
-mentu	époque	(XXIV, 66).
morde	seigneur	(XXXI, 679).
moskor	très court	(XXXII, 801).
moϑ	court	(XXXII, 801).
mundu ⟷ mundo	monde	(XXIV, 65).
murɪϑ	court	(XXXII, 802).
nabus	propriétaire	(VII, 140).
on v. hun		
ordu	temps	(XVI, 28).
orga	charrette	(XVI, 27).
orkor, uṛɪkarɪ	malheureux, piteux	(XVI, 28).
orma	muraille	(XVI, 28).
ors	v. hors	
orsadar	v. horsadar	
orϑ	v. horϑ	
orϑɪ	firmament	(XVI, 27).
orϑɪ	dieu	(XV, 25; XVII, 29).
orϑɪ	tonnerre	(XVI, 27).
orϑɪ	enterrer	(XVI, 27).
q̇ay	fête	(XXI, 20).
q̇ayn, yawn	seigneur	(XXVI, 30; XX, 9; XXI, 20—21).
Q̇aynkoa	Dieu	(XXI, 20).
saba	palais de la bouche	(XV, 28; XVIII, 144; XXI, 39).

saldı	cheval	(XXI, 41).
samarı	cheval	(XXI,41; XXXI, 678, n. 1; 697, n. 1).
samarıkına (cf. ırhınsırı)	hennir	(XXXVI, 586).
samaldun	cavalier	(XXXI, 697, n. 1).
saurı	blessure	(XXIX, 21).
seru	ciel	(XV, 25, n. 4; XVIII, 144; XXI, 39, XXII, 234).
sılhar	argent	(XX, 31; XXX, 664; XXXII, 805).
sın	serment	(XVII, 31).
sınısten, sınıstu	croire	(XVII, 31; XXXI, 691, n. 2).
ṃagar	pomme	(V, 64).
ṃaar	méchant, mauvais	(XXIII, 187).
ṃakur	chien	(XXXI, 684, 685).
tegı ← tekı ‖ tokı	place	(XXVIII, 155).
tresna	parure	(XXI, 42, 54).
tresnatu	harnacher	(XXI, 42).
ϑaṛ	méchant, mauvais	(XXI, 21, 23; XXIII, 187).
ϑerı ‖ ϑarı	porc	(XV, 25).
ϑerıkı ‖ ϑarıkı	chair du porc	(XV, 25, 26).
ϑeṛen	diable	(XV, 25; XXI, 23).
udare	poire	(XXIV-a, 114).
unhaın	vacher	(XV, 25).
ur	v. hur	
urdaın	porcher	(XV, 25).
urdandegı	étable à porcs	(XV, 25).
urday, urde	porc	(XV, 25).

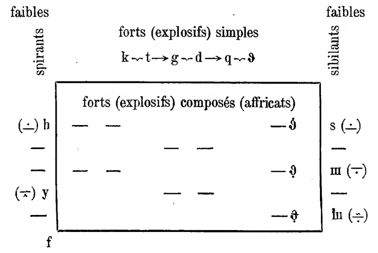
urdakı	lard	(XV, 25).
urdal	estomac, ventre	(XVI, 28).
urdatu	glandage	(XV, 25).

urden v. hurden
urde v. hur, urday
urı v. hurı, uṛıkarı v. orkor
yawn v. q̇ayn.

---

§ 1. Que le basque, étant même japhétique, ait des traits qui lui donnent en ce moment un air isolé, cela se sous-entend de soi-même. Il suffit de se rendre compte du fait que les langues de la souche japhétique présentent dans leur ensemble le développement d'une suite d'époques, du type primordial au type bien avancé qui se rapproche de la souche indoeuropéenne. Et le basque ne trouve pas dans sa souche, japhétique, d'autres langues qui soient strictement au même état du développement. C'est aussi un fait que le basque est resté seul de la série entière des langues qui le touchaient de près et qui ne pouvaient que former avec lui un système à part: dépourvu de l'entourage japhétique qui est dévoré par le processus de transformation en roman, il partage le sort de la langue japhétique de Pamir, verchique, qui est entourée de même de langues ou dialectes d'une autre souche, à savoir iranienne. Il se trouve dans un état moins favorable que le tchouvache, dont les apparentés proches de son voisinage conservent du moins dans leur type nouveau, turc et même finnois, plus de liens marquants avec la couche japhétique, qui est leur fond, plutôt leur état préhistorique. Dans ces conditions, il est très naturel que le basque ait beaucoup souffert dans sa partie phonétique. Un coup d'oeil jeté sur la table des phonèmes basques d'après l'analyse japhétique fait bien voir la dévastation qu'ont produite les faits mentionnés dans son système phonétique: tous les affricats gutturaux ont disparu et des affricats dentaux ne se sont conservés que ceux de la dernière rangée ϑ̇, ϑ̣, ϑ̤.

TABLE DES PHONÈMES BASQUES D'APRÈS L'ANALYSE JAPHÉTIQUE.



forts (explosifs) simples: v ‖ m ↗ p ⟶ . b ⟶ φ («ph»)

faibles (sonores): n ‖ l ‖ r

s = «z», ш = «ch» ‖ «x», resp. «ś», ĥш = «s», resp. «s̀»,
q = «kh», ϑ = «th», ϑ́ = «tz», ϑ̣ = «tch» ‖ «tx», ϑ̣̀ = «tš».

§ 2. L'absence de «r» au commencement des mots est un des traits qui unit d'un lien plus serré le basque à l'arménien et au tchouvache, bsq. «ekɪ» ⟶ «*egɪ» (comp. «egɪ-a» 'vérité') ⟶ «eqɪ» 'soleil', double de «egu-skɪ» ‖ «ɑgu-skɪ»[1] 'soleil' représentent dans leur partie fondamentale «ekɪ» ⟶ «egɪ» ⟶ «eqɪ» ⁓ «egu-» le mot bsq. «egun» 'jour', mais en nous rendant compte de la perte de «r» initial, nous sommes obligés de reconstruire leur archétype «*regɪn» ⁓ «*regun»[2], mot survécu dans arm. «a-reg» 'soleil', où «r»

---

1 «Skɪ» n'est que la terminaison diminutive, survivance du mot 'enfant' (comp. rs. «солнышко», turc «gune - ш» 'soleil' et «gun» 'jour' etc.). Nous le trouvons avec la même fonction dans le tchouvache, où il se prononce «-шkɪ» (XXI, 43, 44).

2 XXI, 43, 44.

s'est conservé grâce à la syllabe précédente. A côté de ce mot arménien se range le double de bsq. «e-gun»; vocalisé dans la partie YON d'après le groupe-a -«ɪ + gan-», il signifie à l'instar de son pair arménien 'soleil' dans le terme composé basque — «ɪ + gan-de» 'dimanche', à la lettre 'jour («de»: géorg. «dğe» ⟶ «de» ‖ mingr., tchane «dğa» ⟶ «*da» ⟶ «-d»)[1] de soleil'.

Un exemple du même ordre nous est présenté par bsq. «ɪs-» (⟵ «*hɪs») ↗ «hɪϑ» ⟶ «ɪϑ» 'mot', 'parole' qui remonte au mot ROCH — «rɪs» (‖ «res») ⁓ «*reh» ⟶ «rē», d'où proviennent les termes croisés équivalents gr. ῥῆ-μα (⟵ rē-mat) et russe «рѣ-чь» (⟵ «*rē-qen» ⁓ «-ϑen», cf. svane «rē-qw» 'il dit').

§ 3. Le basque, du reste, ne laisse pas en repos le liquide «r» (‖ «l») même au milieu du mot, où il se change selon la formule «r» ⁓ «s» (↗ «ϑ») ‖ «ɪɪ», resp. «ɪɪ» (↗ *d̥ ⟶ d). Cette loi phonétique est un des liens serrés qui unit le basque à de telles langues japhétiques du Causase comme l'abkhaze, le svane et le type de transition — l'arménien et aussi l'une des langues du Volga, notamment le tchouvache.

Suivant cette loi nous avons dans le mot basque «vɪs-ɪ» ↗ «bɪs-ɪ» (transcr. habituelle «viz-i» ↗ «biz-i») 'vie' (cf. abkhaze «bza» 'vivant'), au lieu de «vɪr-ɪ» etc., ce qui présente, comparé à son équivalence géorg. «ϑqo-*vel*» 'vif', 'vivant' ‖ «ϑqo-*var*» 'animal', 'brebis' non le cas de disparition du spirant, mais l'état non encore croisé (§ 17).

§ 4. La même loi nous oblige à identifier le mot basque «baɪɪ» («bas») 'désert', 'sauvage' et le mot japhétique du groupe chuintant «*var-e», d'où on a dans le mingrélien (et le géorg. par emprunt) «ar-e» 'espace', dans l'arm. «vayr» (⟵ «*var-$^{e}/_{i}$») 'espace', 'champ', «vayr-en-$^{e}/_{i}$» 'sauvage', littéralement 'de champ', 'champêtre' et dans le géorg. «vel» 'champ', 'désert' d'où à son tour vient «vel-ur» 'champêtre', 'sauvage', 'forestier'. Par conséquent les mots géorgiens «bar» 'plaine', 'vallée' (littéralement

[1] En géorgien «mara-d» (⟵ «mara-dğ») 'chaque jour'.

'un endroit bas') et «ɪ-bar» en basque 'plaine' perdent de la sorte le caractère d'une coïncidence phonique fortuite.

§ 5. Du reste van Eys a en vain nié l'existence du «v» au commencement des mots basques; il a survécu, par ex., dans le mot «vɪs-ɪ» («viz-i» ↗ «biz-i») 'vie' (v. § 3).

§ 6. Dans le domaine des changements des phonèmes le haussement «m» ↗ «b» qui compose une partie de la formule de la loi de la phonétique japhétique comparée et historique «v(w)» ‖ «m» ↗ «p» ⟶ «b» ⟶ «φ», se rencontre aussi chez les Basques, par ex., «Mɪaṛɪϑa» (dial.) ↗ «Bɪaṛɪϑa» *'Biarritz'*; «mɪa» (dial.) ↗ «bɪa» 'deux' etc. Un cas instructif de «m» ↗ «b» nous donne la base raccourcie «sab» ⟵ «sap» qui remonte à «*sam» 'ciel' (géorg. «ϑ̂a» non encore croisé, comp. géorg. «ϑa-v» 'tête' ⟵ «*ϑ̂a-v» 'ciel' ⟵ arm. «ṫa-w» 'bleu de ciel' etc.) dans le composé «aho-sabay» ‖ «ao-sapay» 'palais de la bouche', littéralement 'ciel de la bouche'[1]. L'archétype est *sa-mar [~ ↗ ka-mar], terme croisé SAL-BER.

§ 7. Un des cas d'alternation usuelle «v» ‖ «m» dans les rapports du basque et des langues japhétiques du Caucase se trouve dans le mot géorgien «vaz» 'cep de vigne', commun aux Arméniens et Géorgiens et représenté dans le basque avec le haussement de «s» en «ϑ̂» ou remplacé par le chuintant («ш»): «maϑ̂» 'raisin'. Nous le retrouvons de même dans le composé (il peut être même croisé) «maϑ̂-a» ‖ «maш-tɪa», resp. «maϑ̂-tɪ» 'cep de vigne', «maɪ̂ɪ-mordɪ» 'grappe de raisin' etc. Nous l'avons peut-être ce composé ou plutôt croisé dans «maϑ̂», si ce dernier n'est pas indépendant de «mahaϑ̂» 'raisin'. Le dernier mot est en tout cas le terme croisé «mahaϑ̂» ⟵ «*mar-har», dont la première partie correspond au géorgien «vaz» (‖ bsq. «maϑ̂») et la seconde «*har-» ↘ «ar-» n'est que le premier élément du terme croisé basque «ar-no» ‖ «ar-do», resp. «ar-da-o» 'toute sorte de boisson', 'vin' ⟵ «*har-don» ‖ «*har-dan», ce qui reproduit dans son ensemble, avec la vocalisation propre, le mot géorg. «k̄ur-ďen» 'raisin'.

[1] XVI, 28; XVIII, 144; XXI, 39.

§ 8. Le phonème spirant qui suit immédiatement après une dentale, disparaît dans le basque comme dans la couche japhétique de la langue arménienne, ainsi que dans les langues khalde et tchane: «ɪ-tur-ɪ» (←«*hɪ-tur-ɪ») en basque 'source', 'fontaine'[1] avec le préfixe «ɪ-» (←«hɪ-») représente la base, l'équivalent de la base géorgienne «ṫkaro» 'source', 'fontaine', mingrélien «ṫku» 'puits'←«ṫkur-» v. «ṫkurgɪl» (au lieu de «*ṭkur-gɪl») 'source', 'fontaine'.

Au «k» velair correspond en basque le spirant qui disparaît, comme nous le voyons quelquefois dans le géorgien (apport de la couche mesque), en tchane et dans d'autres langues: 1) basque «er+d-ɪ» (←«*her+d-ɪ») 'moitié'[2], anc. géorg. litt. «ker-ďo» id., anc. arm. litt. «keys» (←«*ker+so»)→«kes» id., 2) basque «aṛɪ» (←«haṛɪ») 'pierre'[3], anc. arm. litt. «kaṛ-» dans «kar-kaṛ» 'tas de pierres', arm. «qar» 'pierre', svane (et géorg.) «kaȷ» 'silex', 3) basque «al-» (←«*hal») 'main' (v. § 11)[4], tchouv. «al-ə» 'main', anc. arm. litt. «kal-» ('main') dans la base du verbe «kal-n-um» 'je prends', «kal»↘«ƒal»→«al» dans les langues du groupe chuintant: tchane «ka» 'branche' (le pluriel «kal+e-φe»), dial. Athina «a» (←«*al»), mingr. «ƒa» 'branche vivante d'un arbre', abadz. «ƒa» 'main' (au point de vue de la sémantique, comparez le mot géorgien «tot» 'main', 'branche').

§ 9. La disparition du spirant non seulement primitif, mais aussi secondaire (par le changement du labial ou de l'affricat palatal) dans le basque n'est pas plus habituelle que dans les langues de l'Arménie, en géorgien, dans quelques dialectes du svane etc. Nous avons un cas semblable dans la base du terme svane «lə-ver» 'vivant'. Il ne faudrait pas toutefois interpréter chaque cas de l'absence du spirant par sa disparition, par ex., dans le pair bsq. «bur-u» (‖«ber-»)—géorg. «ṫ-ver» 'sommet' (§ 12).

§ 10. Les mots sont l'essence de la langue soit pour la pratique, soit pour la théorie. Leur importance devient double,

[1] XXII, 233. [2] XXI, 10. [3] XXXV, 185. [4] XXIX, 26.

quand nos intérêts scientifiques se concentrent sur la question d'origine. Les mots devancent toutes les formes de la grammaire traditionnelle qui se constituent par addition des éléments devenus «symboliques», suffixes, préfixes, changement des voyelles ou des consonnes etc., etc. De plus la constitution des mots représente l'espèce la plus essentielle de la morphologie. La vraie science du langage ne commence qu'au moment où on se sent en état de traiter en premier ordre le lexique comme la catégorie morphologique. Ce n'est qu'un truisme, mais il y a des savants, même des linguistes qui ont besoin qu'on leur rappelle ces choses, certes importantes, mais devenues pour nous banales.

§ 11. Passons maintenant aux mots simples et tout d'abord à ceux qui désignent les membres du corps.

La 'main' chez les Basques est exprimée par une série de mots ethniques simples ou croisés. L'un de ces mots ethniques à signification fondamentale de 'main' est de la tribu japhétique SAL, archétype du mot géorgien «ḋal» [↘ «zal» ← «sal»] 'force', 'valeur', remontant de même à la signification primaire 'main'. En basque l'espèce sibilante de cette base fait place ordinairement à la spirante, elle est devenue «hal» ← «al»[1], d'où proviennent bsq. «al-men» 'pouvoir', 'puissance', bsq. «al-ba» 'côté', bsq. «al-dun» 'puissant', «al-ϑu» id.

§ 12. On trouve le mot basque «bur-u» 'tête' (‖oudine «bul») dans le sens de 'sommet', 'haut', ayant même une certaine consonnance, dans d'autres langues japhétiques. Ce mot basque «bur-u» 'tête' est entièrement resté, comme l'un des indices nombreux de ce que la langue des Basques du Caucase ou des Mesques a formé une couche considérable dans le géorgien, où on le trouve dans les thèmes nominaux des verbes: 1) «bur-v-a» 'couvrir la tête' ‖ 'le haut', d'où vient «sa-bur-av-ɪ» 'recouvrement', le 'toit', «bur-ul-ɪ» (← «*bur-ur-ɪ») 'toit' (spécialement en Gourie le 'toit fait

---

1 Du reste les rapports de «sal» et «hal» ne sont pas si simples, il s'agit vrai dire non de «sal», mais de «$\overset{s}{h}$al» (↗ «ṫkal») → «sal» ⁓ «hal» etc.

d'une sorte de roseau nommé «ISR-I»'), 2) «ṫa-bur-v-a» 'présenter', 'donner de l'argent aux parents du défunt pour l'inhumation le jour de son enterrement', or, littéralement 'jeter' ou 'mettre le cadeau sur *la tête* du défunt'.

Mais ce qui est important, le mot basque «bur-u» dans le sens 'tête' a en oudine un équivalent «bul» 'tête' et leur consonnance n'est pas fortuite. En outre la langue basque nous donne dans ce mot «l» au lieu de «r» dans les mots composés, par ex., «*bulhute» 'bourrelet'. La forme pleine de cette variante basque serait «bul-u»[1], dont le double à la vocalisation dialectale «o» se trouve aussi dans le géorgien «bol-o», signifiant 'fin' (←'point'←'*tête'). Du reste le géorgien conserve la variante propre de ce terme, mot croisé, c'est «ṫ-ver» 'sommet', dont l'histoire est à voir ailleurs dans la partie paléontologique.

A) L'emploi du mot 'tête' pour la formation de l'espèce réfléchie est très caractéristique pour le basque, il sert à construire les verbes réfléchis et à exprimer le pronom 'se' et les adjectifs dérivés de ce dernier — 'son', 'le sien' etc., ce que nous avons dans le géorgien, mingrélien, svane, abkhaze, oudine et dans d'autres langues japhétiques. En basque de même qu'en oudine on emploie dans ce sens la variante de «bur-u» à la vocalisation «e»—«ber», radicale liquide perdue — «be-», et de cette base les Basques ont le génitif «be-re» dans le sens 'sui', le datif «be-ra» dans le sens 'sibi' qui remplace le cas actif (ayant en vue la nature passive du verbe transitif) dans le sens 'lui-même', ou lat. 'se', quand il est le sujet (dans la construction Accusat. cum infinitivo).

B) La formule «pars pro toto» trouve son application dans la paléontologie des valeurs des mots où l'on remarque la loi sémantique de l'appellation de l'objet d'après le nom de la totalité dont il fait partie, par ex.: 1) 'tête' «be⌈r⌉» → 'œil' ou 'yeux' → «be-» — v. partie paléontologique, 2) 'tête' → 'cheveu' — siffl.

[1] Il ne s'est conservé dans le sens de 'cheveu' (← '*tête'), v. le composé «bulu-SI» 'dépouillé', 'nu' (← 'sans cheveu').

«bal» ‖ chuint. «bur-» ⟶ «pur-» (géorg. «bal + an» 'cheveu' ‖ bsq. «-pur-u» '*cheveu' ⟶ «bur-u», cfr. bsq. «bul-u-» 'cheveu' au lieu de «bur-u» («bur-u» 'tête') dans le composé bsq. «bulu-sı» 'sans cheveux' (cf. «bıl̥oīn», «bıl̥uĩnı»), «bıl-o» 'cheveu'. Par conséquent bsq. «be-pur + u» 'sourcil' signifierait 'cheveu (ou plutôt 'poil') des yeux' (§ 33).

§ 13. Pour 'eau' le basque dispose du mot ethnique SAL, mais dans sa forme du groupe chuintant «шur» (⟶ «ȷur» ↗ arm. «d̬ur» 'eau'), où du reste le basque ne produit pas le sibilant «ш», mais son équivalent spirant «h» (plus proprement il aurait fallu «ƒ», mais ce phonème manque au basque), d'où — bsq. «hur» ⟶ «ur» (⟶ «u» dans les composés)[1].

Il lui correspond dans le géorgien la modification sifflante non bilitère, comme «ďal» dans le sens de 'force' (⟵ 'main'), mais trilitère «ṫkal» (↖ «šal») 'eau', base identique à celle que nous avons dans le mot «sa-ṫkal» 'digne de compassion', 'misérable' etc., et justement dans le même emploi sémantique apparaît le basque «ur» dans l'adjectif composé «uṛ + ı-kal» 'compatissant' etc.

§ 14. La communauté de la sémantique, propre au basque et à d'autres langues japhétiques, celle qui se manifeste dans l'association d'images et d'idées, est très grande, de même que la technique de construction des mots composés, nécessaire pour exprimer avec précision les objets les plus ordinaires, par ex. les termes qui servent à exprimer 'larmes', 'sourcils' etc. sont également composés dans toutes les langues japhétiques, y compris le basque.

§ 15. L'idée 'femme' dans les langues japhétiques est exprimée par le mot composé 'enfant-femelle', littéralement 'femelle-enfant' («qal + ı-шvıl + ı» en géorgien), et nous avons la même chose dans le basque «ema-kume» où il y a «ema» ‖ «eme» 'femelle' (et non le verbe «eman» 'donner') et «kume» ↘ «hume» 'enfant'. Il est à noter que les mots qui le composent ont

---

[1] Le terme basque «u-dagara» 'loutre', v. RJ, I, p. 1 suiv.

des équivalents qui lui sont génétiquement apparentés dans les langues japhétiques du Caucase, par ex., «hume» ↗ «kume», une espèce dégénérée du prototype «*homer» ↗ «komer» 'enfant', 'fils', qui après avoir perdu par apocopé l' «r» dans la pause (aussi d'après la formule arménienne «r» ↘ «y» —→-) représente l'équivalent spirant du mot sibilant «*homer» ↗ «ϑober». Ce dernier se trouve entre autres dans le mot géorgien «шobıl» 'né' (—→«шvıl» 'enfant', 'fils') et en même temps existe dans le basque la variante sibilante du même mot «ȟeme» (←—«*ȟemer», v. p. 196) qu'on emploie spécialement dans le sens de 'fils'.

§ 16. Le terme social arm. «ıшq-an» ‖ chet. «ıшq-aш» 'prince', à la lettre 'souverain', 'puissant' vient de «ıшq-»[1], base du verbe arménien «ıшq-el» 'pouvoir'. Cette base à valeur primordiale 'main' n'est qu'une forme raccourcie du mot croisé ROCH + YON «*ıш + qu» 'main' (grec ἰσχυ- 'force'), et nous avons son double avec la variation dialectale (vocalisation «e») dans le basque «eȟ-ku» 'main', en pleine forme «*reш-kun» (ROCH + YON) ou «*reш - kul» (ROCH + SAL)[2], abrégée — «*reш - k», spirantisée «rē-k» qui sert comme base du terme social latin «rēx» 'roi' (gén. «rē + g-ıs»). Nous ne pouvons cette fois passer sous silence deux variations du même terme à parenté nombreuse dans différentes langues — deux variations, conservées par le basque, l'une croisée «eȟku-» (parfois transcr.: «ezku-»), dans le mot «eȟku-rn» ‖ «eȟku-ma» 'la droite' («-rn» ‖ «-ma» [«man»], mots YON, cf. siffl. «-d̂wen» —→ «-d̂ven» ‖ chuint. «-ǧgwan» dans les termes géorgien «mar-d̂uen-e» ‖ mingr., tchane «mar-dguan-ı»' au lieu de «mor-ǧgwan-e» 'la droite'), l'autre simple «es-» dans le terme «esker» 'la gauche'. L'espèce simple «es-» signifie non moins que l'espèce croisée «eȟ-ku» dans ces deux termes 'main', comme «mar-» (‖ «*mor-») dans les termes équivalents géorgien, mingrélien etc.— géorg. «mar-d̂uen-e» 'la droite', «mar-ϑqen-e» 'la gauche'.

---

[1] RJ, III, p. 173.

[2] «*Reȟ-kul» —→ «*eȟ-kul» nous mène à l'archétype «*ıs-kul» '*main', d'où provient «ıs-kus», base du terme russe «ıs + kus-stvo» 'art'.

§ 17. Ce n'est en premier ordre que l'abkhaze qui nous conserve l'espèce simple (§ 3), le mot ethnique BER, dans le sens 'vivant', 'vif', c'est l'adjectif «bza» (∼«*bra»⟵«pur»||«*per»⟶«ber»), l'équivalent donc de la seconde partie dans les mots croisés SAL-BER du rameau spirant ou plutôt spirantisé — «a-pur» 'animal', 'vivant'[1], d'où le verbe arm. «a+pr-el» 'vivre' et bsq. «a+ber-e» 'animal', 'bétail'. Dans le rameau sibilant le premier radical primitif «ŝ» apparaît intact dans son dédoublement haussé («*sh») ↗ siffl. «ʒq̇»|| chuint. «ǯq̇», naturellement avec la conservation des correspondances phoniques régulières propres à ces deux groupes — géorg. (siffl.) «ʒq̇o-vel» 'vivant' || (chuint.) «*ǯq̇o-var», lequel, lui aussi, s'est conservé dans les termes religieux du géorgien «ʒq̇o-var» 'brebis'⟵'animal à sacrifier' ('*animal', '*vivant')[2], «ma-ʒq̇ovar» 'Sauveur', à la lettre 'vivifiant'. Changé naturellement dans le géorgien de chuintant («ǯ») en sifflant («ʒ»), le sibilant initial du groupe chuintant reste intact dans l'arménien, lequel produit cependant le déplacement qui lui est propre, savoir le glissement de la voyelle du milieu au commencement, c'est dans le mot «oǯq̇ar» (∾«*ǯq̇o-⌜v⌝ar») 'brebis'.

§ 18. Le mot basque «ṅagu» 'souris' ne présente aucune difficulté pour l'identifier selon les lois les plus sévères de la grammaire comparée japhétique aux mots géorg. «ϑagu», arm. «ϑakə-n»[3], g. moderne «ϑagv-ı» (⟵«*ϑagu»⟵«*ṫaku»|| «*ṭokw»)⟶mmgr. «tuk-ı» (élision régulière de «w»||«v» précédent «ı»). Or, la constatation de ce fait indiscutable ne nous éclaire aucunement sur l'origine du terme, si nous ne recourons à son analyse paléontologique, car le mot est indubitablement croisé. Cependant le discernement des éléments des deux mots ethniques SAL+BER qui constituent ce composé est bien obscurci par la vocalisation («a»||«o»⟷«u»), certes conforme aux lois de

1 Arm. «apur» 'soupe nationale', au commencement 'bouillon de brebis'.

2 D'où provient le verbe géorg. «ʒq̇ovr+eb-a» 'vivre' etc.

3 N. Marr. Jean de Petritz, le néoplatonicien géorgien de XI — XII, p. 43, note (en russe).

correspondance entre les groupes sifflant (géorg.) et chuintant (tchane, mingr.), mais cette vocalisation régulière est déplacée, elle s'est introduite entre deux consonnes «ϑg» ← «ϑk» ‖ «tk», dédoublements postérieurs des phonèmes diffus de bas degré — «ȟ» ‖ «шh». Quant à la voyelle finale «u» (← «*ve»), c'est la survivance de son synonyme, du mot ethnique BER — «ver» ou «vır» ‖ «mur» (∼ «muш») ∼ *muғ» ↗ «mw» (lat. «mus», gén. «murıs», russe «мышь», gr. μῦ-ς). Nous avons au Caucase deux exemplaires d'espèce différente de ce terme croisé, le mot ethnique BER prenant la première place dans les composés, l'un géorgien BER-SAL — «vır-ϑqa» 'rat', l'autre arménien BER-YON — «mu-kən» 'souris'. Dans les langues sémitiques arab. «ƨak-ber» (syr. «ƨkuber») ne fait que reproduire l'archétype du terme géorgien «*ϑ̂ka-ber», mais remplaçant la dentale «ϑ» (← «ϑ̂») par son équivalence spirante ƨ, d'où nous revient la partie ethnique SAL vocalisée certes selon la norme phonétique de groupes dans telles formes que «*ғka-» ⟶ «ƨak-» ‖ «ƨku-» (⟶ «ƨaku-»).

C'est une réduction de «ve», à proprement parler «ver», nom ethnique BER, en «u» qu'on a dans le même croisé SAL-BER, quand il signifie en géorgien littér. 'ourse', c'est «daϑ-u», svane «damd-ul» (← «*daḓ-vel»), dont l'équivalence d'après le groupe chuintant «*doḓ-var» nous manque. Les langues sémitiques restent fidèles au même croisement SAL-BER, mais ses liquides finales dans les deux mots sont perdues «da-b» — géorg. vulg. «daϑ-v». L'arménien produit ici de même le croisement avec YON au lieu de BER, en total — SAL-YON, savoir «ar-ḍᴦoᒣ» (← «*har-ḓon»), comme le basque — «ar-ȟn», gr. «ἄρκτς-ς» — «ar-kto» (∼ «*ar-шto» ← «*ar-ṭo»)[1]. Le géorgien a bien conservé le même croisement prononcé d'une manière presque identique à celle du mot arménien, nommément «ar-ϑ̣u», mais il signifie 'blaireau'.

---

[1] Ael. (N. Al, 31) nous donne la variante d'intérêt spécial de ce terme grec, à savoir «ar-ko» (ἄρκος 'ours', 'ourse') que nous trouvons sans vocalisation de la seconde partie dans le composé ἀρκτυλος 'ourson', 'jeune ours' ← «*ar+k-tul+o» («tul» ← «ṫul» 'petit', 'le petit.', géorg. «ṫul-» 'enfant' etc.).

§ 19. L'un des cas où le basque présenterait le mot simple contre le croisé dans les langues japhétiques du Caucase, se trouve être dans «ber-o» 'chaleur', 'chaud' — géorg. «ϑ-φɪl» 'chaud', svane «te-bde» id. Nous ne faisons qu'effleurer ce cas d'une importance particulière, où le croisement empêche de remarquer tout d'un coup même dans les langues japhétiques la parenté des mots «ber-» (basque), «-φɪl» (géorg.) et «-bde» (svane). Encore est-il douteux que ce mot basque «ber-o» soit un mot dérivé à suffixe «o» et non un composé de deux mots ethniques BER et SAL (‖«шor» ∼ «ɾor» → «o») ou YON («on» → «o»).

§ 20. Nous touchons ici aux limites des mots dérivés, formés à l'aide des particules fonctionnelles, connues sous le nom d'affixes, terminaisons et en premier ordre, quand il s'agit des langues japhétiques, préfixes. Il y a dans les langues japhétiques une série de cas douteux, où l'on est obligé de se demander si certains mots sont vraiment dérivés ou composés, par ex. basque «ɪn-ϑawr» 'noix', dont les variantes dialectales «ɪn-sawr» et «ɪn-ϑawш-» («ɪn + ϑawĭn-pe»), «ɪn + ϑawĭn-» («ɪn-ϑaɪwĭn-tɪ» 'champ de noyers') nous servent à remonter à une paire d'archétypes «ɪn-ϑor» ∼ «*ɪn-ϑoĭn», resp. «ɪn-ϑos» qui trouve sa correspondance légitime dans l'armén. «ən-koyz» 'noix' ← «↗ɪn-koz-ɪ» ←∿«*nɪ-koz-ɪ», le double de géorg. «nɪgoz-ɪ» 'noix', resp. «nɪ-kor»[1]. Et conscient de cette particularité de l'arménien de mettre la voyelle au commencement, nous sommes en quelque sorte obligés d'être sûrs que des archétypes de ce mot soient: «nɪ-kor» («-kos») ∼ «*nɪ-ϑoш», termes d'époques postérieures, présentant chacun le croisement de deux éléments, mots ethniques, dont le premier «nɪ-» ∼ «nu-» (← «*nuɾ» ∼ «nuш» ‖ «luz» ← «*loz» → «lawz») signifiait 'noix' de même (cf. géorg. «nuш-ɪ» 'amande', arabe «lūz^{un}»[2] ou «lawz^{un}»

---

[1] V. N. Marr, Яфетические названия деревьев и растений (pluralia tantum), ИАН, 1915, p. 915, n. (v. amendation p. 950).

[2] Pour S. Fraenkel, Aramäische Fremdwörter im Arabischen (Leiden 1886) un emprunt de l'araméen «lūz-ā». L'auteur ne sent naturellement guère que خوص 'Palmblatt', de même que aram. הוצא à qui il associe 'kɪbat-aϑ^{un} 'Dattelzweig' avec aram. כבסא, sinon «kabīs^{un}» 'eine Art Datteln', se range à côté de «d̬awz» ← «d̬ūz» 'noix'.

id., cf. arabe «d̨awz»∽pers. «gawz»∽«goz») que le second. Or, notre assurance n'est pas complète, nous ne sommes pas tout-à-fait garantis que la première partie du terme basque «ɪn-» et celle de son double arménien «ən-» ne présentent vis-à-vis de leur équivalence géorgienne qu'un phénomène phonique simple, déplacement de la voyelle. Nous pouvons y avoir des noms ethniques divers, d'un côté YON («ɪn-»↘«ən», v. § 37), d'un autre — ROCH («nɪ»∽«nu»). En tout cas c'est justement le premier élément «nu-» qui forme dans les langues d'Europe occidentale la partie principale du terme également croisé «nu-ker»: 1. «nux» (gén. «nuc-ɪs») etc. Du reste, en Orient aussi chez les Japhétides du Caucase dans le terme géorgien «na-ďu» (moderne «na-ďv-») 'cèdre' le mot ethnique «na-» (ROCH) ne garde plus du caractère d'un affixe que la seconde partie, son associé «ďu» (YON plutôt que SAL) et il nous revient presque comme une base fondamentale dans le terme mingrélien «neď-ɪ» 'noix' (←«*ne-ďvɪ»)[1], influencé dans la prononciation par le groupe sifflant, tandis qu'il existe dans le fonds du lexique arménien comme le type impeccable du groupe chuintant «no-ṭ-ɪ»←«no-ṭ» 'cyprès', genre toujours des conifères.

Quant au géorg. «nɪ-goz» etc., dégagé de tout croisement, son second élément «kos»→«goz», resp. «kor»→«gor», mot jadis indépendant et de même valeur ('noix'), se laisse aussi manier pour constater sa parenté nombreuse. Il suffit d'évoquer dans notre mémoire la formule chuint. «kos», resp. «kol»[2] ‖ siffl. «kal» (→«kaḷ»), resp. «kar»↘«har» et nous voilà dans un monde où les arbres portant des noix et les arbres à glands sont confondus — «kaᒣ» (→«gaᒣ»)→«kaḷ»←«kar»↘«har»: géorg. «kakal» 'noix', svan. «ga-k̇» id., arm. «kaḷ-nɪ» ‖ «kağ-nɪ 'chêne', «kaḷ-ɪn» ‖ «kağ-ɪn» 'gland', grec κάρ+υ-ον 'noix', basque «har-ɪϑ»→«ar-ɪϑ» 'chêne', arm. «ar-ɪṭ» 'chênaie' dans les composés topony-

---

[1] Cf. mon opusc. c., où se trouve l'analyse surannée, son identification à «nɪ-goz».

[2] Cf. «koyz»∽«*koyr», resp.«*k̇or»⟷«k̇ur-», «ʠoz-»←«*ğoz»∽«ğor», N. Marr, Яфетические названия деревьев и растений (ИАН, 1915), pp. 941-942.

miques — «Ardo-arıt» 'la chênaie des ours', nom d'un village avec un couvent près des ruines d'Ani, «Harıta-vanq» 'le couvent de Haritch' c'est à-dire 'de la chênaie [sacrée]'. Il devient clair que la base simple du mot basque «ar-ıϑ» ⟵ «har-ıϑ» est effectivement «ar» dans le sens 'grain', 'gland', et cette même base nous revient encore formée tantôt par le suffixe «-te» ‖ «-tı» — «ar-te» 'chêne', tantôt par le suffixe «-to» ⟶ «-do» ⟶ «-ϑo» — «ar-to» ⟶ «ar-ϑo» ['glands', 'grains', 'blé' ⟶] 'maïs', 'blé de Turquie' comme l'avait déjà établi W. v. Humboldt par des données de culture matérielle.

§ 21. Il y a dans le basque des formations avec des préfixes [1]. L'infinitif qui est en même temps le nom verbal, a le préfixe d'après le type spirant «e-» ‖ «ı-» (⟵ «he-» ‖ «hı-»). Ce préfixe se rencontre ordinairement dans les mots ayant le suffixe du pluriel «-ı» (ou «-rı» ‖ «-lı» d'après l'assimilation avec l' «l»), «-te», «-kı» etc., et correspond au préfixe «se-» ‖ «sı-» du groupe sifflant de la branche sibilante, dont le représentant est le géorgien. Dans le basque nous avons le nom verbal «ı-bıl-ı» (‖ «e-bıl-ı» ⟵ «*he-bıl-ı») 'marcher'. Quant à la base du mot «bıl» qui survit comme import de la tribu BER, base bilitère («vl» ↙ «bl») dans le terme géorg. «bıl-ık» 'voie', 'sentier', de même le verbe «vla» 'marcher', aor. «mo-vıda» 'il est venu', c'est une question à éclaircir ailleurs dans la partie paléontologique.

§ 22. Le même préfixe semble se trouver quelquefois dans les substantifs basques, par ex. dans le mot «e-dur» (⟵ «*e-dur» ⁓ «el-ur», aussi «el-hur», équivalents dialectiques postérieurs caractérisés par le changement du «d», resp. «d» en «l») 'neige', tchane «ϑur-ı» et «m-ϑur-ı» 'neige', avec le dédoublement svane du «u» — «ϑvır-ı», mingr. «ϑır-ı», ainsi que «ϑər-ı», géorg. «ϑol-ı», emprunt du mingr. «ϑər-ı» et géorg. propre, «ϑovl-ı», géorg. «ϑo + v-s» 'il neige', tch. «ϑu + m-s» id., svane «mdu + v-e» id. Cependant la paléontologie formelle nous a découvert dans les ter-

[1] V. la partie paléontologique, plus bas, § 34, comp. l'annexe russe, p. 266.

mes basques «e-dur» etc. la présence du mot ethnique double SAL-SAL, toutes les deux fois spirantisé, la première fois du type spirant, caractérisé par sa vocalisation, celle du type spirant («*hel-» ⟶ «el-» ⟶ «e-»), la seconde fois du type chuintant complètement («-dur» ⟵ «*d̂ur»), tantôt le premier radical est spirantisé («hur» ⟶ «ur»), et c'est justement le type simple chuintant du même mot que nous avons dans le groupe chuintant («ϑur-ɪ» ↽ «ϑɪr-ɪ» ⟵ «d̂ur-ɪ»), tandis que dans le géorgien apparaît le terme croisé SAL-BER — «ϑo-vl-ɪ» et forme raccourcie, comme la base du verbe — «ϑo + v-s» 'il neige', de même que dans le tchane et le svane (tch. «ϑu + m-s» 'il neige', sv. «mɪϑu + v-e» id.).

Laissant de côté pour le moment la question du préfixe dans le terme toponymique arménien — «Ay-rar-at», nous sommes amenés par les faits à ne voir dans le basque «ayϑɪn» ⟵ «ayn-ϑɪn» '(le) devant' que le terme croisé, dont la première partie «ayn-» ⟶ «ay-» est un mot ethnique YON, type spirant, de même que la seconde «ϑɪn», type sibilant, et chacune d'elles signifie 'oeil': remontant à l'archétype «*hayn», même «*hen», «ayn-» ⟶ «ay-» [comp. bsq. «q̇awn» (↘ «yawn» ‖ «yayn» ↙) «q̇ayn» 'seigneur' ⟵ «*q̇on» ‖ «*q̇en»] a son équivalent dans la base du verbe arménien «hay-el», 'regarder', 'mirare'; le sibilant «ϑɪn» sous-entend l'existence de l'espèce spirante «*hɪn» (↗ «q̇ɪn») ⟶ «qɪn», base probable du thème arménien «qən-ɪn», d'où provient le verbe arménien «qən + ən-el» ['regarder' ⟶], 'observer', 'scruter' etc. En tout cas «hɪ-», survivance de «*hɪn» (cp. «hay» 'Arménien' ⟵ «*hayn»), sert à former le verbe arménien «hɪ-an-al» 'admirer' (cfr. 'mɪrarɪ' ⟶ 'admɪrare'). Ces deux espèces du type spirant «⌜h⌝ay⌜n⌝» et «hɪ⌜n⌝» ['oeil'] nous présentent par leur vocalisation les rapports mutuels de «ɛayn» (arab., hébr.) et «ɛɪn» (syr.) 'oeil' qui remontent de même au mot ethnique YON, cette fois-ci du groupe sémitique. Quant au type sibilant «ϑɪn» il est représenté, lui aussi, par la forme raccourcie «ϑɪ-» ↘ sum. «mɪ», la seconde partie de notre terme croisé, étant de même un mot signifiant 'oeil', par conséquent, selon la paléontologie de la sémanti-

que 'oeil du ciel', c'est à dire 'soleil' et 'lune', c'est dans cette dernière signification qu'il est qualifié comme déité «S̲īn» («Tīn»), tandis que le géorgien de même que le basque, emploient ce même «tın» (⟶ ϑın) 'oeil' isolément dans le sens 'devant' — géorg. «tın-a»⟶«tın» (cfr. syr. «lə-ʿın» 'devant' de «ʿīn» 'oeil').

§ 23. Or, une particularité distingue les langues japhétiques du Caucase qui partagent avec le basque ce trait de la formation du pluriel à l'aide du «k»⟶«g», soit dans le nominatif (arménien littéraire ancien), soit dans une catégorie spéciale de noms, notamment noms d'objets et d'êtres «dépourvus de raison», quand on parle une langue sans déclinaison (abkhaze). Ces deux langues ont deux variations d'une seconde forme du pluriel, l'arménien — «-ϑ̇» dans les cas obliques, l'abkhaze — «-ϑ̇a» (⟵*-ϑ̇o)[1] au pluriel des noms d'êtres doués de raison. La troisième variation de la même terminaison du pluriel, à savoir «-ϑa»⟶«-ϑ» est bien connue dans la langue littéraire ancienne géorgienne, toujours dans les cas obliques, quoique le géorgien ne dispose guère du pluriel «-k». On croirait que le basque est dépourvu à son tour du pluriel dental «ϑ̇» (⟵«ϑ̇a»)⟶«ϑa»⟶«ϑ». Cependant nous l'avons 1) sous forme de «-ta» dans le cas directif des noms et pronoms personnels, par ex., «oyn-e+ta-ra», «he+ta-ra+t»; 2) justement c'est le représentant simple, sans le sifflant, de l'archétype abkhaze «*-ϑ̇o», savoir «-ϑo» («-do»⟵«-to») et son équivalence vocalisée par «e» qui servent à être formatifs, «-to»⟶«-ϑo» dans le basque (cfr. «ar-to»⟶«ar-ϑo» 'maïs' [⟵'glands'], v. § 20, p. 237), «-te» (‖«tı»)[2] dans le basque (cfr. «ar-te» 'chêne') et dans l'arménien (plur. «mank-tᵉ/ᵢ» 'jeunes hommes').

§ 24. Les adjectifs numéraux de la langue basque sont du plus grand intérêt pour résoudre la question de son japhétidisme. Dans le basque le système de la numération, comme dans les langues japhétiques du Caucase, n'est pas décimal, mais vigésimal, tandis

[1] La désinence «ϑ̇a» m'apparaissait auparavant composée de «ϑ̇ + wa».

[2] N. Marr, Два яфетических суффикса «-te» (‖«-tı»⟶«-t») в грамматике др.-арм. языка (ИАН, 1910), pp. 1248 sv.

que les noms des numéraux en basque diffèrent de ceux des langues japhétiques du Caucase. Cependant cette différence ne se voit que quand on fait une comparaison avec les termes habituels de la partie correspondante dans les langues japhétiques du Caucase. Mais ces termes habituels ne sont que le résultat d'influences postérieures, influence mutuelle des peuples du Caucase de même que l'influence internationale de ces peuples et de leur entourage ethnique, en général le résultat d'une vie sociale différente en cette région lointaine où, tantôt le croisement, tantôt les emprunts ont changé dans les langues l'aspect, parfois l'essence des choses. Au fond les particularités des numéraux basques ne diffèrent ni des normes japhétiques, ni des matériaux lexiques propres de même aux langues japhétiques. Au contraire les numéraux basques nous aident à fixer définitivement le tableau de la numération des Japhétides aux premières époques de leur vie primitive, comme elle a été éclaircie par les données des langues japhétiques du Caucase. Le basque démontre encore plus clairement le lien des noms de nombre avec ceux des objets concrets, des membres du corps, et ce lien peut servir à déterminer l'époque où les Basques et leurs apparentés qui habitent le Caucase se séparèrent, les Basques et les Japhétides du Caucase, jadis concitoyens, non d'une même région, mais de la même étape dans l'histoire du développement du langage, époque qui semble remonter à la plus haute antiquité.

Le basque «hır-ur» ⟶ «hır-u» 'trois' paraît n'avoir rien à faire avec, par ex., géorg. «sam» 'trois', tant qu'on ne sait ni la formule élémentaire de la phonétique comparée siffl. «sa» ‖ chuint. «mo» ⤳ spir. «hẹ» ‖ «hı», ni l'importance réelle du croisement. La base du bsq. «hır-ur» 'trois', savoir «hır-» ⟶ «ır-» ‖ «*her-» ⟶ «er-» qui se présente dans arm. «er + e-q» ‖ «er + ı-s» 'trois', ne peuvent avoir comme équivalence régulière dans le rameau sibilant que «sal» (siffl.) ‖ «mor» ⟷ «mur» (chuint.), dont les survivances «sa» ‖ «mu» se trouvent dans le numéral 'trois' géorg. «sa-m» ‖ tch. ou laze «mu-m» (par suite «su-m»), parce que ces deux mots présentent le

croisement de deux mots ethniques SAL + BER, leurs archétypes étant «*sal-mar» || «*mor-mor» 'mains' '2 + 1' (← 'mains + main') = 'trois'.

Le terme «*mor» bien connu par ses formes «ɟur» (∼ «ɟɪr») dans le groupe chuintant, nous aide dans sa prononciation influencée par le groupe sifflant — «sor» (transcription romaine «zor-») à comprendre l'origine de bsq. «sor-ϑɪ» 'huit' qui n'est à la lettre que 'deux moins' ('dix moins deux') de même que «bedera-ϑɪ» 'neuf' signifie à la lettre 'dix moins un'[1].

§ 25. De la formation des adverbes je relève ici celle qui se produit par le suffixe «-kɪ» (→ «-gɪ», 'main' → 'manière') commun dans le basque et l'arménien (littéraire ancien): bsq. «eder-kɪ» 'joliment', arm. «yaṭaq̣a-kɪ» 'souvent'.

§ 26. La déclinaison basque se range à côté de la déclinaison géorgienne vulgaire, même au pluriel, tant que la désinence des cas conserve sa forme indépendante de la marque de pluralité, en général tous les éléments de formation, marque du pluriel et terminaison des cas, suivent chacun séparément des thèmes dans l'ordre habituel des langues agglutinantes, turque, finno-ougrienne et autres, du géorgien vulgaire («moderne») et de même tchouvache, par ex., dans le génit. bsq. «gɪson + a-k-en» 'des hommes', 'hominum'. Mais de plus le basque garde en même temps plus conséquemment la formation de la langue littéraire ancienne géorgienne, où la terminaison du datif «-an» s'ajoute au thème par l'intermédiaire de l'élément pronominal, en géorgien «m» (dat. «-m + an»), en basque «a» (dat. «a + rɪ»).

§ 27. Les Basques ont conservé la formation des cas particuliers japhétiques, outre la déclinaison commune basque qui s'identifie complètement avec la déclinaison japhétique, à savoir dans la désinence du génitif «-ren» || «-en» (← «*hen») ∼ japh. sib.: «*sen», resp. «*-men» ↗ «-d̮en», par suite bsq. «-ren» → «-re» ∼ japh. sib. — «-me», géorg. «-sɪ», par ex., khald., «ϴaldɪ-me» 'de Khalde' «Menua-me», 'de Menua' tchane (laže) et mingr. — «-me» → «-mɪ»

[1] Concernant boϑ 'cinq' v. plus bas, pp. 273—275.

(«koϑ + ı-ıne» ⟶ «koϑ + ı-ını» 'de l'homme'), mais aussi «-ıneu» ‖ «-ıneu-ı» dans le cas élatif (tchane «mu-ıneu» 'de quoi?', mingr. «mu-ıneu + ı» 'de quoi?' 'pour quoi?', arm. «-d̂en-ı» ⟶ «d̂ «-teğwo-d̂eyn» 'du lieu', «men-d̂» 'de nous', «ďen-d̂ 'de vous') etc. L'arménien garde la consonne liquide des terminaisons de cas dans les pronoms à vocalisations diverses «-ra», même «-ru», mais d'ordinaire «-re» ‖ «-rı» ⟶ «-r», le dernier seul domine dans la déclinaison des noms: «-y» ⟵ «-yr» ⟵ «-rı»[1].

Or, le principal, c'est que nous savons à présent la paléontologie de cette terminaison, qui n'est, par son origine, qu'un nom indépendant autrefois et signifiant 'enfant', 'fils' (⟵'*propriété de tribu'), comme la désinence d'un autre génitif basque remplissant fonction d'adjectif, savoir «-ko» (⟶ «-go») ⟵ «*hko» ~ «sko», resp. «sko» ⟶ «k̇o» ⟶ «kwa» etc., v. tcherk. «k̇o» 'fils', «kwa» «k̇ₒa»' fils' dans des noms de famille chez les Abkhazes et les Mingréliens, forme pleine — «-skul» etc. (comp. mingr. «skua» ⟶ «squa» 'fils').

§ 28. Des cas particuliers basques apparaissent dans maintes expressions populaires, adverbes, cas de direction etc.

La voyelle «ı», caractère du datif basque («-rı») n'est que secondaire, permutation postérieure de «o» ⟷ «u». Et justement la forme primaire de ce datif à fonction de cas circonstanciel s'est conservée dans l'adverbe «sea-ro» 'minutieusement', «argı-ro» 'clairement', «oȴuo-ro» 'entièrement'. Par son origine il va de pair avec le cas datif «-ra», qui, devenu par fonction le cas de direction, reçoit d'ordinaire la postposition «-t», au total «-ra + t», et alors nous avons strictement la terminaison du même cas, datif à fonction de directif, «-a + d» (⟵ «-*ha + d» ~ «-sa + d») en géorgien.

§ 29. Nous avons le même cas sans postposition dans les mots basques «eȴuku-ra», «oyn-e + ta-ra», «eϑe-ra», «leφo-ra» etc. et dans l'adverbe «no-ra» 'où?'. En somme deux formes du cas datif-directif «-ra» ‖ «-ro» (~ «-rı») sont identiques à celles que nous présentent les langues du groupe chuintant pour le même cas: «-ıııa» ‖ «-ıııo».

[1] V. N. Marr, Grammaire arménienne (en russe), § 69.

§ 30. Un intérêt spécial est lié à la forme du cas élatif, dont la marque «-tɪ» reçoit en basque par surcroît un «k» parasitique («-tɪ-k»), par ex., «e+ta-tɪ+k», «han-dɪ+k» etc. Cette forme, propre de même aux langues japhétiques du groupe chuintant, surtout tchane (laze), ainsi qu'au svane et au khalde (cunéiforme)[1], est usuelle avec la même fonction dans les pronoms de la langue littéraire ancienne arménienne[2].

§ 31. Enfin il est à relever un fait morphologique qui est en même temps du domaine de la syntaxe. Il s'agit de formes comme «norenak» dans la combinaison, par ex. «eϑe oy-ek no+ren-ak dɪra» 'de qui sont ces maisons?' — «gɪson+en-ak» 'des hommes'. «No+ren-ak», «gɪson+en-ak» qui présentent justement la construction bien connue dans la langue littéraire ancienne géorgienne, celle qui s'appelle dans sa grammaire «génitif de relation», par ex., géorg. «saq̇l-nɪ ese-nɪ v-ɪs-n-ɪ arɪan?» 'Ces maisons de qui sont-elles?' — «kaϑ+ϑa-nɪ» 'des hommes'.

Ces deux langues pourvoient le génitif (bsq. «-ren» ‖ «-en», géorg. «-ɪs» ‖ plur. «-ϑa») de la désinence du mot déterminé par la marque du pluriel (en basque «-k», en géorgien «-n-ɪ»), pour accentuer sa relation avec le mot qui le détermine (en basque «eϑe oy-e+k», en géorg. «saq̇l-nɪ ese-nɪ») et pour les faire accorder.

De la syntaxe dépend aussi dans le basque la forme du cas actif «-k», qui n'a rien de commun avec la marque du pluriel «-k» dans le nominatif; au contraire, le cas actif est un cas oblique, génitif ou datif, dont on se sert pour former le sujet d'action dans la phrase, où le verbe a au fond fonction de passif: ou il est en effet à la forme passive ou conçue comme passive. C'est un fait commun à la plupart des langues japhétiques: les langues du groupe chuintant, par ex., le mingrélien nous donne dans le même cas la variation de la terminaison basque «-k», à savoir — «qə».

[1] Ici, comme en svane, c'est le cas de direction.

[2] N. Marr, Два яфетических суффикса «-te» (‖ «-tı» → «-t»); p. 1245—1246; — Грамматика др.-арм. языка, § 351.

§ 32. Dans le basque, comme dans les langues japhétiques, il y a des conjugaisons absolues et relatives. Or, il est tout naturel que nous, japhétisants et basquisants, sans nous être connus réciproquement, nous ayons eu des coïncidences quand nous fixâmes les catégories dans la partie la plus originale de la morphologie japhétique — c'est-à-dire dans la conjugaison. Les uns et les autres nous avons fixé une attention spéciale sur la distinction et le placement des affixes sujets et objets (chez les personnes étudiant le basque descriptivement — «les signes du datif» etc.), des préfixes et des suffixes; quelquefois ces formes elles-mêmes nous ont forcés à leur donner les mêmes définitions — conjugaisons absolues et relatives. Mais les indices généraux d'origine commune (pour être plus exact, de parenté sociale ou de rapprochement des époques primordiales) ne sont pas les seuls qui soient nettement démontrés dans la conjugaison. Il suffit de rappeler l'identité des éléments pronominaux — 2° personne basque — «s» ⤳ «h («su», «sen-», «hı-re»), géorg. — «s-» ⤳ «h-», «шen», mingr. «sı», bsq. — «s», géorg. «g», 3° personne sing. bsq. — «s-» ← «se-», géorg. — «s-» ⤳ «h», la marque du pluriel: bsq. — «-te» (2° et 3° pers.), géorg. — «-ϑ» (1° et 2° pers.). Et la première personne et ses éléments pronominaux? Nous allions les passer sous silence parce que pour nous comprendre on doit préalablement bien maîtriser le fait de la communauté des éléments pronominaux du singulier et du pluriel de même que la formule de la correspondance phonétique «s» ↗ «ṫ» → «t». Toutefois je me décide à publier un tableau comparé partiel des éléments pronominaux propres aux langues qui se rapprochent quelquefois comme membres d'un groupe:

a) arm. «e-s» 'moi', 'je', à la lettre 'me voici' (cf. arm., géorg. «a-ha 'voicı')

géorg. «e-s⌈e⌉» 'celui' (← '*moi')

abkh. «sa» («sa-ra») 'moi', 'je', à la lettre 'nous' («-ra» plur.)

abkh. «s»; 'je', 'à moi', accus. 'me', 'mon', «s-» ⤳ «ħ-» («ħa-», «ħa-ra» 'nous' etc.) 'nous', 'à nous', accus. 'nous', 'notre'.

arm. «-s» 'ce', 'mon', 'à moi' etc.
bsq. «-t» (←«*ṭ»)↖«s» 'je'

b) tchouv. «e-bĕ» 'moi'
géorg. «me» 'moi', 'à moi', acc. 'me' «mɪ-» 'de moi'→'par moi'.
élam. (cunéif.) «mɪ» 'mon'
géorg. «m-» 'à moi', acc. 'me', anc. litt. aussi 'à nous', acc. 'nous' etc.
géorg. «v-» («chuint.: v- ‖ m- ↗ b-) 'je', 'à moi' (cas actif)
bsq. «-u-» ↘ «-w-» (après ou avant la voyelle)
tchouv. «e-bɪr» 'nous'
arm. «me-q», vulg. «men-q» 'nous'

c) «*e-go» (gr. ἐγώ, lat. ego)←→«*e-gu»
géorg., sv. «gu-» 'à nous', acc. 'nous'
bsq. «gu-» 'nous'
bsq. «g-ɪn»
votk. «-g» 'je' dans les formes négatives «u-g»

d) «e-ne» ‖ «ɪ-n⌜e⌝ 'moi', 'mon'
bsq. «e-ne» 'mon' (←*'moi').
arm. dat. «ɪn-ď» 'à moi'
arm. instr. «ɪne-w» 'par moi'
arm. abl. «ɪne-yn» 'de moi' etc.
bsq. «nɪ-k» 'moi', à la lettre 'à moi' (cas actif)
bsq. «ne-re» 'mon', 'de moi' (gén. 'de moi')
bsq. «nɪ-rɪ» 'à moi'
sv. «n-» etc. 'nous', 'à nous'

e) formes croisées
bsq. «ne+w-k» 'moi', dat. (cas actif)
bsq. «ne+w-re» gén. 'mon'
bsq. «ne+ra-w» dat. (cas actif)+nom. 'moi-même'
bsq. «ne+ro-ne+k» dat.+dat.
bsq. bn. «ne+w-ro+r[ɪ]» dat.+dat. 'moi' (cas actif)
bsq. «ne+w-r[ɪ]+k» dat.+dat.
etc.

En général même les faits matériels linguistiques constatent que les langues japhétiques ont franchi, ensemble ou parallèlement, par des formes génétiquement apparentées, les étapes du développement de la civilisation matérielle et sociale, — les étapes où l'on n'avait la perception des objets que dans leur relation au monde connu, comme ses parties inséparables, et où, infiniment habile à la compréhension de l'entourage en images, on éprouvait de la difficulté à avoir des conceptions abstraites et absolues. Les Japhétides n'ont pas dans les verbes de formes absolues. A vrai dire, la construction des formes verbales transitives sans aucun rapport à quelque objet est, de même que dans les langues japhétiques du Caucase, inadmissible en principe chez les Basques. Certes les Basques ont abandonné depuis longtemps le premier stade du raisonnement humain par conception des idées en images, quand ils ne discernaient guère les faits abstraits et concrets, et conformément aux nouvelles exigences ils employèrent comme expressions absolues les formes relatives, de l'époque primordiale, celles du raisonnement pré-logique ne prêtant aucune attention aux éléments évidents de formes relatives, aux particules pronominales, aux indices de l'objectif. C'est-à-dire les Basques ont fait exactement ce qu'on trouve chez les Japhétides du Caucase, entre autres chez les Géorgiens, qui malgré des formes verbales semblables, formellement restes de l'époque préhistorique, pouvaient même au moyen âge, comprendre et reproduire par leur langue avec une parfaite exactitude les formules les plus abstraites de la philosophie néoplatonicienne.

Dans les verbes, l'espèce causative se construit comme dans les langues japhétiques à l'aide des suffixes du pluriel et justement d'un phonème liquide qui joue le même rôle dans la langue abkhaze et qui, comme dans cette dernière, est placé devant la base; basque «e-kaṛ-ɪ» 'porter', mais «e-ra-kaṛ-ɪ» 'faire porter', abkhaze «à-gəla-ra» 'être debout', 's'élever', mais «a-r-gə̀la-ra» 'lever', 'ériger'. Le même élément, consonne liquide, vocalisé par «e» — «-re» sert à construire le substantif verbal qui est en

même temps l'infinitif, dans la langue svane qui appartient au type hybride, où les restes du mesque (‖basquè) présentent la couche fondamentale. En svane cette forme signifie ou la pluralité de l'objectif ou l'espèce fréquentative — «lı-φϑqu-re» 'casser beaucoup de choses', «lı-kuu-re» 'casser souvent', 'recasser'.

§ 33. 'Sourcil' dans les langues japhétiques s'exprime par une combinaison dans laquelle 'oeil' semblerait avoir toujours sa part. Le tchouvache «kuş qarш-ı» 'sourcil' où «kuş» signifie justement 'oeil' n'est qu'un cas très rare qui ne laisse aucun doute sur cette composition, mais il n'est certes pas plus clair que [illegible] l'est le mot équivalent en svane: dans le mot svane «näq-ṭa» 'sourcil' et ses variantes dialectales («neq-ṭa», «nıqe-ṭa» ⟶ «nıqu-ṭa»), «näq-», «neq-», «nıqe-», «nıq-» veulent dire de même 'oeil', la particularité de ce terme svane pour 'oeil' ne consiste que dans le fait qu'il est un nom croisé «nä-q» (⟵ «*na-qe»‖«nı-qe»), composé de deux mots ethniques signifiant chacun la même chose, c'est-à- dire 'oeil', mot ROCH ou LAS (⌜et⌝-rus-que ou ⌜pé⌝-las-ge) — «nä-»‖«ne-»‖«nı-» (tcherk. «na» 'oeil', cf. «na-te»‖«na-ṯa» 'front' ⟵ 'le dessus des yeux'), d'où vient arm. «nay-el» 'regarder' (v. § 22) et le mot YON «-qe» [⟵ «-ge»‖«-gı»] forme pleine «*gen»‖«*gın», équivalence spirante (comme dans la souche sémitique syr. «£īn» 'oeil' etc.) de «ṫın» ↘ «sın» du rameau sibilant, où ces mots avaient également la valeur d''oeil', ainsi que celle de 'lune' (⟵ '*oeil* du ciel') etc. Et le géorg. «ṫın-a» 'devant', 'aux yeux' n'est à proprement parler que le même mot «ṫın» 'oeil' (cf. syr «lə-£īn» 'devant' de «£īn» 'oeil', v. § 22). Sans doute les mots ethniques qui s'unissent dans ce terme, varient: dans le géorgien nous avons un composé de deux mots ethniques, le mot SAL et le mot BER — «ṫar-b» 'sourcil' (⟵ «*ṫar + b-r», resp. «ṫar + b-l»). La vocalisation du prototype géorgien ne pouvait être, dans ce cas, autre que la voyelle «a» («*ṫar-bal»), mais ce fait abstrait ne peut nous conduire au but, si dans le géorgien ce terme, influencé par le croisement avec le groupe «e», présentait en pleine forme «*ṫar-ber» avant d'être raccourci en «ṫar-b». Pour le prototype abstrait «*ṫar-bal», resp.

«*ṫar-bar» plaide le fait qu'autrefois existait l'équivalence chuintante «*ṭur-bur» dans le même sens de 'sourcil'. Il est vrai que nous n'avons à présent dans les langues japhétiques du groupe chuintant que le mot grec «oflrıdı» qui se trouve dans le laze, ou le mot géorgien «ṫar-b», le liquide «r» du premier mot perdu — «ṫa-b», qui se trouve dans le mingrélien. Le même terme géorgien y apparaît dans une forme plus courte — «ṫar», ce qui suscite nécessairement cette question: avons-nous dans ce cas une perte du phonème labial final «b» ou la conservation de la première partie «ṫar» du mot composé «ṫar-b»? Il est encore prématuré de se prononcer d'une manière décisive, mais je m'empresse de faire remarquer que le terme «ṫar» de ce composé signifie également 'oeil', c'est la forme primitive du mot «ϑar» qui s'est conservé dans la forme plurielle svane «ϑär-al»||«ϑer-al» 'yeux' et le reste de «ϑar-» 'oeil' ou, pour être plus exact, de son équivalence chuintante réduite à un phonème initial, c'est-à-dire à un seul «ϑ-» (←«ϑ»←«d̦»←«ṭ»), que nous trouvons maintenant dans le terme géorgien croisé «ϑ-val» (anc. litt. géorgien «ϑo-wal» 'oeil'|| «m-ϑ⌈o⌉-war-e» 'lune'). Les points de contact, parfois de coïncidence presque parfaite, avec les mots 'front', 'barbe', même 'lentilles de rousseur' ou 'taches de rousseur' est une question sémantique à part. Je me contente de relever ici le fait que le géorg. «ṭor-φ̣l» 'lentilles de rousseur' provient du groupe chuintant, son prototype étant «*ṭor-φ̣ur». Mais revenons à nos moutons. L'existence de la forme chuintante «*ṭur-bur» (⟷«*ṭor-bur»), laquelle justifie à son tour le prototype «*ṫarbal» du groupe sifflant est attestée par le mot abkhaze «d̦umɯ̦ə» 'sourcil' qui n'est que sa transformation en concordance avec le système phonétique de cette langue qui se l'était approprié évidemment dans le croisement partiel avec le mingrélien, langue avoisinante: «*ṭur-bur» (⟶ «*ṭur-φ̣ur»)⟶«*d̦u-bur» ↘ «*du-mər» ∼ abkh. «d̦u-mɯ̦ə» 'sourcil'. On peut aussi constater la vocalisation labiale uniforme (o-o ⟷ u-u ⟶ o-u) dans la formation spirante «*ϸor-bur», le double de la forme chuintante «*ṭor-bur»⟶«*d̦o-φ̣ur»∼«*ϸo-

φur» ∞ «φrw», qui nous a été conservé par le grec dans le terme «ὀ+φρυ-ς» 'sourcil'. Dans le basque pour 'sourcil' nous disposons de trois mots, dans lesquels 'oeil' a toujours sa place, une fois seulement dans son état croisé «be-sın-», équivalence sibilante de la forme spirante «be+gı» 'oeil' (←«*be-gın») et deux fois dans la forme simple primitive «be-» (←«*ber»‖«bal» ↘ «val»: copt. «bal», abkh. «a-bla», «-val» dans le géorg. «ϑ-val» ← «ϑo-wal» 'oeil'): «be-puru», «be-qayn» et «be-sın-ta» (orthogr. habituelle: «bezınta») 'sourcil'. Ce ne sont dans leur ensemble que les composés, signifiant à peu près 'poil', 'barbe d'oeil'. Quant aux termes des langues dites indoeuropéennes qui accusent la similitude de leurs phonèmes avec basq. «be-puru», à savoir all. «Brauen», rus. «брови» etc., ils ne représentent qu'une partie de ce mot qui en a été détachée, fragment usé comme chez les Japhétides mêmes le mot mingrélien «ṫar» envers géorg. «ṫarb». Je ne doute point qu'il n'y ait une autre voie pour faire l'analyse sémantique des termes ayant la valeur de 'sourcil', surtout quand il s'agit du bsq. «bepuru», mais le terme sera toujours un mot composé et ne se passera jamais de la partie signifiant 'oeil'.

§ 34. La question de préfixes est très compliquée: 1) on ne peut détacher le sort des préfixes de celui des suffixes, y compris même les déterminaisons des cas[1] dans le nom et quelques affixes grammaticaux dans le verbe (par ex. formes fondamentales de la conjugaison géorgienne); 2) les préfixes formels (comme aussi les suffixes formels) ne peuvent nous assurer que nous y ayons réellement la partie fonctionnelle. Nous-mêmes nous avons été dans le cas de nous en référer à des mots tels que «ma-dar-ı»‖«u-d̠ar-e» 'poire'[2] pour constater l'existence des préfixes en basque. L'existence de la formation préfixale en basque est incontestable, mais les termes botaniques «ma-dar-ı» et «u-dare» peuvent-ils servir à

---

[1] V. N. Marr, Где сохранилось сванское склонение (ИАН, 1911, pp. 1199-1206).

[2] V. N. Marr, К вопросу о префиксовых образованиях в баскском языке (ДАН, 1924, pp. 159—162).

affirmer cette thèse? Sans doute les syllabes initiales «ma-», «u-» ont toutes les apparences de préfixes, elles peuvent bien être reconnues formellement comme de telles parties fonctionnelles de droit, mais les préfixes réels ont aussi leur paléontologie qui nous laisse leur assigner dans l'état primordial des valeurs comme aux noms communs, mots indépendants, et ces significations nominales doivent naturellement convenir et elles conviennent à la fonction actuelle de leur descendance, devenue marques de catégorie grammaticale, préfixe ou suffixe. Cependant pour prétendre au droit d'être réellement élément fonctionnel, marque de catégorie grammaticale, on doit fournir les raisons ayant dicté une telle prétention et cela, quand il ne nous reste plus aucune raison valable de ne pas nous orienter pour son explication vers le croisement. Et en effet dans les mots basques «ma-dar-ɪ» et «u-dar-e» nous avons assurément l'espèce des termes composés appelée croisée, chaque partie de ces composés signifiant donc la même chose que le composé tout entier. Pour s'en convaincre, il ne faut qu'être informé de ce fait de la paléontologie sémantique que, dans l'état préhistorique du langage, on ne disposait pas de termes spéciaux pour chaque espèce de fruits d'arbres, il n'y avait pas deux noms différents pour les deux espèces de fruits 'pomme' et 'poire'. La survivance de cet état de choses se fait sentir même aujourd'hui dans le parler quotidien des Géorgiens dont une partie (occidentale) comprend le terme «panta» comme '*pomme* de forêt' et une autre (orientale) — '*poire* de forêt'. Or, «ma-» étant un mot ethnique BER, pourrait bien signifier et il signifiait en effet simultanément 'pomme' et 'poire'. En même temps la grammaire comparée des langues japhétiques nous permet de faire des recherches paléontologiques, ayant pour point de départ la formule suivante des transformations phonétiques de notre terme: «ma-» (|| «va-») ⟵ «mal» ↗ «*pal», resp. «par» (⁓ «*panṭ» ⟶ «pant») || «por» (⁓ «pɪr»). Or, les espèces pleines nous sont attestées des mots indo-européens tels que l. «mal-um» 'pomme', l. «pɪr-um» 'poire', fr. «poire» etc., etc. Quant aux espèces défectueuses «ma-» || «va-»,

nous les avons dans les termes croisés basque «ma-dar-ı» 'poire' et géorgien «va-ml-ı» (←«*va-mal-ı») 'pomme'. Il est évident que le terme basque «ma-darı» appartient au même groupe que son équivalence géorgienne, savoir groupe sifflant. Le groupe chuintant devait produire la forme «*vu-mqur» et nous l'avons, avec la perte de «v» initial, dans les langues du groupe chuintant, toujours avec la valeur 'pomme' — tchan., mingr. «u-mqur». Le basque reste fidèle au groupe sifflant dans la seconde partie de ce terme, du moins quant à la vocalisation, mais cédant tout-à-fait la place à l'espèce du groupe chuintant «u-» (←«*vu-») dans la première partie du double du même terme, à savoir «u-dar-e» 'poire', et fait de même dans le choix des consonnes, s'appropriant ou conservant «r» du groupe chuintant dans cette seconde partie, base bilitère «-dar» de même que dans sa variation trillitère — «ĭnagar», mot simple et indépendant qui reproduit la seconde partie du mot tchan., mingr. «u-mqur-ı» avec la vocalisation propre (du groupe sifflant: «a») et pleine («a — a») et signifie indépendamment lui seul de même 'pomme', quoique sa correspondance stricte en géorgien «sq̣al», mot aussi simple, mais plus conséquent dans la conservation des traits phonétiques propres au groupe sifflant ne signifie que 'poire'.

§ 35. La paléontologie des verbes exige une étude à part. La thèse fondamentale de la théorie japhétique sur cette question, c'est que le verbe est en général une catégorie postérieure. La langue phonique s'en est passée très longtemps, des milliers d'années peut-être. Chaque nom devenait un verbe dans l'ensemble des idées ou plutôt des images qu'on juxtaposait dans ce complexe phonique qu'ensuite la science a nommé 'phrase'.

Voilà pourquoi il est même à présent si difficile de distinguer le verbe et le nom dans les langues japhétiques[1]. A vrai dire

---

[1] On attire mon attention sur le fait que M. A. Cuny aurait émis les mêmes idées dans ses Etudes prégrammaticales (Paris, 1924, pp. XIII, 452); elles sont vraiment congénères aux miennes, néanmoins je ne puis m'appuyer sur l'opinion du linguiste français réformiste qui élucubre ses thèses s'appuyant certes sur

dans ces langues nous n'avons même aujourd'hui, que des noms entourés chacun par un choix de particules qui expriment la présence d'action ou d'état, soyons plus exacts — la présence des relations sociales de mouvements (verbes actifs, passifs)[1] ou de repos (verbes neutres, intransitifs). Au fond le verbe est donc toujours le dérivé du nom, plutôt son application aux besoins de pourvoir la phrase d'élément d'action ou d'état. La plupart des verbes d'origine primitive sont dérivés du nom 'main'; je commence à penser que tous les verbes remontent à ce nom d'action (verbes actifs, passifs) et de possesion, parce que même l'idée d'être, inconnue dans sa valeur abstraite à l'homme primitif, ne se concevait que comme existence dans le pouvoir ou la possession, partant *aux mains* de quelqu'un, pour mieux dire *aux mains* de qulqu'un collectif.

Ainsi des noms signifiant 'main' et parmi eux du mot ethnique SAL du rameau spirant «kar»‖«kor»‖«ker», resp. «kır» dérivent les verbes: a) 'porter': bsq. «e-kar-ı», arm. «kər-el» (~«kır-»), b) 'tenir': abkh. «a-kə-rà» (base «kə» ↙ «ku» ← «kor»), c) 'frapper': géorg. «kra», aor. «v-h-kar», 'je le frappai', d) 'toucher': géorg. «e-kar-eb-a» 'il le touche' et tant d'autres.

§ 36. On n'a, je crois, aucune difficulté à comprendre que les verbes peuvent dans ces cas conserver les noms dans leur état primitif, par ex., nous n'avons dans le sens de 'main' le mot ethnique SAL que du type spirant («hal», resp. «har» ↗ «kar»), mais nous en trouvons l'espèce sibilante dans le verbe 'vendre' (par conséquent toujours 'donner') d'où dérivent les mots basques «sal+sapen» 'vente', «sal+du-ra» id. (cfr. aussi «sal+ha-tıl» 'traître', it. «prodıtore», russe «предатель»); il est donc évident que nous

---

quelques faits, mais guidé en général par les idées spéculatives d'un raisonnement historique, tandis que nous ne faisons que généraliser ce que nous dictent les faits tels qu'ils sont dans la réalité du langage japhétique, avec sa manière préhistorique de raisonnement que tout le monde a la possibilité d'observer, de vérifier.

[1] Le genre passif, quand il existe, ne se reçoit que par addition de ses marques par la forme active.

revenons à la même thèse paléontologique que le verbe dérive du nom, que 'vendre', étant une forme spéciale de 'donner' ou 'remettre', remonte au nom 'main'.

§ 37. Il devient de plus en plus clair quelle place le basque va prendre parmi les langues japhétiques. On peut la déterminer même à l'aide des moyens misérables de la méthode comparée. Nous avons dans le basque un des représentants du rameau spirant, mais les survivances de cette langue ne font, en grande partie, qu'encadrer une des langues du groupe chuintant de la branche sibilante.

En affirmant la prépondérance de la couche chuintante, soit intacte, soit déformée sous l'influence d'autres groupes ou d'un autre rameau (spirant), nous n'oublions jamais la présence du croisement et son grand rôle créateur. Dans le basque, nous constatons les croisements des mots non seulement des différentes tribus, mais aussi de la même tribu — des mots qui ne se distinguent que par les particularités phoniques de divers groupes. L'analyse du bsq. «elhur» 'neige' (§ 22) est un des cas typiques servant à illustrer cet état de choses. L'encadrement spirant du rameau chuintant exerce son influence dans ce terme croisé, où même la seconde partie du composé «-hur» ne garde de sa nature chuintante que la vocalisation labiale. Mais près des éléments du groupe chuintant se range une série assez grande de mots du groupe sifflant, qui de même ne gardent de leur nature, grâce à la prépondérance du rameau spirant, que la vocalisation «a», par ex. dans le terme abkh. «al-q̥a» (←«*hal-qo») 'aune'. La variante basque avec le spirant («hal-») et sans lui («al-») se rencontre dans le même sens toujours avec l'annexe «-ϑ̇a», élément soit fonctionnel (pluriel, comp. en abkhaze plur. «-ϑ̇a»←«*-ϑ̇o»), soit partie du composé, toujours comme «-q̥a» (←«*-qo») en abkhaze, le reste du mot ethnique YON: bsq. «hal-ϑ̇a»→«al-ϑ̇a» 'aulne'. A propos, est-il nécessaire de faire remonter l'apparition de ce terme en Europe occidentale aux Russes ou aux Slaves en général, parce que le même terme se trouve dans le russe, c'est du reste une variante à la vocalisation labiale du groupe chuintant — «ol̦-q̇a», tandis

que la base du terme basque «al-ϑa» ne fait que reproduire celle du terme abkhaze? Il est plus instructif, le fait du même rapport, pour ce qui est de la vocalisation («a»||«o») dans les termes abkh. «a-ras» et russe «o-rē-q̇» «o-pѣ-x» (←*or-rey-q̇ɪn»), le dernier un croisement de trois mots ethniques — SAL-ROCH-YON, tandis que le croisement des termes équivalents basque et arménien comme celui de leur double géorgien, présente, à part l'absence du troisième nom ethnique YON («-q̇»←«*q̇ɪn»), une disposition dans l'ordre inverse — ROCH-SAL: bsq. «ɪn-ϑawɪɪ»∼arm. «ən-koyz», géorg. «nɪ-goz», si la première partie des termes basque («-ɪn») et arménien («-ən») n'est le nom ethnique YON (§ 20), ce qui nous aurait obligé de voir dans les mots bsq. «ɪn-ϑawĭɪ» et arm. «ən-koyz» un croisement indépendant de deux éléments ethniques YON-SAL, présents dans le terme russe, toujours en sens inverse — SAL...YON.

[La science japhétique du langage a reçu au dernier moment une source nouvelle pour corroborer non seulement les thèses de cette paléontologie formelle, mais aussi celles de la paléontologie sémantique. Un fait nouveau très important, c'est que la langue chinoise nous découvre un répertoire riche en faits servant à illustrer nos thèses, on pourrait presque penser qu'ils ont été inventés spécialement pour soutenir les thèses paléontologiques de la théorie japhétique[1].

[Or, nous nous abstenons naturellement de nous arrêter sur une observation qui ne date que d'hier. C'est très naturel puisque nous nous sommes même abstenus, comme nous l'avons déjà dit, de parler d'une observation plus ancienne, celle de la parenté du tchouvache avec les langues japhétiques, et d'autres observations qui suivirent tout le long du travail concernant la question des places que prennent dans cette histoire réelle de la formation des types nouveaux de langues les langues finno-ougriennes d'un côté et de l'autre les langues turcques, question très grave, parce qu'il s'agit chaque fois d'une parenté à degré diffé-

---

[1] V. N. Marr, Яфетическая теория и семантика китайского языка (ДАН, 1926, p. 39).

rent, laquelle parenté, malgré qu'elle paraisse plus claire et plus proche qu'on n'a voulu en convenir, n'en est pas moins plus compliquée qu'on n'eût pu le supposer].

Je suis pour le moment loin d'affirmer que la nature japhétique de la langue basque ne peut être d'un vif intérêt que pour les personnes qui s'intéressent à la question de l'ethnologie et de la civilisation méditerranéenne. La question japhétique, c'est la question préhistorique de toute l'Europe, de toute l'Asie et de l'Afrique, j'ose même affirmer que c'est une question qu'on ne peut négliger si l'on s'intéresse sérieusement aux origines de l'homme américain et surtout des langues «autochtones» d'Amérique[1]. Elle touche en Europe les unités ethniques aussi bien slaves et germaniques que romanes ou même antiques. Mais nous n'avons aucune raison de donner d'avance aux Slaves la prépondérance dans leurs relations intimes avec les Japhétides, surtout de voir, dans les Slaves, une formation ethnique plus apparentée par la langue aux Basques des Pyrénées. Néanmoins à part la thèse sur la parenté des langues basque et slave, artificiellement et mal soutenue, à l'instar de ce qu'on fait de nos jours avec la question sur les rapports des langues finnoises et germaniques, nous n'avons pas à contester qu'il y a des indices, remarqués depuis longtemps, de la parenté vraiment extraordinaire entre les mots de l'Europe occidentale et orientale, parenté plus profonde que ne le permettent de voir les méthodes de la linguistique indoeuropéenne, mais quand il s'agit de noms d'arbre comme, par ex., du nom basque de l'aune, nous ne pouvons être de l'avis de ceux qui disent que ce nom a été apporté de Russie par les peuples «indo-européens» (excepté les Celtes et les Grecs) dans la péninsule des Pyrénées.

Or, les points d'attache les plus prononcés du basque, ceux qui le rapprochent plus près de l'arménien et du svane, nous révèlent son appartenance au même type que ceux-ci, c'est-à-dire, l'armé-

---

[1] N. Marr, Происхождение американского человека и яфетическое языкознание (ВС, I, pp. 167—192).

nien (il s'agit de sa couche pré-historique) et le svane, où nous trouvons tantôt une espèce complètement croisée spirant-chuintant (c'est la langue svane), tantôt un rapprochement de deux langues, l'une du rameau spirant, l'autre du rameau chuintant qui s'influencent réciproquement, sans cesser néanmoins de continuer leur existence indépendante chacune dans son milieu social (ce sont les deux langues de l'Arménie, l'une ancienne littéraire, féodale, l'autre vulgaire, devenue par la suite la langue littéraire, de nos jours). Les représentants les plus purs du groupe chuintant au Caucase sont le mingrélien et le tchane. Quant au groupe spirant, ses restes ne sont maintenant représentés au Caucase qu'en état de croisement dans les couches des langues hybrides, telles que l'ancien arménien littéraire, le svane, l'abkhaze. Cependant ses éléments essentiels se sont déposés directement ou par quelque intermédiaire dans le géorgien. Selon toute probabilité, la langue primitive de la tribu des Mesques («Mesq̇» ‖ «Moшoq̇» ‖ «Masq̇»), dont le nom est donné par les peuplades voisines aux Basques dans la variante du terme employée au Caucase dès la plus haute antiquité pour désigner les Abkhazes, c'est-à-dire «Bask» avec le soi-disant «a» prosthétique ('Αβασκοί) que nous avons jadis interprêté comme préfixe, tandis qu'il n'est en réalité qu'une survivance du nom ethnique (↙ «HAL» ∼ «SAL»).

§ 38. La sagesse populaire des Russes nous prescrit d'accueillir un hôte inconnu selon ses habits et de le reconduire selon son esprit. De même nous commençons à faire la connaissance des êtres humains, soit comme individus, soit comme collectivité, tribu ou peuple, par nous informer de leur extérieur, de leur nom etc. Nous savons à présent que notre sujet porte deux noms, tous les deux d'origine japhétique — 1) l'un Basque (← «*bas-kan» ‖ «bas-kon», «baș-ka + m», cnf. arm. «Pas-kam»)[1] et 2) l'autre les dérivés du nom ethnique ROCH— ewin-k (← «*rom-k») — Ewš-kaldun,

---

[1] N. Marr, Термины из абхазо-русских этнических связей (pp. 11, 14, 31 et pass.); — К грузинским надписям из Месхии (p. 229).

ewin-kara etc.[1]. Mais ce n'est pas tout. Il faut compléter la liste des noms ethniques des Basques par les noms communs qui signifiaient jadis 'Dieu', ce sont «Yawn» ↗ «θawn» ⟵ («*Yon» ↗ «*θon» || «q̇an» ↘ «ʳh'an») ∼ «ym» ↗ «q̇m»[2] qui s'emploient dans le parler basque dans le sens de 'seigneur' — «q̇awn-a» || «yawn-a», tandis qu'en abkhaze «an-» ne désigne dans la forme plurielle «an-ϑa» que 'Dieu' et «θar» || «θer» qui ne signifient à présent que le premier 'mal', 'débile' et le second 'diable' augmenté du mot ethnique YON — «ϑer-en». Et justement le dernier terme «ϑar» || «ϑer» est la base bien conservée du nom de la déité en sumérien «I-mtar», en abkhaze «ɪ-ϑar», en turc d'Azerbaydjan «ϑar-ə», survivance locale japhétique, et en tchouvache «ϑor-ə» ⟷ «ϑur-ə», en étrusque «Tur-an» 'Aphrodite'[3], son équivalence du rameau spirant «ker» (⟶ «ğer-»), base simple, signifie et 'déité' et 'cochon', terme en ce cas totémique, comme en basque, «ϑer-en» 'diable' (∼ '*dieu') et «ϑer-ɪ» 'cochon', tandis que svane «ğer-meϑ» ↗ «ğer-beϑ», base croisée signifie 'Dieu'. Quant à la valeur 'mal', c'est justement à la notion de 'dieu ∼ diable' qu'il remonte comme le terme 'bon'. Et ce qui est important à signaler, c'est que l'idée de 'mal' est exprimée en basque et en arménien par deux mots identiques — arm. «ϑar» || «ϑar-ɪ», bsq. «ϑar» et arm. «garm» (⟶ «*gaym») ⟶ «geym», vulg. «gem», bsq. «gayϑ» adj. «gays-to», «gaym-to», etc.

Enfin ce sont deux noms ethniques YON et SAL que les termes d'origine totémiques nous autorisent d'attribuer aux Basques, pour être plus précis, aux diverses couches ethniques du peuple, formation toujours composée, qu'on appelle à présent Basque et qui s'appelle lui-même Ewinkaldun.

Pourtant il aurait donc fallu que les Basques portassent comme nom des mots croisés, c'est-à-dire des termes composés de deux

---

[1] V. l'index, p. 220.

[2] Pour signifier 'Dieu', on prend les composés «q̇awn+goy-ko», «yan-ko», «yin-ko» etc.

[3] N. Marr, Название этрусского бога смерти kalu... (pp. 186 et pass.); — Термины из абхазо-русских этнических связей... (p. 39).

ou trois, sinon de tous les quatre mots ethniques SAL, BER, YON, ROCH, c'est ce que nous observons dans le Caucase[1]. Et en effet ce n'est que le même phénomène, quand nous trouvons le nom Cantabr-i (Cantaber) appliqué aux Basques: la base de ce terme «kantabr» est le mot croisé YON-SAL-BER—«kan-ta-br». Le premier membre de ce composé n'est que l'équivalence de YON (|| han ↗ kan), forme du rameau spirant (vocal. «a»); «ta» appartient au groupe sifflant du rameau sibilant (vocal. obligatoire «a») et présente un autre aspect du terme ethnique SAL (↗ *tal ↘ ta). Tous les deux s'appuient, chacun à part, sur une longue série de mots communs dans les couches ethniques correspondantes du basque, chaque série sous la conduite des termes totémiques et des noms de lieux. Le dernier mot «-br», forme complète «-bro» ∽ «-bor» || «-ber» présente dans le terme composé «E-bro» nom de fleuve de la péninsule Ibérique, et justement dans les noms de fleuves, nous le trouvons de même en Europe Orientale, dans le bassin septentrional de la Mer Noire, par ex., «Dn-e-pr» et d'autres[2], mais plus souvent encore à l'est de la même mer dans les régions ibériques, où il varie aussi conformément à la phonétique ethnique locale («r» ∽ «s», «p» ⟶ «b» ⟶ «φ»), tout d'abord dans les deux formes principales—«br» ∽ «φ̣s», par ex., «Su-φ̣s-a» (parler local: «Su-φse»), fleuve de Gourie, à la lettre 'fleuve de Su' etc. Naturellement, le nom national des Abkhazes — «a+φ̣s-wā» dans sa base ne représente que le croisement du même «a-», survivance du nom ethnique SAL, son espèce spirante «hal». Le nom national des Abkhazes «a+φ̣s-» n'est donc que la variante de «·ta+br», seconde partie du terme «kan-ta+br» comme le nom international des Euscariens — «Bas+k» n'est qu'une partie du terme certainement croisé «A-bas+k», nom international des Abkhazes.

---

[1] V. l'analyse de So-me-q̇, A-bas-k etc.

[2] Aussi «bar-a» dans les noms de fleuves en Serbie, v. Derjavine plus haut, pp. 183—184.

[3] «Abkhaze» n'est qu'une forme estropiée géorgienne de «Abask».

Naturellement la langue basque contient les noms communs de provenance ethnique diverse non seulement isolés, mais aussi à l'état croisé, comme le montre l'analyse des mots «ɪn-ϑawr», «ma-dar-ɪ» etc. Mais le lexique basque tient plus à la forme isolée, état plus ancien des mots.

§ 39. Une fois les différentes parties de la composition ethnique indiquées par leurs noms et par les noms de leurs dieux, noms ethniques nombreux, il ne reste qu'à vérifier l'importance réelle de chacune d'elles par la classification du lexique basque d'après les mots ethniques ROCH, BER (‖BAS), YÓN, SAL. Le résultat de cette confrontation ne laisse aucun doute sur le fait que le témoignage des noms du peuple basque et de ses dieux totémiques concernant son origine n'est point illusoire.

§ 40. Désormais nul doute que les Basques personnifient en leur langage l'un des membres de la population préhistorique de l'Europe. La grande chaîne qui unissait le préhistorique de l'humanité avec son histoire est depuis longtemps mise en pièces par la marche triomphale de la civilisation. De ses fragments dispersés dans l'univers tout entier, il ne reste en Europe, partie la plus civilisée du monde, qu'un anneau qui en est d'autant plus précieux: la science traditionnelle du langage, héritage d'époques mal appropriées pour s'intéresser au sort des peuples moralement asservis, cette science donc n'est par sa nature, tant qu'elle se détermine en Europe par les idées dominantes sociales et la mentalité historique, pas plus capable de trouver les points de contact avec les derniers restes de la population primordiale du vieux continent qu'elle ne l'est de comprendre les méthodes de la nouvelle théorie, basée justement sur les études des langues à raisonnement prélogique, langues des peuples souvent sans écriture, existant de nos jours comme survivances du préhistorique et en même temps pleins d'aspirations modernes; ces peuples témoignent par leur langage de cette longue série de révolutions fondamentales qu'a subies l'humanité depuis l'aube de la civilisation primitive jusqu'aux temps historiques et même jusqu'à nos jours.

Or, n'est-il pas de même un problème congénère qui touche au vif le progrès de notre science, celui de l'affranchissement des peuples asservis mentalement et exploités, les Japhétides non exclus, pour qu'ils prennent part conformément à leur mentalité ethnique aux études des langues japhétiques et à l'approfondissement de la nouvelle théorie, laquelle, non seulement écarte pour toujours l'isolement du basque, mais en même temps, pour ce qui est du langage, unit les races dites de diverses origines qui ne sont que les formations de différents types d'une race, race humaine, à différents degrés de son développement matériel et social.

N. Marr.

Две новые работы C. C. Uhlenbeck'a по баскскому языку[1].

В настоящей работе «о родстве баскского с палео-кавказскими языками», исключительно входящей в программу нашего сообщения, проф. Uhlenbeck вводит в вопрос баскологически, идя от работ и через работы исследователей, не знавших яфетических языков вовсе или знавших тот или иной из них как, напр., Schuchardt—грузинский, без исторической его проработки и вне установившихся взаимоотношений не только с яфетическими языками, мегрелским, чанским, сванским и др., но и армянским. Здесь имена, оставляя в стороне Humboldt'а, Antoine d'Abadie, S. Augustin Chaho, Hugo Schuchardt (были однако и другие, назвать хотя бы испанского академика Fidel Fita[2], или незнавшие филологически также и баскского, как Friedrich Müller, Alfredo Trombetti, Giacomino, G. v. der Gabelentz, Heinrich Winkler[3], Konrad Oštir).

В этой серии упоминание обо мне между Winkler'ом и Oštir'ом имеет разве хронологическое оправдание, ибо мои исходные пункты и доводы ничего общего не имеют с построением предшествующих или последующих за мною по этому списку.

Как басковед, стоящий в линии перечисленных исследователей и примыкающий к мышлению Schuchardt'а, Uhlenbeck выдвигает отношение баскского к яфетическим языкам или, как он именует «палео-кавказским»[4], на равных правах с отношением того же языка к северно-африканским. Исходит он из сделанных

[1] См. выше Introduction, стр. 213—214

[2] См. выше, стр. 197—198.

[3] См. выше, стр. 198 сл.

[4] Этот термин, очень остроумно составленный, не может никак заменить яфетический, так как 1) яфетические языки известны и вне Кавказа, притом вопрос об их происхождении с Кавказа весьма сомнителен (мы отказываемся от такого положения) и во всяком случае предрешать не следовало бы, 2) «палео-кавказский» никак нельзя применить к современным, да и с исторических эпох из-

в литературе сближений, а вовсе не вынуждается к тому углубленным теоретическим изучением хамитических и яфетических, хотя бы северно-африканских и «палео-кавказских» языков. Его не толкают проблемы, выдвигаемые или работами этого порядка или лингвистическими раскопками в самом баскском языке, его палеонтологиею, в пределах их разъясненности. Наоборот, вопрос о родстве ставится и обсуждается в виду непонятности отличительных особенностей этих групп языков и их одинаково кажущегося иррациональным отношения к другим, систематически и, естественно, более успешно изучавшимся до сих пор в западной Европе языковым группам. Словом, положение таково во всех этих изысканиях по баскско-кавказским или баско-северно-африканским сравнительным работам, как если бы в отношении яфетических языков Кавказа мы сейчас находились в положении петербургской кавказоведной школы в стадии ее развития 70-х — 80-х годов прошлого столетия, да еще без учета того свежего и нового материала, который вносил в науку еще тогда проф. Цагарели своими «Мингрельскими Этюдами». Находясь под впечатлением кажущихся или действительно случайных совпадений в утверждениях моих и Winkler'а и даже Trombetti, Uhlenbeck не может не думать, что имеет дело с различными подходами, независимыми друг от друга, но одного и того же порядка и, естественно, поставлен в необходимость родство баскского с «палео-кавказскими», т. е. яфетическими языками Кавказа допускать из осторожности лишь «возможным», как это видно уже из заглавия его работы.

Естественно также, что отношения баскского к яфетическим языкам Кавказа он вовсе не считает более близкими, чем к северно-африканским; он даже точно извиняется за решимость завести речь о кавказо-пиренейских языковых связях, успокаивая любителей гипотезы о преимущественных африкано-пиренейских связях следующими словами, интересными и в других отношениях: «То обстоятельство, что баскская лексическая сокровищ-

вестным нам яфетическим языкам, и вообще «палео-кавказский» годится и мы могли бы им пользоваться для обозначения архаического состояния яфетических языков Кавказа.

ница проявляет очень много точек связи с языками Северной Африки, натурально не исключает того, что между баскским и палео-кавказскими языками может также находиться довольно значительное число схожих слов. В самом деле имеются бесспорно некоторые слова в баскском, которые сравнивались с палео-кавказскими. Я не думаю утомлять вас перечнем всех (22) сближений; я считаю, однако, своим долгом по крайней мере выбрать из них наиболее меткие и предложить на ваш суд и размышление». Предупредив, что он не берется при каждом случае сравнения устанавливать приоритет исследователей, Uhlenbeck продолжает (стр. 22): «Ученые, которые, по исключении Schuchardt'а, требуют к себе наибольшего внимания, это бесспорно Trombetti и Winkler. Одновременно решительно указываю на то, что сравнения Winkler'а были сделаны им самим, независимо от Trombetti. Невнимание к своим предшественникам, как то наблюдается у Winkler'а, имеет, может быть, одну ту хорошую сторону, что эти самостоятельные изыскания различных языковедов приводили многократно к одним и тем же результатам. Как знать также, в сколь многочисленных случаях петербургский яфетидолог Марр приходил, независимо от Trombetti, к тождественным выводам».

Вопрос, однако, не о выводах для нас, а о процессе работы, из которой получаются эти выводы, перестающие быть тождественными по существу, и тогда, когда они для наблюдателя не специалиста действительно тождественны.

Uhlenbeck делает, очевидно, большое насилие над своим убеждением, проявляет громадную терпимость к мнению о родстве баскского с яфетическими языками или по его выражению палео-кавказскими, когда он пишет (стр. 30): «Нужно признать, что грамматическая система баскского, поскольку дело касается внутреннего его существа, проявляет поразительные психологические аналогии, но, мы повторяем это, аналогии сами по себе ни в малейшей степени не доказывают генетического родства. Они должны быть поддержаны доказуемыми возможностями тождества материальных грамматических элементов и т. д.».

Я сейчас не поднимаю вопроса, насколько излагаемое здесь элементарное требование для определения родства в самом деле гарантирует генетическую связь, как вытекающую от наследственно полученных из прародительского источника природных свойств речи, а не может быть и действительно не есть, при всей очевидности констатируемого явления, в большинстве случаев лишь наличие впоследствии возникшего состояния, результат адаптации от взаимообщения различных по материальным элементам языков слагавшихся или находившихся тогда в состоянии потенциального развития. Может быть, для нашего настоящего сообщения не к месту говорить и о том, что при известной стадии развития человеческой речи яфетидолог тем более имеет основание охотно подписаться под предлагаемым элементарным требованием, имеющим вид труизма, что на нем основывается в яфетическом языкознании положение о множественности первоначального состояния речи у народов одной семьи языков, признание фикциею какого-либо единого праязыка. Но нас смущает одно обстоятельство: в результате каких штудий или на основании каких существующих работ Uhlenbeck утверждает так решительно, что признаваемые им «поразительные психологические встречи баскского языка с палео-кавказскими (по его номенклатуре) языками есть аналогии, не поддержанные материальными грамматическими элементами»? Какие и чьи теоретические и материальные исследования вскрыли перед ним положение дела, характеризуемое им в следующем пассаже его трактовки выбранной им же темы (стр. 31): «Однако, звуки баскского и между собою расходящихся палео-кавказских языков выявляют в такой степени осложнившую историю изменений, что закономерность звуковых соответствий ускользает от нашего взора из-за этой сложности, так что порой заметное закономерное течение звуков в большом масштабе нарушается нарочитой или намеренной неприкосновенностью их. Подобные нарушающие влияния настоятельно должны быть учтены нами при сравнении баскского с хамито-семитическими языками, а также, может

быть, при сравнении с палео-кавказскими. При их наличии иначе никогда нельзя доказать строго методически генетическую связь».

Книжка не дает указаний, в чем собственно конкретно Uhlenbeck усматривает закономерное течение и нарушающие его струи. Может показаться, что это впечатление, вполне, прибавим, основательное, от первой встречи с непонятными и общественно (следовательно, и «психологически») чуждыми исследователю языками.

В существующей литературе, повторяем, мы не находим работ, в которых с компетенциею в какой либо мере специального углубления вскрывалась бы научно или сложность или простота звуковых соответствий обсуждаемых языков, если отвернемся от яфетидологов. Касательно яфетидологии Uhlenbeck, читающий по-русски, очень предупредителен и проявляет нами редко испытываемую терпимость, поскольку он оговаривается тут же (стр. 31): «Не будем, однако, поспешны, скорее подождем, какой свет бросят яфетидологи на баскско-кавказскую и в связи с нею и баскско-хамитические проблемы». Нужно ли, однако, действительно ждать Uhlenbeck'у от яфетидологов чего либо, пока не можем ничего сказать. Одно для меня ясно: яфетидологи и теперь не дают основания Uhlenbeck'у занимать выжидательное положение. Дело в том, что Uhlenbeck по яфетидологии знаком лишь с двумя, именно не материального характера, работами моими—«Третьим этническим элементом» в немецкой версии и напечатанной в «Востоке»: «Яфетидами». Обходя сейчас молчанием, в какой степени теоретические рассуждения Uhlenbeck'а могли бы быть иные при знакомстве с другими наличными в печати работами, притом специальными по яфетическому языкознанию, мы должны признать, что Uhlenbeck свои рассуждения по поставленному им вопросу о возможном родстве баскского и яфетических (палео-кавказских) в конечном итоге обосновывает на самостоятельно им же проработанном материале.

На 29 страницах он дает список баскских слов с кавказскими яфетическими параллелями. Он, действительно, вмещает слова, до 67-ми, повторяющиеся у различных исследователей, затрагивавших тот же вопрос; многие из этих сближений, если не большин-

ство, входят и в круг моих отожествлений, но достаточно взглянуть на гнезда, посвященные раздельно 'лисе', 'волку' и особенно 'собаке', чтобы сразу заметить, какая разница в трактовке материала. Вопрос тут даже не в том, что слово -dagar-a 'собака' из составного баскского термина u-dagara 'выдра' вовсе не принято во внимание [1]; вопрос, да и сущность дела в том, что сопоставления производятся без каких бы то ни было палеонтологических по языку исследований и генетической классификации яфетических слов. Это набор созвучного материала, между тем есть десятки, многие десятки, если не сотни слов, не менее, иногда более бесспорных случаев родства, в которых вовсе нет и созвучия.

Возьмем для примера слово, сравнительно для нас, яфетидологов, легко анализируемое, так как яфетические языки имеют, между прочим, префиксовое образование, одни в полной мере, другие зачаточно. Нам естественно было в баскском bihoʒ̇ усмотреть префикс bi- (↖mi-∼mu-)[2]. Сравнительная грамматика яфетических языков дает в наше распоряжение формулу перебоя r∼d̬, resp. nd̬ (мегр., чанск.), на низшей ступени ȷ (сванск.), причем наличные из шипящей группы отложения в армянском языке нас научили тому, что в языках названной группы перебой r в d̬ (resp. nd̬) имел более широкое распространение, чем это определяется случаями указанного соответствия, он налицо и при cc (груз.) l‖ш (ныне лишь: м.) r, как мы это видим с арм. шunʒ̬←шund̬ 'дыхание'∼м. шur-ı при г. sul-ı 'душа'. Того же порядка перебой нами теперь называется иногда и чувашским, которому он присущ в разновидности l‖r∼s‖ш и т. п. На Кавказе этот перебой в шипящей группе дает основание подойти к выделению в ней особого наречия, проявляющего близость к языкам Армении. С другой стороны, в баскском, имеющем много поразительно близкого, даже тождественного

[1] ЯС, I, стр. 1—30.

[2] Префикс имеет свою палеонтологию, некогда он представлял самостоятельное слово; в составе сохраненного басками звукового комплекса, используемого для выражения 'сердце', оно одно могло означать и, как теперь выяснилось, означало 'грудь-сердце': баскское слово в целом двуплеменное бер-салское скрещение, двойник сал-берского у семитов — арб. k̦al-b 'сердце' и др. Баскский порядок ср. с груз. bur-ka ['сердцевина' →] 'косточка плода' (ср. gur-ka ← kur-ka id.).

с армянским, тот же перебой обнаружен опять таки сравнительной грамматикой баскского, как одного из яфетических, но в баскском вместо аффрикатов шипящего ряда ḑ→ϑ налицо, когда аффрикатность сохраняется, часто ϑ («tz»). Если обратимся к разновидностям слова 'сердце' в баскском по основе, то их оказывается, при тожестве «префикса» bı-, три —-goϑ↘-hoϑ→-oϑ, именно: an, b, g, r — bı-oϑ, bn, l, s — bı-hoϑ, an — B (Bermes) и r — Uzt (= Uztaŕoz) — bı- goϑ [1], и вот этот goϑ (←*goḑ↔*guḑ) представляет точное соответствие м., ч. gur-ı‖г. gul-ı, закрепивших у себя огласовку, вм. открытого гласного (o), узким (u).

В то же время, когда с баскск. ahıspa («ahizpa» 'жены сестра', 'сестра') сравнивается абх. а-ћща 'сестра', Unhlenbeck не представляет, что абх. слово есть составное из ћ (←*ћew, resp. q̇ew‖q̇ıw→q̇e‖q̇ı↘hı) 'женщина', разобранного мною между прочим еще в известном спорном митанском женском имени, q̇e-pa‖q̇ı-pa [2], собственно термине 'девушка' (←'женщина + дитя'), и -ща 'брат', т. е. в целом абхазское а + ћ + ща 'женщина + брат', resp. 'сестра' [3] и если, как то допускает Uhlenbeck, абх. а - ћ + ща есть разновидность баскск. a-hı-spa («a-hi-zpa») [4], то таково, значит, положение и в баскском, и в таком случае, отвлекши определение hı- 'женщина', с префиксом *a-hı, мы во второй части spa («zpa») получаем в значении 'брата' слово, представляющее лишь разновидность г. ďma 'брат' [5].

---

[1] Olabide'taŕ Eŕaimun, Giza-Soña, Toloza 1917, стр. 48.

[2] Н. Марр, Парицательное значение термина q̇ера в «митанских» женских именах (по яфетическим данным). Прил. к прот. VI заседания ОИФ РАН 24 марта 1920, стр. 121 сл., особенно 124—125.

[3] Н. Марр, Яфетическое происхождение абхазских терминов родства (ИРАН, 1912, стр. 428 сл.).

[4] Со слогом ау («ai») в начале слов надо быть очень осторожным, так как это, казалось бы, префикс, восходящий к архетипу ar-, здесь лишь спирантная разновидность слова -ща 'брат' (на лицо скрещение).

[5] Уже теперь, в ноябре 1925 г., когда пишу эти строки настоящего примечания, вскрыта палеонтология вообще термина 'брат', в том числе и индоевропейских слов, не исключая русского, и семитических и, конечно, яфетических: яфетические и индоевропейские термины двуплеменные скрещенные слова, первые в общем сал-берские (г. ď-ma ← *ďa-mal, бск. -s-pa), вторые в большинстве бер-салские.

Когда речь о баскск. ȟeme (‖исп. д. seme) 'сын', никак нельзя с ним отожествлять ни бск. seyn («sein») 'дитя', ни г. ďe 'сын', да еще не упоминать, что ďe- остаток ďen, восстанавливающего свой коренной «n» в глаголе ďen-a 'приобретать' (←'рождать'). Иногда Uhlenbeck восстанавливает баскскую пра-форму со звездочкой, так бск. haṛ-ı 'камень'→aṛ-ı в виде совершенно правильного *kaṛ-ı, но не зная, что восстанавливаемое им со звездочкой kar налицо в древне-литературном армянском без изменения в форме удвоения kar-kaṛ 'куча камней'[1]—(см. также kar-kaṛa-koyt с тем же значением), в топонимике Армении — Karkaṛ, название местности близь Мокса, ныне в Турецкой Армении, толкуемое, как то сообщил мне проф. И. А. Орбели, «каменистая»; да у тех же армян в обоих их языках с передвижением задне-язычного «k» на третью ступень звонкости «q» — qar 'камень', кроме того, именно первичное его состояние kar представляет со сванским перебоем «r» в «ȷ» слово kaȷ, наличное и в грузинском в значении 'кремня', и нет основания утверждать то, что говорит тут же (стр. 23) Uhlenbeck: будто «большинство палео-кавказских языков имеет другие слова в значении 'камня'», тем более, что история этого слова значительно более сложна и на Кавказе, и в Пиренеях, чем то представлялось всем тем работникам по совокупности, на изыскания которых считает достаточным опираться Uhlenbeck и в 1923 г. Дело в том, что звук r, имеющий в сванском эквивалент ȷ, в шипящей группе перерождается в ḍ, resp. nḍ, в языке с мутуациею ṭ, resp. nṭ[2], и именно в этой линии приходится толковать усвоенные из соответственной яфетической лингвистической группы др.-л. армян. kiṭ 'камень твердый и блестящий', т. е. 'мрамор', опять арм. q̇iṭ 'камешек', равно г. kenṭ и арм. kinṭ 'камешек', в частности, 'избирательный камень', наш 'избирательный шар'[3].

[1] Отсюда г. kar-kal-ı с тем же значением 'куча камней'.

[2] В баскском за утратой этих звуков шипящего ряда появляется или дессибилованный их вид nd, resp. d и nt, resp. t или эквивалент свистящего ряда ϑ («tz»).

[3] Ср. Н. Марр, Непочатый источник истории Кавказского мира (ИРАН, 1917, стр. 316).

Появление «ı», resp. «e», в соответствие аканию kar объясняется тем, что kıṭ (⟵*kıṭ)⟶ q̇ıṭ, resp. kınṭ‖kenṭ идут из шипящей группы, где закономерное соответствие гласного «a» есть «o» (⟵⟶«u»), обычно представляемое его позднейшим перебойным эквивалентом «ı», resp. «e», однако, и эту архетипную форму шипящей группы с первичной огласовкой «o» Кавказ нам сохранил в сванском обычном слове koḍ, означающем 'скала', и в ряде его разновидностей в других яфетических языках. Но этого мало. В самом баскском языке в значении 'скалы' известно слово hayϑ («haitz») ⟶ayϑ («aitz»), что представляет ту же основу har с падением r в паузе перед согласным в «y» (закон, общий у баскского с армянским) и, казалось бы, окончание мн. числа -ϑ (⟵-ď⟵-ďan), на самом деле не ставший еще окончанием пережиток ионского племен. слова того же значения. Это — сал-ионское скрещение. Оно с сохранением r в виде arϑ налицо в баск. прилагательном arϑ-a («artza») 'каменистый', 'скалистый' [1]. Полная архетипная форма этого слова была бы *har-ďan⟶*har-ď-, и, очевидно, ее имеем мы в арм. ar-ďan 'скала' и с тем же значением ar-ď в составе arďagang 'эхо', букв. 'глас скалы' [2]. Основа har⁄ kar имеется и в спбилянтных разновидностях, притом многочисленных: и те и другие широко распространены также в Европе, даже западной, о чем речь будет особо в связи с археологическим вопросом о каменных памятниках и их культовом значении. Сейчас, думаю, и без того достаточно, чтобы видеть, что Uhlenbeck и яфетидологи находимся в положении ученых различных подходов, если не эпох.

Его же статья под заглавием Berichtigungen Zur vergleichenden Lautlehre der baskischen Dialekte (Verhandelingen der koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Afdeeling Letterkunde. Nieuwe reeks, Deel XXIV, № 1, Амстердам 1923),

---

1 Объяснение de Azkue (Diccionario, s. v.) с производством от arrı с помощью суффикса не соответствует действительности.

2 Н. Марр, Средства передвижения, орудия самозащиты и производства в до-истории (к увязке языкознания с историею материальной культуры). Ленинград 1926, стр. 45 сл.

т. е. поправки к известной работе автора по диалектической сравнительной фонетике, нас возвращают к тому же положению. Здесь мы не можем так длительно останавливаться на трактуемых автором предметах, так как иначе пришлось бы вернуться и к основной работе, к которой настоящая заметка представляет лишь поправки. Однако, несколько общих мыслей и конкретных фактов из нее способны, думаю, осветить положение дела.

Когда вопрос идет о баско-романских общих словах, то нельзя с той легкостью судить о принадлежности термина к баскскому, как это делалось до сих пор. Одного романского лингвистического подхода не достаточно, как само собою понятно не достаточно одного баскологического, не поддержанного опросом соответственных материалов яфетических языков Кавказа и других мест, — опросом, обоснованным на сравнительной грамматике яфетических языков. Так, Uhlenbeck legun 'скользкий', 'гладкий', 'мягкий' (диал. leun || laun) отметает из коренного состава баскских слов как романское на основании разъяснений Schuchardt'a. Думаю, что это поспешный шаг, так как бск. legun || *lagun ⟶ leun || laun две групповые разновидности яфетического слова, с недохватом третьей — *logun по окающей группе, и все они представители спирантной ветви с потерею спиранта, и с суффиксом -gun (⟵-kun) ↘ [h]un, без съужения губного гласного — -kon ↘ [h]on — *lah-kon || *loh-kon || *leh-kon, а сибилянтные их эквиваленты las-kon || lom-kon || lem-kon сохранились у армян с утратой -on в виде lam-k (вм. las-k) || lem-k (∼ler-k) 'гладкий' [1], а у лазов или чанов, естественно, с оканием, но рядом с los-k с сибилянтным двойником и суффикса — -ḳ∼-t и даже в полной форме los-ton-ı 'скользкий', 'гладкий' [-t ⟵ ton не суффикс, а пережиток 2-й части скрещенного слова!]. Сибилянтный вид основы lem-, resp. les- и в баскском сохранил двухсогласный состав корня, но с перерождением сибилянта в r (ср. арм. ler-k), между двумя согласными ṛ, в глаголе leṛ-a, leṛ-a + tu, leṛ-a + ϑen 'гладить'.

[1] См. Н. Марр, **ЯЭ, I, § 3, стр. 144, где анализ дан без учета того, что вскрыла с тех пор палеонтология.**

Uhlenbeck к сказанному им на 19 стр. своей сравнительной фонетики в настоящей работе делает такую поправку: «Das über *guztera*, *geztera*, *eztera* 'Wetzstein' gesagte ist zu streichen, denn dem baskischen Wort liegt, wie Schuchardt richtig bemerkt, span. *aguzadera* zu Grunde». Испанского в данном случае я не касаюсь, м. б. aguzadera 'оселок' и происходит от aguzar 'острить', но вообще это слово, по дополнительному замечанию преждевременно погибшего проф. Д. К. Петрова, имеющее природу литературного или, следовательно, надуманного термина, к баскскому народному выражению не имеет никакого отношения. А если бы имело, то от испанской этимологии пришлось бы отказаться как от так наз. 'народной', т. е. надуманной в лаборатории с кругозором, без учета живой среды, кабинетно-мыслящего работника.

В самом деле, когда речь о таком предмете бытовой материальной культуры, как 'оселок', то и у басков есть основания притязать на принадлежность еще им, до зарождения испанской речи, такого «термина цивилизации». И осторожность в этом смысле диктуется и потому, что тогда как у испанцев это описательно piedra aguzadera 'точильный камень', в единой форме, у басков в трех диалектических формах l gustera («guztera»), bn gestera («geztera»), g, b id. (но в письме «gestera»), l geintera, g, b (и l?) estera («eztera»), в значении meule à aiguiser 'оселка', или как на Кавказе, да и вне Кавказа говорят, ϑarq̇ (местами ϑalq̇) 'колесо для точения', ϑarq̇-va 'острить', 'шлифовать'. Кроме того, этим же словом по-баскски называется и 'жало змеиное', совсем не по связи с 'оселком' или 'точильным камнем'. Дело в том, что в этих словах мы имеем т. н. префикс двух групп окающей (go-) и экающей (ge-), первый — с сужением губной огласовки (gu-), второй с падением g в исчезающий спирант (ge- ↘ [h]e-)[1]. Эти две разновидности gu- || ge- одного и того же, казалось бы, префикса, те же, что в баскском слове 'ложь' — gu-sur («guzur»),

[1] И в данном случае мы не останавливаемся на вскрывшейся уже за последние месяцы палеонтологии этого префикса, также пережитка племенного названия, племенного слова.

b ge-sur («gezur»), причем основа, собственно 2-я часть скрещения, -sur одна в яфетических языках появляется как прилагательное, в армянском с озвончением s⟶z в значении 'пустой' — zur, в грузинском с подъемом s ↗ ϑ и с природным для него стечением согласных в начале в значении 'ложный', 'лживый' — ϑru (⟵*ϑur), отсюда у грузин 'ложь' с префиксом si — si-ϑru-e, как в баскском, казалось бы, с gu-||ge-. На самом деле в этом яфетическом языке gu-||ge-, на низшей ступени he- (||hi-) не стали еще префиксами, это пережитки 1-й части скрещения, их имеем в массе случаев баскской морфологии, как, напр., в he-sur⟶e-sur (бнск. a-sur) 'кость'[1].

К кругу этого порядка «префиксов» относится и gi- (∼gu-

[1] Что касается основы sur, resp. *шur || *шor, требуется доследовать, надо ли искать ее палеонтологию (*шor ⟵ skor [∼ *hkor] ∼ stor) в линии закономерного звукового соответствия с арм. др.-л. o-skər (род. o-sker однако) ↙ *o-skur || совр. o-skor 'кость' [o- «префикс» как в o-ski 'золото' (Н. Марр, Термин ские, ЯС, I, стр. 126 сл.), o-d̬il 'вошь', ср. г. til ⟵ *ṭil и т. п.] или бск. основа -sur, resp. *шor представляет стянутый вид вместо *шovor (↗ *шobor ∼ *шokor) || *шomor (ср. чув. шәmә 'кость', св. d̬i-d̬w id.), формы шипящей группы, и палеонтология лежит в одном кругу со свистящим в таком случае его эквивалентом г. ďval 'кость' (спир. налично в чанском: kvil⟶il). О префиксе o- и его палеонтологии (восходит, разумеется, также к племенному слову) особо, но во всяком случае арм. o-skor ⟷ *o-skur↘o-skər кость', а с ним и бск. ge-sur↘e-sur 'кость' нельзя разлучать не только с греч. ὀστέον, ав. ast-, но в известной мере также, конечно, с пехл. a-stu-χ^{v}ān, ново-персидск. u-stu-χān, причем, однако, в последних уже средне- и ново-персидских, но отнюдь не столь новых образованиях, придаточный звуковой комплекс—χ^{w}ān, на яфетической почве q̇wan⟶q̇ān || q̇ōn, resp. q̇on—самостоятельное слово 'кость' в состоянии скрещения, унаследованное персидским и вообще иранскими языками, вроде курдского, от до-истории всей Передней и Средней Азии вплоть до Памирских высот, т. е. на всем протяжении подлинно-иранского мира воспринято, следовательно, в этнических путях от его до-исторического насселения с яфетической речью, и, конечно, это не курьезная или в какой-либо мере случайная примечательная форма или, как именует Horn (NE, 85) «die merkwürdige Form», с распространением от курдского района в Передней Азии до намирских диалектов Средней Азии, везде по его мнению «заимствованное (из персидского) слово». Для исчерпывающего разъяснения напрашивающихся сближений, впрочем, требуется палеонтология не одних форм, но и значений, палеонтология семантики, по которой значения возникали не по психо-физическому восприятию, а по общественной функции предмета, и 'кровь' носит скорее одно название с 'братом' (это раз'яснено теперь нами особо), а не наоборот, не говоря о том, что 'брат' отнюдь не из абсолютно первых слов, поскольку была эпоха даже звуковой речи без нашего представления о 'брате', а у 'крови' свое происхождение от 'воды' тоже по функции.

←*gin ∼ *gun), наличный в названии местности Gi-pusk-oa, что собственно значит не 'Баския', а 'Ионобаския', неполный двойник Кантабрии, также ион-берского скрещения, но с излишком ta. салского племенного слова [1]). Следовательно, во 2-й части баскского названия 'оселка', скрещенного термина, мы имеем дело с салским словом ster-, синонимом ионского gn- (gu-ster-a), ge-↘[h]e- (ge-ster-a, ge-ĥter-a, e-ster-a), а это ничто иное, как или 'небо' → 'круг' (I-щtar, A-ster-ıa и т. п.), 'колесо' и т. п., или тоже 'небо' → 'гора' → 'скала', resp. 'камень' и в связи с этим в обоих случаях 'точильное *колесо*', ϑarq̇, или 'точильный *камень*' (г. sa-lesi qva)', франц. meule (à aiguiser) и т. п.

Двадцатиричная система исчисления, по мнению Uhlenbeck'a, не доказывает ничего по историческому родству [2]. Мы предпочитаем формулировать наше мнение так, что расхождение в системе исчисления, наличие в одних языках десятиричной, в других двадцатиричной системы, не исключает вовсе родства языков (мы это наблюдаем в кругу самих яфетических), но если налицо одна двадцатиричная система, то это, несомненно, говорит при других сопутствующих признаках о более тесной связи. Смею думать, что и всякий иной признак, взятый вне совокупности всех «природных» черт, сам по себе ничего не решает по вопросу о родстве языков; что же касается конкретно соотношений числительных в баскском и яфетических языках Кавказа, то этот вопрос, как все прочие, нельзя ни в каком смысле решать без учета сравнительной фонетики яфетических языков, обоснованной уже на палеонтологии. Теоретически в этом отношении невооруженному глазу естественно не найти ничего общего даже между баск. bost ‖ borϑ и г., м., ч. q̇uϑ, св. wo-q̇uщϑ [3]. Об яфетическом характере перерождения st → rϑ, как в г. щϑ → rϑ можно не упоминать. Важно то, что 'пять' яфетически выражается 'пятернею',

---

[1] См. выше, стр. 258.

[2] Стр. 20.

[3] Я не прослеживаю сейчас ни усеченных форм этой же основы, напр., ч. q̇u, абх. q̥̇- в q̥̇-bà и q̥̇-ɰə, ни иных ее разновидностей.

'кулаком'[1], и баск. bost, с разложением ṭ в st, как mt на востоке получается из ṭ — mumt-ı ← г. muṭ 'кулак', восходит к boṭ. Семантический вопрос о восприятии этого слова в смысле 'сжатой пятерни', 'кулака' или 'раскрытой пятерни', как бы 'лапы', разрешается бытованием, так pot- 'пятерня' в грузинском воспринято было в смысле 'лапы', и поэтому г. pot-in-ı 'простирать к кому-либо руки', собственно, 'облапить', 'хвататься'.

В книге Braun'a приведено еще нем. Faust 'кулак' в связь с нашим словом, и совершенно верно. Тут нас могло бы смутить не мнение природного грузина о сомнительности такого факта, а недоумение, что ни один природный представитель германской племенной группы, будучи несомненно чаще германистом, чем грузин бывает грузиноведом, не подумал проследить далее (кстати, это могло бы быть проверкой предлагаемого утверждения Брауна на посрамление яфетидологии), правда ли германское st представляет разложение яфетического, resp. до-исторического ṭ (|| ṫ)? Не знаю, когда удосужатся для проверки такой детали специалисты германской филологии, попутно снабдив себя и филологическим и лингвистическим знанием грузинского, несколько больше, чем тем располагают обидчивые т. н. кавказоведы вроде Bork'a[2] или наш скромный друг М. Церетели, искренне думающий, что располагает необходимым теперь научным знанием грузинского языка (правда, это вовсе не легко, и, может быть, нам, грузинам, более чем иностранцам, особенно немцам, если бы действительные ученые из них принялись за дело!). Но как яфетидолог не могу не указать того, что формула ṫ || ṭ → st || mt имеет приложение не только к отношению герм. st (туда же Staube, Stimme и др., как то разъяснено будет в своем месте), но и слав., resp. русск. st к его эквиваленту в яфетических языках [3], так сейчас

---

[1] Семантическая история в палеонтологическом разрезе может быть иная: 'руки' (→ 'кулак') → 'много' → 'пять' || 'десять' || 'двадцать' || 'сто' и т. п.

[2] См. его изумительную по смелости при абсолютном незнакомстве с яфетидологией quasi-критическую заметку.

[3] Интересно в этом отношении отожествлении русского st с арм. ϑ̣ (← ṭ) в слове р. «хвост» || арм. poϑ̣, где мы наблюдаем имеющее громадное распространение соответствие q̇v || р. собственно q̇v ↘ hv (∼ sv) ↗ [h]p (∼ sp), где, кроме

интересно нам отметить, по связи случая также и с баскским, такой пример из русского, как «пустой», «пустыня» и т. п., с его славянскими разновидностями, в числе их на германской почве прусск. pausto 'дикий'. Не касаясь сейчас связи st ~ sk, остановлюсь лишь на интересующей нас части формулы, именно st ← ṭ (|| ṫ), предрешающей неотделимость звука t, как какого-либо форматива от s в слове «пустой». Яфетическая основа в нем [берск.] pust- ← *puṫ- || *puṭ- (↘ pum-) ~ [или салск.?] *huṫ → huϑ, отсюда: г. φuṭ-e 'гнилой', 'пустой' (орех), г. φut + ur-o (← *φuṭ-ur-o [скрещ. бер-сал.]) 'пустое', resp. полое', 'дупло', арм. φuṭ 'пустой', 'тщетный', арм. φuϑ- ← bud- 'гнилой' (см. φuϑ-qar 'особый сорт камня' [1]), бск. huϑ («hutz») 'пустой'.

В состоянии разложения архетип boṭ, на востоке muṁt [2], resp. *buṁt, с сужением губной огласовки «o» в «u» при губном коренном, и как до палеонтологического углубления казалось, по спирантизации с ротатизмом, одинаково присущих армянскому, в нем дало основание возникнуть разновидности *buhr- = bur-ən 'кулак', но теперь исходя из яф. r (в арм. ṛ) ~ ṭ (→ ṁt || st ←) || ṫ → ϑ, именно к bur- мы восходим, как к архетипу, окающему виду берского племенного слова. Для нас сейчас важна простая основа boṭ, в разложении bost = boṁt. Это основа г. глагола boṭa 'загреб', 'забрал', синонима и разновидности другого груз. глагола q̇-veṭa, со скрещенной сал-берской основой, при закономерном грузинском слиянии «ve» в «u» дающего *q̇uṭ, на 3-й ступени звонкости *q̇uϑ, resp. q̇uϑ. При q̇-veṭa в грузинском мы в языках шипящей группы должны бы ожидать *q̇waṭk, а раз этого нет, то ṭ в грузинском есть смещение ṫ под влиянием шипящей группы, т. е. чистый г. вид *q̇veṫa, следовательно, шп.

того, палеонтология вскрыла, что q̇- ↘ h- ~ s- — пережиток 1-й части скрещенных слов, но обо всем этом особо и впоследствии, когда образуется хотя бы элементарно подготовленная для восприятия более сложных яфетидологических положений аудитория. Пока мы видим неспособность, вернее нерасположение и в нашей среде, не только понять даже элементарные вещи, но хотя бы выслушивать их без 1) шор и 2) европейской визы.

[1] Н. Марр, Сборники притч Вардана, I, стр. 25 (§ 22).

[2] В персидском имеется и muϑ مشت, как подсказывает мне Ю. Н. Марр, на основании учебника Хан-Меликянца nuqust nāma (Тегеран 1324 гиджры).

q̇wat̩-, с дессибиляциею q̇wat-, чего, правда, не досчитываемся ни в чанском, ни в мегрельском, но его сохранили воспринявшие в себя наследие скифской речи славяне, ибо отсюда русск. «хватать» и т. п. Что груз., мегр., чанск. q̇uϑ восходит своим зубным ϑ к аффрикату ϑ (‖ϑ), это ясно из его сванской разновидности с разложением ϑ в шϑ — vo-q̇uшϑ [1]. Таким образом, и в этой работе проф. Uhlenbeck'а, чрезвычайно интересной специальными замечаниями по деталям, мы в идеологической основе видим положение, нас разлучающее как работников двух различных эпох.

Правда, в Ленинграде не располагаем исправленной переработкой основной работы голландского ученого, но и в Berichtigungen к ней выступают некоторые общие положения, вынуждающие автора к тем или иным поправкам, и есть потребность и возможность их отметить осознанно как вклад, иногда поддерживаемый и яфетидологическими соображениями. Таковы, напр., когда при установлении баскской междиалектической корреспонденции a‖e Uhlenbeck устраняет ряд случаев, в которых такое соответствие есть показатель не диалектических фонетических соотношений, а или морфологии или истории гласного «е», получающегося из «ai» [resp. ay], т. е. когда «е» вторичный.

Когда Uhlenbeck недоумевает перед чередованием огласовки e‖o, то надо помнить, что это часть формулы a‖o‖e, характеризующей огласовку трех групп в яфетических языках, и нет повода подвергать сомнению на этом основании связанность баскских teki и toki, одинаково означающих 'место'.

В поправке к 70 стр. читаем (стр. 8): «Собственно изменения $p:t$ не существует вовсе. Приведенные случаи подлежат иному обсуждению. Что касается *ahizpa*, *aizpa*: *aizta*, здесь мы имеем дело, может быть, с различием суффиксов».

[1] Этимология, в извлечении предложенная здесь, по частям разбросана у меня в различных работах моих и более обстоятельно в работе проф. Брауна, Die Urbevölkerung Europas und die Herkunft der Germanen, но полное изложение она найдет там, где придется разъяснять яфетическое происхождение вообще индоевропейских числительных. Что же касается возражений М. Церетели на отожествление г. quϑ с бск. bost в его рецензии на работу проф. Брауна, то они плод сплошных недоразумений, как и вся эта претенциозная критика.

Т. е. выходит так, что Uhlenbeck в конечных слогах -pa и -ta слов «aizpa» и «aizta» 'сестра' склонен видеть суффиксы, между тем, как мы уже видели, ahispa ⟶ ayspa, если признать его отожествление с абх. a-ḥща, — составные слова, каждое со значением 'женщина + брат', и вторая часть -spa значит 'брат', как и г. ďma, и в таком случае ни о каком выделении слога -pa как *окончания* не может быть речи. Что же касается ay-sta («aizta»), то это также равнозначущее составное слово из ahı-sta ⟶ ay-sta, причем здесь вместо -spa имеем -sta, именно s в подъеме ṫ ⟶ ď, да в разложении, с утратой исходного согласного, но не губного p ↘ m из архетипа *ṫap (⟶ *stap) ↘ ďam- (г. ďam-ıa 'братец'), как мы предполагали раньше, а плавного l другого равнозначившего слова с архетипом *ṫal (⟶ *sta⌈l⌉) ⟶ *ďal, к которому, а не к ďam-, восходит, между прочим, -ďa в составе как скрещенного термина г. ď-ma ⟵ ďa-ma- 'брат' (ср. ďa-m-ıa 'братец'), г. bı-ďa 'дядя', букв. 'отца брат', с дессибиляцией — da. В вnде da это 'сестра': дифференциация использована для отличия от ďa 'брат'. Следовательно, разница между ayspa 'сестра (сестре)' и aysta 'сестра (сестре)', собственно, за общностью a⌈h⌉ı- 'женщина', между вторыми частями этих слов, означавшими 'брат'—s-pa (⟵*sa-pa, resp. *sa-ba) и sta (⟵ *ṫal) такая же, какая между ď-ma (⟵ďa-ma-) и ďa, из коих г. ďma употребляется самостоятельно в значении 'брата', ďa в том же значении в составном г. bı-ďa 'дядя' ('отца брат'), а г. da в значении 'сестры'[1]. Все это давно уже разъяснено в печати, и, думаю, повторение уже известного по этому или другим номерам того же списка слов Uhlenbeck'а ничего не прибавит, разве последует опять повторение мысли, что мы пока разлучены как работники различных эпох, причем нам возвращаться в давно минувшие времена нет ни надобности, ни даже возможности, без отказа от знаний,

[1] В баскском подлежат привлечению сюда и другие термины родства, особенно 'отец' (⟵'*муж') и т. п., в виду семантической палеонтологии термина 'брат', о чем особая статья, печатающаяся в ИАН. С учетом устарелости некоторых частностей про г. bı-ďa и др. см. Н. Марр, Абхазское происхождение грузинского термина родства bıďa (ИАН, 1914, стр. 143—146).

которые теперь имеют основание почитаться элементарными. Однако, речь идет не столько о знании технических приемов и правил, сколько о самом мышлении. Когда в этих же Berichtigungen zur vergleichenden Lautlehre der baskischen Dialekte предлагается этимология ılargı 'луна', превосходный баскский материал не дается согласованию и примирению именно потому, что языковое мышление, диктуемое яфетическими языками, чуждо исследователю языковеду. Когда вм. ılargı, resp. ırargı появляется ıretargı, то признание Uhlenbeck'ом в звуке t соединительного согласного в составном слове, разъясненное, мол, в своем значении Schuchardt'ом, конечно, не может оспариваться, это есть голое утверждение зримого факта, хотя без понимания его природы, ни даже того, что здесь на лицо -et (а не один согласный t), окончание мн. числа в восприятии род. пад. ır + et-argı 'светило' ıl'ов или ır'ов. Но здесь легко столковаться. Иначе обстоит дело с пониманием смысла термина: ıl, восходящий к архетипу hıl || hel, утратившему спирант, и его двойник hır || her воспроизводят спирантный вид сибилянтного sel || ser, в баскском в форме «мн. числа» ser-u, означающий 'небо' [1], в частности 'нижнее небо', 'преисподнюю', 'мрак' (в связи с этим и значение 'умирать'), а как частичное проявление неба и 'луну', основу греч. σελ-ήν-η. В самом баскском же ıl появляется и в значении 'луны' в выражениях ıl-berı 'новая луна', ıla beđe ← ıla bete 'полнолуние' и т. п. Но когда имеем составное ılargı, то это не 'свет мертвых', как толковали раньше и по существу ближе к истине, и не 'лунный свет', как толковали впоследствии Vinson и Schuchardt, а 'светило преисподней' или 'ночного неба'.

Вот эта подоснова, совершенно иное языковое мышление, требующее соответственно отличного подхода, повторяю, более, чем технические познания, разлучают нас с Uhlenbeck'ом. Хотелось бы верить, что не надолго.

Н. Марр.

---

[1] В связи с чем sel- ∼ el- в яфетических языках служат основами глагола 'подниматься'.

Отдел II

Следы древне-грузинских цеховых организаций по данным современной этнографии.

Введение.

Изучение цеховых организаций, как известного социального института, игравшего некогда крупную роль в городской жизни у разных народов, предполагает, прежде всего, конечно, знакомство с известным историческим материалом. Цехи — это, прежде всего, область экономики и истории. Но как известная общественная организация, хотя и утратившая свою прежнюю роль, лишившись своего былого жизненного содержания, цехи продолжают еще существовать кое-где и в настоящее время, представляя, однако, собою лишь пережиток известного исторического прошлого. Рассматриваемые, как пережиток былой действительности, цехи становятся достоянием и этнографа. Это не значит, впрочем, что этнограф, изучая известные явления социальной жизни вроде определенных общественных институтов, действовавших некогда в народной жизни, но с течением времени утративших свое былое значение и превратившихся в бытовую окаменелость, может игнорировать экономику и историю. Для всестороннего изучения такого крупного бытового явления, как цеховые организации в их историческом прошлом, необходима, конечно, архивная работа, необходима работа и археолога, но тот же историк при изучении того же явления в его современных бытовых переживаниях обязан использовать в равной мере и тот этнографический материал, который представляет собою

данное явление в его современных переживаниях. Мало того, в тех случаях, где архивного материала нет под рукою или где он вообще недостаточен, приходится главным образом, если не исключительно, опираться на этнографический материал и его класть в основу исследования. Историк в этом случае обязан стать этнографом.

Прекрасную, обстоятельную и исчерпывающую работу историко-юридического характера по изучению закавказских городских цехов на основании имеющихся по данному вопросу исторических материалов представляет собою обширный труд С. А. Егиазарова: «*Городские цехи. Организация и внутреннее управление закавказских амкарств*», — напечатанный в «Записках Кавказск. Отд. И. Р. Г. Общества» за 1891 г. (кн. XIV, в. 2-й). Этим трудом впоследствии воспользовался, между прочим, Ф. Гогичайшвили в своей работе на немецк. яз. — «*Das Gewerbe in Georgien*», напечатанной им в «*Zeitschrift f. die gesammte Staatswissenschaft,* изд. A. Schäffle u. K. Bücher, Tübingen, 1901, сообщив в сжатом виде общие данные о прошлом грузинских цехов, которые намечены у С. Егиазарова для закавказских амкартсв вообще. У Гогичайшвили же указана и литература (стр. IX—XI). Интересно отметить, что в русских энциклопедических словарях я не нашел даже слова *амкар*, не нашел его и под рубрикой — *цех* или *цехи*, а между тем в научном отношении закавказские амкарства представляют собою вопрос первостепенной важности не только потому, что это своеобразный тип древнейшей, восходящей по крайней мере к XII в. социальной организации, но особенно потому, что, представляя собою во всех своих деталях полную аналогию и соответствие с такими же западно-европейскими организациями, они вводят нас вместе с тем в область древнейшей, быть может еще более ранней, чем XII в., общевосточной культуры, этого, зачастую, очага и первоисточника так называемой европейской культуры, что, между прочим, так блестяще и документально засвидетельствовано у нас историко-археологическими изысканиями академика Н. Я. Марра.

«Изучение закавказских амкарств, писал в 1891 г. С. А. Егиазаров, может пролить некоторый новый свет на вопрос о происхождении цехов вообще. Дело в том, что западно-европейские ученые обыкновенно ищут корень средне-вековой цеховой системы или в римской культуре или в чисто германской. А между тем, изучение амкарств показывает, что они являются союзами, вполне аналогичными и однохарактерными с средневековыми цехами; сходство между союзами обоих видов подчас поразительно и оказывается не только в основных началах, характеризующих цеховую систему вообще, но и в деталях различных обычаев и обрядов. Нет сомнения, что и римская культура и национальные особенности германских народов имели громадное влияние на организацию и внутренние распорядки средневековых цехов. Но с другой стороны, при такой поразительной аналогии, какая замечается во всех главных сферах амкарской и средневековой цеховой жизни, едва ли можно сомневаться в существовании цехов также у арийских народов Востока».

Это обстоятельство придает исследуемому вопросу слишком серьезный характер, и делает совершенно необходимым и своевременным исследование тех остатков наших амкарств, которые сейчас еще можно кое-где найти в городах Закавказья.

Интересно также отметить и то, что процесс вымирания в Закавказии амкарских организаций идет crescendo с того момента, когда в 60-х годах прошлого ст. их деятельность была кодифицирована в обще-законодательном порядке. Приравненные к русским ремесленным организациям и перестав быть своеобразным институтом чисто местного традиционного обычного права, закавказские, и в частности грузинские амкарства стали постепенно и быстро утрачивать многие своеобразные черты своей былой организации, жизни и деятельности; до 60-х же годов они живут и действуют в полном расцвете своих сил и своего значения, так что, при консервативном вообще характере учреждений на Востоке, закавказские амкарства даже в первой половине XIX ст., надо полагать, еще очень близко стояли к своему более древнему

прототипу; сейчас же, после русской реформы 60-х годов мы имеем от них одни лишь остатки, при чем и эти остатки быстро идут к вымиранию.

Сущность означенной реформы сводилась к ограничению принципа автономности амкарских организаций и к сужению сферы их самодеятельности, т. е., проще говоря, к полицейскому удушению амкарств, и в этом надо видеть одну из причин их постепенного упадка, обусловленного, в конечном счете, развитием крупной фабрично-заводской промышленности, хотя цехи и до сих пор в Грузии обслуживают те нужды народного обихода, которых еще не коснулась непосредственно фабрично-заводская промышленность, вроде, напр., шапочного производства, поставляющего свои продукты для местного населения, кузнечного производства, производства крестьянской обуви — лаптей и т. п. Как и в былое время, все эти виды народного производства и сейчас, в начале XX в. фабрикуются в Грузии исключительно в многочисленных кустарных цеховых мастерских, а между тем, цеховых организаций в том виде, в каком они были известны здесь еще 65 лет тому назад, сейчас уже нет, и нам приходится восстанавливать их по случайным бытовым остаткам, дополняя картину их прошлого воспоминаниями отдельных цеховых мастеров.

Если ко всему сказанному прибавим также и то обстоятельство, что единственное русское исследование закавказских цехов С. А. Егиазарова носит чисто историко-юридический характер, опираясь на известный архивный материал и не касаясь почти этнографической стороны вопроса, а также, если примем во внимание значение изучения народной техники и производства с точки зрения историко-культурных и краеведческих интересов, — этим исчерпаются все те соображения, которыми автор руководствовался, приступая к этнографическому обследованию грузинских цехов. В настоящем очерке дается небольшой материал, несколько лет тому назад собранный автором в маленьком уездном городке Карталинии, *Гори*.

Соответственно схеме процесса развития цехов в Западной Европе, напр., в Германии, где различают первый период развития — XII, XIII, XIV вв., второй, цветущий период XV в., и третий — период упадка, начиная с XVI по XVIII века, исследователь закавказских амкарств относит их зарождение и развитие ко времени от XIII по XV века, достоверные же исторические данные об амкарствах, вообще не богатые, восходят не дальше XVII в. Распространенные на всем пространстве Востока вплоть до Китая, эти ремесленные и торговые союзы в Персии, в древней Грузии известны под именем *амкар*, в Малой Азии они носят имя *аснаф*, откуда, между прочим, на Балканском полуострове у болгар и сербов — *еснаф*. По определению С. А. Егиазарова, слова *амкар* и *аснаф* синонимы: первое — персидского, второе — арабского происхождения. Понятие амкарства трудно передать по русски каким-либо одним соответственным термином: лучше всего оно может быть передано немецким словом Gewerksschaft.

Останавливаясь на различных мнениях о происхождении закавказских амкарств, С. А. Егиазаров приводит мнение Гастгаузена, высказанное им в 1857 г. о том, что цехи были занесены в закавказские города, главным образом в Эривань и Тифлис, из Персии; мнение Ахвердова, высказанное им в 1856 г. о том, что такая своеобразная организация городского населения, состоявшая в Грузии, будто-бы, главным образом из армян, выработана самобытными национальными особенностями последних; наконец, мнение Загурского 1872 г. о том, что ахалцихские организации — турецкого происхождения. Эти мнения представляют собою, конечно, необоснованные на серьезном исследовании вопроса, догадки и предположения. Какой народ и в какой мере участвовал в созидании амкарской системы, решить без соответственных историко-археологических и лингвистических данных, конечно, нельзя. Несомненно, что в начале XIX столетия амкарские организации существовали во всех городах старой Грузии — в Тифлисе, Гори, Сигнахе, Телаве. По сообщению

С. А. Егиазарова, архивные данные и одна армянская надпись говорят, что здесь амкарства существовали, однако, задолго до русской оккупации, в XVII в. Один из грузинских царей, Ираклий I имел попытку кодифицировать амкарские обычаи тифлисских кожевников. Обобщая имеющиеся в распоряжении исследователя данные об амкарских союзах в XVII ст., он приходит к заключению, что амкарства в это время уже существовали во всей Персии, в том числе и в Великой Армении, входившей тогда в состав персидского царства; существовали они тогда же и в Тифлисе, и в других городах старой Грузии, и в Малой Азии. Исходя, однако, из несомненного факта, что амкарские союзы, как известное бытовое и социальное явление, конечно, гораздо древнее сохранившихся грамот и статутов, о чем свидетельствует хотя бы определенная, уже сложившаяся юридическая физиономия этого учреждения, предполагающая известный и, повидимому, продолжительный предшествовавший период их более примитивной жизни, деятельности и развития, можно уже apriori думать, что некоторые этнографические детали нынешних закавказских амкарств восходят по крайней мере к XII в., судя по данным известного Судебника Мхитара Гоша, или по данным одной из надписей г. Ани—к XIII—XIV вв., или по показаниям Марко Поло — к XIII в.

Материалы.

1. Кузнечный цех.

Терминология: кузница — samṭedlo (სამჭედლო); кузнец — mṭedeli (მჭედელი); горн — qura (ქურა); наковальня — zindani (ზინდანი); мехи — saberveli (საბერველი); кожаный передник кузнеца — ṫinsaφari (წინსაფარი); точило — ϑ̣arqi (ჩარხი); корыто для охлаждения железа — geḓa (გეჯა); ручной молоток q̇elis ϑ̣aquϑ̣i (ხელის ჩაქუჩი); специальный молоток для обработки выступов и выемок на железе — rkinis dasaṭdevi (რკინის დასაჭდევი);

тиски — qelis mangana (ხელის მანგანა); кочерга для горна — quris saჭqreki (ქურის საჩხრეკი); большое долото — rkinis saqvreti (რკინის სახვრეტი); большой кузнечный молот — uro (ურო); молоток для расковки железа — ჭaprasti (ჭაპრასტი); клещи от горна — martuqi (მარწუხი).

Во главе каждого цеха (amqari ამქარი), в том числе и кузнечного стоит *старшина* — ustabaши (უსტაბაში), избираемый из среды членов цеха — мастеров данного ремесла — ostatebi (ოსტატები); ученики или подмастерья — шegirdi (შეგირდი) в состав цеха не входят. Для получения прав мастера цеха несколько времени тому назад ученик обязан был служить у мастера и платил ему от 30 до 50 руб. за весь курс обучения ремеслу, который продолжался 5 лет; в настоящее время, ученик учится ремеслу у мастера бесплатно, и срок учения сокращен до 3 лет.

Посвящение ученика в чин мастера происходит сейчас таким образом:

С понедельника Пасхальной недели и до Вознесения по понедельникам цехи не работают. Понедельники эти называются «*христовыми днями*». Не работают в эти дни потому, что они посвящены богу дождя: празднуя эти дни, цехи тем самым умилостивляют бога дождя.

В течение этого промежутка времени устраивается цеховой обед; после того, как этот обед пройдет, разрешается уже работать и в указанные понедельники. Обед этот называется samqჭo (სამხთო), т. е. «*божий обед*», или «*обед в честь бога*». Во время этого обеда и совершается обряд посвящения учеников в мастера. Старшина цеха перепоясывает каждого из посвящаемых шелковым поясом и закладывает ему за пояс инструменты данного ремесла. Каждый цех имеет свою эмблему и своего верховного покровителя, с которым обыкновенно связывается представление о родоначальнике данного ремесла. Для кузнецов таким покровителем служит Oფelჭ ფoფeli (ოფელთ ფოფელი).

По преданию, это был святой человек и такой мастер, что

голою рукою брал из горна раскаленное железо, молотком ему служила голая рука, а наковальней — голое колено. Ученик становится на колени, протягивает вперед руки; держа ученика за два большие пальца, старшина цеха обращается к нему с такими словами:

«Покровитель ремесла, Опельт-попели! Пришел к нему в образе мальчика нечистый дух и сказал: возьми меня к себе в ученики, и чтобы я был с тобою везде, и на свадьбе, и на похоронах; пойдешь ли к себе домой, и я с тобою. Раз Опельт-попели ушел куда-то и позабыл о своем условии, не взял с собою ученика. Обиженный этим, ученик-чорт сделал клещи (marṫuq̣i მარწუხი), молоток (ḉaquḉi ჩაქუჩი) и наковальню zindani (ზინდანი), спрятал все это за мехи, а сам ушел. Пришел мастер, начал работать, положил железо в горн, взял его рукою и ожегся; посмотрел и видит — инструменты, и догадался, что они пригодны для нашего ремесла. И так как все эти инструменты необходимы для нашего ремесла, пусть они и будут нашей эмблемой»!

Затем, обращаясь к мастерам, старшина говорит: «ученики эти благословляются прежде всего устами божьими, а потом нашими; они должны уважать бога и amqari (ამქარი)»!

Затем, обращаясь к ученику, он же опять говорит: «будь честен во всем!» — и с этими словами три раза ударяет ученика по щеке.

После этого все мастера садятся за трапезу — обед устраивается где либо в поле, на траве — и прежде всего пьют за здоровье ustabaші, затем за здоровье старых мастеров и, наконец, третий тост за здоровье молодых мастеров. В ответ на это молодые, только что посвященные в мастера ученики, обходят с вином вокруг стола, наливают мастерам вина и целуют каждому из них руки и лицо. Мастера с своей стороны отвечают им тем же. Это первый обед, во время которого бывшие ученики уже имеют право сидеть рядом с мастером и в его присутствии, а также есть и пить вместе с мастером, но пьяный ученик — величайший грех и преступление против нравственности.

После обеда цех in corpore со своими знаменами и музыкой гуляет по базару — место, где сосредоточены обыкновенно все мастерские, затем обходит весь город. Этою процессией цех оффициально объявляет о вступлении молодых людей в число мастеров. Старые мастера затем расходятся по домам, а молодые, вновь посвященные в мастера ученики, вместе с ustabaшi возвращаются на место обеда и здесь остаются до рассвета, и кто бы посторонний для цеха ни зашел в их кампанию, он принимает участие в гулянье, ест и пьет за счет цеха. Утром на место обеда к своим ученикам являются мастера, каждый снимает со своего ученика повязанный ему накануне пояс и инструменты, и с этого момента молодой мастер считается равноправным со своим хозяином.

При посвящении в мастера ученик вносит в цех 3—5 руб.; раньше вносили обыкновенно 10 руб.

Если кто-либо из членов amqari заболел, или же дела его пошатнулись, члены цеха помогают своему сочлену, кто чем может, и не разрешают ему обращаться за помощью к другому цеху.

В случае скопления у одного мастера большого количества работы, он передает часть ее своему безработному сочлену.

Недоразумения между членами amqari разрешаются старостой цеха совместно со специальной комиссией, назначавшейся городским управлением.

Умершего своего сочлена, от какой бы болезни он ни умер, члены цеха должны вынести и похоронить с почетом.

Экономическое положение ремесленников-кузнецов в г. Гори по моим наблюдениям[1] крайне печальное, кузнецы очень бедны, заработков едва хватает на прокормление. Отсутствием средств ремесленики-кузнецы объясняют и отсутствие у них более рациональной цеховой организации, вроде, напр., цеховых запасов материалов и т. п., хотя прекрасно сознают все выгоды такой именно организации. Так или иначе, но в общем кузнечный цех, равно как и другие, фактически, как социально-экономическая

[1] Обследование горийских цехов было произведено летом в 1908 г.

организация, бездействует, ничем не проявляя своей коллективной производственной активности. От древней цеховой организации, таким образом, здесь уцелела сейчас только внешняя форма. обрядовая сторона организации: патрон цеха, эмблема, праздник в честь патрона, запретительные дни, цеховой обед, ритуал посвящения ученика в мастера, легенды, приуроченные к данному ремеслу и связанные обыкновенно с личностью его предполагаемого родоначальника и покровителя, и наконец, некоторые, скорее неосмысленно традиционные, нежели осознанно-организационные реминисценции былой цеховой организации с принципами известной общинной дисциплины, солидарности и взаимопомощи.

Легенды:

1) Накануне пятницы два мастера заходят к 7—9 кузнецам, берут у них по куску железа. В пятницу на рассвете, не говоря ни слова ни друг другу, ни кому либо из посторонних, они должны выковать из этих кусков какой-либо предмет: крест, кольцо. шампур и т. п.; такое изделие спасает человека от злых духов.

2) Кузнец, начиная работу, ударяет молотом по наковальне. Делается это вот зачем. Около скованного цепями Амирани[1] имеется маленькая собачка, которая лижет его цепи, при чем ей удается так слизать эти цепи, что Амирани легко может порвать их. И вот от удара кузнеца молотом по наковальне цепи восстанавливаются, ибо если когда-либо Амирани удастся сорваться с цепи, он уничтожит весь мир. Больше всего Амирани ненавидит женщин, потому что женщина была причиной его страданий. Однажды Амирани попросил у одного человека принести ему саблю, чтобы ею разрубить свои цепи, при чем этот человек должен был принести саблю, не говоря о том никому ни слова, так как, если он скажет что-либо, то сабля не будет иметь силы. Когда этот человек собрался было уже нести саблю для Амирани, жена

[1] Карталинский вариант легенды об Амирани напечатан, между прочим, Джаваховым в «Сборнике материалов» за 1882 г., т. 2.

пристала к нему с расспросами, куда несешь, зачем и пр. Тот не мог устоять, рассказал все жене, и сабля потеряла свою силу. С тех пор Амирани рассердился на женщин, и если он сорвется с цепи, то им не сдобровать!

2. Цех медников.

Терминология: мастер, выделывающий медные изделия — meqvabe (მექვაბე); станок для отделки и полировки медной посуды — ǯarqi (ჯარხი); клещи медника — marṫuqi (მარწუხი); долото для полировки медных изделий — randa (რანდა).

Эмблемою цеха служит наковальня. Патроном цеха считается *св. Давид Маркар*, который, по преданию, был первым медником. Он брал голою рукою раскаленную медь до тех пор, пока в это дело не вмешался нечистый дух.

Ученик остается в мастерской и изучает ремесло в течение 3—4 лет и работает для мастера платно или бесплатно — в зависимости от условия; в большинстве случаев ученики ничего не платят своим мастерам и только при посвящении вносят своему мастеру рублей 30—40, а мастер обязан снабдить своего ученика всеми необходимыми для ремесла инструментами.

При посвящении ученики становятся на колени, и перед каждым из них стоит поднос с набором инструментов: ножницы, молоток, платок вм. передника и необходимое при этом ремесле лекарство — ǰavzni (ჯავზნი).

Своеобразную черту этого цеха составляет то, что здесь сам ученик выбирает себе лицо, которое должно благословить его в мастера; если отец ученика принадлежит к тому же цеху, то он может тоже благословить на мастерство своего сына. Благословляющий говорит: «благослови тебя св. Георгий, божия матерь!» — называются при этом и другие имена чтимых святых. После этого благословляющий ударяет три раза ученика по щеке и произносит: «piri anda, piri alla, piri oldun! Во время обеда ученики угощают мастеров вином, а мастера целуют им руки.

3. Шапочный цех.

Терминология: шапочник — ṭoni (ტონი); шапочная мастерская — ṭonis saqelosno (ტონის სახელოსნო); болван или колодка для шапки — qudis kalapoti (ქუდის კალაპოტი); ножницы для кройки кожи на шапку — makrateli (მაკრატელი); выкройка для шапки — andaza (ანდაზა); нож — daganaki (დაგანაკი); скребок для чистки кожи — ḓana (ჯანა); болван для растягивания шапки — ç̣arqis kalapoti gasaṭevi (ჩარხის კალაპოტი გასაწევი).

Ученик служит у мастера три года и бесплатно обучается у него ремеслу. По истечении указанного срока ученик считается вполне подготовленным к мастерству и во время «божьего обеда», устраиваемого в тот же промежуток времени между Пасхой и Вознесением с соблюдением тех же нерабочих или «христовых» дней, он посвящается в мастера цеха, за что вносит в свой цех 10 рублей. Эти ученические деньги предназначаются специально для нищих и раздаются им во время цехового обеда. Обед устраивается где-либо в саду, куда собираются все мастера цеха, приглашают священника, здесь же режут барана — непременно должен быть баран, — дают ему предварительно съесть немного соли, зажигают восковую свечу и поджигают ею на голове барана немного шерсти. Из мяса его затем приготовляют šila-ṗlavi, а кожу, раньше отдавали священнику, продают или дарят кому-либо бедному. После освящения вина, хлеба и соли, часть приготовленного кушанья раздается прежде всего бедным, другая часть отсылается в крепость арестантам, и только после этого мастера усаживаются сами за стол, при чем, прежде чем сесть за стол, старшина цеха — ustabaši совершает обряд посвящения учеников в мастера. Он надевает на ученика фартук, опоясывает его кушаком и за пояс вставляет ножницы. В руки ученикам дают по три восковые свечи. Держа большие пальцы ученика в руках, старшина произносит следующие слова:

«*Энук Маркар!* Пусть прощены будут тебе все прегрешения твои: да простят тебе бог и Энук Маркар все то, в чем ты

согрешил против своего хозяина. Будь честен, исполнителен, добросовестен, и как мастер воспитал тебя хорошим, воспитай таких же и ты»!

С этими словами ustabaши три раза ударяет ученика по щеке и *целует руку ученика*. Этот поцелуй руки ученика старшиною знаменует собою, что рука ученика уже благословена для труда мастера. После этого присутствующие здесь мастера садятся за стол, а ученики разносят им вино, при чем каждый мастер целует руку ученика, а ученик отвечает ему тем же. Мастера пьют за здоровье учеников, и один из мастеров обращается к ученикам с таким тостом: «Будь совестлив по отношению к другим и держи себя всегда с открытым лицом; не делай никому зла, чтобы умереть тебе таким же честным, каким ты сейчас присутствуешь здесь; будь милостив к бедным и больным и всегда поддерживай всякого нуждающегося, кто бы он ни был»!

После обеда все участники его со своим цеховым значком, на котором изображены — *Енох*, шапка, ножницы и крест, и с музыкой проходят по городу и угощают всех встречных. Мастера после этого расходятся по домам, а ученики, так же как и в кузнечном цехе, возвращаются на место обеда, где и остаются до утра. Утром сюда же являются мастера и снимают со своих учеников фартуки и пояса со словами: «Иди! ты теперь мастер равный с нами»!

После своего посвящения в мастера бывший ученик участвует во всех делах мастерской, а до этого он не имел ни права голоса, ни права работать на станке; с этого же момента, при желании, он может открыть и собственную мастерскую.

Самым большим в году праздником у мастеров этого цеха считается день, посвященный памяти *Еноха*. По преданию, *Енох* именно первый выдумал высокую грузинскую шапку, так называемую — buqaris qudi (ბუხარის ქუდი), на него же надели шапку и когда взяли его на небо.

4. Портняжный цех.

Терминология: портной — ϑerďı (თერძი); стойка, за которою портной работает — dazga (დაზგა); она же служит эмблемою цеха; по субботам на этой стойке зажигают свечи; на стойку нельзя садиться и вообще проявлять к ней небрежное отношение, но есть за этим столом можно, и даже еще лучше есть именно за этим столом, так как стол этот благословен: линейка — шпша (შიშა); она в длину около двух аршин; мерою же длины вм. сантиметра наших портных служат — naqevar adlı (ნახევარ ადლი), делится на 8 gre (გრე) или 16 полу-gre, равняется локтю и образует приблизительно 11 вершков; ножницы — makratelı (მაკრატელი). Отмеченная выше мера длины naqevar adlı, т. е. половина adlı, равная локтю, имеет форму красиво отточённой цилиндрической палочки, с кругленькими костяными шариками по концам; эти наконечники носят название vaшlı (ვაშლი), т. е. яблоко. Эта палочка состоит из двух равных, вставляющихся одна в другую, половинок. Чтобы эти половинки, будучи разъединенными, не затерялись и всегда были обе под рукою мастера, концы палочки соединены шнуром.

Легенда:

По поводу этой меры мастер рассказал следующее: «У нас есть сказочный герой, народник Арсен. Задачей своей жизни он поставил — отнимать у богатых их богатства и раздавать их бедным. У евреев и торговцев «аршин» был очень маленький, и они обманывали в деревнях баб. Арсен взял вот эту меру — naqevar-adlı, отмерил таких две, и отдал ее торговцам, приказав им мерять этою именно мерою, угрожая им в противном случае своим наказанием; торговцы дали слово, что будут пользоваться только этою мерою».

Порядок посвящения учеников в мастера в этом цехе тот же, что и в других, и приурочен к тем же «божьим обедам». Собираются вместе все мастера со своими учениками, стоят с заж-

женными свечами, священник читает евангельский отрывок о детях, приходящих к учителю: не возбраняйте им приходить ко мне. Затем обряд посвящения совершается в том же порядке, как и у шапочников. Ударяя по лицу посвящаемого, старшина цеха говорит: «да благословит тебя бог отец, бог сын, бог дух святой»!

Покровителями ремесла считаются прародители, *Адам* и *Ева*.

Легенда:

«Когда змея соблазнила Еву, прародители стали голыми и прикрыли свою наготу волосами, а затем из листьев сшили себе одежду: в честь этого мы и чтим Адама и Еву».

По объяснению мастера, по понедельникам, в промежуток времени от Пасхи до Вознесения они не работают потому, что когда-то выпал большой град и уничтожил все посевы и фрукты, тогда то ремесленники и дали обет не работать по понедельникам, пока не устроят «божьего обеда».

5. Цех чувячников.

Терминология: мастер, изготовляющий мужскую обувь, которая называется ϑ̣usti (ჩუსტი) и женскую — φlostlebi (ფლოსტლები), носит название q̇arazi (ხარაზი); ореховый круглый станок ввиде большого чурбана на ножках — dazga (დაზგა); выкройка для чуст — andaza (ანდაზა); нож для обрезки подошв — ḓeviϑ̣i (ჯევიჩი); молоток для обработки кожи — mušta (მუშტა); точильный камень — ϑlašqari (თლაშქარი); подушечка для смачивания камня — zungali (ზუნგალი); игла с ниткою для шитья чуст — d̆aφi da nevsi (ძაფი და ნევსი); шило — sadgisi (სადგისი); колодка — kalapoti (კალაპოტი); лопатка для колодок — φešnaqaš (ფეშნაქაში); долото для обрезки кожи — karaniϑ̣i (კარანიჩი); клинки — φsvali (ფსვალი) и q̇vali (ხვალი); палка для полировки чуст — kulava (კულავა); урез — napirebis šemosalesi (ნაპირების შემოსალესი); нож для чистки кожи — ϑlaḓeviϑ̣i (თლაჯევიჩი); веретено для ниток iliki (ილიკი); ручной ткацкий станок — q̇onḓris kdebi (ხონჯრის კდები).

Ученик поступает в обучение к мастеру, в зависимости от условия, на 3, 4 или 5 лет; три первые года ученик работает безвозмездно, затем он становится подмастерьем и получает от мастера от 40 к. до 1 р. в день.

При посвящении в мастера ученик вносит в цех 10 руб. и 10 р. уплачивает мастеру. Каждый мастер на устройство обеда вносит 1—2 руб.

Эмблемою цеха служит колода; патрон цеха — *прор. Илья*, который, по местному преданию, сам был мастером — чувячником.

При посвящении учеников в мастера все присутствуют с зажженными свечами. Священник читает евангелие и благословляет учеников. Затем ustaбаші переноясывает каждого из учеников поясом, и за пояс вставляет долото и стамеску. Ученики становятся на колени, поднимают руки, ustaбаші держит их за большие пальцы и произносит: «Бойся бога, уважай старших, не делай ничего дурного и не произноси дурных слов»! — Затем он три раза ударяет ученика по щеке и говорит: «Во имя отца и сына и святого духа. Аминь»! — Ученик кладет в руку ustaбаші один рубль. После этого все присутствующие садятся за обед.

После обычной процессии, так же как и в других цехах, вновь посвященные мастера возвращаются на место обеда и остаются здесь на всю ночь, а на утро к ним является ustaбаші, снимает с них пояса и инструменты их отбирает себе, но возвращает затем опять их владельцам после того, как они заплатят ему выкуп по 20 коп.; этот взнос называется asakaló (?), и поступает он в пользу помощников ustaбаші.

Интересную частность этого цеха составляет кожаный передник — φештemalı (ფეშტემალი): без него мастер не имеет права ни приступать к работе ни работать; с другой стороны, в этом переднике мастер не имеет права выходить в уборную и вообще отправлять какие бы то ни было свои естественные потребности.

6. Цех лапотников.

Терминология: мастер, изготовляющий лапти — qalamani (ქალამანი), называется — шeqalamne (შექალამნე); колода, на которой он работает — dazga (დაზგა); выкройка для лаптей — andaza (ანდაზა); сырая головная кожа для лаптей — ϑavrieli (თავრიელი); кожа быка для изготовления лаптей называется — q̇aris tkavi (ხარის ტყავი); готовый отрезок кожи — шesakeri qalamani (შესაკერი ქალამანი); кожаный шнур для лаптей — qalamnis kopi (ქალამნის კოპი); лапти в готовом виде — шekerili qalamani (შეკერილი ქალამანი); кожаные ленты для лаптей — qalamnis ϑasmebi (ქალამნის თასმები); колодка для лаптей — qalamnis kalapoti (ქალამნის კალაპოტი); молоток для обработки кожи — qalamnis q̇veda (ქალამნის ხვედა); долото, необходимое при изготовлении лаптей — qalamnis saq̇vreti (ქალამნის სახვრეტი); шило — sadgisi (სადგისი); веретено для приготовления кожаного шнура — iliki kopis sagreq̇i (ილიკი კოპის საგრეხი); нож для чистки кожи — qalamnis saφq̇eki dana (ქალამნის საფხეკი დანა); нож для обрезки кожи — qalamnis gamosatreli dana (ქალამნის გამოსაჭრელი დანა); точило — salesavi (სალესავი).

Эмблемою цеха служит dazga (დაზგა) — колода. Определенного патрона у цеха нет. Указывают только на то, что на *св. Георгия* надеты лапти; на цеховом же значке имеется изображение божией матери. До последнего времени лапотники объединялись с фруктовщиками, составляя вместе с ними как бы отдельный цех.

Мастер-лапотник, имеющий собственную мастерскую, нанимает себе в помощники подмастерьев. Иногда несколько мастеров, 2—5 человек, соглашаются работать вместе на кооперативных началах, образуют маленькую артель и работают в общей мастерской. Из валового дохода каждый член такого товарищества получает равную часть, необходимую для дневного пропитания; на остальные деньги закупается материал.

В настоящее время ремесло разрослось, лапотники отделились от фруктовщиков и образовали свой собственный цех по

примеру других цехов. Так же как и другие цехи, лапотники не работают в указанные выше понедельники и устраивают свои амкарские «божьи обеды», но не работают по понедельникам только потому, что в эти дни не работают и другие. Обряда посвящения ученика в мастера у лапотников нет, и каждый ученик во всякое время, когда ему вздумается, может открыть собственную мастерскую.

Каждый вновь явившийся из деревни лапотник обязан записаться в цех, и если такой член цеха затем опять возвращается к себе в деревню, он, тем не менее, продолжает считаться членом цеха, и в случае какого-либо нечестного поступка, набрасывающего тень на честь амкара, на виновника цехом налагается штраф, и он лишается права покупки материала и продажи своих изделий до тех пор, пока не уплатит цеху своего штрафа.

7. Цех плотников.

Патроном цеха считается *Иосиф.* При посвящении учеников в мастера старшина цеха дает в руки ученика шнур — lari (ლარი) и говорит: «раньше пилы не существовало, шнур заменял пилу: ударяли им по дереву, и оно кололось»! Давая затем ученику циркуль — фargali (ფარგალი), старшина говорит: «обводили дерево циркулем, и оно само вырезывалось»! — Давая, наконец, ему — gonio (გონიო; в Имеретии gonia) — инструмент для определения ровности поверхности, мастер говорит: клали на доски gonio, и они сами выравнивались; Ной при помощи гонио построил свой ковчег»!

У плотников соблюдается такое же благоговейное отношение к переднику, как и у чувячников и у других цехов.

8. Цех цырюльников.

Терминология: цырюльник — dalaqi (დალაქი); тарелка, употребляемая при бритье — ϑasi (თასი); медная чашка — tasti (ტასტი); умывальник — satili (სატილი).

Патрон цеха — *mama Abraami*, отец *Авраам.*

Легенда;

«Однажды Авраам возвращался от обедни, и повстречался с ним Иисус Христос, одетый в грузинский костюм и опоясанный золотым поясом. Авраам не знал, что это Христос. Христос обратился к Аврааму и попросил накормить его. Авраам ответил: у тебя золотой пояс; если я и покормлю тебя, то это не сочтется мне в милость; продай свой пояс и купи хлеба. — Христос оставил Авраама и пошел к пастуху Авраама, попросил накормить его. Пастух сказал ему: зайди в комнату, гостю не подобает оставаться во дворе. У меня есть три хлеба Авраама, и после нашего обеда от этих хлебов еще останется часть. Христос на это ответил пастуху: Я не могу есть только один черствый хлеб; зайду, если у тебя есть овечье maṭoni (кислое молоко). Пастух ему ответил: 20 тысяч овец мне поручено Авраамом, и если я из них чем-либо попользуюсь, не спасется моя душа! — Неужели из 20 тысяч овец, спросил его Христос, на твою долю не придется ни одна овца? — Да, ответил пастух, из 20 тысяч овец на мою долю приходится одна бесплодная овца. — Христос ему сказал: приведи эту бесплодную овцу.

Пастух привел овцу; ягнята стали сосать ее и выдоили у нее четыре котла молока, а пятый котел так наполнился, что перелился через край. Сел Христос с пастухом за еду и стал благословлять:

Пастух! пусть твой пастуший жезл — ǰobaqi (ჯობაყი) превратится в пальмовое дерево, и одна твоя овца в тысячу овец! — Сказал он это, пообедал и ушел.

На другой день, когда пастух проснулся, видит, что во дворе у него выросло пальмовое дерево. Удивился он; считает своих овец, и не может сосчитать: одна овца превратилась в тысячу овец. И догадался он тогда, что этот гость был не простой человек, а бог Христос. За то, что Авраам не принял гостя, Христос проклял его, чтобы в течение 40 дней у него не было гостей, т. е. чтобы Авраам в течение сорока дней ничего не ел. Дело

в том, что Авраам был очень гостеприимным, и если у него хотя бы втечение месяца не было никого из гостей, он без гостя не мог ничего есть. Прошло 39 дней; по воле Христа, никто не навестил Авраама. На сороковой день Авраам обращается к Сарре и просит ее выглянуть, не покажется ли по дороге какой-либо гость. Сарра возвратилась в дом и сказала Аврааму, что где-то там вдали виднеется кто-то такой величины, как муха. Между тем Христос переоделся в нищего и постучался к Аврааму.

— Слава богу, сказал Авраам, что я удостоился наконец гостя! — Накрыл стол и зарезал лучшего отборного бычка. Вечером, когда пригнали скот, корова-мать зарезанного бычка стала мычать. Гость спросил, почему она мычит? Авраам объяснил, что он зарезал теленка, и корова горюет о своем дитяти. Христос осенил крестным знамением кости теленка, теленок ожил и стал сосать свою мать. Авраам удивился такому чуду.

В соседней комнате жена Авраама кашлянула. Христос спросил, кто это такая? Это, говорит Авраам, моя жена; мы состарелись, а детей у нас нет; богатства у нас, слава богу, много, а наследников нет. Если бы бог смилостивился над нами и послал мне сына, я бы этого сына, когда ему исполнится семь лет, принес бы в жертву богу.

Христос благословил его и сказал: в продолжение семи дней у тебя родится сын! — Сказав это, Христос поблагодарил Авраама за хлеб-соль и прибавил, что дом его будет посещать гость каждый день.

Как сказал Христос, так все и исполнилось. Через семь дней у Авраама родился сын. Об обете, данном мужем, жена, однако, ничего не знала.

По истечении семи лет со дня рождения сына, Авраам вошел к себе в комнату и стал плакать. Вошла туда же и жена его, и, видя плачущим своего мужа, спросила о причине его горя. Авраам ответил ей: как мне не плакать! Сын до сих пор был наш, а теперь я должен заколоть его; я должен сделать это, ибо не могу изменить своему слову. — Затем он приказал своему

сыну взять котел, надел на него пояс, показал на гору и сказал: нам надо подняться на эту гору и там вскипятить воду.

Когда Авраам с сыном пришли на гору, Авраам велел сыну развести костер и вскипятить воду, а сам отошел в сторону, велев сыну позвать его, когда закипит вода. Сын вточности исполнил все, что было сказано отцом, и когда закипела вода, он подошел к отцу и сказал: отец мой! ты что-то затеваешь! отчего не скажешь мне прямо? Вода в котле кипит так, что она почти вся выкипела, а жертвы нигде не видать!

Авраам в это время точил нож.

— Надо тебе сказать, сын мой, сказал Авраам, хотя говорить тебе об этом мне и больно: в продолжение семи лет ты был моим, а теперь ты принадлежишь богу: я должен принести тебя ему в жертву.

Сын на это сказал Аврааму: свяжи покрепче мне руки, а то, если руки будут связаны не крепко, и я их развяжу, я могу совершить преступление: с жизнью расстаться трудно; я зарежу тебя. — Тогда Авраам связал крепко его руки, взял нож и ударил ножем по горлу; разрезал немного горло, но дальше нож не режет: горло обратилось в камень.

У каждого человека после этого на горле, повыше адамова яблока, осталась выемка, вроде прореза.

Семь небес грянули по семи раз, и через эти семь небес прошла звезда. Разверзлись небеса, взглянул оттуда Христос и говорит: смотри, что делает Авраам! — Тогда один из ангелов в образе человека явился к Аврааму с овцой, схватил его за руку: оставь, говорит, сына! режь барана: жертва твоя будет принята!

Зарезал Авраам барана, а сына отпустил на волю.

С этого времени и ведут своё начало «божьи обеды» амкаров; с этого же времени ведет своё начало и появление барана-овцы».

Так же как и в других цехах, ученик работает у мастера бесплатно в течение 3 лет. Посвящение ученика в мастера происходит в те же «божьи обеды» с теми же частностями, как и

у других цехов, т. е. ученик становится на колени, его перепоясывают кушаком, и за пояс втыкают бритву; затем старший по летам в цехе мастер, а не ustabaшı, говорит: «Наш покровитель — *Авраам*. Это тот нож, которым Авраам резал своего сына!» — при этих словах он даёт ученику бритву; затем он же даёт ученику ножницы и говорит: «это рога того барана, который был послан Аврааму»! — Даёт ученику ремнёвое точило, т. е. длинный ремень и говорит: «Это шкура того барана, которого бог прислал Аврааму»! — Затем вставляет за пояс ученика каменное точило и говорит: «это язык того барана, которого бог послал Аврааму»! — Благословляет учеников ustabaшı цеха, повторяя те же слова; ударяет их три раза по щеке и говорит: «Как священник не может оглашать вверенной ему тайны и должен быть всегда честным и благородным, точно так же и ты не должен ничего выносить из дому: увидишь в доме голую женщину, отвернись; увидишь в доме что-либо непристойное, ты не имеешь права его разглашать; если же ты не исполнишь этого обязательства, тебя проклянут»!

Сообщая мне свои сведения, мастер дал следующее пояснение: «иногда нам приходится ставить пьявки женщинам; цырюльник обязан в этом случае относиться к женщине, как к своему близкому человеку, без вожделения. Если же член цеха указанных выше обязательств не исполняет, его штрафуют и после трех раз исключают из цеха, но случаев нарушения своих обязательств в нашей среде до сих пор еще не было».

При посвящении в мастера ученик теперь ничего не платит мастеру, а раньше платили рублей 20—25. Взамен этого мастер снабжал ученика всеми необходимыми принадлежностями ремесла. Теперь же мастер учит своего ученика, одевает его, кормит и покупает ему по окончании курса учения все необходимые инструменты, и делает все это безвозмездно. Ничего не вносит теперь ученик и в пользу цеха при посвящении своём в мастера.

Если кто-либо из членов цеха заболеет или его постигнет какое-либо несчастье, члены цеха собирают между собою деньги

в пользу пострадавшего, кто сколько может. Общей цеховой кассы не существует. В случае же какой-либо надобности в деньгах делается раскладка между всеми мастерами цеха.

У каждого цырюльника имеется свой район, на который распространяется его деятельность. Цырюльник входит в соответственное соглашение с одной или двумя деревнями, и каждый мужчина, бреется ли он или стрижётся, платит в год цырюльнику за его труды один пуд пшеницы. Цырюльник всюду принят, всюду вхож. Стариков он считает своим отцом, старушку — матерью, молодую женщину — сестрой.

Помимо своего непосредственного ремесла, в деревнях цырюльники же выступают и как лекари.

Каждый абонированный двор цырюльник обязан обойти один раз в две недели.

Не все, однако, городские цырюльники имеют в своём ведении деревни: из 27 цирюльников г. Гори четверо не имели деревень.

Средний заработок городского цырюльника в день составляет 40 копеек. Цырюльники, живущие вне города, по деревням, свободны от обязательства состоять в числе членов цеха; городские же цырюльники все обязаны состоять членами цеха.

Итоги.

1. Обследованные мною в 1908 г. в г. Гори в Карталинии (Тифлисская губ.) цехи или amqari, судя на основании приведенных выше материалов, не носят сейчас какой-либо определённой экономической, религиозной или юридической организации, но представляют собою только пережиток былой действительности, т. е. сохранившийся в народном обиходе по традиции обычай.

2. Как пережиток былой действительности, рассмотренные выше цеховые организации интересны сейчас, главным образом, своею обрядовою стороною, но вместе с тем в них же на каждом шагу еще сохраняются и такие следы старины, которые развертывают пред нами до некоторой степени и картину экономи-

ческой и социальной жизни и деятельности цеховых организаций в Грузии в прошлом.

3. Существенное значение современных цеховых организаций в Грузии заключается главным образом, если не исключительно, только в их организационно-моральном элементе. Утратив вполне свой былой экономический и социальный характер, современные грузинские цехи, судя по нашим, не полным, конечно, и не исчерпывающим вопроса данным, являются носителями известной коллективной морали, нарушение которой карается штрафами и исключением из цеха. В этом именно моральном элементе грузинских цеховых организаций заключается сейчас все их социальное значение.

4. Современные грузинские цехи, опять таки, судя по нашим только данным, и в формальном отношении лишены, повидимому, какой-либо определенной организации. Сейчас это просто-напросто традиционное, не оформленное никаким юридическим актом, соглашение лиц, работающих в одной и той же отрасли ремесла, признающих по традиции одного и того же патрона, имеющих по традиции же одну и ту же эмблему и собирающихся ежегодно вместе на «божий обед» во главе с избранным из своей среды старшиной (ustaбаш), когда, между прочим, по традиции происходит и посвящение учеников в мастера. Изредка к этому присоединяется бессознательно, по той же традиции, и мотив взаимопомощи.

5. Цех образуют только мастера, избирающие из своей среды старшину цеха — ustaбаш, как своего представителя, главную обязанность которого составляет сейчас благословение и посвящение учеников в мастера. Кроме ustaбаш, в каждом цехе имеется еще 5 выбранных человек, на обязанности которых лежит: следить за общим порядком и нравственной добропорядочностью членов цеха. Звание подмастерья — уничтожено. Ученик обучается у мастера бесплатно в течение трех лет, и этот срок служит достаточной гарантией для посвящения ученика в мастера.

6. Обряд посвящения обнимает собою: общий цеховой обед, облачение ученика в передник, пояс и доспехи ремесла, благословение ustabaшi, сопровождаемое троекратным ударом по лицу ученика, взаимное лобызание с мастерами при угощении их вином, торжественная процессия мастеров с учениками по городу, возвращение учеников одних, без своих мастеров, на место обеда и разоблачение их утром следующего дня на том же месте посвящения и тем же ustabaшi или тем же мастером, который накануне облачал их.

7. В ряду цеховых организаций обращает на себя внимание организация лапотников в том отношении, что:

а) раньше они составляли один цех вместе с фруктовщиками, и только впоследствии выделились в самостоятельную цеховую организацию;

б) по известным понедельникам не работают и они, но не по каким-либо иным причинам, а только потому, что в эти дни не работают другие цехи;

в) цеховые «божьи обеды» устраиваются и лапотниками, но эти обеды у них лишены самого существенного — обряда посвящения;

г) у лапотников вообще отсутствует разграничение ремесленников на учеников и мастеров: здесь каждый ученик, когда ему угодно, может объявить себя мастером, открыв собственную мастерскую.

Все эти данные указывают несомненно на более позднюю цеховую организацию лапотников по сравнению их с другими цехами, например, кузнечным или чувячным и т. п. Лапотники, как и фруктовщики, это деревенский элемент среди городских ремесленников. Лапотники работают исключительно деревенскую обувь, и первоначальное их место, повидимому, деревня. Переселившись в центр производства и торговли, т. е. в город, они с течением времени, под влиянием известных условий, организовались здесь по образцу городских ремесленных организаций, усвоив себе их внешнюю форму, но не заполнив, конечно, ее со-

ответственным внутренним содержанием, и быть может, усвоив эту форму сравнительно уже в более позднее время, когда и в других организациях внешняя форма или обрядовая сторона организации стала, с одной стороны, приобретать главнейшее значение, а с другой стороны, вместе с тем, и итти на убыль. Этим именно и объясняется и то, что лапотники оказались товарищами фруктовщиков, тоже деревенского элемента, а также и отсутствие в их цеховой организации известного идейного содержания.

Приложение.

В Софийской Национальной Библиотеке в Болгарии, хранящей у себя одно из богатейших собраний восточных рукописей (см. заметку по этому поводу А. Шишманова, напечатанную в Записках В. Отд. И. Р. Арх. О., т. XXIII, 1915), имеется, между прочим, интересный, с точки зрения изучения истории цеховых организаций на Востоке, документ — *ферман султана Мустафы III 1773 года о цехах*. Даю здесь его русский перевод, пользуясь болгарским текстом, напечатанным в исследовании софийского проф. Б. Цонева, посвященном истории одной из болгарских цеховых организаций: «Споменна книга на софийския кроящки еснафъ» (С. 1907).

«Высокопросвещенным, справедливым и достойным мевлянамкадиям в каазах Румелии, Анатолии, Египта, Туниса и Триполи, — судьям, которые, как истинно-образованные чада ислама, как наместники и преемники святых пророков и хранители вероучения пророка, призваны к тому, чтобы занимать в моей империи ответственные судебно-шериатские посты и давать, во имя шериата и законности, справедливые и законные решения по всяким спорам, возникающим между подданными и раей, живущими в Османской империи. Да продолжит всевышний бог на много лет вашу славу и возвеличит вашу силу и власть!

То же и славным и достойным моим военно-административным чинам в лице мютеселимов, воевод, сердаров, мирмиранов, диздаров, забитанов, аянов и всех других власть имущих служи-

телей. Да продлит всевышний бог вашу славу на много лет и да возвеличит силу вашу и власть!!

Из духа и смысла настоящего моего царского высочайшего акта, надлежащим образом украшенного высочайшими царскими знаками, акта, который имеет прибыть к вам, вы узнаете о нижеследующем обстоятельстве:

Обладатели настоящего моего высочайшего царского акта-фермана принадлежат к союзу аснафского братства. Это братство организовано и учреждено еще в древнее время покойным шейхом «Ахи-Евран-Вели»[1], смертные останки коего покоятся в городке «Кър-Шехър» (Малая Азия) в отдельном мавзолее (tümbé).

О существовании этого «братского аснафского союза» в моей империи имелся еще от древних времен первых османских владык (халифов) султанский ферман, имевший силу закона, уважавшийся и почитавшийся, как высочайшая царская грамота.

Делегаты аснафов этого братства «Ахи-Евран-Вели», прибыв благополучно в мой престольный град Константание́, явились пред моим императорским правительством, заявив ему, что они желают вновь узаконения прав и установлений для тех лиц, которые постоянно занимаются разными промышленными ремеслами (сена́ат ехли́-тайфа-си). При этом они заявили, что чтут и обожают память благородного основателя этого аснафского братства, Шейх-Ахи-Евран (Вели-Хазрет Шейх-Ахи-Евран-Вели).

За сим прибывшая цеховая депутация подала в мой императорский диван письменную просьбу, коей всепокорнейше ходатайствует пред высочайшим моим троном об издании относительно аснафов высочайшего царского акта в смысле возобновления старых традиционных цеховых установлений. Ходатайство просителей было направлено для справок в главное императорское управление архивом (дефтерхан), где хранятся старые реестро-

[1] Ахи-Евран-Вели по национальности араб, происходивший откуда-то из Аравии. Играл крупную роль в XIII ст. по организации аснафов в державе сельджуков, а затем и в Турции. Он считается основателем аснафства в Турции и, как таковой, он является и патроном аснафов. См. «История Селянигй» 1570 г., т. I. (Примеч. болгарск. переводчика).

вые книги по организации аснафского союза (Ехли́ — сенаат тешкисъна ве иттифакъна даир).

По наведенным справкам, доложенным мне в общих чертах главным моим секретарем, оказывается следующее:

Согласно старым традиционным установлениям государства, требовалось, чтобы живущие в Османской империи турецкие подданные и иные, специально занимающиеся каким-либо промышленным занятием и числящиеся членами какой-либо промышленности, ремесла или искусства, вроде, наприм.: выделки кож, красильничества, портняжного мастерства и т. п. занятий и искусств, — были бы объединены друг с другом специальными законами и установлениями. Будучи гарантией их здравого единения и процветания их промыслов, эти установления пользовались уважением и были ненарушимы и еще исстари считались законными. Древний законопроект, представленный блаженнопочившим Шейхом-Ахи-Евран-Вели, касающийся аснафов и аснафских союзов, вполне соответствовал государственным установлениям, был одобрен царским ферманом и санкционирован как закон. Наиболее главные основные постановления, касавшиеся организации аснафов в империи состояли в следующем:

1. Ученик («чирак») при мастере должен научиться и навыкнуть в смирении, благонравии, мудрости, послушании и доброповедении — качества, без коих он не может стать мастером и открыть свою собственную самостоятельную лавку и стойку для мастерской.

2. После того, как ученик усвоит вышеуказанные качества, и мастер убедится в его зрелости и умении самостоятельно справляться с ремеслом, изучению которого он был посвящен, — ученик становится подмастерьем («калфа»). В присутствии нескольких душ подмастерьев и мастеров, мастер, в отличие, перепоясывает поясницу ученика особым поясом с бахрамою по концам.

3. Мастер, у которого ученик-чирак или подмастерье (калфа) проходил курс учения и изучил ремесло, выдает письменное свидетельство, в котором удостоверяется честность, опытность, зна-

ние и искусство в ремесле, а равно и то, что он перепоясан «поясом мастера». Правление аснафа, на основании этого свидетельства, выдает правоспособному ученику-подмастерью как бы оффициальный диплом, надлежащим образом подписанный и скрепленный главною аснафскою печатью.

4. Снабженный цеховым документом, ученик-подмастерье может и имеет право открыт свою лавку, поставить стойку[1] в своей лавке, и зачисляется в списки главного цехового секретаря как мастер. На основании этих древних основных постановлений, имевших некогда в моей империи значение закона для людей аснафов (ехли сенаат ве ахли хурфи тайфалери ичун), просители-промышленники ходатайствуют пред высочайшим моим царским диваном о том, чтобы я издал высочайший царский акт (ферман), в силу коего старые установления, касающиеся аснафов, не были бы впредь нарушаемы; да не было бы допускаемо и позволено кому бы то ни было открывать лавку и ставить в своей лавке рабочий станок для ремесла без соответственного разрешения аснафа и без соблюдения древних обычаев, узаконенных древними установлениями, касающимися организации аснафства.

Ввиду того, что по наведенной в моем императорском архиве справке, выяснилось, что аснафство в моей империи покоится на старых традиционных принципах, которые ни в коем случае не могут быть нарушаемы, отнимаемы и уничтожаемы; ввиду того, что домогательство аснафов просителей покоится на духе и справедливости, изложенных в древних царских ферманах, а равно и в установлениях моего государственного управления, — ходатайство аснафов уважено. Посему я соблаговолил в указанном выше смысле издать с этою целью настоящий мой царский высочайший ферман.

Итак, как только настоящая моя грамота прибудет в ваши места, повелеваю вам распорядиться, наблюдать и действовать,

[1] Т. е. ремесленный станок для производства; мастерская цехового мастера одновременно вместе с тем и торговая лавка; цеховой мастер объединяет в своем лице и производителя и непосредственного продавца продуктов своего производства.

чтобы ремесленники-артельщики, исключительно занимающиеся промышленностью, ремеслами и искусствами, сами по аснафски рассматривали, расследовали и разрешали возникающие между ними распри и дела чисто аснафского характера. Рассмотрение и решение таких дел должно вестись на основании старых основных постановлений, которые имеют силу закона, и по духу и смыслу этих постановлений будут окончательно решаться распри и дела аснафов. Так, например, до тех пор пока новому мастеру-ученику не будет аснафом перепоясан чрез поясницу и плечо пояс мастера, — ни в каком случае и никому не разрешайте открывать вновь лавку и станок, служащий мастерскою для мастера.

Вы, гг. судьи, воеводы, сердари и мирмираны, как государственные служащие, должны наблюдать и следить за тем, чтобы ученики-подмастерья, имеющие право на то, чтобы быть признанными со стороны аснафа в качестве самостоятельных мастеров, получали звание «мастера» только тогда, когда над ними будет оффициально проделана аснафами традиционная древняя церемония, установленная на подобные случаи, как закон, очагом аснафства[1], а также когда будет совершено приличествующее случаю молебствие и благословение, согласно с догмами религии, к коей принадлежит ученик-подмастерье. Церемонии, молебствия и благословения учеников-подмастерьев, помимо аснафской организации, абсолютно запрещаются, и не допускайте их совершения другими, посторонними лицами, не имеющими ничего общего с аснафством.

Только совет правления аснафа имеет право возбуждать и решать дела преступного для аснафства характера. Совет в тексте своего решения имеет полное право наказывать выговором, преданием публичному позору, исключением из аснафа, запрещением заниматься ремеслом, телесным наказанием и временным заключением.

---

[1] Очаг в переносном смысле, как в данном случае, значит: начальный период организации аснафов, как, наприм., аснафское братство, основанное «Ахи-Евран-Вели» (прим. болг. переводчика).

Все те лица, принадлежащие к аснафу, которые нарочно и умышленно нарушат правила и старые установления аснафства, установления, поименно указанные в старом законе об организации аснафа, — будут считаться виновными пред советом правления аснафа. Такого рода виновные должны быть подвергнуты публичному позору пред аснафом и обществом; затем они должны быть подвергнуты телесному наказанию — ударам палками по заднице и по босым ногам. В случае, если бы кто из посторонних для аснафа лиц, кто бы он ни был, и какое бы общественное положение он ни занимал, вознамерился бы силою и принуждением воспрепятствовать и недопустить исполнения телесного наказания, наложенного аснафом на провинившегося, вы, кадии, забии и все прочие, как служащие государства, обязаны, в интересах вашей службы, всячески отстранить вмешательство в аснафские дела посторонних лиц. Следует стараться не допускать в аснафский совет посторонних лиц, которые своим авторитетом и запугиванием стараются посеять распрю в чисто аснафских делах, зависящих исключительно от компетентности аснафского совета. По отношению же к тем лицам, которые силою врываются в аснаф, препятствуют исполнению решений, переданных аснафским советом, не разрешают применения телесного наказания к обвиняемому и не желают слушаться высочайшего моего по этому поводу приказа, — мои власти имеют право применять по отношению к этим насильникам грубую силу, оружие и царский «мумбашир» (?) в целях отстранения их, преследования и сурового наказания, которого они заслуживают как бунтовщики и лица, не признающие законов страны. Независимо от этого, вы, как мои достойные служители, обязаны преследовать и подвергать тяжелому телесному наказанию (битью) всех этих агитаторов (фесади) и бунтовщиков (ихтилями). Последние сеют раздоры, несогласие и ссору в среде аснафа, стараясь зловредным образом вызвать устранение старых традиционных установлений и узаконений по аснафству. Эти установления существовали еще испокон веков, и по ним аснафство развивалось и процветало в моей слав-

ной империи. Шейх «Ахи-баба» должен быть всегда председателем аснафского совета. В качестве членов совета, избираемых голосованием, могут входить: 1) старшины каждого аснафа, называемые «кетходи» (кехаи); 2) егид-башии и их заместители. Все эти избранные аснафом лица и шейх, который по праву и по традиции носит имя основателя аснафского братства «Ахи-баба», составляют судебно-административный совет аснафов. Эти лица, как представители аснафства в империи, облечены моею царскою властью и, как распространители искусств, ремесел и промышленности в моей империи, считаются духовными чадами основателя аснафской организации, покойного Ахи-Евран-Вели. По отношению к этим лицам вы, как мои царские служители и чиновники, должны оказывать подобающую им честь, уважение и почитание. Не смей же чинить по отношению к ним, ни допускать того же со стороны кого-либо из посторонних лиц, беззаконий и грубых насилий. Ни вы, ни кто-либо иной со стороны не имеете права вмешиваться в их чисто аснафские дела, решение коих зависит исключительно от них; да не чинятся им никакие препоны и неприятности в их аснафских делах и в постановлениях согласно старым традиционным законам и обычаям, касающимся организации аснафов.

Не смейте чинить и не допускайте действий, явно противоречащих закону, духу и смыслу настоящих моих царских распоряжений, и (с ними) несоразмерных.

Будьте осторожны, да не вызовете с моей стороны по данному вопросу повторного издания высочайшего царского акта, так как это сурово отзовется на вас!

Так знайте, так действуйте! Отнеситесь с честью, славою и полным доверием к высочайшим моим императорским законам — печати и монограмме, положенным сверху и во главе настоящего моего высочайшего царского фермана, — составленного и написанного в славном моем престольном граде Константание́, данного в начале месяца Шабан, 1187 г. от егира (1773 от Р. Хр.).

Дан султаном Мустафа хан III. *Н. Державин.*

Отдел III

Былина
о Василии Буслаеве в Исландской саге.

Изучение так называемого «норманнского периода» в России встречает большие препятствия, так как источников в нашем распоряжении сравнительно мало; а эти немногочисленные памятники, чаще всего, отделены от событий большим географическим расстоянием или значительным хронологическим промежутком. Они составлены либо в далекой от России Исландии, либо — если они русского происхождения — возникли не ранее XI века, и позднее.

Понятно поэтому, что подобного рода воспоминания об исторических событиях не передают происшествия в действительном свете. Часто сохранились только случайные, глухие отголоски первоначального предания — обломки, по которым нельзя восстановить плана и композиции древнего оригинала. В России и в Скандинавии старые сказания вошли в общую поэтическую традицию, подвергаясь переработке и изменениям соответственно со стилем каждой национальной литературы и с общественными и эстетическими запросами отдельной страны и эпохи. В разной среде одно и то же предание могло утратить разные мотивы и части, могло притянуть к себе разные новые элементы и, в конце концов, одно и то же зерно может дать в двух литера-

турах два произведения до того несходных, что предположение о первоначально одинаковой основе их должно показаться едва-ли не абсурдом.

Тем более поучительны те случаи, в которых еще удается установить следы общности таких преданий, которые — казалось — должны быть совершенно различного происхождения. Такой случай хотелось бы отметить в настоящей работе.

В исландской литературе сохранился ряд известий о смелом викинге БОСИ, совершившем, между прочим, поездку на восток в Биармаланд. Эти предания были письменно зафиксированы и дошли до нас в трех редакциях, а именно: две редакции так называемой «Bósa-saga и метрическая перефразировка «Bósarímur».

Старшая прозаическая редакция возникла, в дошедшей до нас форме, не раньше XIV столетия, но по многим признакам можно судить, что уже эта форма есть результат довольно длительного и весьма сложного развития. По своему характеру она примыкает к так называемым Fornaldursögur, т. е., она стремится сохранить и воссоздать исторический характер и быт героической эпохи Скандинавии, не давая слишком много места фантастическому материалу.

Младшая редакция саги сохранилась только в рукописях XVII и XVIII веков и составлена, вероятно, после 1600 года. По сравнению со старшей, она отличается обильным введением в нее фантастического элемента и сказочных мотивов, попавших на север в позднее средневековье после эпохи Крестовых походов. Этим определяется ее историко-литературный тип: она есть представитель очень распространенных «Lygisögur Norđrlanda». — «лживых», т. е. фантастических саг.

Третий вариант дают «Bósarímur». Они написаны в конце XV или в начале XVI века неизвестным поэтом на основании старшей редакции. Как стихотворное переложение старого прозаического текста они, конечно, не имеют особого значения, но

могут, все-таки, оказаться полезными при разборе спорных деталей или сомнительных мотивов.

«Босасага», очевидно, пользовалась в Скандинавии значительной популярностью. Об этом свидетельствует, между прочим, сравнительно большое число рукописей. Старшая редакция дошла до нас не менее, чем в двадцати рукописях: списков младшей мы имеем восемь; «Bósarímur» содержатся в двух старых списках.

На основании всего этого материала было сделано издание «Bósasaga» и «Bósarímur» О. Л. Иричеком[1]. Этим прекрасным изданием только и можно пользоваться при изучении нашего памятника. Критическая литература о нем немногочисленна и незначительна[2].

Из вышесказанного вытекает, что основным текстом при разборе саги должна служить старшая редакция XIV века, ибо два другие варианта находятся в прямой зависимости от нее, так что одна только старшая редакция имеет самостоятельное значение.

Приведу краткое содержание саги по этой редакции.

Герpауд, сын короля Ринга из Остготаланда, заключил дружбу с молодым Боси. Боси был сыном некоего Твари (þvari) или Брюнтвари (Brynþvari) и его жены Брюнгильды, дочери короля Агнара из Ноатуна (или Ноагарда). Уже рано Боси показал свою необычайную силу. Во время игры он искалечил придворных короля. Они пожаловались на это королю, и Боси был изгнан из страны. Вместе с ним отправился его друг Герpауд. Во время отсутствия Боси его отец терпит несправедливости и притеснения со стороны Сиода, второго сына короля Ринга. Когда Боси возвращается домой, он мстит за отца и

[1] O. L. Jiriczek. Die Bósa-saga in zwei Fassungen. Strassburg. 1893. O. L. Jiriczek. Die Bósarímur. Breslau 1894.

[2] Сравн. E. Mogk. Nordische Literatur (Grundr. d. germ. Phil. her. v. H. Paul, 1902. II. 726; 846.

убивает Сиода. За это он попадает в тюрьму, и король Ринг приговаривает его к смертной казни. Но вечером приходит приемная мать Боси, колдунья Бусла, и произносит заклинания (Busluboen). Уступая ей, король отменяет смертный приговор. Однако, — по приказу короля — оба побратима должны отправиться в Биармаланд, чтобы достать там из храма Иомалы яйцо дракона (gammsegg:?), исписанное золотыми буквами. Они выполняют это поручение и освобождают там же прекрасную дочь короля Годмунда, по имени Лейда. По возвращении домой, они оба участвуют в знаменитой Бравальской битве. Во время их отсутствия Биармийцы нападают на Остготаландт, убивают короля Ринга и увозят похищенную Лейду обратно. Тогда Боси и Герравд едут снова в Биармаланд. Переодетыми они проникают во дворец, где происходит празднество. Боси играет здесь так искусно на арфе, что заставил танцовать всех собравшихся. Воспользовавшись удачным моментом, они освобождают Лейду и уезжают домой. Наконец, Боси становится правителем Биармаланда.

На этом кончается основное содержание саги, поскольку она имеет значение для нашей цели.

Этот древнейший текст, который мы пересказали, представляет из себя тип Fostbroedrasaga, т. е., саги о побратимах. Но она относится к этому литературному виду только по случайным, внешним признакам, ибо мотив побратимства нигде не выступает вперед, как основной фактор, определяющий действие. Надо вообще сказать, что довольно трудно восстановить композицию саги и ее художественную идею. Повидимому, первоначальный план уже рано был осложнен и нарушен многочисленными прибавками и изменениями. И понятно, почему Финнур Ионссон отнесся очень строго к литературной ценности нашего памятника[1]. Главный интерес сосредоточен, очевидно, на поездке

[1] Finnur Jònsson. Den oldnorske og oldislandske Literaturs historie. II. 825—826.

в Биармаланд и на связанных с этим приключениях, при чем Геррауд постоянно отступает назад перед личностью своего смелого побратима Боси. На это основное содержание саги обратил внимание К. Ф. Тиандер[1], который сравнил «Босасагу» в отношении художественного плана с поэмой Виланда «Оберон». Оба произведения построены на одной и той же сказочной схеме: герой провинился перед своим царем, а тот, вместо наказания, дает ему поручение, подвергающее героя большим опасностям и являющееся равносильным пожизненному изгнанию». (стр. 293). Вторая часть саги «является подражанием первой». (стр. 300).

Дальнейший анализ нашего памятника приводит, однако, еще к некоторым наблюдениям, проливающим свет на его возникновение. Дело в том, что можно установить параллели между сагой о Боси и былиной о Василии Буслаеве.

В былинном репертуаре сохранились два сюжета, связанные с личностью Василия Буслаева: его ссора с Новгородцами и его поездка на богомолье и смерть. Эти песни дошли до нас в обработке XVI века, а может быть, и более позднего времени, что и вызвало попытку С. К. Шамбинаго доказать, что главное содержание былины представляют события времени Иоанна Грозного, и что за фигурой Василия Буслаева скрывается сам царь Иван Васильевич Грозный[2]. Но такой подход не встретил сочувствия. Бытовые черты XVI века считаются результатом скоморошьей обработки, а сама былина была сложена, может быть, в XIV или XV веке. На это указывают многие особенности быта, характерные для эпохи расцвета и самостоятельности Новгорода: «ушкуйничество» Василия Буслаева, «братчины», паломничество, тип его матери, богатой, независимой по положению женщины, и др. Личность героя представляет некото-

---

[1] К. Тиандер. Поездки скандинавов в Белое море, 1906, стр. 232—302.

[2] С. К. Шамбинаго. Песни времени царя Ивана Грозного. 1914.

рую загадку в историческом отношении. Правда, в Никоновской летописи, составленной в середине XVI века, упомянуто под 1171 годом имя посадника Василия Буслаева, убитого во время похода новгородцев на Югру: — «Того желѣта преставися въ Новгородѣ посадникъ Васька Буславичъ». — Но Никоновская летопись, как известно, охотно заимствует сведения из народного эпоса, и поэтому возможно, что и сюда имя попало из былины, тем более, что оно не встречается в других летописных сводах, точно также, как не упомянут там поход на Югру[1].

Других материалов для истории этой былины у нас нет. Но тут могут оказаться полезными данные из вышеуказанной исландской саги о Боси.

При внимательном изучении видно, что некоторые детали того и другого памятника можно сопоставить. Правда, получается далеко не полный паралеллизм, но если учесть длительное и независимое друг от друга развитие как былины, так и саги, то эти сближения не лишены некоторого интереса, хотя они не в достаточной мере ясны и бесспорны, так что можно было бы на них построить окончательные выводы о связи обоих преданий. Но ценность их в том, что они определенно намекают на один уклон русско-скандинавских отношений, о котором до сих пор больше догадывались, чем знали.

Прежде всего обращает на себя внимание звуковое сходство имени «Busla» — приемной матери Боси — с отчеством русского героя «Буслаевич». По поводу последнего имени мы находим следующее объяснение у А. И. Соболевского: — «Буслав» из Богуслав, с опущением г = h, откуда отчество Буславлевич, искаженное Буславьевич, Буславьич, — тоже одно из древних и общеславянских имен. Оно было у нас в древности, повидимому,

---

[1] Сравн. М. Сперанский. «Русская устная словесность» 1917, стр. 318. Его-же. «Былины» 1919. Пт., стр. 71—73. Б. Соколов «Былины» 1918. Стр. 213—217.

в значительном употреблении[1]». На другое возможное толкование наводит диалектическое слово — имя нарицательное — приведенное в «Толковом словаре» В. Даля: — «Буслай м. разгульный мот, гуляка, разбитной малый (от бус = самый мелкий дождь), орл. оболтус, болван, неуклюжий, мужиковатый человек[2]». Совершенно ясно, что слово «Буслаев, Буслаевич» является скорее всего русской формой и нет необходимости искать для нее объяснения в других языках. Наоборот, имя «Busla» непонятно с точки зрения древне-северного языка, так что предположение о заимствовании его из русского вполне приемлемо. Таким образом, допустимо только, что «Busla» вышло каким нибудь образом из русского «Буслаев».

Указанное сближение дает нам некоторое основание для более рискованного сопоставления, которое оправдывается только совокупностью других параллельных фактов, говорящих о связи этих двух памятников. Я имею в виду имена «Василий» и «Боси». Каждое из них само по себе совершенно ясно и весьма обычно в соответствующей среде. Об имени «Василій», конечно, даже не приходится говорить. Но скандинавское «Bòsi» тоже известно во всех германских языках уже с древнего времени. Засвидетельствовано оно и у западных германцев: у Григория Турского мы встречаем имя «Boso»; в рунической надписи, найденной в Германии около Freilaubersheim, мы читаем «Boso wraet runa» = «Босо написал руны»[3]. Корень этого слова обычно связывают с русским «басня»; «Bōso» означает человека, знающего заклинания и магические песни. Очевидно, у нас нет причин, которые могли бы нас заставить говорить о заим-

[2] А. И. Соболевский. «Заметки о собств. именах. I. Имена в великорусских былинах». Сборн. отд. русск. яз. и слов. И. Ак. Наук, 1910 г., т. LXXXVIII, № 3, стр. 244.

[3] В. Даль. Толковый словарь живого великорусск. языка, III изд. под ред проф. И. А. Бодуэва-де-Куртенэ, 1903 г. том I.

[1] R. Henning. «Die deutschen Runendenkmäler» 1889, стр. 78—87; сравн. также: Förstemann «Altdeutsches Namenbuch» 1916.

ствовании. Но возможность заимствования одного имени и замены его другим существует. И, опять-таки, основою мы должны считать скорее всего русское имя. Надо иметь в виду, что былинный текст не дает одну только полную форму «Василий». Наряду с нею встречается также: Васенька, Васютка, Васька.

В летописи тоже приводится форма: «Васька». Из этого можно заключить, что уменьшительная, ласкательная форма «Васька — Вася» была в былине обычной. При переходе в Скандинавию естественно было заменить русское «Вася» каким-нибудь другим, близким по звукам именем. Лучше всего могло тут подойти имя «Bósi». Таковой мне представляется связь этих двух имен.

Но повторяю, такое сопоставление получает оправдание лишь в том случае, если оно является одним звеном в цепи нескольких других более убедительных аргументов. Такие материалы можно действительно привести.

В первой части былины о ссоре Василия Буслаева с новгородцами мы имеем следующий рассказ.

«Повадился ведь Васька Буслаевич
Со пьяницы, с безумницы,
С веселыми, удалыми добрыми молодцы,
До-пьяна уже стал напиватися,
А и ходя в городе уродует:
Которого возьмет он за руку,
Из плеча тому руку выдернет;
Которого заденет за ногу,
То из г.... ногу выломит;
Которого хватит поперек хребта,
Тот кричит, ревет, окорочь ползет.
Пошла то жалоба великая»[1].

---

[1] М. Сперанский, «Былины» 1919 г., т. II, стр. 75. (Памятники мировой литературы). Сравн. Сборник Кирши Данилова, Изд. под ред. П. Н. Шефера, 1901, стр. 31.

С этим эпизодом нашего памятника я предлагаю сравнить следующий рассказ исландской саги, приведенный в III главе по старшей редакции[1]: Это случилось один раз, что дружина устроила игру в мяч, и они играли с большим увлечением, и вот они завели игру с Боси. Но он играл очень смело и вырвал руку у одного королевского мужа. На следующий день он сломал другому ногу. В третий день двое помогали друг другу против него. Но он выбил мячем у одного глаз, а другого он повалил и сломал ему шею. Тогда они кинулись за своим оружием и хотели убить Боси. —

Эти два отрывка, конечно, очень близки друг к другу. Само по себе указанное сходство может быть случайным, но рядом с другими сопоставлениями оно приобретает несколько бо̀льшее значение.

Отмеченная выше близость имен в связи с этим, одинаковым в обоих памятниках, эпизодом позволяет строить догадку о какой-нибудь зависимости их.

При этом будет вероятнее предположение, что оригиналом послужила русская былина, и не скандинавский рассказ. На эту мысль наводит, прежде всего, разбор имени Буслай > Busla. В скандинавском словаре имя «Busla» стоит совершенно одиноко, без всяких связей: — оно объяснимо скорее всего, как заимствование. Русское же «Буслай» пользуется широким распространением и имеет даже объяснение.

Мнение, что русский текст следует признать первоначальным, получает подтверждение, если мы рассмотрим сагу в полном ее объеме. Основное ее содержание представляют рассказы о поездках двух побратимов на восток. Этот тип широко распространен в скандинавской литературе, и ему посвящена работа К. Ф. Тиандера «Поездки скандинавов в Белое море»,

---

[1] «Die Bòsa-saga in zwei Fassungen», her. v. O. L. Jiriczek, 1893 стр. 7.

1906. При составлении таких рассказов, конечно, существовал некоторый шаблон, на что указал тоже К. Ф. Тиандер. По этому шаблону, скорее — по этой литературной моде, разрабатывались все произведения такого типа, так что легко могло исчезнуть индивидуальное — географическое, историческое и этнографическое содержание отдельного рассказа. Этими литературными влияниями так затрудняется выявление исторической подкладки какой-нибудь саги, что и отмечено в исследовании К. Ф. Тиандера.

Если мы примем все это во внимание и вычтем из «Боса-саги» все общие черты, то останется перед нами рассказ о каком-то молодце, по имени Боси, у которого была приемная мать по имени Бусла. Уже с детства он отличается буйным нравом. Во время игры он искалечил дружинников короля и за это едва не подвергся смертельной опасности. Затем он совершил какое-то путешествие на далекий восток.

Все только что сказанное применимо и к Василию Буслаеву. Можно даже привести одну поездку на восток, которую он совершил. В былинном тексте про нее, правда, не говорится, но у нас нет основания думать, что все Новгородские предания об этом местном богатыре сохранились. Более того, мы можем отгадать, что́ потеряно. Выше уже было отмечено, что Никоновская летопись сообщает под 1171 годом о смерти посадника Василия Буслаева: — «Того же лета преставися в Новгороде посадник Васька Буслаевич». Он умер во время похода, предпринятого Новгородцами на Югру. Очевидно, мы имеем в нем типичного представителя «ушкуйников», — тех предприимчивых и отважных торговцев, ездивших из Новгорода на далекий север и восток, которые особенно выделялись в Новгородской жизни XIII—XIV века. Былина, сложенная немного позднее, могла потерять самый рассказ о поездке ушкуйника на Югру, ибо это бытовое явление в то время уже исчезло. Но она, в общих чертах, сохранила верно черты характера молодого и неза-

внсимого ушкуйника, которому дома тесно, и который поэтому постоянно приходит в столкновение с обычаями и порядками родины.

Но до XIV века, вероятно, существовало какое-то предание о походе Василия Буслаева на восток, о чем свидетельствует Никоновская летопись.

Может быть, все это новгородское, русское, сказание о буйстве Василия Буслаева дома, о его поездке на восток перешло в XIII — XIV веках в Скандинавию, где оно было переработано сообразно со вкусами и литературной модой другой среды.

Обратное предположение, что русская былина заимствована из Скандинавии, и что Боси — действительное историческое лицо — на самом деле совершил поход в Биармаланд, трудно допустимо. В начале XIII века совершенно прекращаются поездки скандинавов в Биармию: — в 1222 г. состоялся последний поход — Ивара с Залива и Андреса Ремень-Щита[1].

Более того, — в исландской саге сохранилось даже смутное воспоминание о том, что Боси... т. е. Васька Буслаев, как-то связан с Новгородом: а именно, во II главе старшей редакции говорится, что мать Боси называлась Брюнгильдой; она была дочерью короля Агнара из Ноатуна (Ноагарда), т. е. Новгорода, — «hùn var dòttir Agnars konungs ùr Nòatunum (Nòagörđum)[2]. Сага, очевидно, помнила, что Василий Буслаев, т. е. Боси, был происхожденем из Новгорода. Но в связи с общей стилистической переработкой она сделала мать героя дочерью короля из Новгорода.

Таковы те данные, на которых строится предположение о русской, былинной, основе исландской саги о Боси. В истории русско-скандинавских взаимоотношений до сих пор преимущест-

[1] К. Тиандер. «Поездки скандинавов в Белое море», стр. 433—437.
[2] «Die-Bosa.-Saga in zwei Fassungen», her. v. O. L. Jiriczek, стр. 5.

венно рассматривалось влияние скандинавов на Россию. А между тем, обратное течение заслуживает тоже большого внимания, как показывает, хотя бы, пример только что разобранной саги.

В. А. Брим.

Воронцовский крепостной театр.

В половине XVIII века возникло, как известно, и в столицах, и в провинции большое количество домашних театров, на сцене которых играли крепостные артисты. Такие театры продолжают свое существование и в XIX столетии, к концу первой половины которого они постепенно исчезают. Крепостные театры, как это уже не раз указывалось в литературе, имеют громадное значение в истории театра, так как они положили начало театру в провинции, составляли конкуренцию правительственному театру в столицах, заставляя его эволюционировать, и так как они дали хороших актеров для русской сцены[1]. Что же нам известно об этих театрах, и что сделано для изучения истории их существования? Материал по этому вопросу довольно обширен (см. приложение I). Он может быть разбит на четыре группы: 1. воспоминания современников о том или ином театре; 2. статьи, относящиеся к истории отдельного театра; 3. статьи, дающие сведения о том или ином артисте из крепостных; 4. работы, дающие общий очерк существования крепостного театра. Не останавливаясь на каждой из упомянутых работ, я только в общих чертах охарактеризую первые три группы, уделив несколько больше внимания четвертой, как попытке дать нечто вроде истории существования крепостного театра.

В первой группе, т. е. в записках и воспоминаниях современников помещичьих театров, мы находим между прочим рассказы

[1] См. А. Ивановский. Крепостные актеры и актрисы. Колосья, 1886 г., № 11; Н. Евреинов. Крепостные актеры. Ежегодник Импер. театров, 1911 г., вып. 1.

об отдельных спектаклях, об отдельных театрах; иногда авторы дают описание самого театра, некоторые сведения о жизни крепостных актеров, оценку их игры, некоторые названия играемых пьес.

Статьи, относящиеся к истории отдельного театра, обычно построены на воспоминаниях современников об этих театрах, суммируя то, что имеется в разных воспоминаниях, и добавляя некоторые комментарии.

Статьи, отнесенные к третьей группе, дают биографию артистов, вышедших из крепостных и сделавшихся потом известными, попутно сообщаются и некоторые сведения о том театре, где впервые выступил этот артист. Основой для авторов этих статей служат те же воспоминания современников помещичьих театров, что и для авторов статей второй группы.

Но наряду с отмеченными работами частного характера уже в 1886 году появляются первые попытки дать общую картину существования крепостного театра. Имею в виду статьи М. И. Пыляева «Полубарские затеи»[1] и А. Ивановского «Крепостные актеры и актрисы»[2].

М. Пыляев, основываясь, главным образом, на печатном материале (воспоминания, записки современников), отчасти на рассказах и рукописных воспоминаниях, дает краткие сведения о помещичьих театрах Москвы, Петербурга и провинции. Он останавливается на театральной обстановке, игре артистов, упоминая иногда и пьесы, которые игрались на той или иной сцене.

А. Ивановский начинает свою статью с выяснения вопроса о причине возникновения и размножения помещичьих театров. Такой причиной он считает отчасти любовь помещиков к театральным зрелищам, главным же образом, самодурство и тщеславие их. Далее, пользуясь воспоминаниями современников этих театров, как Вигель, Жиркевич, Бутурлин, Passenans и др., а также статьей Бессонова «П. И. Шереметева, ее народная песня и

[1] Исторический Вестник, т. XXV, 1886 г.
[2] Колосья, 1886 г., № 11.

родное ее Кусково», он кратко говорит о некоторых из театров, приводя отрывки из упомянутых воспоминаний, по преимуществу рисующие отрицательные стороны таких театров. Он отмечает значение театров, но добавляет, что все положительные их стороны бледнеют перед теми ужасами, которые в них творились.

В. Каллаш в своей статье «Обрывки прошлого. Крепостные театры и балеты XIX века»[1], отметив равнодушие современников к произволу помещиков и их жестокости по отношению к крепостным артистам, выдержками из свидетельств этих современников, а также и из некоторых ранее вышедших статей о помещичьих театрах, характеризует отрицательные стороны их.

Работой общего характера является и обширная статья Н. Евреинова «Крепостные актеры. Историческій очеркъ»[2]. Целью статьи Н. Евреинов ставит содействие ознакомлению «со столетней историей искусства и быта крепостных актеров» (5 стр.). Он держится хронологического метода изложения за небольшими исключениями, где этого требует та или иная группировка фактов. Н. Евреинов полагает, что причиной возникновения крепостных театров была страсть к театру, к изящной забаве, а так как дворянам играть самим было обременительно, то страсть удовлетворялась тем, что в актеров были превращены способные крепостные. Далее, на основании печатного материала, Н. Евреинов знакомит читателя с крепостными театрами в Москве и провинции, останавливаясь на устройстве театров, артистах, отношениях к ним помещиков. Все эти сведения носят лишь общий характер, так как таков и печатный материал, которым воспользовался Н. Евреинов. Крепостной театр, возникши в 1744 году, начал угасать в конце 20-х годов XIX столетия, причиной чего автор считает то обстоятельство, что аристократический мотив, обусловивший его развитие, постепенно уступает место коммерческому, подневольный труд пассует перед вольным, свободная антреприза создает непосильную конкуренцию крепостному

[1] Русская Мысль, 1901 г., № 11.
[2] Ежегодник Императорских театров, 1911 г., вып. 1.

театру, и он перед смертью влачит жалкое существование. Однако, по мнению Н. Евреинова, помещичий театр сыграл большую роль, как в провинции, так и в столице, и в общем, добавляет автор: «на мрачном ночном фоне крепостных отношений дореформенной Руси помещичий театр в его лучшие годы был скорей светлым, чем темным явлением» (80 стр.).

Последняя работа по интересующему меня в настоящее время вопросу принадлежит К. Бестужеву и носит заглавие «Крепостной театр» (М. 1913). Автор в полубеллетристической форме излагает историю возникновения театра в России и подробнее останавливается на крепостном театре. Не указывая источников, он говорит, что первая труппа из крепостных была организована боярином Морозовым, который воспользовался драматическими способностями дворовых, по своему почину устраивавших домашние спектакли. В общем, по мнению К. Бестужева, помещичий театр представляет собою мрачную сторону нашей старины. С этой то точки зрения К. Бестужев и подходит к изображению крепостного театра. Он дает краткие описания некоторых театральных представлений у разных помещиков, приводит воспоминания, рисующие жестокость помещиков по отношению к своим крепостным актерам. Затем К. Бестужев сообщает биографию П. И. Шереметьевой и М. С. Щепкина.

Обобщая весь имеющийся материал о крепостном театре, можно сказать, что у нас очень мало сведений об этом театре, и что о составлении истории его существования не может быть сейчас и речи. Нам известно по месту существования и именам владельцев некоторое количество таких театров, в некоторых случаях известны также время существования их, род игравшихся там пьес (комедии, трагедии, оперы), отдельные названия этих пьес, описание внутренности театров, имена некоторых артистов, условия их жизни; имеются изредка в некоторых статьях упоминания о костюмах, главным образом, материале, из которого делались эти костюмы. Но все эти сведения носят общий характер, фактических же данных имеется очень мало. Нам мало

известны репертуар помещичьих театров, состав трупп, материальное положение артистов, театральные костюмы. Для выяснения истории крепостного театра необходимо иметь эти сведения по возможности обо всех или, по крайней мере, о большом количестве таких театров. Таким образом, мы необходимо должны обратиться к собиранию материала и к истории существования отдельных театров.

В настоящее время у меня в руках имеется материал, относящийся к истории существования одного из помещичьих театров, о котором нет упоминания ни в одной из известных мне работ, касающихся этого вопроса. Я имею в виду театр Александра Романовича Воронцова[1]. Бумаги, имеющие отношение к этому театру, найдены мною в архиве Воронцовых, который хранится в рукописном отделении библиотеки Академии Наук СССР и в настоящее время разбирается. Эти бумаги разного содержания: некоторые из них заключают в себе репертуар театральных представлений за разные годы, другие дают список пьес, которые не игрались на сцене Воронцовского театра, иные— просто списки пьес без указания цели составления этих списков. Далее мы имеем целый ряд имен артистов и музыкантов иногда с указанием получаемого ими содержания, иногда без этого указания; один из таких списков указывает кроме вознаграждения и количество сыгранных ролей каждым из артистов. Затем несколько бумаг имеет отношение к гардеробу артистов: перечисляет имеющийся в театре инвентарь. Наконец, некоторые бумаги, написанные рукою самого А. Р. Воронцова, касаются внешнего распорядка в театре. Часть названных бумаг сохранилась в подлиннике, другая в копиях. Кроме этих бумаг при написании этой статьи мною использованы письма Воронцова к служащим

[1] Также не упоминается о нем ни в Владимирских Губернских Ведомостях (театр находился во Владимирской губернии), ни в Трудах Владимирского Губернского Статистического Комитета, ни в Трудах Владимирской Архивной Комиссии, ни в работах библиографического характера, как Ламбины, Русская историческая библиотека, I — IX, 1861 — 1877 и Межов, Русская историческая библиотека, I—VIII С.-Пб. 1882 — 1890.

и служащих к нему, главным же образом, донесения и отчеты управляющих имениями, и ведомости, составляемые ими. В этих последних помещены сведения о расходах по постройке театра, по вознаграждению артистов, по покупкам для театра и оркестра. К сожалению, сохранился далеко не весь материал, относящийся к истории театра Воронцова, но и на основании сохранившейся части все таки можно нарисовать более или менее полную картину существования этого театра.

Как видно из данных кратких сведений о бумагах, относящихся к театру Воронцовых, он был связан с именем Александра Романовича (1741 — 1805), президента коммерц-коллегии при Екатерине II и государственного канцлера при Александре I. А. Р. Воронцов не остался чуждым увлечению театром своих современников; он не только завел домашний театр, но и живо интересовался всем, что имело отношение к этому театру, сам составлял репертуар, сам назначал награды артистам, давал советы относительно костюмов и вообще руководил театральным делом. Интерес А. Р. Воронцова к театру мог быть наследственным, так как Воронцовы, по словам Варнеке[1], принимали участие в любительских спектаклях при дворе Анны Иоанновны. Этими Воронцовыми, неназванными по имени у Варнеке, могли быть лишь отец Александра Романовича — Роман Ларионович и его дяди — Михаил и Иван Ларионовичи, как лица близкие ко двору. Несколько позже, именно в царствовании Елизаветы Петровны у одного из Воронцовых были уже крепостные танцовщицы, пляску которых, именно двух — Аграфены и Аксиньи, смотрела сама государыня. С 1769 по 1780 год в доме Воронцовых на Знаменке помещался театр Локателли[2]. Сам же А. Р. Воронцов был знаком с театром с раннего детства: в своей автобиографии он говорит, что отец водил его и брата два раза в неделю в Придворный театр на французскую комедию, и

---

[1] История русского театра, Казань, 1908, стр. 130.

[2] Бродский. Театр в эпоху Елизаветы Петровны. История русского театра, под редакцией Калляша и Ефроса, т. I М. 1914, стр. 104.

это содействовало развитию в них любви к чтению и литературе[1]. Этому же способствовало и другое обстоятельство: отец А. Р. Воронцова выписал для сыновей из Голландии библиотеку, состоящую из лучших французских авторов и поэтов и исторических книг, так что в 12 лет, говорит Воронцов «j'étais familiarisé avec Voltaire, Racine, Korneille, Boileau et d'autres littérateurs français»[2]. Действительно, воспитание содействовало выработке в А. Р. Воронцове любви к театру, так как он, отправившись во Францию для обучения в училище кавалергардов, по дороге останавливался в разных городах и всюду посещал театральные представления и уже в 17 лет имел определенное мнение о театре, относился отрицательно к французской опере: «cette musique française et les cris de ceux qui chantaient m'écorchèrant les oreilles», предпочитая итальянскую музыку[3]. Любовь А. Р. Воронцова к литературе сказывается у него в том, что он постоянно шлет приказы своему управляющему в Москве покупать разные книги и присылать их в Петербург или в имение, выписывать различные журналы, и иностранные, и русские. Среди выписываемых книг имеются книги исторического, экономического и литературного характера, между которыми большое место занимают драматические произведения. После смерти А. Р. Воронцова осталась в его имении Андреевском библиотека, в которой было около 20 тысяч книг, и кроме того библиотека в Московском слободском доме. Обстоятельства жизни А. Р. Воронцова могли тоже содействовать в нем развитию его увлечения театром: он в течение 8 лет был не у дел и жил в своем имении на покое. Надо, впрочем, сказать, что начало Воронцовского театра относится не к годам бездеятельности А. Р., а к несколько более раннему периоду (на 2 года), как и конец существования театра совпадает с годом смерти Воронцова (через 3 года после возвра-

---

1 Архив князя Воронцова, книга пятая. М. 1872, стр. 12.
2 Там же, 12 — 13.
3 Там же, 74.

щения к государственной деятельности), но развитие и расцвет театра относятся несомненно к тем 8 годам, когда Воронцов жил большую часть года в своем поместьи.

А. Р. Воронцов удалился от государственных дел по собственному желанию, так как он, благодаря свой прямоте, нежеланию подлаживаться, поступаться своими убеждениями, нажил себе много врагов среди фаворитов Екатерины II[1], к деятельности которой он относился критически, что и высказал в записке, поданной Александру I, когда тот призвал его снова на службу в качестве государственного канцлера[2]. Эта записка интересна и потому, что указывает на характерную черту Воронцова — его гуманность: он осуждает Анну Иоанновну за ее жестокость, суровость: «Въ царствованіе императрицы Анны невѣроятное множество было несчастныхъ жертвъ, казненныхъ, истязанныхъ и въ заточеніе разосланныхъ по звѣрскимъ видамъ нѣмцевъ. Кто читалъ дѣла, производившіяся о сихъ несчастныхъ (изъ числа коихъ славный Волынскій, безвинно казненный), тотъ безъ ужаса не могъ видѣть всѣхъ безчеловѣчій, тогда происходившихъ»[3]. Эту черту — гуманность и справедливость отмечает в Воронцове и его современник И. М. Долгорукий[4]. Она проявляется и в его духовном завещании, в котором он не забывает своих служащих и слуг, оставив им деньги, пенсию, свое платье, отпустив на волю некоторых из крепостных[5]. К телесным наказаниям он не прибегал, о чем можно судить по следующему месту из письма главноуправляющего имениями Посникова к брату А. Р. Воронцова Семену Романовичу от 29 апреля 1807 года: управляющий Дугин жестоко обращается с одним из дворовых «забывъ, что онъ не имѣетъ власти его наказывать, и что отъ покойного графа то накрѣпко запрещено». То же подтверждают и некоторые другие

---

[1] Автобиография, 7 стр.
[2] Архив, книга 29, стр. 460 — 461.
[3] Там же 456.
[4] Капище моего сердца. М., 1874, стр. 267.
[5] Подлинник хранится в Воронцовском архиве.

письма[1]. Это гуманное отношение Воронцова к подчиненным интересно отметить, так как оно характеризует личность основателя одного из крепостных театров. Театр мог быть основан Воронцовым не только потому, что он любил и понимал театральное искусство, но отчасти и потому, что он, как человек образованный и гуманный, понимал и пользу, которую может принести театр его крепостным. Многие уже из современников Воронцова смотрели на устройство крепостных театров, как на блажь, как на бесполезную трату денег. Так, в одном из писем к Воронцову от некоего Ивана Андреева, написанном 12 февраля 1794 года, мы читаем, что у одного из приятелей Андреева, статского советника имеется 8 сыновей и 5 взрослых дочерей, которых не с чем выдать замуж. Это обстоятельство заставляет автора письма обратиться со следующими словами к А. Р. Воронцову: «Ваше Сіятельство безфамильны, и благодаря Бога имѣете довольные избытки, но не лучше ли пособить ближнему по возможности, чтобы онъ могъ хотя двухъ дочерей выдать замужъ, нежели расточать сокровища на театры. Правда, что Вы имѣете надежные способы удовлетворить и тому и другому, когда только пожелаете, но однакожъ и то правда, что театры не пріумножали Вам ни достойной славы в жизни, ни достойной памяти по смерти, коихъ люди обыкновенно въ общежитіи ищутъ. А оказанная помощь нуждающемуся ближнему не только увеселитъ надолго чувства и сердца какъ даятеля, такъ и принимателя, но она то дѣлаетъ человѣковъ въ обществѣ и любезными и почтенными».

Театр был основан в 1792 году в имении Алабухах Тамбовской губернии. Из ведомости Алабухского правления за 1792 год мы видим, что театр в Алабухах заведен по повелению Александра Романовича, которому и даются отчеты расходов на театр, хотя это имение принадлежало двум братьям—ему и Семену Романовичу. Упомянутая ведомость дает нам сведения о том, что

[1] См. письмо С. Р. Воронцова к З. Н. Посникову от марта 1806 года (в архиве Воронцова).

для театральных представлений было построено особое здание, так как там мы читаем, что «за срубку для театра связи» «заплачено алабухским малороссіянамъ и русскимъ крестьянамъ Еремѣю Погребнякову и Борису Мурненку съ товарищи — 35 руб.». Что представлял собою построенный театр, мы, к сожалению, не знаем, так как в бумагах Воронцовых мне не удалось найти никаких указаний по этому вопросу. Повидимому, сцена была средней величины, так как на занавес пошло 46 аршин крашенины, и колец на нее была пришита сотня. Существовали в театре примитивные кулисы и картины, нарисованные на посконном холсте, которые были раскрашены белилами и травяными красками, причем первых пошло 20, а вторых 3 фунта. Освещался театр при помощи сальных плошек.

В 1794 году, когда А. Р. Воронцов, после удаления от государственной службы, поселяется в имении Андреевском, Владимирской губернии, он переводит туда же и театр из Алабух. Здание для театра в Андреевском начало строиться или приспособляться в 1793 году, так как к 15 января 1794 года, по донесению управляющего села Андреевского, «театръ приходитъ къ отдѣлкѣ, и для писанія кулисъ потребны краски, о коихъ реэстръ петербургскимъ живописцомъ... поданъ», а 22 января он же пишет, что «театръ на слѣдующей недѣлѣ столярною работою окончится, а живописную въ ономъ работу съ завтрешняго дня продолжать начнемъ». Театральный инвентарь из Алабух, очевидно, был перевезен в Андреевское, где и начались регулярно устраиваемые спектакли. Конечно, привезенным инвентарем обходились только первое время, так как уже в самом начале 1795 года из Москвы пересылается в Андреевское большое количество «театральныхъ уборовъ», а также сотни аршин холста, тысячи штук обойных гвоздей, пуды различных красокъ, предназначавшихся, конечно, для написания новых декораций.

Репертуар для театра вырабатывался заранее, иногда на целый год, чаще же отдельно на весенний и осенний сезон, так как спектакли устраивались весной и осенью, летом же делался

перерыв, и летнее время употреблялось на «выученье новыхъ пьесъ и тверженье старыхъ», по приказу А. Р. Воронцова. Второй перерыв делался зимой, когда Воронцов уезжал в Москву. Время начала весенних спектаклей находилось в зависимости от Пасхи: спектакли начинались в Фоминое воскресенье, о чем мы имеем приказ Воронцова, и оканчивались к 1 июня. Изредка, впрочем, спектакли продолжались и дольше. Время начала и окончания осенних спектаклей было самое неопределенное; начинали их в промежуток от 30 августа до 2 декабря, кончали временем отъезда А. Р. Воронцова в Москву, временем, которое было неопределенно — с декабря по февраль. Спектакли происходили обычно три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям; до установления такого порядка было некоторое колебание: один год спектакли происходили только по воскресеньям, другой — по воскресеньям и средам. В один вечер давалось иногда по 2 пьесы, если они были небольшого размера, причем большею частью комедия и комическая опера и редко две комедии. Первые годы, пока еще артистами не было разучено большое количество пьес, мы встречаем в репертуаре одного года повторение одной и той же пьесы два и даже 3 раза; так это было в 1797 году, когда из 57 пьес 36 были сыграны по два, а 10 по три раза. Однако, постепенно, когда количество разученных пьес увеличивалось, повторения встречаются редко и даже совсем исчезают. Некоторые из пьес встречаются во всех без исключения списках, имеющихся в архиве, другие, промелькнув раз или два, быстро сходят со сцены.

Одновременно с составлением репертуара распределялись и роли между актерами, которые разучивали их иногда даже в продолжении целого года. Забота о том, чтобы роли разучивались хорошо, возлагалась на директора театра, который должен был, по выражению Воронцова, «о семъ имѣть особое попеченіе». Он должен был позаботиться о том, чтобы роли были списаны и розданы актрисам и актерам, а также о том, чтобы каждую роль знали двое, «дабы остановки не было въ театрѣ».

Имелись в театре Воронцова и афиши, в которых писалось название пьесы, род ее, количество действий и перечислялись действующие лица с указанием имен артистов, игравших их[1].

Если мы обратимся к самому репертуару, то увидим, что в его состав входят исключительно комедии и комические оперы, и только один раз была поставлена трагедия «Дмитрий Самозванец» Сумарокова. Такой несколько односторонний репертуар объясняется, может быть, отчасти тем, что А. Р. Воронцов был более склонен к веселым комедиям и операм, но скорее, думается, тем, что исполнение трагедий было не под силу доморощенным артистам из крепостных и не могло удовлетворять Воронцова, как человека с развитым вкусом. Что это было так, подтверждает единственная попытка поставить трагедию, попытка, которая, повидимому, кончилась крахом, после чего такие попытки больше не повторялись. Количество же комедий и опер, которые ставились на сцене Воронцовского театра, было довольно велико: оно доходит, по сохранившимся сведениям, до 93 пьес (см. приложение II), распределенных по неделям и дням того или иного сезона, и значительно превосходит это число, если принять во внимание составленные списки пьес без дальнейшего распределения, но так как у нас нет данных, что все они были сыграны, то оставляем их в стороне. Из 92 сыгранных пьес — 71 комедия, 21 комическая опера и одна трагедия. Как комедии, так и оперы, принадлежат частью к переводным, частью к оригинальным про-

---

[1] **Севильской цирульникъ, опера въ 4-хъ дѣйствiяхъ.**

Дѣйствующiя лица:

Графъ Алмавиво		Полунинъ.
Бартало, опекунъ Розины		Баранчеевъ.
Розина, его питомица		Марфа.
Дон Базиль, органистъ		Николай Гнѣздаревъ.
Фигаро, цирульникъ		Федоръ Поляковъ.
Моложайка	Служители Барталовы.	Орловъ.
Быстрякъ		Фирсов.
Нотарiусъ		Атичкинъ.
Алкадъ		Крупновъ.
Алгвазилы и слуги		» »

изведениям, причем последних несколько больше: 47 из 92. Из переводных первое место занимают пьесы с французского языка—35 пьес, значительно меньше с немецкого — 8; одна переведена с английского, одна с итальянского. Время выхода в свет игранных пьес различно: начиная с 50-х годов XVIII столетия и кончая 90-ми, причем громадное большинство относится к 80-м годам — 45 пьес, меньше всего к 50-м — 7 пьес; пьес, вышедших в остальные десятилетия, взято приблизительно поровну (несколько более десятка); можно отметить, что пьесы, вышедшие или впервые представленные на сцене в 90-х годах, относятся к первой половине этого десятилетия, и лишь одна из всех представленных пьес появилась впервые на русской сцене в 1798 г. («Бедность и благородство души» Коцебу). Интересно, что и среди пьес, которые не игрались на сцене Воронцовского театра, но были им куплены и имелись в театре, мы наблюдаем то же явление — отсутствие пьес второй половины 90-х годов и начала XIX столетия. Думается, что это можно объяснить тем обстоятельством, что указом Павла I от 1797 года запрещалось ставить пьесы на частной сцене раньше, чем они были сыграны на императорской и прошли через цензуру[1]. Пьесы же и на правительственных сценах в XVIII веке ставились далеко не всегда сейчас же после появления в свет, поэтому и неудивительно, что на домашней сцене они появлялись несколько лет спустя после выхода.

По своему характеру пьесы, игравшиеся на сцене Воронцовского театра, были довольно разнообразны и принадлежали перу разных авторов. Из переводных больше всего ставились комедии Мольера (10), из русских—Княжнина (5), затем Сумарокова (3) и Соколова (3); из произведений же других авторов (20 иностранных и 21 русских) было взято по одной комедии, изредка по две. Часть пьес, и переводных и оригинальных, носят псевдоклассический характер, как комедии Мольера, Сумарокова,

[1] Пыляев, назв. соч., 535 — 536.

Княжнина. Другая часть, самая большая, принадлежит к числу бытовых пьес, рисующих часто и крестьянскую среду («Точильщик» Николаева, «Мельник и сбитенщик соперники» Плавильщикова), а не только помещичью или дворянскую, носящих и общественно-сатирический характер («Несчастье от кареты» Княжнина, «О время!» Екатерины II, комедии Фонвизина). Затем имеются в репертуаре комедии сентиментального характера, мещанские драмы или слезные комедии («Чадолюбивый отец» Дидро, комедии Коцебу, «Точь в точь» Веревкина, «Судейские именины» И. Соколова). Наконец, и комедии-шутки нашли себе место на сцене Воронцовского театра («Нашла коса на камень» Козодавлева, «Выдуманный клад» И. Соколова).

Хотя, как видим, характер играемых комедий и был разнообразен, но всетаки наибольший интерес, очевидно, возбуждали те пьесы, в которых имеется бытовой элемент. Это подтверждается и тем фактом, что чаще всего играются именно эти пьесы: среди пьес, повторяющихся почти каждый год, а в начале существования театра и несколько раз в год, они занимают первое место; из остальных же пьес часто играются те, которые вообще были популярны и часто игрались на сцене правительственного и других театров.

Иногда среди репертуара театральных пьес имеется на тот или иной день пометка, что музыканты сыграют одну или две из своих пьес. Оркестр у Воронцовых был организован значительно раньше, чем театр, так как уже в 1776 году покупаются струны для музыкальных инструментов, с 1794 года платится пенсия (30 руб. в год) бывшему капельмейстеру у отца А. Р. Воронцова — Петру Яблочкину. Оркестр был, повидимому, хорошо обучен, так как играл самые разнообразные вещи: симфонии, концерты, сонаты, дуэты, трио, квартеты.

Труппа театра Воронцова была довольно значительна, насколько можно судить по сохранившимся бумагам (см. Приложение III). На протяжении 14 летнего существования театра мы встечаем имена 17 артисток, из которых более значительными,

судя по тому, что они всегда в списках помещались на первом месте, получали наибольшее вознаграждение и имели большое количество ролей, были Марфа Коптелова, Матрена Полякова, Наталья Яицкая, Мария Бахтеряева, Анна Баранчеева, Анна Ногаева. Артистов было в труппе значительно больше: нам известно 48 имен; среди них лучшие — Яков Кириллов, Клим Анофриев, Николай Гнездарев, Александр Баранчеев, Кузьма Яицкий. Одновременно же в труппе бывало до 10 артисток и до 30 артистов. Все артисты и артистки делились на первосортных и второсортных, или, как они назывались в бумагах, на актеров первой и второй статьи, иначе «маленьких» артистов. Во главе театра стоял директор, каковым был сначала артист Федор Яковлев, а позже Иван Петров, который нигде в числе артистов не упоминается. Имелся в труппе и суфлер из среды артистов же, а именно Федор Поляков.

Часть артистов одновременно исполняла и роли музыкантов, как это часто встречалось и в других театрах того времени, но такие двойные обязанности несли не первостатейные артисты, а лишь небольшие. Музыкантов насчитывалось в оркестре 38 человек. Кроме музыкантов принимали участие в оркестре и «музыкантские» ученики, которых было 16 человек.

В число музыкантов и музыкантских учеников входили только мужчины; наоборот, хор состоял, по крайней мере первое время, только из женщин, и их было немного — всего 12 человек; один раз только упоминается в бумагах поющий в «Добрых солдатах» Григорий Климов. Но такой исключительно женский хор был, очевидно, неудовлетворителен и потому среди «певческих» учеников мы встречаем имена не только девочек, но и мальчиков (6 девочек и 6 мальчиков). Некоторые из женщин, принимавших участие в хоре, упоминаются также и среди пляшущих, которых было всего 13 человек.

В ведомостях в числе лиц, имеющих отношение к театру, перечисляются также 21 человек «разночинцевъ, которые также въ театрѣ играютъ»; очевидно, здесь имеются в виду статисты.

Особые лица, в количестве 8 человек, прислуживали при перемене декораций, особые (7 человек) занимались уборкой театра и носили название полочистов; во главе их, повидимому, стоял смотритель театра.

Артисты и музыканты проходили предварительную школу, которая находилась в Алабухах. В реестре дворовых людей в Алабухах, составленном в июле 1793 года, названы «обучающіеся театральнымъ дѣйствіямъ» 4 актера и 7 актрис; все они не старше 19 лет, девицы не моложе 11, мужчины — 14 лет. Надо отметить, что все они, по крайней мере, мужчины предварительно проходили и общеобразовательную школу, так как в одном из писем Гавр. Ром. Державина к А. Р. Воронцову (от 23 декабря 1788 года) мы читаем, что мальчики, учащиеся в Тамбовском народном главном училище, успели в науках, что доказывается их письмами. Эти письма и написаны как раз теми мальчиками, имена которых мы встречаем сначала в числе обучающихся «театральнымъ дѣйствіямъ», а позже в числе артистов. Для обучения музыкантов была тоже особая школа в Алабухах, куда и отправлялись мальчики, которые учились играть на скрипке у Зотова, а на духовых инструментах у Феклистова. Интересен один документ, сохранивший эти имена и несколько обрисовывающий этих лиц. Это рапорт управляющего Ф. Булатова А. Р. Воронцову от 4 ноября 1792 года. В нем мы читаем следующее: «Прошлаго 1791 года декабря отъ 21-го дня пущенное Вашего Сіятельства повелѣніе, въ коемъ между протчемъ соизволили приказать о поведеніи бывшаго офисіанта, а нынѣ музыканта Зотова разсмотря Вашему Сіятельству донесть, а какъ ево бытности здѣсь протекаетъ цѣлый годъ, а во оное немалое время велъ себя добрымъ, постояннымъ, прилежнымъ, трезвымъ, вѣрнымъ образомъ, за что и заслужилъ довѣренность препорученіемъ ему ученіе набранныхъ для скрыпицной музыки мальчиковъ, а капельмейстеру Феклистову по невоздержности ево оставлена въ смотрѣніе одна духовая музыка валторны и флейты, содержаніе же ему Зотову опредѣлено мною жалованья въ годъ пят-

надцать рублей, харчевыхъ шесть рублей, а всего денежнаго двадцать одинъ рубль, то въ разсужденіи нынѣшнихъ ево рачительныхъ мальчикамъ изученіевъ не позволите ли Ваше Сіятельство для ободренія впредь таковаго поведенія приказать хоша малую часть къ прежде опредѣленному содержанію прибавить, на что милостивой Вашего Сіятельства буду ожидать резолюціи».

По мере выучки и артисты и музыканты отправлялись из Алабух в Андреевское, о чем свидетельствуют упомянутый выше реестр дворовых Алабухского дома за 1793 год и письмо управляющего Алабухами к А. Р. Воронцову от 23 сентября 1793 г. Повидимому, позже, когда театр вполне укрепился и развился в Андреевском, обучение музыкантов, певчих, а, может быть, и артистов, происходило там же, так как с конца 90-х годов певческие и музыкантские ученики помещаются в ведомостях села Андреевского.

Одни и те же актеры играли и в комедиях, и в операх; по большей части каждый из них имел большое количество ролей, особенно женщины, а именно до 45, и очень редко меньше 10, причем эти роли довольно разнохарактерны, о чем можно судить по одной бумаге, сохранившей список ролей, которые играл Яков Кириллов. Вот эти роли: в операх — 1. Училище ревнивых — роль Власа купца; 2. Сбитеньщик — Болдырева купца; 3. Счастливая Тоня — Старолета; 4. Служанка-госпожа — Уберта; 5. Точильщик — Антропа; в комедиях: 6. Мизантроп — Филинта; 7. Ненависть к людям и раскаяние — Якова слуги; 8. Чадолюбивый отец — Доберсона отца; 9. Школа клеветы — Якова Денкгольма; 10. Честное слово — полковника Ладова; 11. Недоросль — Вральмана; 12. Хвастун — Простодума; 13. Братом проданная сестра — Честена; 14. Скупой — Гарпагона; 15. Проказники — доктора Ланцетина; 16. Севильский цирюльник — доктора Бартало; 17. Бедность и благородство души — Генриха Плума; 18. Скапиновы обманы — Арганта; 19. Жорж Данден — Жоржа Дандена; 20. Любовь лекаря — Сганареля; 21. Точь в точь — Мирона Капелькина; 22. О время — Непустова;

23. Притворная Агнеса — барона Старолеса; 24. Нескромный — Тразимона; 25. Три брата совместника — Тигрова; 26. Слепой видущий — лекаря Лемпезея; 27. Притворный комедиант — графа Старовека.

Артисты и музыканты гр. Воронцова получали за свой труд вознаграждение, как денежное, так и вещевое. Денежное вознаграждение выдавалось за целый год сразу, иногда в конце, иногда в начале года. Сумма вознаграждения разным артистам была неодинакова и зависела от значительности артиста и от количества исполняемых им ролей. Вознаграждение артистам колеблется между 50 коп. и 15 рублями, хотя надо сказать, что первая цифра вознаграждения для артистов встречается очень редко, чаще низшая расценка все таки доходит до 2 рублей. То или иное вознаграждение артистам назначалось самим Воронцовым, что доказывает один из сохранившихся списков театрального вознаграждения за 1801 год. Здесь проставлено количество ролей, старых и новых, сыгранных тем или иным артистом, цифра вознаграждения и объяснение Воронцова, почему дано именно такое вознаграждение; такое объяснение дается в том случае, если назначается высокое вознаграждение за малое количество ролей. Так, например, вознаграждение в 10 рублей дается тем лицам, которые играют больше 30 ролей, и рядом некоей Настасье Яицкой, которая разучила всего 7 ролей, но, объясняет Воронцов, она «хотя и немного роль играла, но нынѣ много ей выучить назначается». Рядом с таким объяснением имеются разные вознаграждения за неодинаковый труд без всяких комментариев; например, две артистки имеют вознаграждение в 5 рублей, хотя одной разучено 22 роли, а другой — 8; очевидно, тут принято во внимание значительность ролей первой и второй артисток. Аналогичное явление имеем и в вознаграждении артистов; так, Яков Кириллов за 27 ролей получает вознаграждение в 12 рублей, Николай Гнездарев за 44 роли имеет всего 7 рублей. Что талант артистов действительно принимался во внимание, доказывает и то обстоятельство, что в одной из ведомостей за

1797 год артисты разделены на две группы — первой и второй статьи, и первым поставлено вознаграждение от 6 до 12 рублей, вторым от 2 до 6 рублей. Принималось во внимание при назначении вознаграждения еще одно обстоятельство — продолжительность артистической деятельности, так как в той же ведомости в особую графу внесены новые актеры, которые вознаграждаются суммой от 1 до 8 рублей. Кроме денег артистам выдавалось и полотно или холст, некоторым же чулки, причем здесь не всегда выдерживался принцип деления артистов на более и менее значительных, так как одинаковое вознаграждение в виде трубки полотна выдавалось и тем артистам, которые получали большее денежное вознаграждение, и имевшим небольшое, хотя все таки, по большей части, лица, получавшие более крупные деньги, имели и более лучшие и ценные вещи; в одной же из ведомостей, именно 1801 года, прямо указывается, что всем актрисам выдано сверх денежного награждения по трубке холста, маленьким же актрисам по 20 аршин холста.

Кроме денежного и вещевого вознаграждения, которое получали все артисты, некоторые из них имели и случайные доходы; напр., А. Р. Воронцов дарил на именины суммы в размере 2 рублей, или без указания повода то 4, то 5 рублей; музыканты кроме того получали отдельно за копирование нот; так, в отчете за 1804 год мы между прочим читаем, что по приказанию Воронцова «изпрошены у князя Волконскаго портиціи Осмѣяннаго скупца, за написаніе съ оныхъ копіевъ заплачено музыкантамъ двѣнадцать рублей». Эта заметка интересна, так как показывает, что Воронцов ценил труд своих актеров или музыкантов и оплачивал особо работу, не входящую в круг их ежедневных обязанностей.

Помимо таких экстренных выдач, носивших характер награды, артисты наряду с прочими дворовыми людьми одевались за счет помещика, так как их имена мы встречаем в ведомостях, в которых указано, кому из дворовых сделано то или иное платье. Наряду с прочими дворовыми они получали и хлебное довольствие.

В таком же положении, как артисты, находились и прочие служащие в театре, но их вознаграждение было значительно меньше и получали они, кроме музыкантов, все одинаково. Музыканты имели от 1 рубля до 5; ученики музыкантов в разные годы от 50 коп. до 3 рублей, «пляшущія бабы» по 50 копеек, лица, менявшие декорации, по 1 рублю, полочисты по 50 коп.; из вещей, подаренных всем этим лицам, упоминаются только чулки и платки для женщин.

Вознаграждение директора театра нигде не обозначено, на одной же из ведомостей, именно за 1801 год добавлено рукой А. Р. Воронцова, что директору театра он сделает награждение сам. Суфлеру шло вознаграждение одновременно и за суфлерство и за игру, как актеру, причем оно немногим выше, чем вознаграждение актеров с таким же количеством ролей, что и у суфлера; так, артист за 9 ролей обычно получал 5 рублей, суфлер за 8 и «исправное суфлерство» — 7 рублей. Наконец, смотритель театра имел 4 рубля в год.

Переходя к вопросу о театральном инвентаре, можно сказать, что он, конечно, не может и сравниться по количеству и качеству с инвентарем театра Шереметева[1] или Шаховского[2], но был несколько богаче, чем во многих помещичьих театрах, где платья делались, по преимуществу, из коломянки, крашенины и китайки. Конечно, и в театре Воронцова эти материи играли большую роль, но наряду с ними употреблялась и другая, как сукно, шерсть, «мишурная парча», полубархат, плис, пестрядь, шелк, камлот, кумач, кисея, холст. Но такой разнообразный материал для платья мы видим только уже к моменту окончания существования театра в Андреевском. При основании же театра гардероб артистов был очень несложен. В начале было куплено для шитья платья артистам 83 аршина крашенины разных цветов, 15 аршин холста, $13\frac{1}{2}$ арш. коломянки и 3 аршина кисеи, и из этого материала с помощью лент разных цветов, «мишуры

[1] Бессонов, назв. соч.

[2] Н. Евреинов, назв. соч.

желтой широкой на окладку кафтановъ», небольшого количества кружева, бисера были сделаны необходимые костюмы; на подкладку для платья был куплен посконный холст. Далее было сделано несколько пар обуви, куплено 7 шляп разных фасонов — треугольные, круглая, ямская и т. п., две сабли, серьги, чулки, трубка, табакерка, несколько гребенок, несколько пряжек для башмаков, двое очков, и это — все, что было куплено сразу для костюмировки. Для грима было куплено румян получше (по 20 коп. коробка) и похуже (по 5 коп. бумажка), а также просто сандалу и вина, из которых приготовлялись румяна домашним способом.

Но такие элементарные костюмы, какие были сделаны в начале существования театра, не могли надолго обслужить все надобности: разучивались новые пьесы, нужны были и новые костюмы, и постепенно театральный гардероб увеличивается; покупаются в Москве и пересылаются в Андреевское различные «театральные уборы», как чепчики, мантильи, сюртуки, плащи, кафтаны, мундиры, перчатки, украшения на голову и т. п. Для гримировки покупаются не только румяна, но и пудра (сразу 2 пуда), помада, черный пластырь для мушек; для завивки волос покупаются также «припекальные щипцы».

К моменту ликвидации театра театральный гардероб уже довольно сложен. В описи вещей (см. Приложение IV), назначенных частью для Владимирского театра, частью для кладовой имеется до 50 мужских костюмов, среди которых есть суконные мундиры, камзолы с рукавами и без них, немецкие и русские кафтаны, иногда довольно богатые (напр. «мишурной парчи подъ золото, на бѣлой китайчетой подкладкѣ» или две таких же «подъ серебро»), докторские мантии, балахоны, крестьянские рубахи, лакейские ливреи. Женских костюмов значительно меньше — всего 12: мантии, юбки, телогреи и сарафаны. Кроме платья в описях имеются и другие принадлежности туалета, как разные головные уборы — фуражки, каски, кокошники, повязки, венчики шляпы; есть и цветы для букетов, веера, бусы и т. п. Затем в описи встречается довольно много военных принадлежностей,

как ружья, шпаги, сабли, шпоры, рапиры, пистолеты и даже «перо турецкое серебреное съ зеленымъ камешкомъ, съ пятью перышками и съ цѣпочками» или сабля «турецкая булатная, у коей ручка съ цѣпочкой серебряшая, оправа подъ золотомъ, ножны обшиты чернымъ плисомъ, по концамъ и въ срединѣ двѣ гайки серебряныя подъ золотомъ». Последнее указывает, что владелец театра заботился не только о том, чтобы для представления было лишь самое необходимое, но и о том, чтобы, по возможности, создавалась обстановка, соответствующая изображаемому событию.

Довольно большие расходы делались Воронцовым для оркестра; вплоть до 1804 года в ведомостях постоянно встречаются в числе покупок — музыкальные инструменты, струны, подставки, нотная бумага и ноты, причем ноты покупались обычно в большом количестве; так в 1776 году сразу их покупается 118; в 1804 году — на 127 рублей, а эта сумма очень велика, если принять во внимание, что первоначально на всю организацию театра в Алабухах было ассигновано 100 рублей, которые были израсходованы и на постройку театра, конечно, из готового леса, и на устройство декораций, и на костюмы.

Театр Воронцова существовал до самой смерти его основателя, т. е. до конца 1805 года. О дальнейшей его судьбе не сохранилось точных сведений. Правда, мы имеем среди бумаг Воронцовых одну опись театрального имущества, назначенного для «Володимирскаго театра». Эта опись не имеет даты, но, судя по большому количеству костюмов, перечисляемых в ней, относится, несомненно к последнему времени существования театра. Вероятно, она была сделана еще при жизни А. Р. Воронцова, так как в одном из писем управляющего имением Андреевское, написанном 19 декабря 1805 года, т. е. через 2 недели после смерти А. Р. Воронцова, он пишет его брату и наследнику, что «кладовыя со всѣми вещами и вообще домъ съ принадлежащею къ нему наличностью въ присутствіе господина коллежскаго совѣтника Захара Николаевича Посникова вновь переосвидѣтельствованы

и съ прежними описями повѣрены». Почему в опис театр назван Владимирским — неясно, но, думаю, что здесь имеется в виду тот же Андреевский театр, который мог получить это название потому, что он находился во Владимирской губернии. Может быть, А. Р. Воронцов предполагал еще более расширить свой театр, сделать его как бы губернским, а не-только местным, тем более, что в это время во Владимире еще не было театра, который был основан в 1847 году[1]. Несомненно только одно, что театр после смерти А. Р. Воронцова кончил свое существование, так как в ведомостях о приходе и расходе по имениям Воронцовых после 1805 года нет графы расходов на театр.

Из рассмотрения материала, относящегося к истории театра А. Р. Воронцова, можно сделать следующие выводы.

Этот театр был тесно связан с личной волей самого А. Р. Воронцова, так как возник по его приказу, развивался под его руководством и кончил свое существование с его смертью.

Труд артистов ценился владельцем театра, и многие из них, повидимому, не несли никаких других обязанностей.

Театр в продолжение своего 14-летнего существования постепенно развивался и совершенствовался.

С. Щеглова.

[1] Владимирские Губернские Ведомости, 1848 год, № 1.

Приложение I.

Не претендуя на полноту, приводим литературу предмета: К. Шаликов. Путешествие в Малороссию. М. 1803; К. Шаликов. Другое путешествие в Малороссию. М. 1804; De Passenans. La Russie et l'ésclavage; Историческое описание о Казанской губ (Русский архив вольн. эконом. общ. 1804 г.); Н. Полевой. Мои воспоминания о русском театре (Репертуар рус. театр. 1840, т. I, кн. 2); Макаров. Отрывки из театральных воспоминаний (Реперт. и Пантеон, 1843 г., кн. 9); Хромцовский. Нижегородский театр (Реперт. и Пант., 1846 г.); Картины прошедшего (Театр. и Музык. Вестн., 1857, №№ 36, 37, 39, 42, 44, 46, 49, 50, 51); С. Аксаков. Литературные и театральные воспоминания (Русск. Беседа, 1856 г., кн. 4, 1858, кн. 9—11 или Собр. соч., т. IV); Полторацкий. Театральные представления в Кускове (Северн. Пчела, 1858, № 203); Жихарев. Записки современника, 1859 г.; День, 1863, № 39; Записки и письма М. С. Щепкина. М. 1863; Мих. Сем. Щепкин в записках Петра Вас. Кукольника (Голос, 1864, №№ 77 — 78, и Рус. Стар., 1888, № 11); А. Д. Из воспоминаний об одном провинциальном театре (Антракт, 1866, № 8); Ф. Буслаев. К воспоминаниям о Мих. Сем. Щепкине (Современная Летоп., 1863, № 42, и Мои досуги, М. 1886); Вигель. Воспоминания. М. 1866; Комаровский — в Русском Архиве, 1867; Долгорукий. Путешествие в Одессу (Русск. Арх., 1869, № 10); Е. Хвостова. Воспоминания (Вестн. Евр., 1869, № 8); Из записок М. Д. Бутурлина (Русск. Арх., 1869, № 10); И. М. Долгорукий. Журнал путешествия из Москвы в Нижний. М. 1870; Щербатов—в Рус. Стар., II; Из записок украинца. Материалы для биографии М. С. Щепкина (Киевлянин, 1870, №№ 40, 41, 43); П. Бессонов. Прасковья Ивановна Шереметева, ее народная песня и родное ее Кусково. М. 1872; Гурий Эртаулов. Театр Каменского в Орле (Дело, 1873, № 6); Из старой записной книжки (Русск. Арх., 1873); Рыбкин. Генералиссимус Суворов. М. 1874; Жиркевич. Записки (Русск. Стар., 1875, т. XIII); Солнцев — в Рус. Стар., 1876, т. XV; Семевский. (Предисловие к запискам Никулиной — Рус. Стар., 1878, т. XXI); Штелинг. Историческое известие о театре (Спб. Вестник, 1879, 4); В. Семевский. Крестьяне в царствование Екатерины II, Спб. 1881; Записки сельского священника (Рус. Арх., 1880, янв.); Рус. Стар., 1881 г., т. XXX; Е. Карнович. Очерки русск. придворн. быта в XVIII ст. (Истор. Вестн., 1881, № 6); Ведемейер. Двор и замечательные люди; Ек. Леткова. Крепостная интеллигенция (Отеч. Зап., 1883, № 11); Гр. К-в. Артисты из крепостных (Суфлер, 1883, № 90); Материалы для истории русского искусства. М. С. Щепкин в Полтаве. Из воспоминаний Г. Имберга (Искусство, 1883, № 8); В. Снежневский. Старый нижегородский театр (Действия Нижегор. Губ. Учен. Архив. Ком., сборн. т. VI); А. Ивановский, назв. соч.; М. Пыляев. Полубарские затси (Истор. Вестн., 1886, т. XXV); М. Пыляев. Старая Москва; Краткое описание села Спасского, Кусково тож; Сиротинин — в Истор. Вестн., 1886, сент.; Воспоминания А. В. Щепкиной (Рус. Вед., 1887 г., №№ 85 и 89, и Рус. Арх., 1889 г., № 4); М. С. Щепкин. Из моего дневника (Нов. Время, 1888, 6 ноября); М. С. Щепкин в воспоминаниях артистки А. И. Шуберт (Рус. Стар., 1888, № 11); Е. Опочинин. К биографии Сандуновых (Ист. Вестн., 1889, № 11); Сиротинин Сандуновы. Очерк из ист. рус. театра (Ист. Вестн., 1889, № 9); Театр и Жизнь,

1889, №№ 242 и 260; Сиротинин. Новые сведения о Сандуновых (Ист. Вестн., 1890, № 3); М. Дмитриев. Мелочи из запаса моей памяти; Н. Юшков. Материалы для истории русск. литературы и театра. К истории рус. сцены. Е. Б. Пиунова—Шмитгоф в своих и чужих воспоминаниях. Казань. 1893; Из театральной старины (Театр. Газета, 1893, № 15); А. В. Швыров. Знаменитые актеры и актрисы; Вейнберг. Щепкин и Мочалов (Ежегодн. Имп. театр., 1894—95, № 1); А. Ярцев. Старинный барский театр (Моск. Вед., 1894, № 348); Архангельский. Русский театр XVIII в. (Рус. Обозр., 1895, №№ 5—7); Вяземский. Сочинения, тт. VII—X; Михневич. История русской музыки; А. Ярцев. Записки М. С. Щепкина (Моск. Вед., 1896, №№ 323, 342 и 345 и отд.); Записки М. С. Щепкина. Еще новая глава (Ежегодн. Имп. т., 1895 — 6, прил., кн. 2); В. Ермилов. Великий артист крестьянин Щепкин. М. 1897; П. Вейнберг. Из моих театральных воспоминаний М. С. Щепкин (Театр и Иск., 1898, № 14); М. А. Щепкин. Рассказы М. С. Щепкина (Истор. Вестн., 1898, № 10); М. А. Щепкин. Воспоминания о М. С. Щепкине (Истор. Вестн., 1900, №№ 8 — 9); А. Л. Голицын. Из прошлого. Материалы для истории крепостных помещичьих театров в Орловской губ., Орел, 1901; В. Каллаш. Обрывки прошлого. Крепостные театры и балеты XIX века (Русск. Мысль, 1901, № 11); Русск. Арх., 1901 г., III—VI; Актеры М. С. и А. И. Герцен. По рассказам и воспоминаниям, переданным Е. Некрасовой (Рус. Мысль, 1904, № 1); Татьяна Васильевна Шлыкова, Спб. 1911; Н. Евреинов, назв. соч.; Романович-Словатинский. Дворянство в России от начала XVIII в. до отмены крепостного права. Киев, 1912; К. Бестужев. Крепостной театр. М. 1913; М. С. Щепкин 1788 — 1863. Записки его, письма, рассказы, материалы для биографии и родословная. Составил М. А. Щепкин. Спб. 1914; Записки И. М. Долгорукова. Петроград, 1916, и Русск. Библиофил, 1913 — 1915; см. также Русск. Архив, Русск. Библиофил и др.

Приложение II.

Комедии.

1. Бедность и благородство души, Коцебу.
2. Бобыль, Плавильщикова.
3. Бочар.
4. Бранчивый.
5. Братом проданная сестра или Преступник от игры, Дм. Ефимьева.
6. Бригадир, Фонвизина.
7. Влюбленный слепец, И. Соколова.
8. Вот каково иметь корзину и белье, Екатерины II.
9. Выдуманный клад, И. Соколова.
10. Гордость и бедность, Гольберга.
11. Два плута в Гишпании.
12. Деревенская судьба, Прокудина-Горского.
13. Жорж Данден, Мольера.
14. Зимняя квартира.
15. Знатоки, Эмина.
16. Имянинники, Веревкина.
17. Криспин слуга, драгун и нотариус. А. Волкова.
18. Кристин соперник своего господина.
19. Криспин учитель.
20. Лекарь поневоле, Мольера.
21. Любовь доктора, Мольера.
22. Мельник и сбитеньщик - соперники, Плавильщикова.
23. Мнимый больной, Мольера.
24. Нанина или Побежденное предрассуждение, ~~Мольера~~. ?
25. Нашла коса на камень, Козодавлева.
26. Неблагодарный.
27. Недоросль, Фонвизина.
28. Ненависть к людям и раскаяние, Коцебу.

29. Нескромный, Вольтера.
30. Нечаянное возвращение, Реньярда.
31. Обвороженный пояс, Руссо.
32. Обращенный мизантроп или Лебедянская ярмарка, Копьева.
33. О время, Екатерины II.
34. Опекун обманут, бит и доволен, Данкура.
35. Пателен стряпчий, Де Брюеса.
36. Превращенный мужик, Гольберга.
37. Приданое обманом, Сумарокова.
38. Придворный комедиант, Поассона.
39. Принужденная женитьба, Мольера.
40. Притворная Агнеса или Сельский стихотворец, Де Туша.
41. Проказники, Крылова.
42. Пустая ссора, Сумарокова.
43. Ревнивый, выведенный из заблуждения, Кампистрона.
44. Русский парижанец, Хвостова
45. Свадьба г. Промоталова, Л. Т.
46. Сганарель или Мысленно рогатый, Мольера.
47. Севильский цирюльник или Бесполезная предосторожность, Бомарше.
48. Скапиновы обманы, Мольера.
49. Скупой, Мольера.
50. Слепой видущий.
51. Слуга двух господ, из Гольдониева театра.
52. Слуга доктор.
53. Соседний праздник.
54. Страсть к стихотворству, Мальтица.
55. Судейские именины, И. Соколова.
56. Счастливый волокита.
57. Так и должно, Вас. Захарова.
58. Точь в точь, Веревкина.
59. Три брата совместники, Сумарокова.
60. Три брата соперники.
61. Троякая женитьба, из Де Тушева театра.
62. Французы в Лондоне, Буасси.
63. Хвастун, Княжнина.
64. Чадолюбивый отец, Дидро.
65. Чему быть, тому не миновать или Тщетная предосторожность, Ленокса.
66. Честное слово, Шипса.
67. Чудаки, Княжнина.
68. Школа жен, Мольера.
69. Школа злословия, Шеридана.
70. Школа клеветы или Вкус пересуждать других, Шеридана младшего.
71. Школа мужей, Мольера.

Комические оперы.

1. Вечеринка или Гадай, гадай, девица, отгадывай, красная.
2. Говорящая картина. Гретри
3. Два охотника, Ансома.
4. Двое скупых, Фальберга.
5. Добрые солдаты, Хераскова.
6. Колония или Новое селение.
7. Кузнец.
8. Мельник, Огюста или Пинючи.
9. Несчастье от кареты, Княжнина.
10. Новое семейство, Вязмитинова.
11. Притворная любовница.
12. Розана и Любим, Николева.
13. Сбитеньщик, Княжнина.
14. Скупой, Княжнина.
15. Служанка-госпожа или Муж поневоле, И. Н-нова.
16. Счастливая Таня, Горчакова.
17. Точильщик, Николева.
18. Училище ревнивых.
19. Цыган.
20. Школа ревнивых.
21. Ямщики на подставе.

Трагедия.

1. Дмитрий Самозванец, Сумарокова.

Приложение III.

Список артистов театра Воронцова.

Директор Яковлев Федор, позже Петров Иван. Актеры: 1. Анофриев Клим; 2. Атичкин Михаил; 3. Баранчеев Александр; 4. Богданов Игнатий; 5. Буков Василий; 6. Гнездарев Афанасий; 7. Гнездарев Наум; 8. Гнездарев Николай; 9. Дугин Дементий; 10. Кириллов Яков; 11. Крупнов Иван; 12. Крылов Михаил; 13. Логинов Иван; 14. Моисеев Лука; 15. Нагаев Иван; 16. Нагаев Петр; 17. Нагаев Семен; 18. Никитин Иван; 19. Орлов Иван; 20. Полунин Александр; 21. Поляков Влас; 22. Поляков Павел; 23. Поляков Федор; 24. Рещиков Тимофей; 25. Родионов Андрей; 26. Родионов Игнатий; 27. Сафонов Петр; 28. Сергеев Михаил; 29. Скрябин Григорий; 30. Скрябин Игнатий; 31. Сурков Иван; 32. Тресвяцкий Иван; 33. Туйковский Василий; 34. Фирсов Илья; 35. Шенаев Никита; 36. Шорников Яков; 37. Яицкий Кузьма; 38. Яковлев Федор; 99. Василий Помощник; 40. Дмитрий Помощник; 41. Иван волторнист; 42. Куприян басист; 43. Роман кондитер; 44. Степан лакей; 45. Федор живописец; 46. Филипп фаготист; 47. Часовой мастер. Актрисы: 1. Баранчеева Анна; 2. Бахтеярова Аграфена; 3. Бахтереярова Мария; 4. Бельмесова Марья; 5. Волторнистова Фекла; 6. Воробьева Домна; 7. Воробьева Марья; 8. Воробьева Матрена; 9. Дугина Аграфена; 10. Коптелова Марфа; 11. Логинова Анна; 12. Нагаева Анна; 13. Непряхина Марфа; 14. Полякова Матрена; 15. Скрябина Татьяна; 16. Стрижова Василиса; 17. Тимофеева Фекла; 18. Шатилова Анна; 19. Яицкая Настасья.

Приложение IV.

Опись вещамъ, назначеннымъ для Володимирскаго театра.

Мужскаго платья. Мундировъ: суконной зеленой 1, къ нему камзолъ суконной красной 1; стамедной бѣлой 1, къ нему такія жъ камзолъ 1, исподница 1; крашенинной зеленой 1; эксельбантъ 1; шарфъ мишурной съ кистями 1, такой же ветхой 1; портупея мишурная 1, лосинная 1, замшевыхъ 1, лакированная 1; темлякъ мишурной 1; кафтановъ нѣмецкихъ: мишурной парчи подъ золото на бѣлой китайчетой подкладкѣ 1, мишурной парчи подъ серебро клѣтчатой на бѣлой китайчетой подкладкѣ 1, съ мушками на такой же подкладкѣ 1. къ нимъ камзоловъ мишурныхъ же подъ золото 6, подъ серебро 6; крашенинной желтой, обложенной мишурнымъ газомъ 1, къ нему такіе жъ камзолъ 1, исподница 1; камзоловъ безъ рукавовъ: мишурныхъ новыхъ 3, старой 1; желетовъ мишурныхъ 4; мантій докторскихъ крашенинныхъ 4; фуражекъ зеленыхъ, въ томъ числѣ китайчетая 1, а всѣхъ 11, гвардейскихъ касокъ 2; егерьская перевезь съ бляхами 1; эктажевъ 2; кафтановъ русскихъ: голубой 1, вишневой 1, осиноваго цвѣту 1, синей Кутейкина 1; балахоновъ равендушныхъ бѣлыхъ 2; понитокъ черной шерсти 1; рубашекъ крестьянскихъ: китайчетая красная 1, изъ красной пестреди 3, изъ пестреди такой же, другого разбору 3, къ нимъ порты изъ синей пестреди 1; париковъ волосяныхъ, въ томъ числѣ бѣлой 1, а

всѣхъ 6; шиньонъ 1; перчатокъ замшевыхъ съ раструбами 2 пары, въ томъ числѣ ветхіе 1; ботфортъ 2 пары, сапоги желтые простые 1. Женскаго платья: мантія китайчетая красная, обложенная мишурнымъ позументомъ 1; юбокъ мишурной парчи подъ золото 1, подъ серебро 3; тѣлогрей: перюэневая шелковая 1, камлотовая красная 1, крашенинная красная 1; сарафановъ: затрапезной желтой обложенной галуномъ 1, кумачной красной на подкладкѣ 1, стамедной красной съ мишурнымъ газомъ 1, крашенинной красной съ мишурнымъ газомъ 1; манишекъ 5, шляпъ соломенныхъ 2, такая жъ распускная 1; перчатокъ лайковыхъ 3 пары; зборниковъ, обложенныхъ золотымъ позументомъ 2 (ветхіе), мишурныхъ 3 (ветхіе); кокошникъ 1; сорока простая 1; повязокъ: мишурная (ветхая), шелковая съ стеклярусомъ 1 (ветхая); вѣночковъ цвѣтныхъ для головы 2; цвѣтовъ для букета 2 (ветхіе); вѣеровъ 3 (ветхіе); бусъ разныхъ 3 нитокъ; гранатокъ 34 нитки; корзинка съ крышечкой плетеная 1; позументу мишурнаго 15 аршинъ. Экшпантонъ 1; алебадра 1; перо турецкое серебреное съ зеленымъ камушкомъ, съ пятью перышками и съ цѣпочками 1; шпоры мѣдныя 1, желѣзныхъ 2; цѣпей желѣзныхъ для театру 2; султанчиковъ разныхъ 8; кошельковъ для денегъ: вязаной 1, оленей 1; шелеховъ 118, мѣдныхъ бубенчиковъ 100; очьки 1.

Опись вещамъ, въ кладовую назначеннымъ.

Ливрей лакейскихъ: красная съ басономъ 1, голубыхъ съ басономъ 2, къ нимъ камзоловъ такихъ же безъ басону 2; кушакъ персидской парчи 1; туалетное зеркало съ приборомъ 1; ружей 3; пистолетовъ нѣмецкихъ 2; рапиръ 2; шпагъ воинскихъ съ кистью 1, штатскихъ, у коихъ ефесы мѣдныя съ позолотою 2, новая безъ ефесу 1, изломанныхъ 2; сабель козацкихъ 3; турецкая булатная, у коей ручка съ цѣпочкой серебряная, оправа подъ золотомъ, ножны обшиты чернымъ плисомъ, по концамъ и въ срединѣ двѣ гайки серебряныя и подъ золотомъ 1 (цѣпочка потеряна, а ручка изломана); ножичекъ булатной съ косымъ черенкомъ, ножны по концамъ въ серебряной оправѣ подъ золотомъ (изломанъ) 1; кинжальчикъ съ костянымъ черенкомъ 1; рогъ охотничій 1; шаровъ чугунныхъ 3; шандаловъ желѣзныхъ 10; шкаликовъ стеклянныхъ 188.

Кроме вещей, попавших в описи, в театре были и другие, которых почему то в описях нет, но которые значатся в числе купленных для театра в 1792, 1794 и 1804 годах. Они таковы: балахонъ бѣлой 1; чепчиковъ флеровыхъ 3; мантильевъ, обшитыхъ аграмантомъ 2, робронтъ перюеневой (?) травчатой съ юбкою такою же 1; сертукъ изъ французскаго фябору (?) съ такою жъ бѣлою юбкою 1; сербокъ 4; перстней 5; чулокъ бумажныхъ 8 паръ; башмаковъ женскихъ 4 пары; часы фальшивые съ цѣпочкой 1; ножницы 1; щипцовъ припекальныхъ 4; кошельковъ на волосы 2; кошелекъ оленей 1; курьерская перевязь 1; плащъ темнозеленый 1; табакерка оловяная 1; картъ двѣ колоды; платковъ кисейныхъ 6; колпаковъ бумажныхъ 3; двѣ наколки или чепчика; кроме того имелось большое количество шляп, купленных в разные годы: треугольная 1, еще треугольная жъ, круглая 1, емская 1, бѣлыхъ 2, маленькая 1, шляпъ поярковыхъ 3, къ нимъ перо 1, султанчикъ 1, бантъ бѣлой 1, шляпъ офицерскихъ съ султанами 2, круглыхъ пуховыхъ 3, распускная 1, женскихъ соломенныхъ шляпокъ 2.

Пушкин и Виктор Гюго об Андрее Шенье.

Пушкин не скрывал своего несочувствия к французским писателям «так называемой романтической школы». «Неистовый энтузиазм» пылких их поклонников, ярко изображенный в воспоминаниях Панаева, не захватил его. Горячая пропаганда «Московского Телеграфа» на него не повлияла. «Гюго с товарищи», в пору их славы и особой популярности в России, не раз вызывали с его стороны едкие критические замечания.

И в печати и в беседах он неизменно отмечал недостатки Гюго, как лирика, романиста и драматурга, как бы желая подчеркнуть отличие своих воззрений от мнения большинства современных ему литераторов. Гюго в глазах Пушкина был «человек с истинным дарованием», но поэт «второстепенный», более сильный в лирике, более слабый в романе и в драме.

Его «Восточные стихотворения» («Les Orientales») блестящи, но «натянуты»; его «Осенние листья» («Les feuilles d'automne») — подражание «Утешению» («Les Consolations») Сент-Бева[1]. Здесь проявляется любовь к эффектам, антитезам; наклонность «полагать слишком большую важность в форме стиха, в цезуре, в рифме, в употреблении некоторых старинных слов, некоторых старинных оборотов», что «слишком напоминает гремушки и пеленки младенчества». В результате реформ растрепанный александрийский стих пустился «гулять без цезуры».

---

[1] В одном из писем Пушкина к Е. М. Хитрово (1830 г.) сделана оценка Гюго, как лирического поэта: «Hugo et Sainte Beuve sont sans contredit les seuls poètes français de l'époque, surtout Sainte Beuve».

В романах Гюго «нет жизни, т. е. истины»; чувствуется искание вдохновения в мутных источниках; много огня, но много и грязи»[1]. В его «скучных», «уродливых», «чудовищных» драмах также нет «ни исторической истины, ни драматического правдоподобия»; ход событий «спотыклив»; выдающиеся исторические деятели (напр. Мильтон) изображаются «жалкими безумцами», «ничтожными пустомелями», и автор «сам не ведает, что творит, оскорбляя великие тени» [2].

Но Гюго был не только поэт-художник; он был еще журналист и литературный критик, выступавший в печати с 17 летнего возраста. Об этой деятельности Гюго нет ни слова в сочинениях Пушкина. Лишь А. О. Смирнова упоминает в одном месте своих записок, что предисловие к «Кромвелю», по словам Пушкина, противоречит самой драме [3], столь не согласованной с историей, тщательное изучение которой по первоисточникам Гюго признал для себя необходимым [4]. Стремление Гюго сделать свою драму наиболее совершенной в историческом отношении (presque complet sous le rapport historique) [5] должно было вызвать похвалу Пушкина, и Гюго — теоретик должен был стать в его глазах выше Гюго, творца «Кромвеля», несмотря на предубеждение против французских критиков, поражавших его «ничтожностью» или «несправедливостью» своих суждений [6].

[1] Прочитав «Notre Dame de Paris», Пушкин делился своими впечатлениями с Е. М. Хитрово: «On conçoit fort bien votre admiration pour la Notre Dame. Il y a bien de la grâce dans toute cette imagination. Mais, mais — je n'ose dire tout ce que j'en pense. En tout cas la chûte du prêtre est belle de tout point, c'est à en donner des vertiges» (1831 г.).

[2] Статьи: «О записках Сансона» (1830), «О приличии в литературе» (1830), «Всем известно, что французы народ самый anti-поэтической» (1832), «О Мильтоне и Шатобриановом переводе «Потерянного Рая» (1836). — Переписка. Изд. Академии Наук, т. II, стр. 143, 211, 389. — Ср. отзыв о «Hernani» в письме к Е. М. Хитрово — единственный сочувственный отзыв о драме Гюго: «C'est un des ouvrages du temps que j'ai lu avec le plus de plaisir» (1830 г.).

[3] А. О. Смирнова. Записки. СПб. 1895 г., ч. I, стр. 208.

[4] M. Souriau. La Préface de Cromwell, p. 294—295.

[5] Там же, стр. 305.

[6] Статья: «Всем известно, что французы — народ самый anti-поэтический» (1832). — Ср. Переписку, т. II, стр. 389.

Свое единомыслие с Гюго в области теоретических воззрений Пушкин обнаружил в одном случае, весьма интересном — в оценке Андрея Шенье.

На страницах журнала «Le Conservateur» (1819 — 1821) юноша Гюго впервые проявил свой критический талант в ряде статей и заметок, часто печатавшихся без подписи. Среди них есть две, где он высказал несколько мыслей по поводу произведений Шенье в издании Латуша (1819): «Sur André de Chénier» (1819) и «Sur un poète apparu en 1820» (mai 1820). Под свежим впечатлением только что прочитанных стихотворений, Гюго набрасывает несколькими штрихами образ погибшего поэта.

Питомец античных муз, Шенье и своей музе старался дать простые и строгие античные формы. Он не чуждался науки, изучил древних поэтов и подражал им мастерски (en maître), не рабски. Он усвоил их свободную и широкую манеру, умел охватить их оригинальные черты, и пленял читателя множеством чисто античных образов. Его недостатки — неправильный стих, страсть строить фразу по-гречески, употребление слов, происходящих из древних языков, во всем объеме их природного значения, их странное расположение. Но стоит заменить неприятные выражения соответствующими греческими либо латинскими, и редко не получатся прекрасные стихи. Каждый из упомянутых недостатков таит в себе зародыш дальнейшего усовершенствования. Шенье почти свободен от ненужных антитез; он оригинален, высказывает новые мысли, рисует живые картины. Его идиллии — наименее обработанная часть его творений, и между тем во Франции мало поэм, чтение которых было бы более занимательным. Его оды подобны античным. Будучи написаны на латинском языке, они цитировались бы как образцы величавости и силы. При всем их латинизме, в них нередко можно найти строфы, яркий и своеобразный колорит которых не станет отрицать ни один французский поэт.

Талант Шенье особенно блещет в элегии: здесь он оста-

вляет позади всех своих противников; он «отец истинной элегии».

Стихи Шенье переживут многие другие, которые теперь считаются лучшими. И сам он, если бы не скончался рано, бесспорно занял бы место в ряду первых лирических поэтов. Его связь с позднейшими писателями несомненна: Шенье романтик среди классиков, предтеча Ламартина и современных ему лириков [1].

Критические этюды В. Гюго были известны Пушкину. В издании 1834 г. они находятся в его библиотеке [2]. Но несомненно они впервые были прочитаны поэтом значительно раньше, вскоре после выхода в свет, в начале 1820-х годов.

Пушкин с ранних лет внимательно следил за французской литературой, и, конечно, должен был обратить внимание на французские журналы. К отзывам французских критиков он сам относился критически, но от этого интерес к ним у него не ослабевал нисколько. Пусть он был убежден, что «гонения их часто бывали столь же несправедливы, сколь и любовь», но все-таки он видел в них представителей определенных «партий», «людей, известных сведениями и талантами» [3].

Читал он французские журналы и газеты с большим увлечением, и в молодые, и в зрелые годы. Он называл «Journal des Débats» органом, заслуживающим уважения [4]; напоминал друзьям о присылке «Revue de Paris» [5]; просматривал издания, где говорилось об Альфреде Мюссе [6]. В 1830 г., засев надолго в Болдине, он досадовал, что не захватил с собой французских журналов. Он славно провел бы время «читая в нижегородской глуши «Le Temps» и «Le Globe» [7]. Несколько позже ему приходит

[1] V. Hugo. Littérature et philosophie mêlées. Bruxelles 1834. tome I, p. 76 (из «Le Conservateur Littéraire» 1820).

[2] «Пушкин и его современники», вып. IX—X, стр. 253, № 1005.

[3] Статья: «О русской журналистике в сравнении с иностранной» (1831). — «Пушкин и его современники», вып. IV, стр. 29, № 23.

[4] Там же.

[5] Переписка, т. II, стр. 359.

[6] «О приличии в литературе» (1830).

[7] Переписка, т. II, стр. 188.

мысль написать о русской журналистике в сравнении с иностранной, в частности французской [1].

Пушкин не любил принимать на веру сообщения французских журналистов. Он разошелся с Сисмонди во мнении о романтизме [2], напал на Нодье за причисление Шенье к романтикам [3], но, вместе с тем, беспрекословно повторил слова Лемерсье и Гюго, что причиной недостатков стиля Шенье является чрезмерное подражание античным оборотам [4].

Осенью 1824 г., в Одессе, где русских книг и журналов, по словам Пушкина, не водилось [5], а европейские новинки были не редкость [6], ему легко мог попасть в руки «Conservateur Littéraire», основанный братьями Гюго. Здесь, в этом журнале, делившем с «Muse Française» славу глашатая романтизма, он нашел этюд о Шенье, подписанный загадочной буквою Е. Мысли

1 «Пушкин и его современники», вып. IV, стр. 29, № 23.

2 Статьи: «Об Андрее Шенье, как классике» (1830) и «О русской литературе, с очерком французской» (1834).

В одном из номеров журнала «Le Globe» некто M. D. (вероятно, Сисмонди) указывал, что отличительными чертами французского романтизма считаются таинственная меланхолия и необычный стиль. Останавливаясь подробнее на причудливости романтического слога, M. D. говорит: «Et nous le (le romantisme) vimes dans le néologisme et l'emploi de certaines inversions ou de certaines épithètes parce que des traductions trop littérales transportaient dans notre langue les idiotismes des écrivains romantiques étrangers» (Th. Ziesing. Le Globe de 1824 à 1830, considéré dans ses rapports avec l'école romantique Zurich, 1881, p. 70). — Пушкин высказался против Сисмонди в статье «Об Андрее Шенье, как классике» (1830).

3 В «Annales de la littérature et des arts» (1823, tome X, p. 321) Нодье тесно связал зарождение романтизма во Франции с творчеством Андрея Шенье. «Les critiques qui rapportent à l'époque de ses délicieuses compositions *l'invasion de la muse romantique en France* ne font guère que commenter ses dernières paroles: «Il y avait une muse là». Elle naissait en effet au pied de l'échafaud qui établissait un si vaste intervalle entre l'avenir et le passé». Ch.-M. Dès Granges. La presse littéraire sous la Restauration. Paris 1907, r. 222. — Ср. Léon Séché. Le Cénacle de la Muse Française. Paris, 1909, p. 244).

4 Ср. «Revue Encyclopédique», 1819, tome IV, pp. 91—92: «...les vices du style d'André Chénier... ont leur principe dans l'imitation outrée des formules et des tours antiques» (Népomucène Lemercier).

5 Переписка, т. II, стр. 84.

5 П. Анненков. А. С. Пушкин в александровскую эпоху. СПб. 1874 г., стр. 215—216.

неизвестного автора совпали со слагавшимся у него самого мнением о Шенье и уяснили ему особенности творчества последнего.

Скоро представился и удобный случай высказаться по поводу Шенье. В одном из писем Вяземского, перечитанных Пушкиным на досуге, встретилось указание, что, «даже стихи со времени революции носят новый образ» и была сделана ссылка на А. Шенье. Поэт с этим не согласился. 3-го ноября 1823 г. он стал составлять черновик письма к Вяземскому [1], где отвергал связь Шенье с новой поэтической школой и утверждал, что «романтизма в нем нет еще ни капли».

Разойдясь в этом пункте с Виктором Гюго, он в общей характеристике творчества Шенье повторил его мысли: 1) Шенье — «истинный грек, из классиков классик», «от него так и пышет Феокритом и анфологией» [2]; 2) он — «ученый подражатель» (imitateur savant) [3]; 3) он — «освобожден от италианских concetti и от французских анти-thèses» [4]. Дальше этих положений оценка Шенье не пошла. Пушкин остался ею не вполне доволен и выкинул ее из беловой редакции. Но через восемь месяцев в письме от 5-го июля 1825 г., повидимому, на имя того же Вяземского, он опять вернулся к неоконченной характеристике и взял из нее одно первое положение почти в прежней форме: Шенье — «из классиков классик — от него так и несет древней греческой поэзией» [5].

---

[1] Переписка, т. I, стр. 83.

[2] V. Hugo. Littérature et philosophie mêlées, pp. 76, 120, 125, «... (A. Chénier) s'est étudié à donner à sa muse les formes simples et sévères de la muse antique»... «...vous trouverez dans Chénier la manière franche et large des anciens»... «...cette abondance d'images qui caractérisent la poésie antique» (Из «Le Conservateur Littéraire» 1819—1820).

[3] Там же, стр. 116, 118, 120: «...il n'était dépourvu... de lecture... ami de l'étude... C'est ainsi que Chénier imite; *en maître*. Il avait dit des serviles imitateurs:

Le nuit vient, le corps reste et son ombre s'enfuit».

[4] Там же, стр. 125: «...vous trouverez dans Chénier... rarement de vaines *antithèses*»...

[5] Переписка, т. I, стр. 123

Год спустя, в 1825 г., Пушкин вновь берется за перо, чтобы посвятить Шенье небольшой очерк [1]. Но и этот очерк постигла печальная судьба характеристики: он оборвался в самом начале и был заброшен автором. В нем собственно не было разбора произведений Шенье, а сообщались только внешние факты из его биографии. Отмечено, что Шенье «погиб жертвою фр(анцузской) револ(юции) на 31 году от рождения»; что «долго славу его составляло неск(олько) сл(ов), сказанных о нем Ш(атобрианом), и два или три отрывка» [2]; что «творения его были отысканы и вышли в свет» только в 1819 г. — Перед нами введение к ненаписанному этюду.

И лишь в 1830 г., в разгаре работы для «Литературной Газеты», Пушкин вспомнил о своих неудачных опытах и задумал статью о романтизме и поэзии Шенье [3]. Какой-то рок преследовал и это начинание, оставшееся незавершенным, но на этот раз в дошедших до нас немногих строках уже намечен путь, по которому пошла бы, развиваясь, мысль поэта.

Главный тезис: Шенье — не романтик, направлен против Гюго и Нодье. Но отдельные мысли о творчестве Шенье опять совпадают с мыслями молодого редактора журнала «Le Conservateur». Французские критики — утверждает Пушкин — «имеют самое ошибочное понятие об романтизме» [4], усматривая его

---

[1] «Об Андрее Шенье» (1825).

[2] Первоначальная редакция: «Долго он был известен 2 или тремя отрывками в др(евнем) элегическом роде, одою Младой Узницы и словами Шатобриана» (Тетрадь № 2370, л. 65). См. Chateaubriand. Génie du christianisme, 2-e partie, livre III, chapitre VI, en note.

[3] «Об А. Шенье, как классике» (1830).

[4] Окончательная редакция: «свое понятие об романтизме» (Тетрадь № 2382, л. 30 об.).

В 1834 г. Пушкин писал: «Наши критики не согласились еще в ясном различии между родами: кл(ассическим) и ром(антическим). Сбивчивым понятием о сем предмете обязаны мы фр(анцузским) журналистам, которые обыкновенно относят к романтизму все, что им кажется ознаменованным печатью мечтательности и германского идеологизма или основанным на предразсудках и преданиях простонародных. Определение самое неточное» (из статьи «О русской литературе, с очерком французской»).

везде, где проявляется уныние и мечтательность или где встречаются неологизм и ошибки грамматические [1]. Из ложного основания с логической необходимостью выводится ложное следствие: поэзия Шенье признается романтической. Между тем, Шенье — не романтик. Он «напитан (классическою) древностью», и «даже недостатки (его) проистекают от желания дать французскому языку формы греческ(ого) стихосложения» [2].

Далее должен был следовать анализ творчества Шенье, с выделением на первое место «лучших произведений» поэта — его элегий [3].

На протяжении восьми лет (1823—1831) разбросаны отдельные заметки Пушкина об Андрее Шенье. В них чувствуется неизменная любовь к французскому поэту и большая устойчивость в его оценке... С годами менялись литературные воззрения Пушкина, менялось и его отношение к любимцам юности, но духовный облик «прелестного» [4] элегика не подвергся влиянию времени... Он так казался Пушкину непохож, этот глубокий почитатель античности, на современных представителей «новейшей вольной школы»... [5]. Он не был и не мог быть предтечей роман-

---

[1] См. примечание 2-ое на стр. 355-ой.

[2] Первоначальная редакция: «даже ошибки проистекают от желания наложить на французской стих формы греческ(ого) стихосложения». — Сверху написано и зачеркнуто: «Андр(ей) Ш(енье) более сильно приближавшийся к образцам» (классической древности?). [Тетрадь № 2382, л. 30 об.].

[3] *Литературная Газета* 1831 г., № 32, стр. 259: «*Совершеннейшим стихотворением* изо всего собрания (Poésies et pensées de Joseph Delorme), по нашему мнению, можно почесть следующую *элегию, достойную стать на ряду с лучшими произведениями Андрея Шенье.*

Toujours je la connus pensive et sérieuse»...

Ср. V. Hugo. Littérature et philosophie mêlées, t. I, p. 120: «Mais c'est surtout dans l'élégie qu'éclate le talent d'André de Chénier... André de Chénier sera regardé parmi nous comme le père et le modèle de la véritable élégie» (из «Le Conservateur Littéraire»).

[4] Переписка, т. I, стр. 123.

[5] «Французских рифмачей суровый судия»... (1833).

тизма, под которым у нас разумеют однообразного и вялого, скучного и бесцветного Ламартина[1]. Он — «истинный грек, из классиков классик»; un imitateur savant, «напитанный древностью. «От него так и пышет Феокритом и анфологией». Самые недостатки его «проистекают от желания дать французскому языку формы греческ(ого) стихосложения». У него можно найти грамматические ошибки [2], но нет «италианских concetti», нет «французских анти-thèses». Элегия есть тот литературный род, в котором он достиг наибольшего совершенства... [3].



Таково творчество Шенье в изображении Пушкина.

В своем протесте против сближения Шенье с романтиками Пушкин предвосхитил позднейшие выводы Анатоля Франса [4],

---

[1] «О приличии в литературе» (1830), «Всем известно, что французы народ самый anti-поэтический» (1832). — Переписка, т. I, стр. 308; т. II, стр. 389. — Ср. «Пушкин и его современники», в IV, стр. 30, № 26.

В статье «Sur un poète apparu en 1820» Гюго сравнивает Шенье с Ламартином: «L'autre jour, j'ouvris un livre qui venait de paraître, sans nom d'auteur, avec ce simple titre: «Méditations poétiques». C'étaient des vers. — «*Je trouvai dans ces vers quelque chose d'André de Chénier.*

[2] Первоначальная редакция: новые формы (Тетрадь № 2382, л. 30 об.). Ср. *V. Hugo*. Littérature et philosophie mêlées, t. I., pp. 120—121: «...s'il *se débarrasse des entraves grammaticales*, ce n'est plus guère qu'à la manière de Lafontaine, pous donner à son style plus de mouvement, de grâce et d'énergie».

[3] Ср. А. О. Смирнова. Записки, ч. I, стр. 152, (164—165): «...он (Шенье) *единственный настоящий грек у французов*. Единственный, который чувствовал, как грек. Если бы он жил дольше, то произвел бы революцию в поэзии». Лишь часть слов, вложенных Смирновой в уста Пушкина, находит подтверждение в рукописях поэта, который, повидимому, и не мог ожидать от Шенье *революции* в поэзии. Эту революцию, с точки зрения Пушкина, должен был произвести именно один из романтиков, с которыми Шенье не имел ничего общего. «Романтизма нет еще во Франции, а *он то и возродит умершую поэзию*», читаем в письмах Вяземскому от 4-го ноября 1823 г.: «Помни мое слово — первый поэтический гений в отечестве Буало *ударится в такую бешеную свободу*, что — твои немцы» (Переписка, т. I, стр. 83, 123, 218).

[4] Analote France. La vie littéraire. Paris 1890, t. II, pp. 228—233: «La vérité est que, loin d'être un initiateur, André Chénier est la dernière expression d'un art expirant... Il achève un art et n'en commence aucun autre. Il ferme un cycle. Il n'a rien semé; il a tout moissonné».. Il fut tout ce qu'était son temps: *néogrec*... Novateur! personne ne le fut moins... *Il est le moins romantique des poètes*... Mais je soutiens que, même pour la forme du vers, André Chénier est un *pur classique* du XVIII siècle ».

А. Шенье был представителем «нео-классицизма», «возвращения к антич-

во всех же остальных суждениях невольно воскрешает перед нами забытые страницы журнала «Le Conservateur Littéraire...» [2].

Н. Козмин.

ному» (retour à l'antique) в духе Винкельмана и Гете, а не «лже-классицизма фр(анцузского)», о «жеманстве» которого писал Пушкин (Переписка, т. II, стр. 18).

[2] О Пушкине и Шенье см. 1) Пушкин. Изд. Брокгауз-Ефрона, т. III, стр. 581—584 (статья Ю. А. Веселовского) и 2) «Свиток», № 3, стр. 85—122 (статья Леонида Гроссмана).

Заметки по поэтической терминологии персидских суфиев.

1. Локон и лицо.

При изучении суфийской поэзии легко заметить, что количество образов, которыми пользуются суфийские поэты, довольно ограничено. Весь запас их сводится к определенным формулам, так сказать, основным типам. Они являются отправной точкой при создании стихотворения — почти не видоизменяясь, лишь вступая в различные сочетания друг с другом, они направляют ход мысли поэта.

Если бы эти образы должны были пониматься в буквальном смысле, то, конечно, такое положение вещей могло бы быть признано доказательством бедноты мысли поэта, нежелания его вводить в круг своего творчества новый материал. Но в суфийской поэзии дело обстоит иначе. Образ самодовлеющей ценности в ней не имеет вовсе — назначение его служить только своего рода словесным иероглифом, значком, прикрывающим собой *истинное* философское значение. Так как основная тема всякого суфийского стихотворения предусмотрена заранее и ничего кроме tawhīd или waḥdat-i wujūd в нем воспето быть не может, то тем самым и необходимость в разнообразии материала отпадает и на передний план выдвигается вопрос о наиболее целесообразном сочетании тех элементов, которые даны суфийскому поэту заранее, при вступлении на путь изучения философской доктрины. Центр внимания перемещается, основной задачей стано-

вится как можно лучше использовать имеющийся материал в смысле уточнения, уяснения проблем суфийской философии, а не введения нового материала путем создания новых художественных образов.

Такой взгляд на суфийскую поэзию, конечно, допустим только при том условии, если мы признаем *рефлексию* необходимо интегрирующим моментом в суфийской поэзии. Данные восточных источников скорее могут склонить к отрицанию этого момента — большей частью нам сообщают о том, что такой то поэт творил свои произведения в состоянии экстаза, как бы инспирированный, изрекая не свои слова, а являясь только рупором для выявления абсолютной мудрости[1]. В некоторых случаях восточные филологи безусловно правы — многие из лирических произведений таких поэтов как Джелаледдин Руми, конечно, могут быть признаны экстатически-визионарными, бессвязность, склонность к повторению одних и тех же слов, зачастую просто лишенные смысла восторженные возгласы, все это, казалось бы, должно было подтверждать такого рода точку зрения.

Однако и здесь необходимо сделать оговорку. Надо помнить, что если мыслимо такого рода творчество, то мыслима и подделка под него, имитация экстаза... ведь знает же западная литература технический прием «поэтического беспорядка». Исследователь должен уметь вскрыть сокровенные побуждения автора, разглядеть самый тайник его художественной лаборатории. Должен — но пока едва ли в состоянии выполнить это. Наше знание персидской суфийской поэзии еще слишком мало, чтобы дать нам в руки прочный критерий и пройдет много времени, прежде чем мы будем подходить к подобным вопросам не при помощи художественного чутья, а вполне сознательно.

Для этого же прежде всего необходимо, чтобы эти произведения стали для нас тем, чем они являлись для суфия: не просто

---

[1] Ср. напр. биографию Ибн-ал-Фāрида «Le diwan du cheikh Omar ibn el-Faredh», ed. cheikh Rochaïd ed-Dahdah. Paris, 1885, p. 3—24.

сменой традиционных образов, более или менее ярких, а вполне логичной последовательностью мыслей, обоснованной требованиями суфийской философии. Образы должны перестать быть только образами, должны стать соответствующими философскими понятиями, иероглифическое прикрытие должно быть снято.

Срывая покров образов, мы за ним находим новый ряд понятий — условные технические термины суфийской философии iṣṭilāḥāt, а вскрытие их уже дает нам возможность по желанию проникнуть еще глубже, взрывать самую философскую почву суфизма в поисках ее субстрата или удовлетворяться полученным результатом, используя его для дальнейшей работы.

Сознание необходимости вскрытия этих образов, так сказать, перевода их на язык доктрины ощущалось и самими суфиями. Доказательство этому многочисленные комментарии к подобным произведениям. Сознавалось и то, что материал в сущности говоря ограничен и может быть систематизирован и сведен к сравнительно небольшому числу основных типов. Доказательство этому попытки создать своего рода *код*, дать словари этих iṣṭilāḥāt aš-šu'ārā. К сожалению, бо́льшая часть известных мне работ этого типа безусловно должна быть признана не слишком высокой качественно.

Три известных мне подобных словаря, имеющихся в рукописном виде в Азиатском Музее одинаково неполны, слишком лаконичны в своих объяснениях и не всегда точны. Два из них не датированы, все три анонимны, вследствие чего ценность их еще значительно падает. Одним из старейших датированных образчиков такого рода попытки приходится поэтому признать тот сравнительно небольшой список истолкованных образов, который дает Махмӯд Шебистери († 720/1320) в своем Gulšan-i-rāz.

Отвечая на вопросы мира Хусейни-Са̄да̄т, он истолковывает следующие термины:

1) глаз (چشم)
2) губы (لب)

3) локоны (زلف)

4) пушок (خطّ)

5) родинка (خال)

6) вино (شراب)

7) свеча (شمع)

8) красавец -ица (شاهد)

9) трущобы (خرابات)

10) идол (بت)

11) пояс (زنّار)

12) христианин (ترسا)

Список весьма незначительный по объему, но тем не менее содержащий в себе почти все важнейшие мотивы, к которым остается добавить сравнительно весьма немного, чтобы получить полный ответ на всякое затруднение при чтении суфийской лирики.

Но возникает другое весьма существенное препятствие. Список этот датируется началом XIV века, т.-е. относится к эпохе полного развития доктринального суфизма. Имеем ли мы право пользоваться им при разборе более старой лирики? Не является ли вся эта система позднейшим построением склонных к схоластике суфиев, вместо практического прохождения *пути* перешедших на теоретические мудрствования о нем?

Ответ на этот вопрос мы можем найти только путем изучения структуры суфийского образа. Анализируя его до конца, прослеживая весь ход мысли суфийского комментатора мы можем уловить самую схему построения, разглядеть законы, которым он подчиняется. Что построение это не случайно, почти не требует доказательства. Поэтическая практика, из бесконечной цифры возможностей избравшая лишь весьма немногое, является лучшим доказательством того, что именно эти образы в силу определенных соображений были признаны наиболее отвечающими потребностям суфийской лирики.

Основным моментом при рассмотрении образа, конечно, прежде всего будет нахождение tertium comparationis, той базы, на которой воздвигается все строение. Логичность tertium comparationis необходимое условие, без которого образ не сможет ожить, не сможет правомерно войти в обиход поэтического словаря и развиваться и расти далее. Это условие знакомо и суфиям. Лāхиджи[1] в своем комментарии на Gulšan-i rāz довольно часто ссылается на wajh-i šibh, как на закономерное основание для введения того или иного мотива.

Далее, при рассмотрении образов приходится постоянно помнить, что применение их обычно происходит в форме своеобразной дихотомии. Образ положительный обычно сопровождается его диаметральной противоположностью, являющейся его отрицанием. Этот дуализм не может показаться странным, если учесть то обстоятельство, что основной смысл tawhīd и заключается в том, чтобы путем того или иного метода слить воедино две диаметрально-противоположные величины. Исходя от основного противоположения wǎjib — mumkin (necessitas — potentialitas), мы находим это раздвоение, красной нитью проходящим по всем суфийским концепциям, начиная от противопоставления духовных миров и кончая раздвоением в психических переживаниях посвящаемого, где мы находим такие пары:

khauf — rajā
basṭ — qabḍ
ṣaḥw — sukrān и т. д.

Аналогичными парами в поэтической терминологии будут постоянные противопоставления:

gabr — mu'min
sarw — sumbul
daryā — qaṭra

1 «Mafātih al-i'jāz fī šarḥ-i gulšan-i rāz». Далее цитируется по Тегеранской литографии 1310 г

zulf — rū
āftāb — māh
āftāb — abr и т. п.

Пары эти легко могут быть систематизированы и сведены к определенной, строго разработанной схеме, которая и покажет, насколько закономерно применение их в данном месте у данного автора.

Конечно, должны быть и образы, не имеющие пары, ни с чем не соединяемые, это вытекает по необходимости из самого задания в tawhīd. Тогда эти образы будут служить для выражения универсального принципа, стоящего выше условных подразделений мира мнимостей, в тех случаях, когда требуется подчеркнуть именно эту изолированность, выключенность его из умопостигаемых понятий и переход на почву визионарности, являющийся конечной целью суфия-мурида. Достижение конечной цели являлось пожеланием, но на практике едва ли часто осуществлялось, как это видно из суфийской лирики, преимущественно носящей характер стремления, искания, тоски по утерянном и лишь весьма редко впадающей в ликующий тон обретения искомого. Отсюда ясно, что и образы эти сравнительно должны быть немногочисленны, что вполне подтверждается практическими наблюдениями.

Поэтому, прежде чем приступать к изучению образа, необходимо проследить его окружение, установить, в какой связи он чаще употребляется и в случае установления его сцепленности в паре с другим образом, не отрывать его, а исследовать совместно, ибо структура положительного полюса прольет свет на построение полюса отрицательного.

Я ставлю себе задачей дать ряд посвященных анализу таких образов очерков, которые позволят оперировать с этими образами вполне сознательно, обоснуют их логически. При этом ход исследования по необходимости должен быть обратным исторической последовательности. Исходить придется из утверждений

словарей или комментаторов и, разобрав их структуру, восходить к более старым, не комментированным авторам, пытаясь приложить к ним полученные результаты. Проникновение в структуру образа позволит совершенно точно установить, закономерно ли приложение полученного толкования к более старым авторам и тем самым даст возможность вскрыть философский субстрат того периода суфизма, от которого до нас философских сочинений в прозе не дошло.

От исследования генезиса образа я пока сознательно отказываюсь, ибо это, во-первых, с наличным материалом, крайне неполным и недостаточным в его древнейшей части, почти что неосуществимо, а, во-вторых, привело бы нас к вопросам уже не историко-литературного, а историко-психологического характера, почве настолько зыбкой, что при моих силах удержаться на ней было бы едва ли мыслимо.

Темой настоящего очерка послужит только одна пара образов, случайно взятая мною из составляемого в данное время пространного списка подобных символов, именно *локон* и его естественная антитеза *лицо*.

* * *

Начнем с определений, которые имеются в трех словарях суфийских поэтических терминов, имеющихся в рукописном виде в Азиатском Музее. Интересующие нас термины объяснены там следующим образом.

А. Анонимный словарь терминов в сборном кодексе Nov. 29, f. 246^b—251^a[1]:

زلف غیبت هویّت را گویند که کس را بدان راه نیست

Локоном называют тайну *онности*, куда никому нет доступа.

رخ تجلّیات محض را گویند

[1] Текст его мною приготовлен к печати, так же, как полное описание этой рукописи.

Лицом — называют чистые эманации.

В. Словарик в комментарии на газель ʻАттāра (та же рукопись)[1].

و جون رخسار ذکر کنند مراد عوالم موجودات باشد

А когда упоминают *лицо*, имеют в виду миры, имеющие истинное бытие.

و جون زلف ذکر کنند مراد عوالم معدومات باشد

А когда упоминают *локоны*, имеют в виду миры, истинного бытия не имеющие.

С. Словарь терминов под названием Mirāt-i ʻuššāq, анонимный, недатированный (рукопись Аз. Муз. Nov. 28).

زلف صفات جلالی و تجلّیات جمالی را گویند که موجب
استتار وحدت جمال مطلق شود (f. 41ᵇ)

Локонами называют аттрибуты мощи и эманации красоты, которые являются причиной сокрытия единства абсолютной красоты.

رخ و رخسار مظهر حسن ذاتی و تجلّیات جمالی را گویند (f. 59ᵇ)

Лицом и *ликом* называют место проявления субстанциальной красоты и эманаций красы.

Можно сказать, что определения всех этих трех источников особой ясностью не отличаются, но все же известные выводы из соединения этих трех определений вместе получаются. Именно, *лицо* во всех трех будет соответствовать истинной реальности, т. е. единому, абсолютному, не-сложенному духу, *локоны* же эманациям смешанным, представляющимся величиной не реальной, а лишь мнимой. Несколько непонятным остается только отношение к этому термину А. И В и С реальное значение придают *лицу, локоны* считая нереальностью. А определяет *локоны*, как «тайну онности» (ghaib-i ḥuwiyyat) термин, обычно означающий

[1] Текст издан *мною* в ДРАН В 1924, стр. 126 сл.

индифференцированное единство (ʿālam-i aḥadiyyat), т.-е. само *бытие* par exellence, возможный максимум реальности.

Для выяснения этого недоразумения обратимся к Шебистери с толкованием Лāхиджи.

Приступая к истолкованию термина локон Шебистери говорит:

مپرس ازمن حدیث زلف پرچین * مجنبانید زنجیر مجانین[1]

Не спрашивай у меня предания о полном завитков локоне, не потрясайте цепей бесноватых!

Лāхиджи поясняет, что под *локоном* имеется в виду tajalli-i jalāli — эманация мощи — путем которой абсолютное единство снижается и спускается, таким путем создавая воображаемую нереальную множественность окружающего нас физического мира[1]. Длина локонов это указание на бесконечность форм проявления бытия и множественность идей. «A tertium comparationis (wajh-i šibh) между локонами и идеями (taʿayyunāt)», продолжает Лāхиджи: «таков — подобно тому, как локоны являются завесой для лица возлюбленной, так каждое оформление в идею (taʿayyun) и каждая индивидуализация в отдельное явление из множественности закрывает и занавешивает единую сущность (т. е. Истину)»[2].

Отсюда становится ясно, что должно обозначать лицо — естественно, ту самую скрываемую эманациями абсолютную истину. Это определение мы и находим далее в начале главы

---

[1] Лāхиджи, op. cit., p. 384.

[2] زلف که اشارت به تجلّی جلالی فرموده بود و در مراتب تنزّلات و ظهورات بسیار است (Op. cit. p. 383).

[3] درازی زلف اشارت بعدم انحصار موجودات و کثرات و تعیّنات است و وجه شبه میان زلف و تعیّنات آنست که چنانچه زلف پردهٔ روی محبوب است هر تعیّنی از تعیّنات حجاب و نقاب وجه و احد حقیقی است و در نقاب تعیّنات و تشخصات کثرات اشیاء آن حقیقت و احده مختفی و مستتر است (Op. cit. p. 384).

о лице. «Лицо указание на божественную субстанцию», говорит Лāхиджи[1].

Таким образом, основная структура образа для нас уже стала ясна, остается только проверить его глубину и посмотреть, насколько развитие материального образа будет покрываться данными философской доктрины. Каковы свойства локона — легкие, кудрявые волоса от малейшего движения красавца шевелятся, то прикрывая лицо, то открывая его.

نیابد زلف او یکلحظه آرام * گهی بام آورد گاهی کند شام

Локон его ни на миг не находит покоя, то приносит утро, то делает вечер[2].

Абсолют — мир не знающий изменений, мир стабильности, там только устойчивость, только недвижность. Нереальный мир эманаций, напротив, мир неустойчивости, мир постоянных изменений, двух мгновений не пребывающий в едином состоянии, ежесекундно возникающий и вновь исчезающий. Параллель полная, сравнение выдержано.

Далее, *локон* вьется, он искривлен, кривизна противоположность прямоте, отрицание ее, следовательно, локон в самой сущности своей содержит два представления — прямой линии и отрицания ее — кривой. В мире единства противоположений быть не может, там все слито воедино, там «последний» равняется «первому», «явный» равен «тайному». Для появления идей, напротив, необходимо, чтобы произошла дифференциация аттрибутов и возникли имена Аллаха, являющиеся внешним знаком, как бы жестом этих аттрибутов. Возникают диаметрально противоположные представления, как имена muḍill и hādī, ẓāhir и bāṭin.

---

[1] بدانکه رخ اشارت بذات آلهی است باعتبار ظهور کثرت اسمائی و صفاتی ازوی و خطّ اشارت بتعیّنات در هویّت در تجرّد و بي نشانی عالم ارواح است که اقرب مراتب وجود است بغیب هویّت در تجرّد و بی نشانی (Op. cit. p. 399).

[2] بیقراری زلف اشارت به تغیّرات و تبدّلات سلسلهٔ و جوداتست که هر ساعت بنوعی و وضعی دیگر است (Op. cit. p. 397).

Эта концепция и передается путем упоминания о кривизне локона. «Кривизна локона это появление противоречий номинальных и аттрибутивных», говорит Лāхиджи[1].

Кривизна локона, замыкающегося в кольцо по ассоциации вызывает эротический образ силка, в который попадает сердце влюбленного, стремящегося к возлюбленному.

چو دام فتنه می شد چنبر او * بشوخی باز کرد از تن سر او

«Когда кольцо его (локона) стало силком смуты», говорит Шебистери: «он кокетливо отделил от тела его голову»[2].

Но мир эманаций суфии представляют себе в виде кольца, замыкающегося на последнем заключительном звене — человеке. Таким образом, можно сказать, что ищущий бога суфий пойман в кольце нисших миров и должен стремиться к освобождению из него, что и будет вполне соответствовать приведенному выше эротическому образу. Явления мира — множественны, каждое из них может увлечь человека, сбить с прямого пути и заставить забыть основную цель — локон изобилует завитками, каждый из них силок для неопытного сердца[3].

معلّق صد هزاران دل ز هر سو * نشد یکدل برون از حلقهٔ او

Сотни тысяч сердец подвешены повсюду, ни одно не вырвалось из его кольца[4].

Т.-е., каждое сердце увлечено и оковано чем-нибудь другим в этом мире фантасмагории и увлечение его для него становится завесой, скрывающей лик друга.

Анонимный поэт, цитируемый Лāхиджи, говорит:

سخن زلف مشوّش بگذار * دل از این شیفته تر نتوان کرد
ابتلا نیست در این کار مرا * که از این هیچ خبر نتوان کرد

---

[1] کجی زلف ظهور تخالف اسمائی و صفاتی (p. 385)

[2] Op. cit. p. 396.

[3] گرفتاری عاشق بواسطهٔ تقیّد بقیود احکام کثرات که هر یکی شکنی از آن چین زلف است (Op. cit. p. 385).

[4] Op. cit. p. 835, стихи Шебистери.

Оставь речи о спутанных кудряхъ, нельзя смущать сердце еще сильнее. Я не подвергаю испытанию это дело, ибо ничего о нем нельзя сообщить[1].

В связи со сказанным эти слова совершенно ясны. Мир — нереален, фантасмагория, спутанность, изучить его до конца нельзя, изучать его значит смущать сердце, я не знаю его и не должен знать, ибо я стремлюсь лишь к единой истине.

В мире абсолютном нет противоположностей, *вера* понятие, созданное лишь для нашей несовершенной вселенной, откинь покров идей и окажется, что вера равна *неверию*. Отсюда становятся понятными столь обычные, так часто повторяемые суфиями слова:

ایمان و کفر من همه رخسار و زلف تست
در بند کفر مانده و ایمانم آرزوست[2]

Вера и неверие мое — только лик и кудри его, я остался в цепях неверия, но томлюсь по вере.

Т.-е., я пребываю в этом мире, где истинная сущность невидима, но томлюсь по проникновении в мир единства. Или такой пример:

از روی اوست اینهمه مؤمن عیان شده
وز زلف اوست این همه کفّار آمده
آن یك ز روی اوست به تسبیح مشتغل
وین یك ز موی اوست بزنّار آمده[3]

От лица его явились все эти правоверные, от кудрей его все эти неверные. Один от лица его занят четками, другой от кудрей его взялся за *зуннар*.

Кокетливому красавцу иногда приходит в голову фантазия остричь свои пышные темные кудри — мир нереальный невечен,

---

[1] Op. cit. p. 384.
[2] Anonymus apud Lāhiji p. 396.
[3] Anonymus ap. Lāh., ibid.

абсолют может заставить его исчезнуть и утонуть в свете истинного единства [1].

Кудри красавца всегда темны как ночь, лицо сияет как солнце; сравнение эманаций единства, озаряющих мрак множественности, с лучами солнца известно всякому, кто хоть раз заглядывал в диваны суфийских поэтов.

Сравнение может быть продолжено до бесконечности, глубина символа неисчерпаема, представления выбраны удивительно удачно и покрываются с изумительной точностью. Дальнейшее углубление для нас едва ли необходимо, ибо наша попытка путем проведения аналогии оправдать построение Лāхиджи уже увенчалась полным успехом. Поэтому оставим локон и перейдем ко второй теме — антитезе его, лицу. Если о мире противоположностей, о множественности можно многое высказать, если его можно рассматривать с разных сторон, то абсолют характеристике поддаться не может. В нем все и вся и вместе с тем ничего. Что бы я ни высказал о нем, если я не сопровождаю свое утверждение отрицанием, оно будет ложным. Поэтому конструкция образа *лицо* значительно проще и сводится к немногим основным моментам.

Во-первых, универсальность.

رخ اینجا مظهر حسن خدائیست * مراد از خط جناب کبریائیست [2]

«Лик — проявление божественной красы», говорит Шебистери, а цитируемый Лāхиджи поэт восклицает:

وی روی تو در آئینهٔ کون هویدا
ای جمله جهان در رخ جانبخش تو پیدا [3]

---

[1] بریده شدن زلف نسبت بارباب استدلال که علما اند فنا و تغیّرات عالم مراد است که سبب حدوثش میگردد و از محدث استدلال بواجب مینماید و نسبت بارباب حال که صاحبان کشف و شهودند بریده شدن زلف اشارت بمحو و انطماس تعیّنات و کثرات است (Op. cit. p. 397).

[2] Op. cit. p. 400.

[3] Op. cit. p. 402.

О весь мир очевиден в дарящем жизнь лике твоем, а лицо твое явно в зерцале бытия.

Т.-е. все заключено в абсолюте, но отражением абсолюта является нереальный мир, который представляет собой только как бы тень мира реального[1].

Второй момент: друг сбрасывает покров кудрей и являет свою красу влюбленному.

چون نقاب زلف مشکین از جمال خود گشود
صبح صادق در شب دیجور نا گه رو نمود
هم بچشم دوست دیدم چون جمالش جلوه کرد
کافتاب از مشرق هر ذرّه تابان گشته بود[2]

Когда он сбросил покров мускусных кудрей с красы своей, ясное утро вдруг просияло в темной ночи. Очами друга я видел, когда явилась его краса, что солнце вспыхнуло на восходе каждого атома.

Так как каждая форма бытия так или иначе отражение абсолюта, то следовательно единое бытие можно найти в каждой пылинке.

Другой пример оттуда же:

صد قیامت گشت هر دم آشکار * تا جمالش پرده از رخ بر گشاد
چون نقاب زلف از رخ بر گرفت * جان عاشق گشت واصل بمراد
تا بزلفش سر فرازی میکنم * سایهٔ او از سر ما کم مباد[3]

Сто Страшных Судов становилось явно каждый миг, когда краса его сбросила покров с лица. Когда он снял покров локонов с лица, душа влюбленного достигла желанного. Пока я горжусь его локонами, пусть тень их не перестает падать мне на голову.

Все образы ясны и понятны. Я не должен углубляться

---

[1] Ср. *терджӣʻ бенд* Нāсир-и Хусрау, изд. В. А. Жуковским в ЗВОРАО т. IV, стр. 386—393.

[2] Anon. ap. Lāh. p. 396.

[3] Anon. ap. Lāh. p. 397.

в этот случайный мир, а если я это делаю, то пускай я и погрязну в нем окончательно и никогда не увижу света абсолюта.

Другой пример:

اگر یکبار زلف یار از رخسار بر خیزد
هزاران آه مشتاقان ز هر سو زار بر خیزد
اگر غمزش کمین سازد دل از جان دست بفشاند
و گر زلفش بر آشوبد ز جان زنهار بر خیزد[1]

Если хоть один раз кудри друга поднимутся с лица, со всех сторон жалобно раздадутся тысячи вздохов томящихся (влюбленных). Если кокетливый его взор устроит засаду, сердце омоет руки от жизни. Если кудри затрепещут, душа начнет стенать.

Другой пример:

هر دم بیاد رویش جمع آورم دل و جان
بازم کند پریشان سودای زلف دلبر
از رخ نقاب زلفت بر دار تا نماند
نام و نشان عالم از مومن وز کافر[2]

Каждое мгновение, помышляя о его лице, я собираю (силы) сердца и души; снова делает меня рассеянным томление по локону красавца. Сними покров локонов с лица, чтобы не осталось в мире ни имени, ни признака верующего и неверного.

Логично и продуманно нарисованная картина томления суфия, стремящегося в абсолют и отрываемого от него окружающим его миром.

Та же картина в другом примере:

عاشق دیوانه چون خواهد که بیند روی یار
زلف او آشفته گردد پیچ و تابی میکند
تا جمال او عیان بینند مشتاقان اگر
پرده بر دارد ز رخ فکر صوابی میکند[3]

---

[1] Anon. ap. Lāh. p. 385.
[2] Ibd. p. 384.
[3] Ibd. p. 385.

Когда обезумевший влюбленный захочет увидеть лик друга, локон его начинает волноваться, крутится и вьется. Если он поднимает покров с лица, чтобы томящиеся увидели красу его воочию, то это (единственная) правильная мысль.

Здесь запечатлен несколько иной аспект этого переживания. Все суфии обычно жалуются на то, что внешний мир становится особенно назойливым и особенно настойчиво заявляет о своем присутствии, когда человек стремится отрешиться от него. Всем известные картины искушений христианских святых являются отражением этого самого переживания.

Рассмотрев конструкцию образа, мы уже можем с уверенностью подойти к тем определениям, с которых мы начали наше исследование и установить, насколько они правильны. Становится совершенно ясно, что B и C если и выражают свою мысль довольно неотчетливо, то несомненно имеют в виду то самое толкование, которое мы сейчас изложили. Напротив, A дает объяснение ошибочное, вызванное представлением о черном цвете кудрей, который в данном случае является единственным tertium comparationis. Сравнение далее проведено быть не может и параллелизма не получится. Ошибка вскрывается еще и благодаря тому, что даваемое A определение находится и в других словарях, но относится ими не к кудрям, а к родинке (khāl), где оно вполне уместно и правильно выражает символ, как я это надеюсь современем показать.

* * *

Дабы не утомлять внимания читателей, я не буду углубляться далее в эти образы. Структура их стала вполне ясна, логичность её доказана. Дальнейшее углубление вполне возможно и происходит путем наслоения образа на образ. Всем известно, что лицо красавца персидские поэты охотно сравнивают с розой, локоны с гиацинтом. Суфии вполне логично пользуются и этой дальнейшей надстройкой и таким образом еще усложняют и затемняют символ. Белизна лица и чернота кудрей дают возможность ввести

образ ночи и дня и такие параллели могут быть умножены. Но рассмотрение их отвлекло бы нас в сторону, в данный момент перед нами сравнительно более важная задача. Нам предстоит установить, каково отношение к этим образам поэтов более раннего периода. Пользование этими образами, как мы видели выше, предполагает разработанную метафизическую основу, без которой они должны утратить право на существование, перестать быть вполне адэкватными выражаемому ими представлению.

С другой стороны, западные исследователи суфизма, я имею в виду, главным образом, Р. А. Никольсона и Э. Броуна, склонны в первом периоде персидского суфизма видеть только разработанную схему пути, фиксацию психологических переживаний при отсутствии метафизической подкладки. Суфии раннего периода даже иногда сами подчеркивают это ссылаясь на хадису:

لا تفكّروا فى ذات الله و تفكّروا فى آلائه

Рассмотрение трех диванов старейших суфийских поэтов покажет нам, так ли это на самом деле и действительно ли старые персидские суфии воздерживались от метафизических рассуждений. Если метафизика им была незнакома, то полученные нами построения к их поэтическим произведениям должны быть неприложимы. Если же окажется, что констатированные нами основные моменты структуры имеются и у них, то тем самым, будет доказана наличность у них идентичных метафизических построений.

Для исследования я беру как наиболее удобный материал три из наиболее старых полностью дошедших до нас дивана: Ба̄ба Кӯхи Шӣра̄зи, Сена̄и и Ахмада Джа̄м. Само собой разумеется, что я не буду приводить *всех* тех мест, где эти термины в их диванах встречаются, ибо один только персидский текст этих отрывков без каких-либо дополнений занял бы солидный том. Я ограничусь только несколькими, наиболее резко выраженными примерами, которых для моей цели будет достаточно.

Для начала беру диван Ба̄ба̄ Кӯхи как старейшего из этих трех авторов[1]. У него мы находим такие упоминания о локоне:

در خم زلف سیه‌کار تو چون در بندم * زار چون مرغ شب تار بنالم چه عجب[2]

Так как я связан в кольце свершающего черные дела локона твоего, что за диво, если я горестно стенаю словно птица в темной ночи.

Образ в точности совпадает в виденными нами выше у Ла̄хиджи примерами. Обычный мотив томления в мире нереальности:

چون پریشانست زلف یار ما * جز پریشانی نباشد کار ما[3]

Так как спутан локон нашего друга, то и дело наше может быть тоже только запутанным.

Мотив спутанности локона нами был рассмотрен и объяснен как противоречия мира относительных понятий.

درشب تاریك پیش زلف یار * رهنمای عاشقان آمد صبا[4]

В темной ночи пред локоном друга водителем влюбленных стал весенний ветер.

Т. е. откровение (ilhām) — это дуновение ветра, раскрывающего покровы окружающего нас мира.

شب رفته ایم در سر زلف تو چون صبا
زلفت به تاب گفت که درویش مرحبا[5]

Ночью мы проникли в твои кудри как весенний ветер, кудри, извиваясь, сказали: «Привет (тебе) дервиш!».

Попытка проникнуть за покровы в тайну духа, нереальное старается удержать ищущего, заманить его к себе.

---

[1] Цитирую по подготовленному *мною* к печати тексту. О нем см. ДРАН В 1924 стр. 59.

[2] 23,4.

[3] 16,1.

[4] 13,7.

[5] 14,1.

بزلف خود بر آور جانم از تن * که یوسف در تك چاه است امشب [1]

На кудрях твоих извлеки душу мою из тела, ибо Иосиф сегодня ночью на дне колодца.

Т. е., тело сковывает душу, помоги ей освободиться от оков, дай ей, проникнув в тайны мира эманаций, подняться выше его. Этот образ требует объяснения термина «Иосиф» и «колодезь», но я не буду останавливаться на них, чтобы не задерживаться слишком долго. Замечу только, что Кӯхи любит образ друга, спускающего кудри в колодезь и так извлекающего оттуда Иосифа и кудри в таком контексте объясняет как حبل المتين, намекая на известный стих Корана.

نکرده سجده اگر اختیار زلفش را * لعین در دل آدم ندید ذات خدا [2]

Если проклятый (диавол) не избрал поклонения его локонам, (то, это потому, что) в сердце Адама он не увидел субстанции бога.

Намек на известное предание о причине падения Иблиса. Он должен был поклониться человеку; здесь поставлен знак равенства человек = локон. Т. е., человек как последний предел и конечная цель цепи эманаций.

منم خال سیاه روی ماهش * میان چین زلفین مسمّا [3]

Я черная родинка на лице его луны, посреди завитков двух локонов «наименованного».

Здесь локон открыто поясняется термином musammā, обозначающим в суфийской концепции то, что путем эманаций вылилось из ism, asmā — имен бога — т. е. мир.

محمّدی که دو زلفش بود شب معراج [4]

Мухаммад, два локона которого являются ночью Миʿраджа.

---

[1] 22,2.
[2] 1,15.
[3] 9,3.
[4] 3,2.

Дальнейшее осложнение первоначального образа. Введен мотив ночи, поставлен знак равенства Мухаммад = insān-i kāmil = aḥadiyyat-i jamʿ.

Эта строчка предполагает представление о Мухаммаде, как о демиурге.

Перехожу к упоминанию о лице. Оно, как мы предположили выше, упоминается реже.

سوختم پروانه سان از شمع رخسار شما [1]

Я сгорел подобно мотыльку от свечи лица вашего.

Т. е., достиг fanā в абсолютном единстве. Образ осложнен введением мотива *свечи*.

در ذرّه ذرّه بین رخ او را در آفتاب [2]

В каждой пылинке узри лицо его, (сияющее) в солнце.

Т. е., весь мир выражение одной aḥadiyyat, абсолютного единства. Введен мотив *солнца*.

بهوای گل رخسار تو ای سرو بلند * همچو بلبل بچمن زار بنالم چه عجب [3]

Томясь по розе лица твоего, о высокий кипарис, если стенаю я жалостно словно соловей на лугу, что тут дивного?

Знакомый мотив, осложненный введением образов *розы* и *соловья*.

Этих примеров совершенно достаточно, чтобы убедиться, что Кӯхи пользуется этими терминами в полном соответствии с установленной нами выше схемой и что, следовательно, философская система его должна в общих чертах быть одинаковой с концепциями более поздних авторов.

Не менее убедительны примеры, взятые из дивана Ахмада Джāм [4].

---

1 15,1.

2 8,6.

3 23,2.

4 Цитирую по рукописи Аз. Муз. № 176h.

اگر از زلف تو يك حلقه پديدار آيد * اى بسا پير كه از خرقه بزنّار آيد [1]

Если из локонов твоих появится хотя бы одно кольцо, как много старцев от хырки перейдет к зуннару!

Полное соответствие с изложенным выше. Этот мотив Ахмад-и Джāм разрабатывает особенно охотно.

همه خوبان و شاهان جهانرا * ز خالت دانه و زلف تو دام است [2]

Для всех красавцев и царей мира твоя родинка — зерно, а локон — силок.

جز كمند زلف يارم در جهان * عاشقانرا پاى بند و دام نيست [3]

Кроме аркана локона друга моего в мире нет силка и ловушки для влюбленных.

زلف او دام بلا و خلق عالم صيد او
هر يكى جان ميدهد تاخود كه يابد دانهٔ [4]

Локон его силок испытания, а люди мира — дичь его, всякий отдает душу, чтобы только найти зерно.

Т. е., в поисках единства попадают в силок множественности.

كافرى جز در ميان تاب زلف يار نيست
گبرگى جز در بر آن نرگس خونخوار نيست [5]

Нет неверия нигде, кроме завитков локона друга, нет гебрства нигде, кроме груди этого кровожадного нарцисса!.

С той же последовательностью применяется термин *лицо*.

بسكه جانم ز تمناى رخ يار بسوخت
دل هر سوخته بر زارى من زار بسوخت [6]

---

[1] F. 22b.
[2] F. 8a.
[3] F. 7b.
[4] F. 46a
[5] F. 14a.
[6] F. 5b.

Так много горела душа моя от мечтаний о лике друга, что сердце всякого сожженного болезненно горит от моего горя.

با وجود درد خود درمان چکار آید مرا
بی جمال روی تو بستان چکار آید مرا[1]

При наличии болезни моей на что мне лекарство! Без красы лика твоего на что мне сад!

Здесь сад (bustān) поставлен вместо синонима ǰannat'= рай. Т. е., рай все-таки множественность, поэтому я отрекаюсь от него и ищу единства.

Полную аналогию находим и в диване Сенāи, несколько примеров из которого я приведу[2].

از فتنهٔ زلف مشکبارش * گوئی که همیشه در خماریم[3]

От смуты полного мускуса локона его мы словно постоянно в похмелье.

Указание на состояние, называемое суфиями sukrān.

چه رسمست آن نهادن زلف بر دوش * نمودن روز را در زیر شب پوش[4]

Что это за обычай спускать кудри до плеч, показывать день под покровом ночи!

فتنه را در عالم آشوب و شور * با سر زلفین تو اسرارها[5]

В мире смятения и волнения у смуты много тайн (общих) с двумя локонами твоими.

گرچه خوبست بگرد رخ تو زلف دراز * خط بسی خوبتر از زلف دراز آوردی[6]

---

[1] F. 4a.

[2] Цитирую по литографскому изданию без указания места и даты напечатания.

[3] P. 206.

[4] P. 190.

[5] P. 150.

[6] P. 246.

Хотя прекрасны длинные кудри вокруг лица твоего, но ты принес пушок гораздо более прекрасный, нежели длинные кудри.

Т. е., абсолютное единство лучше мира, хотя бы и прекрасного.

اندر خم زلف بت پرستت * حاجت نايد بروشنائى [1]

В кольцах твоих идолопоклоннических кудрей нет нужды в свете!

Опять указание на неверие в связи с кудрями. Пример на *лицо*.

ما عاشق روى آن نگاريم * زان خسته و زار و دلفگاريم [2]

Мы влюблены в лицо того красавца, оттого мы больны, жалки и страдаем сердцем.

Не могу обойти молчанием крайне своеобразной цитаты из того же дивана. Рассмотренные нами термины употреблены Сенаи не в мистическом смысле в касыде в честь Ибрахим-шаха Газневида. Однако при значительной близости к суфийской идеологии, все же эти образы не вполне покрываются с намеченной выше картиной.

قبلهٔ خود ساخته از پى ايمان و كفر * زلف نگون ترا روى ستان ترا [3]

Кыблой своей ты сделал для веры и неверия — спущенные локоны твои и поднятое лицо твое.

پرده زنان روز و شب حلقهٔ زلف ترا * غاشيه كش چرخ پير بخت جوان ترا [4]

Ночь и день (как рабы) поднимают завесу перед кольцом кудрей твоих, древний небосвод несет чепрак твоей юной судьбы.

---

[1] P. 243.
[2] P. 206.
[3] P. 147.
[4] ibd.

Быть может, здесь можно было бы видеть начало развития этой терминологии из светской преимущественно народной эротики, перешедшей к суфийским поэтам.

* * *

Важность составления подробного списка этих образов и основательного изучения их структуры самоочевидна. Строчки, которые при обычном подходе воспринимаются чисто внешне и европейскому читателю ничего не говорят, при таком изучении раскрываются, становится ясным истинное намерение автора и делается возможным правильное суждение о нем. Должен сделать еще одну оговорку. Я отнюдь не буду утверждать, что разработанная мною выше схема обязательна для всякого суфийского поэта и что иной возможности выразить свою мысль он не имеет. Правила без исключений возможны только в мертворожденных доктринах, а не в вызванных органической потребностью проявлениях человеческого духа. Основная черта творчества — свобода, в пределах известных рамок, создаваемых внутренней закономерностью того материала, которым пользуется творящий. Отсюда ясно, что отдельные яркие личности могут пытаться разбить созданную традицией форму и искать новых путей. Правда, для Востока, придающего большое значение традиции, эта черта мало характерна, но возможна она и там и довольно интересный пример такого сознательного отклонения от традиционной схемы я могу привести.

Это небольшое месневи турецкого поэта Шахиди Дэдэ, дервиша ордена Мевлеви, родившегося в местечке Муглэ провинции Ментешэ. Месневи носящее название Gülšän-i wahdät и законченное в 927/1521 г.,[1] представляет собой аллегорический рассказ о споре отдельных частей лица красавца между собой, своего рода развитое в целую законченную поэму *муназарэ*. В прозаическом предисловии автор сообщает, что написал ее под влия-

[1] Рукопись Аз. Муз. Nov. 29.

нием известной Manṭiq aṭ-ṭair ʻAṭṭāра и в подражание этому произведению, Тема Manṭiq aṭ-ṭair сравнение суфиев различных категорий, характеристика их путей и методов в достижении tawhīd причем отдельные типы суфиев аллегорически изображены в виде разных птиц. Шахиди ставит себе ту же задачу, но вместо птиц берет разные части лица красавца, как локон, родинку и т. п.

Следует отметить то обстоятельство, что Шахиди вполне ясно сознавал, какие затруднения возникнут на его пути, если традиционные образы он использует не в обычном их значении. Для избежания недоразумений он снабдил свою поэму пространным предисловием на персидском языке[1], где точно определяет значение своих терминов. «*Лицо*», поясняет он — «означает возлюбленного, который озаряет собрания их (т. е. суфиев) словно светоч». *Локон* — означает стремящегося к tawhīd'у влюбленного, которому открылась сущность тайны единства, причем он не может удержать ее и невольно словно Мансур (т. е. ал-Халлāдж) восклицает «Я Истина» (Ana-l-ḥaqq)[2].

Нельзя не признать, что сравнение выбрано довольно удачно и до известного предела, может быть, проведено. Но лишь до известного предела, полного соответствия мы здесь все-таки не найдем и в этом и сказывается слабость нашего автора по сравнению с освященной веками суфийской традицией. Я не буду вдаваться сейчас в полный анализ этого произведения, это отвлекло бы нас в сторону от нашей основной цели.

Сейчас, в заключение замечу только одно. Мы проделали сравнительно очень небольшую работу, рассмотрели весьма небольшую часть того обильного материала, который дает нам в распоряжение суфийская поэзия. Несмотря на это, результаты не замедлили сказаться. Мы сразу же почувствовали под ногами твердую почву и можем с уверенностью высказать суждения,

---

[1] Сама поэма написана по турецки.

[2] F. 363a.

которые без этой работы висели бы в воздухе, ничем не обоснованные. Это достижение показывает всю необходимость продолжения работы в намеченной нами плоскости. Каждый дальнейший шаг приведет к новым завоеваниям и в конце концов мы получим хороший и верный путеводитель, который предохранит нас от опасности сбиться с пути и погибнуть в зыбучих песках темных аллегорий персидского суфизма.

Е. Бертельс.

Л. 16. XI. 24.

Отдел IV.

М. Е. Салтыков — Щедрин.

(К 100-летию со дня рождения 15 / 27 января 1826—1926 гг.).

Экскурсии в область умеренности и аккуратности.

IV[1].

Как я уже не раз говорил, Молчалины отнюдь не представляют исключительной особенности чиновничества. Они кишат везде, где существует забитость, приниженность, везде, где чувствуется невозможность скоротать жизнь без содействия «обстановки». Русские матери (да и никакие в целом мире) не обязываются рождать героев, а потому масса сынов человеческих, невольным образом, придерживается в жизни той руководящей нити, которая выражается пословицей: лбом стены не прошибешь. И так как пословица эта, сверх того, подтверждается энергическим восклицанием: в бараний рог согну! — практическое применение которого сопряжено с очень солидною болью, то понятно, что Молчалины расплодились настолько успешно, что наводнили вселенную и заполнили все профессии.

Повидимому, литературе, по самому характеру ее образовательного призвания, должен бы быть чужд этот тип, а между тем, мы видим, что Молчалинство не только проникло в нее, но и в значительной мере прижилось. В особенности же угрожающие размеры приняло развитие лите-

[1] См. «Отеч. Зап.» за 1874 г. *Примечание автора.*

тературного Молчалинства с тех пор, как, по условиям времени, главные роли в литературном деле заняли не литераторы, а менялы и прохвосты. И в самом деле, что такое меняло или прохвост? — это, во-первых, отребье, а во-вторых — «столп», два качества, одинаково ограждающие человека от напастей. Что такое русская литература? — это ночлежный дом, в котором предполагается, находят себе приют мазурики, и в котором, поэтому, всякий *не* мазурик считает возможным сделать облаву. И вот, для того, чтоб оградить себя от облав, препредполагаемые мазурики (они же «мошенники пера» и «разбойники печати») и припускают к литературе менял и прохвостов, которые яко «столпы», облавам не подлежат.

С литературным Молчалиным меня познакомил тот самый Алексей Степаныч, о котором я уже не раз беседовал с читателем. В одну из минут откровенности, объясняя мартиролог Молчалиных-чиповников, он сказал в заключение:

— Да это еще что! мы, можно сказать, еще счастливчики! А вот бы посмотрели на мученика, так уж подлинно мученик! Я, например, по крайности, знаю своего преследователя, вижу его, почти руками осязаю, — ну, стало быть какова пора ни мера и оборониться от него могу. А он и преследователя то своего настоящим манером назвать не может, а так, перед невидимым каким-то духом трепещет.

— Кто ж это такой?

— Да тезка мой, тоже из роду Молчалиных (так расплодился, уж так расплодился нынче наш род!) и Алексеем же Степанычем прозывается. Только я чиновник, а он журналист, газету «Чего изволите?» издает. Да на беду, и газету-то либеральную. Так ведь, он день и ночь словно в котле кипит, все старается, как бы ему к преследователю-то своему в мысль попасть, а к какому преследователю, и есть-ли у того преследователя какая-нибудь мысль, — и сам того не ведает.

— Да, это не совсем ловкое положение. Что жь это, однако, за Молчалин? Я что-то не слыхал об таком имени в русской литературе. Литератор он что-ли?

— Литератор он не литератор, а в военно учебном заведении воспи-

тывался, так там вкус к правописанию получил. И в литературу-то недавно поступил — вот, как волю-то объявили. Прежде, он просто табачную лавку содержал, накопил деньженок да и посадил их в газету. Теперь и боится.

— Воля ваша, а я про такого газетчика не слыхал.

— Что мудреного, что не слыхал! говорю тебе: они нынче все из золотареӣ. Придет, яко тать в нощи, посидит месяц — другой, подписку оберет — и пропал. А иному и посчастливится. Воть хоть бы мой Молчалин, например: третий год потихоньку в лавочке торгует — ничего, сходит с рук!

— И шибко он боится?

— Так боится, так боится, что можно сказать, вся его жизнь — одна лихорадка. Впал грешным делом в либерализм, да и сам не рад. Каждый раз, как встретит меня: уймите, говорит, моих передовиков! А что я сделать могу?

— Да, передовики, особенно наши, — это я вам скажу, народ. . . . Начнет об новом способе вывоза нечистот писать — того гляди, в Сибирь сошлют!

— Да если б еще его одного сослали — куда бы не шло. А то, сколько по сторонам нахватают — вот ты что сообрази! Сообщники да попустители, да укрыватели — сколько наименований-то есть! Ах мой друг! неровён час! все мы под Богом ходим!

— Что и говорить! Впрочем, ведь оно и мудрено иначе-то. Бродит человек по близости — как тут разгадать, простой-ли он прохожий, или попуститель?

— А как его предварительно в укромное-то место посадишь, так оно вернее!

— Да; а потом и разобрать можно. Если он подлинно только прохожий — ну, и пусть себе идет на все четыре стороны!

— То-то вот и есть. А тезку-то моего даже и за прохожего никак принять невозможно. Такое уж его положение, что прямо говорят: науститель! А какой он науститель! Рублишка до смерти хочется — вот и вся завязка романа. Он ежели в первый раз человека видит, так и то в голове у него только одна мысль:

вот кабы мне этакого-то подписчика! Да не хотите-ли я познакомлю вас с ним?

— Что-жь, пожалуй...

— И не бесполезно будет, я вам скажу. Может быть, грешным делом фельетончик напишете — он ведь за строчку-то по четыре копейки платит!

Мы условились, что в следующее же воскресенье, в первом часу утра, я зайду к Алексею Степанычу, и затем вместе отправимся к его тезке.

В условленный час, мы были ужь в квартире Молчалина 2-го.

Нас встретил пожилой господин, на лице которого действительно ничего не было написано, кроме неудержимой страсти к правописанию. Он принял нас в просторном кабинете, по середине которого стоял большой стол, весь усеянный корректурными листами. По стенам расположены были шкафы с выдвижными ящиками, на которых читались надписи: «безобразия Свияжские», «безобразия Красноуфимские», «безобразия Малоархангельские» и проч. Ко мне Молчалин 2-й отнесся так радушно, что я без труда прочитал в его глазах: 5 копеек за строчку — без обмана! и будь мой навсегда! К Алексею Степанычу он обратился с словами:

— Да уйми ты, сделай милость, моих передовиков!

— Бунтуют?

— Республики, братец, просят!

— А ты бы сказал, что республики не дадут?

— Смеются. Это, говорят, ужь ваше дело. Мы дескать люди мысли, нам нужна истина теоретическая, а там дадут или не дадут — это для нас безразлично.

— Да неужто-жь им в самом деле республики хочется?

— Брюхом, братец! вот как!

— А я так позволяю себе думать, вмешался я, — что они собственно только так... Знают, что вам самим эта форма правления нравится — вот и пишут....

Молчалин 2-ой приосанился.

— Ну да, конечно, сказал он: — разумеется, я... Само собой,

что по мнению моему республика... И в случае, например, если б покойный Луи Филипп... Однако, согласитесь, что не для всех же народов республика пригодна!

— Еще бы! воскликнул я: — существуют народы, для которых и Управы Благочиния — за глаза довольно.

— Вот это-то самое я им и твержу. Господа, говорю, чувства ваши очень похвальны, и я сам при случае готов... ну там, «vive Mac-Mahon» что-ли... ведь это все равно, что по нашему: ура! Но не все же говорю народы...

— Та-та-та! стой братец! прервал Алексей Степаныч: — сам-то ты не твердо говоришь — вот они и не понимают. Народы да народы... какие такие «народы»? Кто об «народах» говорит? Прямо говорил бы: а в кутузку хочешь?! Сразу бы поняли!

— Да ведь это оно самое и есть, почтеннейший друг! «Есть народы», — а дальше ужь всякий и сам должен разуметь: такие-мол народы, для которых кутузка есть, так сказать, пантеон...

— И все-таки повторю: выражаешься не явственно! Никаких «народов» нет, а есть Управа Благочиния, и то, что в пределах ее ведомства состоит. Так и сказывай!

— Так-то так, Алексей Степаныч! счел долгом заступиться я: — да ведь нельзя редактору так просто выражаться. Редактор — ведь он гражданское мужество должен иметь. А между тем, оно и без того понятно, что ежели есть «народы, которые», то, очевидно, что это — те самые народы и суть, для коих, как ужь и выразился господин редактор, «кутузка» представляет своего рода пантеон. И я уверен, что и сотрудники газеты «Чего изволите?» хорошо понимают это, но только предпочитают, чтоб господин редактор сам делал в их статьях соответствующие изменения.

Молчалин 2-ой горько усмехнулся.

— Да-с, предпочитают-с, сказал он: — да сверх того потом на всех перекрестках подлецом ругают!

— Так что, с одной стороны, ругают сотрудники, а с другой, угрожает начальство? Действительно, не весьма ловкое это положение!

Молчалин 2-ой на минуту потупился, словно бы перед глазами его внезапно пронесся дурной сон.

— Такое это положение! такое положение! наконец воскликнул он: поверите-ли всего три года я в этой переделке нахожусь, а ужь болезнь сердца нажил! Каждый день слышать ругательства, и каждый же день ждать беды! Ах!

— И как мне сказывал Алексей Степаныч, неприятность вашего положения осложняется еще тем, что вы боитесь, сами не зная кого и чего?

— И не знаю! ну вот, ей Богу, не знаю! Еще вчера, например, писал об каком-нибудь предмете, писал бесстрашно — и ничего сошло! Сегодня, опять тот-же предмет, с тем же же бесстрашием, тронул — хлоп! Батюшки! да за что! А за то, говорят, что вчера было писать *благо*временно, а ныньче — *неблаго*временно. А я почем знал?

— «А я почем знал!» передразнил Алексей Степаныч: — а нос у тебя на что? А сердце-вещун для чего? Коли ты благонамеренный, так ведь сердце-то па всяк час должно тебя остерегать!

— Рассказывай! Тебе хорошо, ты *своего* проник — ну и объездил! А вот худо, как и объездить некого! поди, угадывай, откуда гроза бежит!

— Да неужто же нет способов? вмешался я: — во-первых, как сказал Алексей Степаныч, у вас есть сердце-вещун, которое должно вас остерегать, а во-вторых, ведь и писать можно приноровиться... ну, аллегориями что ли!

— То-то и есть, что на аллегории ныньче мастеров нет. Были мастера, да сплыли. Ныньче, все пишут с плеча, периодов не округляют, даже к знакам препинания холодность какая то видится. Да вот, позвольте, я прочту, что мне тут один передовик напутал. Кстати, вместе обсудим да тут же и исправим. А то, я ужь с утра мучусь, да понимание что-ли во мне притупилось; никакой аллегории придумать не могу.

Мы согласились. Молчалин 2-й взял со стола корректурный лист и начал:

С. Петербург. 24 июля.

«На этот раз мы вновь возвращаемся к вопросу, который уже не

однажды занимал нас. Пусть, впрочем, читатель не сетует за частые повторения: это вопрос животрепещущий, вопрос жизни и смерти, вопрос, от правильной постановки которого зависит честь и спокойствие всех граждан. Одним словом, это вопрос, известный под скромным наименованием вопроса «о числе и качествах городовых», но в сущности, проникающий в сердце нашей жизни гораздо глубже, нежели можно с первого взгляда предположить»...

— Гм... кажется это можно?

— По моему мнению, не только можно, но и... ах, Боже мой! да самая мысль, что честь и спокойствие граждан зависят от городовых. Помилуйте! я сам сколько раз порывался... сколько раз сам думал: от чего бы это, в самом деле, зависело?.... и вдруг такой ясный и вполне определенный ответ! воскликнул я в восхищении.

— А по моему, так и тут есть изъянец, расхолодил мой восторг Алексей Степаныч: — кажется, и всего одно словечко подпущено: «граждан», а сообразите-ка, чем оно пахнет! Какие-такие, скажут, «граждане»? Откуда такое звание взялось? У нас, батюшка, нет «граждан», а всякий — сам по себе! Ты сам по себе, я сам по себе! А то «граждане»! Что за новое слово такое? Да и конец, признаюсь, мне не нравится. «Проникающий гораздо глубже, нежели можно с первого взгляда предположить»... Какой такой «первый взгляд»? И что тут еще «предполагать»? Припахивает, братец, припахивает!

— Чем же бы ты, однакожь, заменил слово «граждан»?

— А «обыватели» на что! И для тебя спокойно, и особенного гнусного нет. «Честь и спокойствие обывателей» — чем худо?

— Гм... да... вы как думаете, обратился Молчалин 2-ой ко мне?

— По моему «граждане» возвышеннее; но коль скоро болезнь сердца развита у вас в такой сильной степени, то безопаснее пропустить «обывателей»...

— Так уж я....

Он помуслил карандаш, поскреб им на полях корректурного листа и продолжал:

«Но для того, чтоб отнестись к делу правильно, необходимо начать нашу речь несколько из далека. Известно, что единовла-

стие, ничем не ограничиваемое, всегда приводит государство на край гибели, а в конце концов и само погибает в той пропасти, которую постепенно подготовляет себе полным и наглым непризнанием иных руководящих начал, кроме необузданности и внезапности. Это общее правило, которое»....

— Ну, это, брат, штуки! Этого и Мак-Магон не пропустит! прервал чтение Алексей Степаныч.

Я с своей стороны тоже сомнительно покачал головой.

— А что я вам говорил! почти крикнул Молчалин 2-й — говорил я вам, что они всегда так: начнут об бляхах для городовых, а свернут на единовластие! Что мне делать? скажите, что делать-то мне с ними?

— Я бы на твоем месте, всю эту тираду похерил, а вместо нее легонькую бы похвалу градоначальнику пустил! посоветовал Алексей Степаныч.

— Как так?

— Да так вот. Известно — мол, что в подобных делах многое зависит от градоначальников, а наш — мол градоначальник постоянным и просвещенным вниманием к нуждам обывателей.... А потому: обращаем, дескать, взоры наши!... В надежде-мол, что скромные наши замечания будут приняты не яко замечания, но яко дань... Словом сказать, округли, защипни, помасли, положи по вкусу соли да и ставь в печку, в легкий дух, благословясь!

— И я вполне с этим согласен, сказал я: — только, признаюсь, одно слово в редакции Алексея Степаныча я бы переменил. Он выразился? *многое* зависит от градоначальника, а я бы сказал: *все!*

— А что вы думаете! Ведь мысль не дурна! Потому что хоть и пыжатся господа передовики: единовластие да единовластие! — а чего, например, каких результатов они достигли хоть бы в ихней пресловутой Франции? Тогда как, с Божьей помощью, у нас...

Он не договорил и быстро начал бегать карандашем по корректуре.

— Ну, так слушайте, как оно у меня теперь вышло:

«Но для того, чтобы отнестись к делу правильно, необходимо начать нашу речь несколько из далека. Известно, что власть градоначальника, ежели она вручена лицу просвещенному и согре-

васмому святою ревностью к общественному благу, и ежели притом она не стесняется посторонними придирчивыми вмешательствами, не только не приводит государств на край гибели, но даже полагает основание их величию и благоденствию. Мы же в этом отношении можем назвать себя даже особенно счастливыми, ибо у нас есть именно такое лицо, какое для нашего величия требуется. Мы никого не называем, но сердце всякого обывателя столицы безошибочно подскажет ему, о ком мы говорим. Каждый обыватель ежедневно, можно сказать, ежечасно и ежеминутно сознает себя очевидцем неусыпности и прозорливости, и конечно, не может не понимать, кому он этим обязан. Поэтому, если мы и решаемся посвятить столбцы наши важному вопросу о численном составе и качествах городовых, вопросу, волнующему в настоящую минуту лучшие наши умы, то отнюдь не в видах поучения, ниже совета, а лишь в форме скромного и благопочтительного мнения, принять или не принять которое будет, конечно, зависеть от благоусмотрения. Примется наше мнение — мы будем этим польщены; не примется — мы и на это сетовать не станем».

— Хорошо что-ли так будет?

— Ужь так-то хорошо, что даже я и не ожидал, похвалил Алексей Степаныч: — и подлости прямой нет — потому, ты никого не назвал — а между тем, в нос ведь, братец, бросится!

— Ну, а вы что скажете? обратился ко мне Молчалин 2-й.

— Хорошо, даже очень хорошо, но, признаюсь, и тут имею сделать небольшое замечаньице, которое, по мнению моему, не лишне будет принять к сведению. В новую редакцию вы перенесли из прежней (разумеется, с сообщением отрицательного смысла) слова: «не только не приводит государств на край гибели»... Конечно, я понимаю, что вы это сделали единственно ради того, чтобы по возможности сохранить труд наборщика, но людям, не посвященным в тайны корректуры, эта фраза может показаться сомнительною. Могут спросить себя: с чего это вдруг пришли ему на ум «государства, приводимые на край гибели»? Нет-ли иронии тут какой-нибудь, иронии, которую наружная восторженность похвалы делает еще более едкою и чувствительною?

— А ведь замечание-то справедливое! согласился со мною и Алексей Степаныч.

Молчалин 2-й задумался.

— Справедливое-то, справедливое, произнес он, наконец: — а жаль! Фраза то ужь больно ловка!

— Да; но что нибудь из двух одно. Если вы желаете, по прежнему, пользоваться болезнью сердца, то, конечно...

— Стой! Я придумал! вдруг нашелся Алексей Степаныч: — фразу оставить можно, только дополнить ее надо. И дополнить так: «как думают некоторые распространители превратных идей» — вот и все.

— Отлично, согласился Молчалин 2-й, и, тут же сделав надлежащее исправление, продолжал:

«Токвиль говорит: монархи, доводящие свое властолюбие»...

— Марай! вскричал Алексей Степаныч: — и читать дальше не нужно. Марай!

Молчалин 2-й, даже не возражая, провел крест на корректурном листе.

«Гнейст, подтверждая это мнение, с своей стороны присовокупляет»: Монарх, который....

— То Гнейст, а то русская газета «Чего изволите»! Марай, любезный, марай!

«Людовик XVI не даром со слезами на глазах собственноручно набирал знаменательные слова Тюрго: pauvre France! pauvre roi!. Этот добродушный самодержец инстинктивно чувствовал, что он последний прирожденный король Франции и Наварры, и что отныне имя Бурбонов всецело перейдет на главы тех русских офицеров, которые выслужились из кантонистов и сдаточных».

Молчалин 2-й умолкнул. Мы тоже молчали. Казалось, мы находились под гнетом какой-то неожиданности.

— Марай! марай! марай! первый опомнился Алексей Степаныч.

Но, к изумлению, Молчалин 2-й заупрямился.

— Позволь, однако, тезка! сказал он: — ведь ежели все то марать, так пожалуй, и обстановки никакой у статьи не будет. Все эти ссылки

и анекдоты, конечно, не стоят ломанного гроша, однако, попробуй без них статью выпустить — голо́ будет!

Он вопросительно взглянул на меня.

— Если вы желаете знать мое мнение, сказал я: — то оно резюмируется в одном слове: марайте! Конечно, анекдот об Людовике XVI очень хорош, но ведь собственно говоря, при тех переменах, которые вами сделаны выше, он уж как-то и не подходит. Ведь вы повели речь об градоначальнике, — с какой же стати тут Людовик XVI?

— Гм... да, вот это так. Действительно, оно... Но согласитесь, что это тяжело. И каждый ведь день, каждый день мы должны приносить эти жертвы!

Он вздрогнул; но взял карандаш и твердою рукой начертал крест на корректурном листе. Затем он продолжал:

«Все это мы припоминаем здесь с той целью, чтоб общество не слишком полагалось на своих исконных попечителей, чтоб оно не думало, что дела его будут устроены к наилучшему концу помимо его собственного участия, чтоб оно не складывало рук, но ждало спасения единственно от самого себя. Пусть общество остережется, пусть оно станет бодро на страже своих собственных интересов, ибо, в противном случае, вся ответственность падет на него самого! Самозванные попечители не дремлют... Они уже теперь взвешивают все последствия, какие может иметь то или другое решение вопроса о городовых? От кого будет зависеть определение и увольнение городовых? Кто будет заготовлять для них провиант и обмундирование? — вот задачи, которые предстоит разрешить. И ежели общество отнесется к ним равнодушно, то в руках его попечителей очутится страшное орудие: возможность ежечасно, даже ежемгновенно воздействовать на граждан посредством морально-полицейского давления. Но этого мало: кто может поручиться, что в настоящем деле расчеты попечителей исчерпываются одною моральною стороною? что тут нет и значительных материальных расчетов, особенно по статьям «обмундирования» и «содержания в исправности чижовок (кстати о чижовках: вопросу о том, как они должны быть устроены и

могут ли быть допускаемы в них, в виде исправительной меры, клопы, мы на днях посвятим особую статью)»?

— Ну, это уж я сам! сказал Молчалин 2-й, и тут же, с неимоверной быстротой исправив что нужно, прочитал:

«Все это мы говорим с тою целью, чтоб общество всецело и с доверчивостью поручило себя в этом деле мудрости, прозорливости и испытанной попечительности начальства. Пусть общество остережется, пусть оно воздержится от излишней ревности к тому, что иные беспокойные умы хотят навязать ему под громким, но фальшивым именем общественных интересов. Ежели оно неуместным вмешательством в вопросы, непосредственно до него не относящиеся, возмутит мирно почивающую поверхность, и возбудит в среде самого себя раздоры и свары, то вся ответственность падет на него самого! Люди, стоящие на вершине горы видят дальше и стреляют успешнее, нежели люди, стоящие у подошвы горы, или в низине. И горе тем, которые дерзостно заслоняют собою развертывающиеся перед ними перспективы! Не забудем, что во всех благоустроенных государствах роль общества есть роль содействователя и исполнителя, но отнюдь не инициатора, а тем менее какого-то не призванного учителя. Пускай же и наше общество явит себя в этом случае достойным государства столь несомненно благоустроенного, каким, по справедливости считается Россия. Мы русские — и гордимся этим. До сих пор, мы всегда вели себя с достоинством и твердостью, «в надежде славы и добра», как выразился наш незабвенный национальный поэт, — чтó же может помешать нам вести себя и на будущее время таким же достославным образом? Нам говорят о каких-то опасениях, но в чем же, однако, они могут состоять? Ежели при этом имеется в виду усиление так называемого морально-полицейского давления, то такого рода опасение, по малой мере, отзывается ребячеством. Ежели же имеются в виду какие-то темные материальные выгоды (в особенности, по статьям: «обмундирование» и «содержание в исправности чижовок»), то эти опасения могут быть названы даже недостойными»!

— Как теперь?

— Ужь что и говорить! ты, коли захочешь, так разутешишь! И ведь что дорого — газета-то либеральная!

Однако я и тут счел долгом умерить восторг Алексея Степаныча.

— Я вполне согласен, что это превосходно, сказал я — но и в этом отрывке позволю себе указать на один изъянец, совершенно подобный тому, об котором я только что упоминал. Зачем оставили вы в новой редакции слова: «в особенности, по статьям»: «обмундирование» и «содержание в исправности чижовок»? В общем строе речи, эти слова представляются на столько неожиданными, что каждый мало-мальски либеральный столоначальник в праве спросить себя: с какой стати явились тут чижовки и обмундирование? Не ирония ли это? не в том ли состоит затаенная мысль автора, чтобы дать понять читателю, что хапанцы по части обмундирования до сих пор представляют обычный modus vivendi полицейских чинов? Не знаю, как вы, но я... право, я вычеркнул бы эти слова. Вы чего желаете? Вы желаете, чтоб ваша газета выходила каждый день — это ясно. Но ежели это ясно, то ясно также, что вы и действовать обязываетесь сообразно с вашими желаниями, то есть: ни малейших двусмысленностей не допускать. Ибо, в противном случае, ваша газета будет выходить не каждый день, а через день, и даже, быть может, один раз в месяц!

— Справедливо! воскликнул Алексей Степаныч: — похеривай, братец, похеривай!

Замечание мое было выполнено. Исправив корректуру, Молчалин 2-й продолжал:

У общества есть свои собственные органы, не имеющие ничего общего с теми, которые навязываются ему извне. Этим-то органам и обязано общество сочувствием и содействием, ибо ежели они видят себя покинутыми, то весьма естественно, что самая деятельность их постепенно становится вялою и лишенною жизненной силы. Напротив того, ежели они сознают, что обще-

ство, хотя и строго, но ревниво следит за их действиями, — они невольно сбрасывают с себя оковы апатии, и вступают в борьбу с удесятеренными силами. Все дело именно в том, на чьей стороне находятся общественные симпатии, и хотя деспоты, как говорит Монтескье, охотно пренебрегают публичным мнением, но, в сущности, они только *делают вид,* что пренебрегают, внутренне же бывают в восхищении, если общество им сочувствует. Следовательно, в разрешении вопроса, нас занимающего, главная роль должна принадлежать не самозванным попечителям общества, а действительным представителям и защитникам интересов его. И так как эти последние имеют законную организацию (а не суть сборища узурпаторов и случайно сошедшихся людей, как это инсинуируют те, для которых подобные инсинуации выгодны), то пусть же эта организация поймет важность той роли, которая ей предстоит, пусть сознает себя не посторонней в этом деле и исхитит его из рук, не имеющих никакого законного повода прикасаться к нему. Тогда только, и только тогда вопрос, нас занимающий, будет поставлен прочно и решен правильно».

— Слушайте-ка, да уж не национальной-ли гвардии он хочет? заподозрел я.

— Верно, что так, сказал Молчалин 2-й, — ну, и это, пожалуй, я сам.

Он принялся за работу, и через несколько минут прочитал:

«Нам, может быть скажут, что общество имеет свои органы, которые-де представляют собою не сборище узурпаторов и случайно сошедшихся людей, но законно установленную организацию, и что главнейшая и законом признанная обязанность этих органов состоит в том, чтобы представлять интересы своих избирателей и защищать их от неполезных посягательств. Увы! все это слова, слова, слова, как выразился великий сердцеведец Шекспир. Никто не спорит, что названные выше органы имеют дозволенное законом существование и занимают не последнее место в ряду институтов новейшего времени, но чтобы на них

лежала обязанность защищать обывателей от каких-то фантастических посягательств — вот с чем мы не можем согласиться, и не согласимся никогда. Чтоб допустить возможность подобной обязанности, необходимо в то же время допустить и возможность посягательств. Но где же они? спрашиваем мы всех и каждого. В чем они состоят? Пусть попробуют наши противники ответить на эти вопросы — и мы охотно будем дебатировать их, дебатировать честно, искренно, во всеуслышание. А до тех пор, мы будем смело утверждать, что бессмысленно ставить целым учреждениям специальною задачею борьбу со злом, на которое никто гласно указать не может, и которое, следовательно, имеет все права, до представления доказательств, считать себя не существующим.

— Отлично! отлично! отлично! безусловно похвалил Алексей Степаныч (у старика даже слезы выступили на глазах).

— Отлично, согласился и я: — но одно только маленькое замечаньице...

— Позвольте! несколько сухо прервал меня Молчалин 2-й — знаю, что вы хотите сказать. Вы, конечно, найдете излишним начало (об «узурпаторах»), а может быть, предпочли бы вычеркнуть и конец, начиная со слов: «на которое никто» и т. д. Я понимаю это. Не забудьте, однако, что моя газета либеральная, и самим начальством признается за таковую. В подобной газете, полное однообразие тона было бы не только неуместно, но и неожиданно. Положение либеральной газеты может быть резюмировано в следующих немногих словах: мы готовы притти к вам, но укажите пути и сохраните нам нашу независимость. И поверьте, начальство понимает это, и снисходительно смотрит на заблудших овец коль скоро замечает в них рождающийся вкус к обращению.

— А ведь он прав! обратился ко мне Алексей Степаныч: — на этот счет он провидец, мой друг! И овца, как найдет потерянную ярочку — ужь она лижет-лижет ее! Так-то и начальство!

— Да; но вы говорите: укажите пути и сохраните нам нашу

независимость! Мне кажется, что если указывают пути, то уже тем самым...

— Нет-с, ужь это позвольте! Это ужь мы с Алексеем Степанычем лучше знаем. По прежним вашим замечаниям, я делал соответствующие исправления беспрекословно. Но ужь на этот раз, любезный коллега, прошу извинить! Чорт побери! Журналист — это не просто человек улицы, это, так сказать, делегат общественного мнения! Он должен высоко держать свое знамя!

Размысливши несколько, и я должен был согласиться, что Молчалин 2-й прав. В самом деле, как часто случается нам читать выражения, в роде «осмеливается высказать», «позволяем себе думать» и т. п. — И что же, начальство не только не взыскивает за это, но даже, как бы не видит в подобных поступках ничего буйственного. Вероятно, тут существует какая-нибудь секретная конвенция, а может-быть, и просто тонкая внутренняя политика. Что «независимые голоса» необходимы и полезны — это признано нынче всеми, равно как всеми же признана и польза оппозиции — от чего жь бы не воспользоваться этим и нам... конечно, умненько? Не даром же, в штатах департамента Этимологии и Правописания значится: «независимых голосов» столько-то! Нет, это не даром. Вся «политика» собственно в этом и состоит. Интересно только бы знать, присвоено ли этим голосам соответствующее от казны содержание, или же они обязываются быть сытыми, припеваючи: «из чести лишь одной я в доме сем служу»?

Между тем, Молчалин 2-й продолжал:

«И потому, мы обращаемся не к самозванным попечителям нашим, а к тем излюбленным органам общественных интересов, на которых исключительно почиют наши упования. Постараемся при этом быть кроткими и не притязательными в наших требованиях. Вот они:

«*А. По вопросу о качествах городовых.*

«Городовые должны обладать гражданским мужеством.

«Они должны быть добродетельны.

«Обращаясь с гражданами снисходительно и человеколюбиво,

они собственным примером обязываются внушать им склонность к добродетели и к мирным забавам. При чем, отнюдь не дозволяется брать за воротник тех граждан, которые примерным своим поведением того не заслуживают.

«Относительно своего начальства, городовые должны быть почтительны, но с достоинством, и никак не подобострастны. Они имеют право делать ближайшим начальникам представления, ежели найдут их распоряжения нелепыми, или стесняющими свободу граждан.

«Они назначаются к должностям по избранию мест и лиц, облеченных общественным доверием, и сменяются не иначе, как по суду. Судятся равными (par leurs pairs) и не иначе, как в публичном заседании, так сказать, всенародно.

«Люди зазорной нравственности и явные прелюбодеи не могут быть назначаемы на места городовых, при чем, однако жь, не возбраняется пользоваться услугами таковых людей в качестве экспертов и сыщиков».

— Ась? каково покажется? в негодовании воскликнул Молчалин 2-й, швырнув корректуру на стол.

— Все что ли?

— Нет, есть и еще; но я спрашиваю вас, какова штука?

— Да брат, штука важнецкая. По моему, нужно все это похерить.

— Похерить-то, похерить, да ведь и заменить нужно. Помогите хоть вы, господа! Ну, вы, например? обратился Молчалин 2-й ко мне.

Я внял его просьбе, взял лист бумаги и через две три минуты, статья о качестве городовых приняла, под пером моим, следующий вид:

«А потому, мы обращаемся в настоящем случае не к тем излюбленным нашими радикалами, учреждениям, которые во всякое время готовы разыграть из себя жалкое подобие Парижского Hôtel de ville, но к тем высокопоставленным лицам, которым самою непререкаемою властию вверено охранение нашей

столицы от наплыва неблагонадежных элементов. К ним обращаемся мы, и позволяем себе почтительнейше надеяться, что наши скромные замечания не будут оставлены без прочтения, тем более, что они кратки и неутомительны. Вот предположения наши:

«*А. По вопросу о качествах городовых.*

«1) Городовые должны обладать телосложением мужественным, способным выносить всякие атмосферические перемены и противостоять возможным в их звании случайностям. Физическая их сила должна быть вне всякого сомнения.

«2) Городовые должны быть добродетельны, особливо в рассуждении спиртных напитков.

«3) Относительно обывателей, они соблюдают возможную, по обстоятельствам, вежливость, не доводя, впрочем, оной до баловства. По сему, хватание прохожих людей за воротник (в просторечии «шиворот»), хотя и не представляет вполне совершенной формы для сношений с обывателями, однако, и не возбраняется, ежели последствием сего мероприятия будет удовлетворительное разрешение недоразумения, грозившего в своем начале принести горький плод.

«4) Относительно своего начальства, городовые обязываются, каждый раз при появлении, делать под козырек. Никакие представления городовых на счет нелепостей начальственных распоряжений не приемлются.

«5) В домашнем быту, городовые должны быть умерены в обращении с семейными, не производить дома драк или шума, и в продовольствии своем преследовать идею сытости, но отнюдь не объядения. При чем, однакожь, не возбраняется им по праздникам печь пироги (о том, в какие табельные дни и с какой начинкою должны быть пироги см. в приложении табель № I).

«6) Городовые, яко лица, непосредственным своим начальством определяемые, оным же и судятся келейно и без допущения стенографов. Хотя же при сем и допускается расстреляние, но лишь в самых необходимых случаях и с крайнею осмотри-

тельностью, дабы, чего Боже сохрани, не расстрелять невинного.

«7) Ежели городовой усмотрит скопище, по всем видимостям, намеревающееся произвести злоумышление, или ниспровержение, или бунт, то он обязывается, взяв таковое под караул, отвести в подлежащий участок и сдать под росписку дежурному полицейскому чиновнику (форму расписки см. в приложении № 11). По исполнении сего, он имеет вновь возвратиться к своему посту, и там ожидать нового злодейского скопища.

«8) Люди зазорной нравственности и явные прелюбодеи не могут быть назначаемы на места городовых. О том же какого сорта лица имеют быть допускаемы в качестве экспертов и сыщиков, мы предоставляем себе поговорить секретно в особой статье.

— Я потому не развиваю подробнее предположений о качествах сыщиков и экспертов, сказал я: — что, по мнению моему, в настоящую минуту это было бы не своевременно. Но с другой стороны и совершенно умолчать об этом предмете — неудобно, потому что читатель вправе был бы сказать себе: — «Эге! видно он потому не упоминает об сыщиках, что писать-то об этом предмете руки у него коротки»! Тогда как теперь, читатель будет вполне удовлетворен: некоторое время он действительно будет ожидать обещанной статьи, но потом плюнет — и дело с концом!

Оба Молчалина нашли мою редакцию вполне удовлетворительною, а Алексей Степаныч даже удивился, как я в такое короткое время, почти в одночасье, успел так ловко проникнуть в виды и соображения.

— Нервы у меня.... впечатлительность... объяснил я.

— Я одно только позволю себе заметить, сказал Молчалин 2-й: — мне кажется, что во втором пункте, оговорка относительно крепких напитков в практическом применении, должна встретить неодолимые затруднения. Иногда, городовому без того нельзя. А потому, я полагал бы се выбросить, или редактиро-

вать следующим образом: «и крепкие напитки употреблять с таким рассчетом, чтобы начальство заметить сего не могло». С вашего позволения?

— Сделайте одолжение! ведь мне, собственно говоря, все равно!

— Ну-с, а теперь будем продожать:

«*Б. Относительно числа городовых.*

«Городовые должны находиться безотлучно на всяком месте, где может угрожать опасность свободе граждан, или, иными словами, на каждом углу, образуемом двумя улицами. А так как таковых углов в нашей столице, по малой мере, тридцать тысяч, то, полагая на каждый по три смены городовых, получится армия в девяносто тысяч человек, которые, будучи руководимы излюбленными гражданами, могут, в случае нужны, составить оплот.

«Мы кончили. Мы высказали наше мнение смело и решительно, и столь же смело и решительно, будем ждать последствий его. Имеяй уши слышати, да слышит»!

— Позвольте ужь мне и это проредактировать, разохотился я.

— Помилуйте! с величайшим удовольствием!

Я взял перо и написал:

«*Б. Относительно числа городовых.*

«1) Городовые должны находиться на всяком месте, ибо всякое место может служить ареною, на которой имеет произойти ежечасно наплыв неблагонадежных элементов.

«2) На всякий пост полагается по три смены городовых.

«3) Таким образом получится бесчисленная армия, которая, будучи руководима прозорливым умом, может, в случае надобности, представить благонадежный оплот.

«Мы сказали. Мы сделали свое дело искренно, честно, открыто, следуя прекрасной старинной французской поговорке: fais ce que dois, advienne ce que pourra. Будущее, конечно, от нас не зависит, но мы взираем на него без опасения».

— Гм... я одного только опасаюсь, задумался Молча-

лин 2-й: — ежели на всяком месте будут городовые, ведь тогда, пожалуй, ни пройти, ни проехать будет нельзя!

— Ну, брат, и потеснимся маленько, не велики мы с тобой баре! сказал Алексей Степаныч.

— И то правда! порешил Молчалин 2-й: — да и вообще... Какое мне, собственно говоря, дело, можно ли будет пройти и проехать!

— Ну, разумеется! Правь, братец, правь!

Опытная рука Молчалина 2-го проворно забегала по корректуре.

— Ну-с, а теперь, господа, я попросил бы вас уделить мне и еще часок-другой, обратился он к нам: — есть у меня еще статейка — это, я вам доложу, похитрее будет.

Вторая часть рукописи, начиная с разбора новой статьи: «С.-Петербург. 27 июля. Материалистические учения, которые в настоящую минуту увлекают за собою современное молодое поколение»..., — почти совпадает с печатной редакцией. Укажу здесь лишь важнейшие отличия, отмечая крупным шрифтом не вошедшее в печатную редакцию.

Так на листе 9 об. рукописи читаем:

«Ибо что же мы, в самом деле, знаем о Черном море? Вы пишете: сиротеет Черное море! — а может быть, оно и не «сиротеет»! Может быть, там и не весть что затевается!».

Далее, на том же листе 9 об. рукописи находим:

«...Везде, где метет пол или аллею шлейф паскудной кокотки — везде, будьте в том уверены, встретите вы и трущегося около нее действительного статского кокодесса»... — «Стой! это что же такое? кого же он под действительными-то статскими кокодессами разумеет? изумился Алексей Степаныч.

— Вероятно, это наши молодые действительные статские советники, скромно объяснил я: — названные так ради игры слов. Молоды они — ну, и трутся в свободное от занятий время!

Наконец, в рукописи после заключительных слов печатной редакции:

— «А знаете ли что? сказал я Алексею Степанычу: — ведь мне все кажется, словно я эти два часа в помойной яме просидел!», —

следует:

«Но Алексей Степаныч с обычным своим добродушием поспешил разуверить меня.

— С непривычки это, мой друг! Такие ли помойные ямы бывают! Вот я бы тебе помойные ямы показал, так те ужь полтораста лет чистят, да и еще, пожалуй, на полтораста же лет чистить осталось!».

Настоящий очерк представляет собою первоначальную редакцию IV главы «Экскурсий в область умеренности и аккуратности», запрещенную цензурой осенью 1875 года. Осенью следующего, 1876 года Салтыков ее переработал и после новой борьбы с цензурой напечатал в сентябрьской книжке «Отечественных Записок». Подробную историю возникновения обеих редакций и их цензурных мытарств можно теперь установить по «Письмам» М. Е. Салтыкова-Щедрина (Труды Пушкинского Дома Академии Наук СССР, Государственное Издательство, 1924—1925 г.), к которым и отсылаем интересующихся.

Перед нами оригинал (писано повидимому рукой жены Салтыкова, Елизаветы Аполлоновны) с типографской разметкой (карандашом — цифры и фамилии наборщиков). Мы сверяем его с печатной редакцией «Отечественных Записок», отмечая разночтения, принадлежащие рукописи, более крупным шрифтом. При этом становится вполне наглядной большая работа, проделанная Салтыковым, отчасти — из художественных соображений, но главным образом — цензурного страха ради. К сожалению, недостаток места не позволяет дать под строкою параллельных разночтений печатной редакции, позднее вошедших в отдельные издания «Экскурсий», а затем и в собрания сочинений. При параллельном сличении выявилось бы особенно ярко художественное превосходство нашей первоначальной редакции. Передовицу «О числе и качествах городовых», которую можно без преувеличения отнести к числу шедевров Щедрина, ему пришлось заменить довольно бесцветной полемикой с газетою «И шило бреет». Извлечения из этой передовицы были мною впервые опубликованы в ж. «Петроград», 1923, № 5.

Н. Яковлев.

Краткий отчет о работе Научно-Исследовательского Института сравнительного изучения литератур и языков Запада и Востока при Ленинградском Государственном Университете за 1925-26 г.

Научно-Исследовательский Институт сравнительного изучения литератур и языков Запада и Востока при Ленинградском Государственном Университете (ИЛЯЗВ) возник в 1921 г. под названием «Института имени А. Н. Веселовского», осенью 1923 г. был преобразован и с настоящего 1926 г. включен в состав Российской Ассоциации Научно-Исследовательских Институтов Общественных Наук (РАНИОН).

Институт ведет, во-первых, теоретическую, научно-исследовательскую работу в области языков и литератур всего мира; во-вторых, практическую, научно-учебную работу по подготовке аспирантов, языковедов и литературоведов, к самостоятельной научно-исследовательской деятельности и преподаванию в высших учебных заведениях. Деятельность Института регулируется Положением о Научно-Исследовательских Институтах, входящих в Ассоциацию, а также индивидуальным уставом, утвержденным Главнаукой.

Во главе Института стоит Коллегия, в состав которой ныне входят: действительные члены — Н. С. Державин (Председатель Коллегии и Директор Института), Н. Я. Марр и В. Ф. Шишмарев, научные сотрудники I разряда — Г. Е. Горбачев, В. Б. Томашевский и Н. В. Яковлев (Ученый СекретарьИнститута).

Институт делится на Отделения (два), Секции (четырнадцать) и группы.

Отделение Языка (I) распадается на семь Секций (имеющих нумерацию по нечетным числам): Секция Общего Языкознания (1), Председатель — действительный член Н. Я. Марр, Секретарь — научный сотрудник I разряда Л. П. Якубинский; Секция Индо-Европейского Языкознания (3), Председатель — действительный член Л. В. Щерба, Секретарь — научный сотрудник I разряда С. П. Обнорский; Секция Яфетического Языкознания (5), Председатель — н. с. 1 р. В. Б. Томашевский, его замещал д. чл. Н. С. Державин, Секретарь—н. с. 1 р. А. Н. Генко, затем асп. С. В. Быховская; Секция Семито-Хамитического Языкознания (7), Председатель — научный сотрудник I разряда М. Н. Соколов, секретарь — аспирант Н. В. Юшманов; Секция Турецко-Монгольского

и Угро-Финского Языкознания (9), Председатель — действительный член А. Н. Самойлович, Секретарь — научный сотрудник I разряда Н. Н. Поппе; Секция Китайского Языкознания (11) — организуется; Секция Палеазиатского и Американского Языкознания (13) — организуется.

Отделение Литературы (II) распадается на пять Секций (имеющих нумерацию по четным числам): Секция Методологии и Теории Литературы (2) — организуется; Секция Новой и Новейшей Литературы (4), Председатель — действительный член Н. К. Козмин, Секретарь — научный сотрудник I разряда Б. В. Томашевский; Секция Литературы Средних Веков и Возрождения (6), Председатель — действительный член В. Н. Перетц, Секретарь — научный сотрудник I разряда Б. А. Кржевский; Секция Литературы Древнего и Ирано-Эллинистического мира (8), Председатель — действительный член В. В. Струве, Секретарь — научный сотрудник I разряда Б. В. Казанский; Секция Литературы Индии и Дальнего Востока (10), Председателем первоначально был действительный член Ф. И. Щербатской, Секретарь — действительный член В. М. Алексеев.

Вне Отделений работает Секция «Живой Старины» (фольклора), Председатель — действительный член Д. К. Зеленин, Секретарь — научный сотрудник I разряда Н. Е. Ончуков.

ОТДЕЛЕНИЕ ЯЗЫКА (I).

Секция Общего Языкознания (1).

Секция организована 28 Сентября 1925 г. В состав ее входят: действительные члены — М. Г. Долобко и Н. Я. Марр (Председатель); научные сотрудники I разряда — С. М. Доброгаев, В. Б. Томашевский, Б. М. Энгельгардт, Л. П. Якубинский (Секретарь); научный сотрудник II разряда — В. К. Орфинская; аспиранты — В. И. Абаев, и Э. Л. Лемберг.

В работе Секции также принимают участие: действительные члены — Н. С. Державин, Д. К. Зеленин, В. В. Струве, Л. В. Щерба; научные сотрудники I разряда — А. П. Баранников, Б. А. Ларин, И. И. Мещанинов, С. П. Обнорский, аспиранты — М. С. Альтман, С. А. Быховская, Я. В. Лоя-Туркс. и Н. В. Юшманов.

Основная задача Секции — разработка теоретических и методологических вопросов языкознания на основе материалистического понимания языковых явлений и на материале всех доступных членам Секции языков; в частности Секция разрабатывает методы палеонтологического изучения языков.

Основной коллективной темой работ Секции за истекшие восемь месяцев ее существования было: «Теоретические и методологические изучения взаимодействия между языковыми единицами»; по этой теме были прочтены доклады: Л. П. Якубинским «Словарное запмство-

вание, как лексикологическое явление», Л. В. Щербой «Теоретическое разграничение понятия заимствования и смешения в языке», М. Г. Долобко «О границах сравнительно-грамматического метода на материале некоторых заимствованных слов в славянских языках», В. В. Струве «Связь между демотическим и коптским языком (к истории египетского языка)», С. П. Обнорским «Славяно-грузинские языковые взаимоотношения», В. И. Абаевым «О словарном составе осетинского языка», Б. А. Лариным «Вопросы лингвистического изучения города». В этом же плане работы на очереди доклады: Н. Я. Марра «Из отношений древне-литературных и народных языков Кавказа», Н. С. Державина «Албано-болгарские языковые взаимоотношения», А. П. Баранникова «О языковом смешении на почве индусских языков», Л. П. Якубинского «К вопросу о взаимоотношениях между яфетическими языками и индо-европейскими» (в связи с докладом С. П. Обнорского). В перечисленных выше докладах были использованы материалы языков яфетических, индоевропейских, турецких, финно-угорских и др.

Кроме вышеперечисленных докладов был заслушан доклад Я. В. Лоя-Туркса «Против субъективного идеализма в языкознании» (критика взглядов И. А. Бодуэна де Куртенэ и Л. В. Щербы).

Секция Индо-Европейского Языкознания (3).

Секция организована 3 октября 1925 г. В состав ее входят: действительные члены — В. М. Жирмунский, Е. Ф. Карский, Б. М. Ляпунов, А. А. Фрейман, Л. В. Щерба (Председатель); научные сотрудники I разряда — А. П. Баранников, С. И. Бернштейн, С. К. Боянус, В. А. Брим, Д. В. Бубрих, В. В. Виноградов, С. А. Еремин, А. Н. Имшенецкая-Жилинская, Е. С. Истрина, Б. А. Ларин, И. И. Мещанинов, С. П. Обнорский (Секретарь), Н. Е. Ончуков, М. М. Рындин, И. А. Фалев, Л. П. Якубинский; прикомандированный Наркомпросом Белорусск. ССР — С. М. Некрашевич; научные сотрудники II разряда Л. В. Арасимович, В. Б. Шкловский; аспиранты — Л. Я. Браве, Н. А. Гревс-Шайтан (сконч.), Я. В. Лоя-Туркс, М. И. Матусевич, М. А. Соколова; прикомандированный — Б. В. Лавров.

В работе Секции также принимают участие: действительные члены — Д. К. Зеленин, П. К. Симони, В. В. Струве, В. Ф. Шишмарев; научные сотрудники I разряда — Н. К. Дмитриев, К. Д. Дондуа, А. И. Никифоров, М. Л. Троцкая, А. А. Смирнов; научные сотрудники II разряда — А. И. Емельянов и В. К. Орфинская; аспиранты — В. И. Абаев, С. Г. Бархударов, Б. Я. Гейман, И. И. Зарубин, Б. А. Ильиш, Э. А. Лемберг, И. А. Лихачев, С. А. Быховская, Н. В. Юшманов; представленные ныне в аспиранты: А. А. Драгунов, В. В. Ивашова, С. И. Ожегов, Н. Л. Степанов, и А. Н. Штрем. при-

командированный Белорусским Гос. Университетом Л. Ш. Виленкин.

Заседания Секции с научными докладами посещают на правах гостей студенты или окончившие Университет и другие ВУЗ'ы, преподаватели средней и высшей школы и иные работники научных учреждений — Ц. Амбалов, Е. Д. Бломквист, Вольпин, Н. Г. Гадд, Н. П. Гринкова, Е. П. Динариева, В. В. Дроздова, П. П. Ефименко, Т. Н. Жирмунская, А. А. Захарова, Э. Ю. Иогансон, В. Кесаев, Н. В. Кузнецова, Лагодовская, М. С. Ляпунова, К. Т. Мартинсон, О. Н. Никонова, А. О. Савицкий, П. Ф. Тараторкина, А. В. Шмидт, Н. Эмлер, Н. К. Ядрышев.

Индо-Европейская Секция ведет исследования в области различных языков так наз. индоевропейской ветви, как в современной их стадии, так и в перспективе исторического их развития. В Секции намечен ряд широких по заданиям тем исследования, требующих и длительного времени и коллективного участия в их разработке. Из числа этих тем, коллективно разрабатываемых при общем руководстве Секции, можно отметить ряд словарных предприятий; таковы — планы составления словарей русских писателей, составление словаря этнографической диалектологии, подготовка материалов к русскому идеологическому (синонимическому) словарю и др.

Наиболее интенсивно в последний год шла выработка планов по составлению словарей русских писателей, в частности — над соответственной лексикологической проработкой комедии Грибоедова (Горе от ума). На состоявшихся в текущем году семи заседаниях специально выделенной Словарной Комиссии, конкретным образом разрабатывались отдельные пробные статьи к словарю Грибоедова применительно к известным грамматическим категориям (имя существительное, прилагательное, глагол, наречие, союз, предлог). Крайняя сложность работы вытекает из широких побочных заданий, которые имеется в виду выполнить при составлении словарей отдельных писателей. В этом смысле цель Словарной Комиссии дать не только исчерпывающий словарь данного писателя, т. е. индекс слов, употребляемых писателем, но дать этот материал в возможно полнейшей фонетической, морфологической, синтактической и семантической обработке. Создание подобного примерного словаря к комедии Грибоедова могло бы послужить вообще образцом для работ этого рода и облегчить соответственные начинания по словарному изучению писателей, ведущиеся в различных местах любителями-исследователями по единоличному почину и естественно в каждом данном случае по индивидуально намеченному плану. В работах Комиссии принимали участие: С. И. Бернштейн, Е. С. Истрина, С. П. Обнорский, Д. В. Бубрих, Л. В. Щерба, Л. П. Якубинский, С. А. Еремин, И. А. Фалев, Б. А. Ларин и др.

Другою, особенно сложною коллективной работой, руководимой

Секцией, служит составление словаря этнографической диалектологии. По широте намеченных заданий работа требует организации предварительного собирания известного этнографического материала на местах. В этих целях в текущем году шла работа по составлению примерных вопросников (анкет) для рассылки их на места и собирания по ним интересующего материала. В работе принимали участие С. А. Еремин, Б. А. Ларин, Л. П. Якубинский, Н. Е. Ончуков, И. А. Фалев, Б. М. Ляпунов, С. П. Обнорский, Л. В. Щерба, Е. Ф. Карский и др.

Из иных тем коллективного характера, разрабатываемых в Секции, следует назвать: изучение числительных в различных языках Средиземноморья (работа вошла в план исследований Яфетического Института), изучение вопросов синтаксиса различных языков (занятия велись в специально выделившейся соответственной Комиссии) исследование церковно-славянских элементов в русском литературном языке (доклад В. В. Виноградова — Проблемы изучения церковнославянизмов в истории русского литературного языка) и др.

Помимо работ коллективного характера Секция в лице почти всех входящих в ее состав отдельных членов ведет разработку индивидуальных тем, относящихся к изучению самых разнообразных языков индоевропейской ветви. Так были заслушаны и обсуждены научные доклады: по русскому языку, диалектическому и литературному (Н. П. Гринковой «О некоторых говорах Задонского и Землянского уу. Воронежской губ., С. Обнорского: «Именит. мн. на -ья в существительных в русском языке», 3 III 26); по славянским языкам (Л. В. Арасимович «Двойственное число в сербо-лужицком», 2 VI 26); по германской языковой ветви, по романской, по индийской (Е. Г. Кагарова «Синтаксис в современном yidisch 12 V 26). Особенного замечания заслуживают сообщения на темы о взаимоотношении индоевропейских языков с иными языковыми ветвями. Таковы доклады В. А. Брима «Лингвистические заметки по истории прагерманцев» (17 III 26) и Д. В. Бубриха «Некоторые этнографические и географические названия Севера Европы» (31 III 26), коснувшиеся проблем о связи германских языков с языками финской ветви (Д. В. Бубрих), с языками яфетическими (В. А. Брим).

Следует, наконец, упомянуть о ряде реферативных сообщений, периодически делаемых на заседаниях Секции, о разных новых изданиях по лингвистике — Б. М. Ляпунова, А. П. Баранникова, Д. В. Бубриха, М. М. Рындина; А. И. Емельянова; Л. Я. Браве, М. И. Матусевич).

Секция Яфетического Языкознания (5).

В состав Секции входят: действительные члены — Н. С. Державин, Н. Я. Марр; научные сотрудники I разряда — А. И. Генко, К. Д. Дондуа, И. И. Мещанинов, С. П. Обнорский,

В. Б. Томашевский; аспиранты — В. И. Абаев, С. В. Быховская (Секретарь).

Секцией намечены коллективные работы: 1) лингвистич. встречи сев. и юж. кавк. языков с учетом их наличия в соседящих иранских (курдском, осетинском, татском), турецких, включая явно скрещенные типы (азербайджанском, балкарском, карачайском, кази-кумукском, табасаранском), вне кавказских яфетических (баскском, вершикском, чувашском), с языками окружения каждого (романскими, иранскими, финскими и казирским-турецким) и в изолированных индоевропейских (армянском, албанском) (рук. Н. Я. Марр); 2) Яфет. элементы в слав. языках (Н. С. Державин, С. П. Обнорский); 3) составление осетино-черкесского словаря (А. И. Генко, В. И. Абаев), а также индивидуальная работа по абхазскому языку К. Д. Дондуа.

Секция Семито-Хамитического Языкознания (7).

Секция основана 10 ноября 1925 г. В состав ее входят: действительные члены — А. П. Алявдин, П. К. Коковцов, И. Ю. Крачковский; научные сотрудники I разряда — П. В. Ернштедт, М. Н. Соколов (Председатель), И. Ю. Маркон; аспиранты — Н. В. Юшманов (Секретарь); прикомандированный — Я. С. Виленчик.

В работе Секции также принимают участие: действительные члены — В. В. Струве, И. Г. Франк-Каменецкий; аспиранты — И. Г. Бендер, И. М. Лурье, М. Э. Матье, Ю. П. Францов; аспирант Университета — А. Ф. Рифтин.

В Секции представлены языки: абиссинский, арабский, арамейский, ассиро-вавилонский, еврейский, египетский, коптский и хымьярский. За отсутствием специалистов не представлены берберские и кушитские языки.

В качестве коллективных тем приняты: «Выяснение родства между семитическими и хамитическими языками», «Перфект и имперфект в семитических и хамитических языках», «Роль живых арабских говоров в сравнительной грамматике семитических языков».

С ноября 1925 г. по май 1926 г. Секция заслушала ряд сообщений своих работников. Сообщения посвящены исследованиям в области еврейской (доклады И. Ю. Маркона «Об одной еврейской рукописи из собрания Фирковича» и «Один намек Талмуда на наличие двух авторов книги Исайи», 19 I 26 и 9 II 26; И. Г. Франк-Каменецкого «Мотив блудной жены в пророчестве Осии», 11 V 26), арабской и египетской филологии, а также в области сравнительной семитической фонетики. Особого внимания заслуживают работы В. В. Струве, исследовавшего некоторые весьма темные стороны египетского языка (доклады: «К вопросу о Пи'эле в египетском языке» и «Манефон, как свидетель египетского языка своего времени», 2 III 26) и Н. В. Юшманова, разъяснившего целый ряд загадочных звуковых переходов в семитических языках и показавшего замечательную точность и внимательность туземных арабских уче-

ных в деле описания и систематики звуков своей родной речи (доклады: «Лабиринт переднеязычных согласных в сематических языках» и «Пересмотр туземного арабского учения о звуках», 9 II 26 и 23 III 26).

Часть сообщений появилась в печати, в «Докладах» и «Известиях» Академии Наук СССР, на русском, французском и немецком языках, и одобрительно встречены заграничными специалистами.

Кроме того, участниками работ Секции составляются словари (новоарабский разговорный и арамейский), грамматики (арабская и арамейская); исследуются, комментируются и издаются памятники из рукописных собраний СССР (арабские, еврейские, сирийские и коптские).

Международные сношения Секции выразились в получении приветствия от парижского семитолога проф. Марселя Кохена и в отправлении приветственной телеграммы старейшему и выдающемуся семитологу проф. Теодору Нельдеке по случаю 90 лет со дня его рождения (Нельдеке ответил Секции благодарственным письмом)

Секция Турецко-Монгольского и Угро-Финского Языкознания (9).

Секция возникла 5 октября 1925 г. В состав ее входят: действительные члены — А. Н. Самойлович (Председатель); научные сотрудники I разряда — Д. В. Бубрих, Н. К. Дмитриев, С. Е. Малов, Н. Н. Поппе (Секретарь); научный сотрудник II разряда — А. И. Емельянов; аспиранты — Н. И. Воробьев, Г. А. Старцев; прикомандированные Туркестанским Гос. Университетом Э. А. Шмидт и К. К. Юдахин, из Автономной области Коми — В. А. Молодцов.

В работе Секции также принимают участие — Секретарь Правления ЛИЖВЯ Г. Н. Таланов; командированные из Чувашской области сотрудники Яфетического Института Академии Наук СССР — Т. М. Матвеев и Ф. Т. Тимофеев.

Основной задачей Секции является объединение научных работников — специалистов по языкам турецким, монгольским и финно-угорским для коллективной работы в области соответствующих языков и языковых семей, как напр. работ по составлению словарей, совместного решения вопросов сравнительного языкознания — турецко-монгольского, с одной стороны, и финно-угорского, с другой, а также разработки урало-алтайской теории и посильного разрешения вопроса об отношении турецко-монгольской языковой семьи к финно-угорской.

С начала существования Секции по апрель 1926 г. было проведено одиннадцать заседаний Секции, на которых был прочтен ряд докладов по вопросам турецкого, монгольского и финно-угорского языкознания.

В силу численного перевеса в Секции турокологических сил естественно наибольшей плодотворностью отличаются занятия Секции

в области турконогии. Это необходимо здесь особенно подчеркнуть тем более, что на долю Секции в ее туркологической части выпала ответственная задача по подготовке целого ряда вопросов, впоследствии поставленных в программу Первого Всесоюзного Туркологического Съезда в Баку, на котором большинству из Ленинградских туркологов, полностью входящих в состав Секции, надлежало выступить с докладами по целому ряду вопросов туркологии. Секция в ее туркологической части самым деятельным образом приступила к подготовительным работам к Съезду и, как показали впоследствии результаты, вполне справилась со своей задачей.

Помимо того, что значительная часть туркологических научных докладов на Съезде была прочтена именно членами Секции, последние приняли также деятельное участие в разработке целого ряда практических вопросов современного культурного строительства турецких республик Союза ССР. Программа деятельности Секции, как это выяснилось впоследствии на Съезде, оказалась правильно выбранной, ибо все намеченные Съездом мероприятия и выдвинутые им для осуществления в ближайшее время задачи в области научного исследования турецких народов в лингвистической части оказались предвосхищенными Секцией, как напр. мысль об организации составления полных словарей отдельных турецких наречий и составление на их основании полного этимологического словаря всех турецких наречий.

В связи с подготовительными работами к Съезду и независимо от них на заседаниях Секции были прочтены ее членами следующие доклады: А. Н. Самойловичем: 1) о составлении сравнительного словаря турецких наречий, 2) О постановлениях Организационного Комитета Туркологического Съезда в Баку (информационный), 3) Итоги и перспективы изучения живых турецких наречий, 4) О словах на «дж» в джагатайском языке; С. Е. Маловым: 1) Итоги изучения древних турецких наречий, 2) Итоги изучения турецких наречий Сибири; К. К. Юдахиным: 1) Место карабулакского говора в классификации турецких наречий и 2) Современное состояние исследования узбецкого языка, 3) О грамматике узбецкого языка Поливанова; Н. К. Дмитриевым: 1) Основные этапы изучения османского языка; Э. А. Шмидтом: Современное положение изучения туркменского наречия, и Н. Н. Поппе: 1) Итоги и перспективы алтайского сравнительного языкознания и 2) О статье Златарского о булгарском именнике.

В области финно-угорской был прочтен доклад Д. В. Бубрихом на тему «К вопросу о происхождении гармонии гласных в финно-угорских языках».

Кроме туркологов, монголистов и финнологов в Секцию входят также представители тунгусского языкознания. Членами Секции тунгусоведами ведется в настоящее время важная работа по изучению тунгусских наречий. Здесь необходимо упомянуть, что членом Секции, Ректором Ленинградского Института Живых Восточных

Языков, П. И. Воробьевым подготовляются материалы по дахурскому наречию, а сотрудником Секции Н. Н. Поппе подготовлен к печати ряд образцов речи тунгусского народа с переводами и словарь.

Секция китайского языкознания (11) — организуется.

Секция Палеазиатского и Американского языкознания (13) — организуется.

ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ (II).

Секция методологии и теории литературы (2): организуются группы социологии и теории литературы (поэтики).

Секция новой и новейшей литературы (4).

Секция ведет начало от группы новой литературы, работавшей в 1923 году под председательством Н. К. Козмина в составе Славяно-греческой Подсекции бывш. 5-й Секции Института. В 1924 г. была образована самостоятельная Секция новой и новейшей литературы (первоначально 7-я, ныне 4-я).

В состав ее ныне входят: действительные члены — Д. И. Абрамович, В. М. Жирмунский, Н. К. Козмин (Председатель), В. В. Сиповский, И. И. Соколов, Б. М. Эйхенбаум; научные сотрудники I разряда — С. Д. Балухатый, Г. П. Бельченко, В. В. Виноградов, П. А. Горчинский, С. А. Золотарев, Н. В. Измайлов, Л. К. Ильинский, А. С. Искоз-Долинин, К. К. Истомин, Б. А. Кржевский, В. Л. Комарович, Б. А. Ларин, В. Е. Максимов-Евгеньев, Я. А. Назаренко, А. И. Никифоров, Ю. Г. Оксман, А. В. Попов, М. М. Рындин, А. Л. Слонимский, В. С. Спиридонов, Ю. Н. Тынянов, Б. В. Томашевский (Секретарь), А. И. Фомин, К. А. Шимкевич, Б. М. Энгельгардт, М. А. Яковлев, Н. В. Яковлев; научный сотрудник II-го разряда — В. В. Рахманов; аспиранты: П. Я. Берков, В. А. Будрин, В. И. Бутакова, Б. Я. Бухштаб, В. Б. Враская, Д. И. Выгодский, К. И. Глебко, Г. А. Гуковский, Д. П. Данилов, П. П. Евстафьев, В. А. Зильбер, Б. И Коплан, Л. Б. Модзалевский, М. Н. Мотовилова, Н. Л. Степанов, Н. А. Терещенко, Д. П. Якубович, Р. М. Булгакова; представленные ныне в аспиранты: Е. В. Базилевская, Е. Е. Аничкова, Е. Б. Гиппиус-Покровская, Е. Н. Дубов, прикомандированные: В. А. Дроздовский, Н. А. Коварский.

В работах Секции также принимают участие студенты старших курсов Л. Г. У. и посторонние лица: тт. Журбина, С. П. Гуревнин, Н. В. Егорова, Г. Д. Вержбицкий, Л. Я. Гинзбург, С. А. Переселенков.

Основной задачей Секции является изучение международного литературного обмена и в частности — литературного общения России и Запада. Более специальные вопросы в национальном раз-

резе разрабатываются в соответствующих группах (русская литература XVIII и XIX века, декабристы, Пушкин, русская журналистика, критики и публицистика, современная русская литература, литература и школа).

За полтора года существования Секции работа ее выразилась в следующем:

В пленуме Секции заслушано 32 доклада, велась регулярная работа в группах и организовано 3 открытых заседания: 1) памяти В. Брюсова, 1 декабря 1924 г, с 7 докладами — Ю. Тынянова, В. Жирмунского, А. Малеина и Б. Томашевского, 2) памяти декабристов, 10 января 1926 г., с 4 докладами — Н. Державина, Ю. Оксмана, Ю. Тынянова и В. Евгеньева-Максимова, и 3) памяти М. Е. Салтыкова-Щедрина, 27 января 1926 г., с докладами — Н. Яковлева, В. Евгеньева-Максимова, А. Гизетти, С. Золотарева и Б. Эйхенбаума.

В виду того, что большинство участников Секции разрабатывает историко-литературные проблемы, связанные с эпохой 30 годов, XIX века, в настоящее время Секция выдвигает, как стержневую тему, изучение июльской революции в ее литературных, идеологических и художественных отражениях на Западе и у нас.

Из прочитанных в Секции в 1924—1926 гг. сообщений надо выделить прежде всего те, которые посвящены вопросам литературного обмена России: с Англией (доклады: Н. В. Яковлева «Пушкин и Кольридж» и «Пушкин и Соути», 24 XI 24 г. и 21 IX 25 г.; Д. П. Якубовича «Пушкин и Вальтер Скотт», «Источники Дубровского», «Лермонтов и Вальтер Скотт», 15 XII 24 г., 19 X 25 г., 22 II 26 г.; В. В. Сиповского «Диккенс и Теккерей в русской литературе 60 годов» 25 I 26 г.), Францией (доклады: М. Н. Мотыловой «Ш. Нодье в русской журналистике Пушкинской эпохи», 2 II 26 г.; Г. А. Гуковского «Юношеские романы Жюль Жанена», 23 II 25 г.; Б. В. Томашевского «Пушкин и Лафонтен», 9 III 25 г.; Г. А. Гуковского «Трагедия Хераскова в ее отношении к французской классической трагедии», 24 XI 24 г.), Германией (доклад В. В. Сиповского «Влияние Гейне на русскую литературу 60 годов»), Грецией (доклад И. И. Соколова, «Литературная деятельность А. Кораи», 27 IV 25 г.), а также сообщения по вопросам русской литературной традиции (доклады: Д. П. Данилова «Русская классическая трагедия конца XVIII века», 23 III 26 г.; К. А. Шимкевича «Бенедиктов, Некрасов, Фет», 6 IV 26 г.; Ю. Н. Тынянова «Пушкин и архаисты» и «Трагедия Кюхельбеккера «Аргивяне» и ее источники», 4 V 25 г. и 8 II 26 г.; А. А. Гизетти «Русские и западные вдохновители Л. Андреева», 11 V 25 г.; В. Л. Комаровича «Литературное заимствование в сюжете «Братьев Карамазовых» и «Рукописная традиция романа Достоевского «Подросток», 18 V 25 г. и 7 XII 25 г.; К. К. Истомина «Стилистическая судьба комедии» «Недоросль», 29 VI 25 г.). Надо отметить также доклады с теоретическим уклоном: Б. М. Энгельгардта

«Роман Достоевского, как новый жанр», 11 I 25 г.; С. Д. Балухатого «О новаторской форме драм Чехова», 26 I 25 г.; А. С. Искоза-Долинина «О мемуарах, как жанре», 5 X 25 г.; В. А. Зильбера «Сенковский», 8 II 26 г.; В. В. Виноградова «Стилистическая конструкция новеллы 30 годов», 22 III 26 г.; В. В. Сиповского «О сущности литературных влияний» 5 VII 26 г.

Отдельные группы работали в общем в том же направлении с несколько большей специализацией.

В группе литературного общения России и Запада (рук. Н. К. Козмин) надо отметить доклады: В. В. Рахманова «Сервантес в России XVIII века; Н. К. Козмина «Пушкин и Ривароль», «Пушкин и Шамфор»; Е. Е. Аничковой «Литературные источники сказки Пушкина о Царе Салтане»; Б. В. Томашевского «Французская литература 30 годов в письмах Пушкина к Е. М. Хитрово». Кроме того ряд докладов вынесен в пленум Секции (см. выше). — В группе русской литературы XIX века (рук. Д. И. Абрамович) были сделаны сообщения: Б. Я. Бухштаба »О раннем Вельтмане; В. А. Будрина «О влиянии Пушкина на Гоголя»; Е. В. Базилевской «Некрасов и Карамзин»; В. Л. Комаровича «Агиографические источники «русского инока» Достоевского»; А. С. Искоза-Долинина «Последний роман Тургенева»; К. К. Истомина «Стилистический анализ «Губернских Очерков»; В. Е. Максимова-Евгеньева «Салтыков и «реакционная» беллетристика», и др. — В группе по изучению Пушкина (рук. Б. В. Томашевский) велась коллективная работа по описанию пушкинских рукописей и был прочтен ряд докладов.

В группе современной литературы (рук. С. А. Золотарев) предметом изучения было творчество писателей: Ляшко (докл. Р. М. Булгаковой), Бабеля, Тихонова (докл. Н. Л. Степанова), Пастернака (докл. Б. Я. Бухштаба), Федина (докл. Л. Я. Гинзбург) Елены Гуро (докл. А. А. Гизетти), А. Белого, Мандельштама (докл. В. А. Гофмана), Эренбурга (докл. В. А. Зильбера).

Группа журналистики, критики и публицистики (рук. В. С. Спиридонов) поставила своею основною задачей описание русских журналов с начала XIX века, как продолжение труда А. Н. Неустроева. С этой целью в ряде заседании детально проработана по проэкту, предложенному А. Г. Фоминым, специальная «Инструкция по описанию журналов», ныне изданная Институтом для руководства его молодых сотрудников, студентов старших курсов Л. Г. У., а также всех заинтересованных учреждений и лиц, работающих в том же направлении. Помимо того группой были заслушаны доклады: В. С. Спиридонова «Белинский в редакции С. Венгерова», «Островский, как критик» и «О методах библиографирования журналов в трудах Межова»; В. Е. Максимова-Евгеньева «Из истории журнальной деятельности Салтыкова-Щедрина»; С. Д. Балухатого «Салтыков-Щедрин в драматической цензуре»; А. А. Гизетти о журналах 1905—07 годов; Б. И. Коплана «К истории

русских журналов XVIII века» и «Periodica» в библиотеке М. Н. Лонгинова»; Г. Д. Вержбицкого «Плетнев, как редактор «Современника»; Е. В. Базилевской «К истории «Современника» (Некрасова)», и др.

Институтом ныне выпущен, под наблюдением Н. В. Яковлева, сборник «Пушкин в мировой литературе» в издании Государственного Издательства (1926 г., VII + 410 стр., ц. 4 р.). В состав его вошли статьи: С. Я. Лурье «Гавриилиада» Пушкина и апокрифические Евангелия»; А. И. Малеина «Пушкин, Аврелий Виктор и Тацит»; Б. В. Томашевского «Пушкина и Буало»; С. В. Савченко «Элегия Ленского и французская элегия»; Н. К. Козмина «Пушкин о Байроне»; Н. В. Яковлева «Из розысканий о литературных источниках в творчестве Пушкина: 1) «Сонеты Пушкина в сравнительно-историческом освещении», 2) «Перевод Пушкина из поэмы Вордсворта «Экскурсия», 3) «Пушкин и Кольридж», 4) «Пушкин и Соути»; Д. П. Якубовича «Предисловие к «Повестям Белкина» и повествовательные приемы Вальтер-Скотта»; И. И. Соколова «Пушкин в новогреческом переводе»; К. Д. Дондуа «Пушкин в грузинской литературе»; Ю. Н. Тынянова «Архаисты и Пушкин»; А. С. Полякова «Картина бурана у Пушкина и С. Аксакова»; Н. В. Измайлова «Пушкин и В. Одоевский»; Г. В. Маслова «Послание Лермонтова к Пушкину 1830 г.»; К. А. Шимкевича «Пушкин и Некрасов».

Секция литературы средних веков и возрождения (6).

Секция основана 31 октября 1925 г. (Председатель В. Н. Перетц, Секретарь Б. А. Кржевский) и распадается на три группы: Романо-Германскую, Славяно-Византийскую, с подгруппой современного славянства, и Ближне-Восточную.

Задача Пленума Секции — объединять деятельность групп в работах сравнительного характера, посвященных выяснению взаимных отношений между вышеуказанными тремя литературно-языковыми мирами. В виду трудности задачи, Секция естественно не могла развить в первый же год особенно интенсивной работы. Ставились доклады общего характера: В. М. Жирмунского «О новой теории происхождения германского эпоса», 21 XI 25 г.; А. А. Смирнова, «Основные проблемы изучения ирландского эпоса», 15 V 26 г.; В. Н. Перетца «История русской литературы в изображении немецкого ученого (А. Лютер)», 13 II 26 г.; К. А. Копержинского «Современные опыты научно-популярного освещения украинской литературы», 29 V 26 г.; а также более специальные: В. П. Адриановой «Древне-русские пародии (XVII—XVIII вв.) 12 XII 25 г.; Л. К. Ильинского «Путешествие Неизвестного в 1698 г. в Западную Европу», 9 I 26 г.; И. И. Фетисова «Сборник Агапия Критянина «Грешных спасение» в русской

письменности и народной словесности (квалификационная работа) 27 II 26 г.

Романо-Германская группа (6-й Секции).

В состав группы входят: действительные члены — В. М. Жирмунский, В. Ф. Шишмарев (Председатель), Л. В. Щерба; научные сотрудники I разряда — А. А. Гвоздев, С. К. Боянус, В. А. Брим, Б. А. Кржевский (Секретарь), А. А. Мерварт, М. М. Рындин, А. А. Смирнов, М. Л. Троцкая; аспиранты: а) романисты — О. К. Афанасьева-Васильева, Р. М. Булгакова, Д. И. Выгодский, К. Н. Державин, П. И. Иванов, Н. А. Мухина, В. М. Никитина, и прикомандированные — Е. И. Гомберг-Певзнер и И. И. Соллертинский; б) германисты — Б. Я. Гейман, Б. А. Ильиш, И. А. Лихачев, Д. И. Тувим-Левинсон, и прикомандированный Белорусским Гос. Университетом Л. Ш. Виленкин.

В работах группы также принимали участие научные сотрудники II-го разряда — В. Б. Шкловский и В. В. Рахманов.

Группой были организованы ряд коллективных работ: описание старо-французских, провансальских и итальянских рукописей Государственной Публичной Библиотеки (рук. В. Ф. Шишмарев); составление сводного каталога испанских книг ленинградских хранилищ (рук. Б. А. Кржевский); Фольклор и язык немецких колонистов в России (рук. В. М. Жирмунский).

За период с ноября 1925 г. по 25 июня 1926 г. имело место 15 заседаний, на которых было заслушано 14 докладов и сообщений: М. Н. Рындина «О французском стиле» (к истории enjambement), 14 XI 25 г.; М. Л. Троцкой «Жан-Поль в России» (библиографические материалы), 5 XII 25 г.; В. Ф. Шишмарева «Сообщение о заграничной командировке» (Скандинавия, Италия, Франция), 19 XII 26 г.; В. К. Миллера (проф. Московского Гос. Университета) «Личные мотивы в творчестве Шекспира», 16 I 26 г.; И. И. Соллертинского «Проблемы изучения французской буржуазной драмы XVIII века», 30 I 26 г.; К. Н. Державина «Фонетические особенности испано-мексиканской речи» и «К вопросу о происхождении румын», 27 II 26 г. и 10 IV 26 г.; А. А. Смирнова «Драматические формы и жанры у Шекспира», 17 IV 26 г.; Б. А. Ильиша «Проблемы изучения Стерна», 24 IV 26 г.; Б. Я. Геймана «Проблема натурализма в эпоху бури и натиска», 28 IV 26 г.; Д. И. Выгодского «Сем-Тоб де Каррион и его «Моральные речения», 8 V 26 г.; И. А. Лихачева «Из истории испанских лирических размеров (Сервантес), 14 V 26 г.; А. А. Гизетти «К вопросу об уяснении композиции «Заговора Фиеско» Шиллера, 12 VI 26 г.; В. М. Жирмунского «Из архивных материалов по истории немецкой колонизации в Грузии», 26 VI 26 г.

Таким образом, по французской литературе состоялось 2 доклада, по немецкой — 4, по английской — 3, по испанской — 3, по румынской — 1, общего характера — 1.

Славяно-Византийская группа (6-й Секции).

В состав группы входят: действительные члены — Д. И. Абрамович (Председатель), В. П. Адрианова-Перетц, В. Н. Бенешевич, В. Е. Вальденберг, Н. С. Державин, П. А. Лавров, В. Н. Перетц, М. Д. Приселков, Ф. И. Успенский, С. А. Щеглова; научные сотрудники I разряда — А. Д. Александров, Л. К. Ильинский (Секретарь), Г. П. Бельченко, В. А. Келтуяла, К. А. Копержинский, А. И. Никифоров, В. Г. Чернобаев; научные сотрудники II разряда — Л. Б. Арасимович, А. К. Вишнякова, И. П. Еремин, К. А. Пушкаревич; аспиранты: А. Б. Никольская.

Группой выдвинуты коллективные темы: 1) Драматическая литература эпохи Петра Великого (рук. В. Н. Перетц); 2) Словарь литературных памятников старо-славянского языка (рук. П. А. Лавров); 3) Польско-русская повесть в их взаимоотношениях (рук. В. Н. Перетц); 4) Славянские древности (рук. Н. С. Державин); 5) Русская литература и книга XVIII века (рук. Л. К. Ильинский).

За период с ноября 1925 г. по 4 VI 26 г. имело место около 15 докладов: В. Е. Вальденберга «Учение о тирании в древнерусской письменности сравнительно с западно-европейской литературой», 11 XII 25 г.; К. А. Копержинского «Обряды сбора урожая у славянских народов в древнейшую и новую эпоху развития», 9 XII 25 г. и 4 VI 26 г.; А. К. Вишняковой «Законник Стефана Душана и монастырские акты XIII—XIV ст.», «Торговые отношения между итальянскими республиками и Византией в XII—XIV в.», «Греко-русские договоры X в.», 29 I 26 г., 14 V 26 г. и 28 V 26 г.; В. П. Адриановой «Толковые азбуковники XVII—XVIII веков», 12 II 26 г.; В. Н. Перетца «Неизвестный подражатель Кантемира» 19 III 26; Д. И. Абрамовича «Повесть о Варлааме и Иоасафе в четьях-минеях Дмитрия Ростовского», 19 III 26 г.; П. А. Лаврова «Новый труд Нидерле о восточных славянах», 2 и 16 V 26 г.; И. П. Еремина «К вопросу о происхождении масок русского народного кукольного театра», 26 V 26 г.; С. А. Щегловой «Вновь найденная комедия Петровского времени», 21 V 26 г.; А. Б. Никольской «Мифология восточных славян в литературных отражениях», 28 V 26 г.

Особо нужно отметить подгруппу по изучению современного славянства, работавшую под руководством Н. С. Державина.

У группе участвовали следующие лица: действительные члены — Н. С. Державин (Председатель), М. Г. Долобко, П. А. Лавров; научные сотрудники I разряда — С. П. Обнорский, Л. П. Якубинский, В. Г. Чернобаев; научные сотрудники II разряда — Л. В. Арасимович и К. А. Пушкаревич (Секретарь); аспиранты: Э. А. Лемберг, Л. В. Матвеева-Исаева, Б. В. Лавров, и представленный ныне в аспиранты С. С. Советов.

Состоялось 6 заседаний, на которых были заслушаны сообщения:

Н. С. Державина: 1) «К вопросу о происхождении дублированных словооснов в славянских языках»; 2) «К этимологии слова «Вардар»; 3) реферативное сообщение о книгах: В. Погорелова «Опись на старите печатани български книги 1802—1877», София, 1923 г.; Ивана Вазова «Живот и творчество за седемдесетгодишнината от рождение то му», София 1902 г.; П. А. Лаврова «Сказки из сборника Верковича»; В. Г. Чернобаева «Литературная деятельность Стефана Жеромского»; Л. В. Арасимович — «Реферативное сообщения о книге: Курилло» Фонетичнi та де якi морфологiчнi особливости говiркi села Хоробричiв. Зб. Всеукр. Ак. Н. Iст. Фiл. вiдд. № 21, 1924.

Ближне-восточная группа (6-й Секции).

Группа организовалась только 29 мая 1926 г. В состав ее вошли: действительные члены — В. В. Бартольд, А. А. Ромаскевич, А. А. Фрейман, научный сотрудник 1 разряда — Е. Э. Бертельс (Секретарь); аспирант — С. М. Красильщиков.

Под наблюдением А. А. Ромаскевича Институтом ныне выпущен капитальный труд покойного профессора В. А. Жуковского «Раскрытие скрытого за завесой» (Кяшф-аль-Махджуб) Абу-ль-Хасана Али ибн Осман ибн-аби Али аль-Джулляби аль-Худжвири аль-Газнави. Персидский текст, указатели и предисловие (Государственная Академическая Типография. 1926 г. 42 печ. листа).

Секция Литературы Древнего и Ирано-Эллинистического мира (8).

Секция возникла осенью 1923 г. К основному составу ее принадлежат: действительные члены — В. Н. Бенешевич, Б. Л. Богаевский, А. И. Малеин, И. И. Соколов, В. В. Струве (Председатель), И. И. Толстой, И. Г. Франк-Каменецкий; научные сотрудники I разряда — Б. В. Казанский (Секретарь), О. О. Крюгер, С. Я. Лурье, А. И. Пиотровский, С. В. Толстая, И. М. Троцкий, М. А. Шангин; аспиранты — М. С. Альтман, И. Г. Бендер, А. В. Болдырев, Я. М. Боровский, А. И. Доватур, В. И. Евгенова, А. Н. Егунов, И. Г. Лившиц, И. М. Лурье, М. Э. Матье, Р. Я. Рубинштейн, Г. А. Стратановский, Ю. П. Францов, О. Я. Хортик, Р. В. Шмидт, и вновь избранные: действительный член В. Г. Кагаров и научный сотрудник I разряда И. И. Мещанинов. Кроме того, в работах Секции принимали участие: действительные члены — В. Е. Вальденберг, П. К. Коковцов, Н. Я. Марр; научные сотрудники I разряда — В. В. Виноградов, П. В. Ернштедт, И. Ю. Маркон, а также ак. Н. П. Лихачев, проф. И. Д. Андреев, А. Г. Вальтер, Н. Д. Флитнер и представленные ныне в аспиранты — Н. Н. Залесский, Н. А. Мещерский и А. М. Миханков.

Деятельность Секции продолжала сосредоточиваться на разработке намеченных в предшествующие годы плановых тем: описания рукописей Ленинградских собраний (рук. А. И. Малеин), этно-

логии древнего мира (рук. В. В. Струве), изучении отражений земледельческой культуры в языке и поэзии древнего мира (рук. Б. Л. Богаевский), собирании материалов по истории античвой поэтики (рук. Б. В. Казанский). Утвержденные в плане Секции темы изучения сказки (рук. И. А. Орбели), истории римского театра эпохи империи (рук. А. И. Пиотровский) и собирания папирологических текстов, относящихся к истории еврейства (рук. С. Я. Лурье) в этом году не получили организации.

По теме описания рукописей: М. А. Шангиным произведено описание рукописей Библиотеки Академии Наук: «Пирроновых Положений» Секста Эмпирика, греческие переводы трактата Абу-Машара а также Эсхила и Пиндара, при чем работы подготовлены к печати; А. И. Маленным — двух рукописей Апулея из собрания Н. П. Лихачева (результаты сообщены в «Докладах Акад. Наук»); А. В. Болдыревым обследованы рукописи Публичной Библиотеки — Исидора и латинского перевода Флавия Иосифа; О. О. Крюгером разобран и подготовлен к изданию ряд греческих папирусов из собраний Эрмитажа и Н. П. Лихачева; П. В. Ернштедтом изучены коптские папирусы тех же собраний; В. В. Струве исследованы папирусы египетские (демотические); И. М. Троцким произведены обследования Колумеллы (Публ. Библиотека), выяснена заново рукописная традиция этого сочинения, при чем эта работа подготовлена к печати; В. Н. Бенешевичем прослежена связь академической рукописи Софокла с изданием Альда.

По теме изучения этнологии древнего мира продолжали свои работы: В. В. Струве — по этнологии Средиземноморья на основе египетских данных, Б. В. Казанский — по этнологии Пиринейского полуострова, Б. Л. Богаевский—по изучению культурных взаимоотношений эпохи неолита. В работах принимали также участие И. Г. Франк-Каменецкий, Н. Д. Флитнер, М. С. Альтман. Два особых заседания группы были посвящены докладам В. В. Струве «Об образовании у ливийцев» и «Об этническом термине «Zakara».

По теме изучения отражений земледельческой культуры в языке и поэзии древности, в связи с произведенным в предыдущем году обследованием греческих ораторов, Секцией издана книга: «Религия и Общество. Сборник статей по изучению социальных основ религиозных явлений древнего мира». Книгоиздательство «Сеятель», Ленинград, 1926 г., 186 стр., цена 1 р. 80 к. (Статьи: В. В. Струве «Социальная проблема в заупокойном культе древнего Египта» и «Диалог господина и раба о смысле жизни по новому вавилонскому памятнику»; М. Э. Матье «Религия египетских бедняков»; И. Г. Франк-Каменецкого «Пророк Иеремия и борьба партий в Иудее»; Б. Л. Богаевского «Ритуальный жест и общество древнего мира»; Б. В. Казанского «Бытовые основы жертвоприношения в древней Греции»; И. М. Троцкого «Религия греческого пастуха (к постановке вопроса)»; А. В. Болдырева «Религия древне-греческих мореходов (Опыт построения профессиональной ре-

логии)»; Я. М. Боровского «Преодоление религиозного элемента в древне-греческом праве»). Выработан план сборника, посвященного земледельческой технике, быту и отражениям его в языке, фольклоре и поэзии, подготовленного к печати В. В. Струве, Е. Г. Кагаровым, Б. Л. Богаевским, Б. В. Казанским, И. М. Троцким, М. А. Шангиным, А. В. Болдыревым, М. С. Альтманом, А. Н. Егуновым и др.

Под руководством А. И. Малеина организованы работы по теме: «Виргилий в России», в виду предстоящей 2000-летней годовщины дня рождения поэта. В задачу входит обследование рукописей, изданий и переводов Виргилия в России, выяснение истории его его изучения и влияния, и составление исчерпывающей его библиографии. Установлена связь с Комитетом международного чествования Виргилия, в лице проф. Раморино, и с иногородними учреждениями и учеными СССР. В работах принимали участие М. А. Шангин, А. В. Болдырев, Я. М. Боровский, Г. А. Стратановский и др.

По инициативе С. Я. Лурье организованы работы по изучению литературных рудиментов древней поэзии. В группе были прочтены доклады М. С. Альтмана, И. Г. Франк-Каменецкого, С. Я. Лурье. Намечена организация работ по сравнительному и палеографическому изучению Гомера. В состав группы вошли: В. В. Струве, И. Г. Франк-Каменецкий, Б. Л. Богаевский, И. И. Мещанинов, Б. В. Казанский, М. С. Альтман, Н. П. Баранов, В. К. Шилейко.

Со времени своего возникновения Секция имела 52 заседания. В настоящем 1925—26 году были заслушаны доклады: А. И. Доватура «Заметки к тексту «Политии» Аристотеля; С. Я. Лурье «Об античном космополитизме», 6 X 25 г.; А. И. Пиотровского «Перевод комедии Аристофана «Облака», 2 XI 25 г.; А. Г. Вальтер-Прокопе (гость) «Abrasax» в греческих папирусах и в христианской полемике против гностиков, 30 XI и 1 XII 25 г.; О. О. Крюгера «К вопросу о Серапеуме», 15 XII 25 г.; И. Ю. Маркона «Коммунистическая революция в древней Персии», 26 I 26 г.; Е. Г. Кагарова «О строении древне-греческих заговоров и молитв», 9 и 23 II 26 г.; В. Н. Бенешевича «Академическая рукопись Софокла и издание Альда»; Б. Л. Богаевского «К заметке В. Н. Бенешевича» в Bysant. Zeitschr., 9 III 26 г.; М. А. Шангина «Академическая рукопись «Пирроновых положений» Секста Эмпирика», 9 III 26 г.; А. И. Малеина «Рукопись Апулея из собрания Н. П. Лихачева», 23 III 26 г.; М. С. Альтмана «Гоголь и Гомер», 23 III и 6 IV 26 г.; И. М. Троцкого «Основы критики текста Колумеллы», 20 IV 26 г.

При Секции работал Кружок друзей греческого языка и литературы, в котором между прочим были заслушаны доклады: С. В. Толстой «Из эллинистической поэтики (Новоизданные отрывки Филодема)»; Л. В. Блуменау «Избранные эпиграммы Филодема»;

С. И. Жебелева «К хронологии пэана Исилла»; С. Я. Лурье «Афина-Демократия»(к статье С. А. Жебелева «Афина и Афины»); Ф. И. Успенского «О первом томе издания Общества Византийских штудий в Афинах»; С. А. Жебелева «П. В. Никитин—друг греческого языка и греческой литературы».

Секция Литературы Индии и Дальнего Востока (10).

Секция организовалась 31 октября 1925 г. В состав ее вошли: действительные члены — В. М. Алексеев (Секретарь), Б. Я. Владимирцов, С. Ф. Ольденбург, Ф. И. Щербатской (Председатель); научные сотрудники I разряда — А. П. Баранников, Н. И. Конрад, Н. Н. Поппе, Г. Ф. Смыкалов, Ю. К. Щуцкий; аспиранты — П. И. Воробьев, А. И. Востриков, Е. Е. Обермиллер, а также был привлечен к работе М. И. Тубянский.

Планомерной работе Секции препятствовали длительные командировки большинства ее членов от центральных учреждений Союза в отдаленные восточные области СССР и за границу.

В заседаниях Секции были между прочим заслушаны следующие сообщения: Ю. К. Щуцкого «К пониманию термина Дао», 22 XI 26 г.; Б. Я. Владимирцова «О проблемах истории монгольской литературы», 12 II 26 г.; В. М. Алексеева «О взаимоотношениях китайского театра и китайской религии», 22 IV 26 г.

Секция «Живой Старины» (Фольклора).

Секция возникла 19 ноября 1925 г. В состав ее входят: действительные члены — В. П. Адрианова-Перетц, В. В. Бартольд, Н. С. Державин, В. М. Жирмунский, Д. К. Зеленин (Председатель), П. А. Лавров, Б. М. Ляпунов, А. И. Лященко, П. К. Симони, В. В. Струве, А. А. Фрейман, Л. Я. Штернберг; научные сотрудники I разряда — А. Д. Александров, Н. П. Андреев, С. Д. Балухатый, В. Н. Всеволодский-Гернгросс, В. А. Егоров, М. Б. Едемский, С. А. Еремин, Л. К. Ильинский, Б. В. Казанский, В. А. Келтуяла, Я. А. Назаренко, С. Я. Лурье, А. А. Макаренко, Л. А. Мерварт, А. Н. Никифоров, Н. Е. Ончуков (Секретарь), Э. К. Пекарский, А. К. Сержпутовский, М. И. Успенский, В. И. Чернышев, Н. М. Элиаш; научный сотрудник II разряда — А. И. Емельянов.

В работе Секции также принимали участие сторонние лица: М. С. Абрамов, Н. П. Гринкова, Л. Э. Каруновская, А. М. Мерварт, В. Я. Пропп, С. П. Розанов, А. В. Шмидт.

Секцией объявлен ряд тем для коллективных работ: Народная техника восточных славян и их соседей и Земледельческие обряды восточных славян и их соседей (рук. Д. К. Зеленин), Этнология Балканского полуострова (рук. Н. С. Державин) Фольклор немецких колонистов в РСФСР и УССР (рук. В. М. Жирмунский), Исторические песни великоруссов (рук. Н. Е. Ончуков), Праздники типа масленицы (рук. С. Я. Лурье), Морфология сказки (рук. А. И. Ники-

форов), Детский фольклор (рук. В. М. Элиаш), Современная частушка (рук. А. Д. Александров).

В Секции сделаны следующие сообщения: Д. К. Зеленина «Земледельческий восточно-славянский обряд: катание на ниве», 3 XII 26 г.; Н. С. Державина «Албановедение и албанцы», 14 I 26 г.; В. В. Струве «Египетская сказка о двух братьях», 11 II 26 г.; А. И. Никифорова «Обзор русских работ по сказке за 1917—25 гг.», 28 I 26 г.; А. Д. Александрова «О составлении программы по изучению «живой старины», 23 XII 25 г.; П. К. Симони «К изучению русской песни», 25 II 26 г.; Н. М. Элиаш «Опыт изучения фольклора одной волости», 25 II 26 г.; Ю. Н. Францова «К мотиву превращения в египетской сказке» и «Борьба магов в египетской сказке», 11 III 26 г. и 6 V 26 г.; С. П. Розанова «Народные заговоры в церковных требниках», 2 III 26 г.; Л. К. Ильинского «Современная народная песня», 25 III 26 г.; Л. А Мерварт «Анализ процесса приурочения одного сюжета (Богиня Паттини на Цейлоне)» и «Эволюция индийской сказки о Сакунтале», 8 IV 26 г. и 6 V 26 г.; В. А. Проппа «К вопросу о генеалогии волшебного коня русских сказок», 22 IV 26 г.; Н. И. Андреева «Легенда о кумовой кровати (итоги сравнительного исследования)», 20 V 26 г.; М. И. Успенского «Происхождение сказаний о чудовищных народах» («диких» людях), 27 V 26 г.; Н. М. Элиаш «Главные направления новейшей немецкой фольклорной литературы», 27 V 26. Кроме того в Секции производилась демонстрация приемов сказительства у народных сказочников — А. С. Кудряшевой и М. М. Серовой, 28 I 26 г.

Особо надо остановиться на работе Института по подготовке молодых языковедов и литературоведов (аспирантов).

При общем составе научных работников до 225 человек (штатных и сверхштатных) Институт имеет до 75 аспирантов (штатных, сверхштатных и прикомандированных на правах аспирантов). Таким образом, на одного руководителя из действительных членов и научных сотрудников I разряда приходится в среднем по 2 аспиранта. За время с 1 сентября 1923 г. по 1 июля 1926 г. получили научную квалификацию в Институте 32 человека (большинство из них — б. научные сотрудники II разряда Института, но в некоторой части также и командированные из различных республик и областей Союза). В настоящем 1925—26 г. заканчивают трехлетний срок своего пребывания в Институте и должны получить научную квалификацию 25 человек. Из них по специальности: классической филологии с египтологией — 6, романо-германской филологии — 4, востоковедению — 3, славяноведению — 3, русскому языку — 4 и русской литературе — 5.

Что касается методов подготовки молодых ученых, то указываемые выше в отчетах Секций коллективные работы имеют в виду

прежде всего аспирантов. Из перечисленных выше в отчетах Секций докладов некоторая часть принадлежит также аспирантам. Не ограничиваясь этим, Институт с настоящего года повел энергичную работу по составлению нормальных программ занятий аспирантов для каждой Секции, рассчитанных на три года, и ныне все Секции уже имеют такой типовой план, с которым отдельные руководители должны сообразовать индивидуальные планы работ всех вступающих в Институт аспирантов, начиная с 1925 года.

Независимо от планов по специальности, Институтом установлено, как общее требование для всех аспирантов, обязательное прохождение учреждаемых с будущего года трех семинариев: 1) по общей теории диалектического материализма, 2) по социологии литературы и 3) по палеонтологии языка.

1. IX. 26.

Цена 5 р.

Издания Института.

В. А. Жуковский. Раскрытие скрытого за завесой («Кяшф-аль-Махджуб») Абу-ль-Хасана Али ибн Осман ибн-аби Али аль-Джулляби аль-Худжвири аль-Газнави. Персидский текст, указатели и предисловие. Посмертное издание. Ленинград. Государственная Академическая типография. 1926. 4 нен. + 64 стр. + 39 лл. персидского текста (на веленевой бумаге). (Цена 12 р. 90 к.).

Инструкция для описания журналов. Ленинград. 1926. 21 стр.

„Язык и Литература“, том II, выпуск 1 (Язык) — *печатается.*

То же » » » 2 (Литература) — *печатается.*

Того же Института.

В. М. Жирмунский. «Байрон и Пушкин». Academia. Ленинград. 1924. 331 + 2 нен. стр. Цена 2 р. 80 к.

М. А. Яковлев. «М. Ю. Лермонтов, как драматург». «Книга». 1924. 260 стр. Цена 1 р. 75 к.

„Религия и общество“. Сборник статей по изучению социальных основ религиозных явлений древнего мира. «Сеятель». Ленинград. 1926. 186 + 1 нен. стр. Цена 1 р. 80 к.

„Пушкин в мировой литературе“. Сборник статей. Государственное Издательство. 1926. VII + 408 + 3 нен. стр. Цена 4 р.